

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
Д13

## Серия «Русский Гулливер»

Основана в 2005 году

**Руководитель проекта** *Вадим Месяц*

**Главный редактор серии** *Александр Давыдов*

**Оформление** *Владимира Сулягина*

**Давыдов А.Д.**

**Три шага к себе...** / Александр Давыдов. — М. : Наука, 2005. — 367 с. — (Русский Гулливер). — ISBN 5-02-033917-2 (в пер.).

Интеллектуальная задача трилогии Александра Давыдова — исследование одной из «нулевых», по выражению автора, эпох, то есть не «маркированных» сколь бы то ни было значимыми историческими событиями. Подобные эпохи, выпадающие из исторической памяти человечества, по мнению автора, необычайно важны, так как именно в эти периоды исподволь вызревает новое сознание, чтобы заявить о себе в «значимую» эпоху. Автор проводит аналогию между такими «пустотами» и паузами в музыкальном произведении. Свою задачу он решает художественными средствами, осуществляя своеобразный эксперимент. Каждый из трех субъектов повествования — личность во всей психологической полноте — помещен в ситуацию интеллектуального и духовного вакуума, преодоление которой требует исключительного эмоционального и умственного напряжения.

ISBN 5-02-033917-2

© Давыдов А., 2005

© Сулягин В., оформление, 2005

© Центр современной литературы и издательство «Наука», серия «Русский Гулливер» (разработка, оформление), 2005 (год основания), 2005

*Посвящается моему сыну Сергею и внуку Филиппу,  
их младенчеству*

*Трилогия написана очень давно, в смутную, тяжкую, истинно «нулевую» эпоху, когда, однако, исподволь вызревало новое сознание. Кстати, писалась она при четырех российских правителях. По прошествии стольких лет я уже не воспринимаю этот прямой репортаж из безвременья как собственное творчество. Автор поставил цель — отыскать в окружающем вакууме какие-либо нравственные ориентиры и хотя бы подобье структуры. Каждый из трех текстов — поток мысли в самом минимальном беллетристическом оформлении. Первый из них — как бы монолог революционного провокатора начала прошлого века. Второй — монолог уже на два голоса: чистого и объективированного субъектов, авторского Я и его alter ego. Третий монолог, где субъект письма и мышления почти неразделен с личностью автора, обращен к уснувшему ребенку. Повесть «Сто дней» была напечатана в сборнике «Весть», первом из отечественных изданий, полностью опубликовавшем среди прочего знаменитую поэму Ерофеева «Москва-Петушки». Трилогию целиком я собрался опубликовать только теперь, когда попытка описать и тем самым изжить безвременье представляется вновь актуальной. Я не стыжусь своей ранней прозы, скорее горжусь ею, — сейчас я, возможно б, и не отважился на столь полное игнорирование литературных правил, привычек и догм своего времени. Потому я и одолел соблазн переписать трилогию уже нынешней рукой.*

*Александр Давыдов*

...На деле же каждый шаг мысли служит лишь усилию содействовать тому, чтобы человек, мысля, вступил на путь своего существа.

*Хайдеггер*

*НОЛЬ*

...тут-то меня и заключили в тюрьму. Не уверен даже, что это наказание. Может быть, и забота, если я правильно понял подмигивание здешнего стража. Перед этими я уж точно безгрешен. Разве что перед глубинным их нутром, которое, казалось бы, юриспруденции непричастно. Но стали бы они как раз во время сверх определенности отстаивать принцип неуловимо абстрактный? А может, как раз и стали.

Вот для других «этих» я безусловно предатель, равно, как и для других «тех». И кто-нибудь из них меня, наверняка, прикончит, и стены не спасут. Пускай бы лучше «эти» — на площади, под барабанный бой. Тогда, возможно, «те» меня не ошельмуют. А ведь даже при всей своей глупости — и именно при глупости — могли бы понять, что здесь возможно «или — или». Для всех оно у них существует, а для меня почему-то нет. Это тем более странно, что времена сейчас и надолго — определенные, даже куда еще определенной — двухцветные. Но дело в том, что для определенности я погиб. Разве что временная даль размажет, сотрет границы между белым и черным. Но, скорее, оправдание наступит в будущем ноле, несмотря на то, что нулевые эпохи не то, что отталкиваются друг от друга, — нет, даже взаимно перетекают, — но как бы друг друга не признают, не желают знать.

И «те», и «эти», именно как порожденные ноле, тем упорнее держатся за «черное — белое», собственно, за «до» и «после». И только я один остался верен нолю, который — аннигиляция белого и черного. Для них, соответственно, предатель. А предатели-то они, — я их так не называю хотя бы из нулевой добросовестности. Сейчас я снова угодил в ноль, пусть и не всеобщий, а индивидуальный. И это хорошо, даже справедливо. Ноль — для меня, единственно ему верного. Там я начался, там и тихо закончусь. И так всех обману — ни барабанного боя не будет, ни вешалки.

Здесь-то почти полный ноль — одни голые стены. Даже топчан приносят только на ночь, и стола нет. Зато мне дали перо и бумагу, хотя я об этом совсем не просил. Тогда надо бы потребовать и стол. Если только он не обеденный, то, вкупе с пером и бумагой, это не предмет обстановки, а, скорее, идея, не нарушающая общей нулевости. Наверное, решили — вдруг да я что-нибудь припомню. Хотя им-то что делать с моей откровенностью, даже если расшифруют чернильные закорючки? Но дело в том, что я в принципе ничего не могу вспомнить. Их интересует лишь телесное, а вся телесность канула в прорубь ноля, оставив, разве что, легчайшую эманацию, которую можно уловить только нюхом, но не пальцами. Этот экстракт реальности никак не вытянешь в строчки, как я никогда не умел вытянуть в прямую время. У меня оно всегда пыталось растечься в плоскость и даже приобрести объем, — и отсюда, Бог знает, какие замысловатые петли и перехлесты. А как вспоминать во времени, затянувшимся в мертвые узлы?

Единственная достойная тема в ноле — это ноль. Его можно ухватить, если обмусоливать его со всех боков, — изнутри тоже. Валять его так и сяк, не боясь разнонаправленности, которая не есть противоречие. Катать его по страницам возможно почти до бесконечности, хотя полностью ему равен только чистый лист бумаги. От перекачивания он приобретет исключительную многозначительность, усложнится до крайности, но стоит найти крошечный штришок, как он тут же обратится в полный и гладкий ноль. Еще глаже и невесомей чистого листа. Он бы и вовсе был неуловим, но у него ведь есть оболочка, пусть тончайшая из всех возможных — овалчик. Вот и дело, вот и цель, если даже все написанное канет в глубинах тюремного архива. Чем не зануляющий штришок? И так —

## 0

Я был убит и ошельмован каким-то ничтожеством. Откуда он, собственно, взялся? Я потерял даже не честь, а плоть. Прошное и будущее, став ножницами в его хилых лапках, располосовало меня на две части, — это лишь в одном измерении, а в других неведомо на сколько, — и я понял, что настоящее стало исчезать с тех пор, как у ножниц появился раствор. В общем-то, настоящее только и осталось в растворе этих ножниц, но настоящее опасное, накрепко проросшее в будущее. Когда же ножницы с лязгом замкнулись, при-

мерно так, как лязгнул здешний засов, будущее сомкнулось с прошлым, и пропал ноль. И лязганье засова потом отозвалось, как эхо. Многие хотели бы видеть расчленение тела — кровь и выпущенные кишки, однако ноль расчленяется без видимого ущерба. Он только лишь растворился в истории, размолотый жерновами прошлого и будущего. Да и вообще, был ли он? В периоды значимости ноля не только нет, но и не было.

Конечности (дурачки и двусмысленно звучит, но лучшего слова не подберу) истории перемежаются бесконечностями нолей, провалами, вулканами, застывшая магма которых и есть значимость. Конечная значимость не желает знать нулевой бесконечности. Ей, кажется, противится сама ось времени. На ней ноли не находимы, ибо неотграничены. Из всех эпох только нулевые не имеют границ. Они не заключены в оболочку, разве что в овальчик, оболочку своеобразную — выделяющую, но не отделяющую. Так и катятся они в своих овальчиках, как горошины по временному желобу.

А потом началась полная мешанина определенности. В нулевой неопределенности я прекрасно себя чувствовал, ясность же для меня оказалась полным сумбуром. Мне бы куда-нибудь скрыться, укрыться, раствориться, но слишком прочен и нетекуч был окружающий материал. В ноле я творил — и часто с громовым грохотом, — но был как бы невидим, будто стекло в воде. Я не скрывался, но все смотрели мимо меня, словно на мне была шапка-невидимка. Сейчас меня и нет вовсе, но я именно виден. Хотел бы я стать мошкой и забиться в стенную трещину, но чувствовал, как вытягиваются все мои суставы, и я превращаюсь в великана, видного со всех концов света. Но, обретя видимость, кажется, я все же не утратил неуязвимости. В ноле я был чем-то, точнее, всем — именно нолем. Теперь я ничто, фантом, однако зримый, так как выделен всеобщей значимостью, и движение мое — мнимое, только лишь негатив всеобщего. Но я, незначимый, неуязвим, как призрак.

Я существую как противоположность значимости — затем, видимо, и нужен ей, хотя во мне гаснут и дела, и даже звуки. Раздавшийся было голос: «Крови, крови», — и он смолк. Но вновь народившаяся, еще неуверенной в себе значимости пока необходим антагонист для самосознания. Я для нее — узелок, памятка, что она «это», а не «то». Но я и память о ноле, которая будет вытеснена из мира в подпол со мною вместе, — неторопливо, как пузырек из наполняемой водой бутылки. И еще, они понимают, что я, ноль зримый — отражение их внутренних, глубоко скрытых нолей. Вот их-то не вытес-

нишь, они в них пребудут, и даже разбухнут, так как устремленное вовне движение значимости отбрасывает внутрь нулевой рефлекс. Так те и будут копиться в глубинах, пока не сольются в единый земной ноль.

Теперь я даже не ноль как таковой, а отражение их собственных. Зеркало, которое они пытаются представить картиной. Так даже и лучше, — зеркало можно невзначай разбить, картину никто не снимет со стенки. Пока их ноли хоть чуть-чуть просвечивают сквозь плеву, я буду жить, так как нужен им живым, — когда же смеркнет-ся это зияние, я превращусь в зеркало, ничего не отражающее. И что тогда со мной делать? На свалку только. И все же остается надежда на эстетический взрыв. Вдруг да меня примут за полотно какого-нибудь дадаиста — просто пустое, и даже одна рамка — без холста. Таких, кажется, еще не бывало, но появятся наверняка, — ведь все стены мирового исторического музея заполнены пустыми рамами. А моя-то как роскошна, — не пожалели сусального золота, весь так и сияю позолотой. Не то, что иные нулевтики, которые в том самом музее просто трещины на стенах. Правда, неискоренимые, — из-за усадки здания, должно быть. Но и у них есть надежда — примелькаются Рафаэли, обратят внимание и на трещины.

Вышел я, безусловно, из какого-то, теперь почти не определяемого, ноля. А, может быть, даже из множества охватывающих друг друга все разбегающимися овалами. Но к тому времени, когда я начал сознавать себя, уже вовсю шла значимая эпоха, и еще какая. Эпоха, можно сказать, королевской охоты, охоты на Автократора. Все вокруг было так и пропитано значимостью и значением, все феномены были суть намеки, отсылающие к Идее. Об Идее я умолчу, хотя бы потому, что сама она была скоплением умолчаний. Подчас было трудно понять, что для чего существует — Идея ли для намеков или намеки для Идеи. Иногда даже казалось, что намеки, скопившись, ее и образовали — векторная-то их направленность была примерно одинаковая. Впоследствии, не исключено, будет решаться: гонялись ли за Автократором во имя Идеи, или Идея существовала во имя охоты на Автократора. Но то будут суждения извне, нас же она со всех сторон обымала, так что мы обитали как бы внутри Идеи. Но, хочу уточнить — пока не в пространстве Идеи, хотя, может быть, она и расчищала это пространство, приучала к нему. Тогда же она охватывала значимость, с грохотом перебирала ее камни, дробила глыбы в порошок. Это была Идея значимос-

ти, тесно с ней связанная единством законов, вне зависимости — предписывала ей она их, или значимость ей их диктовала.

Над значимостью царили рыцари Идеи, — и куда более полно-властно, чем сам Автократор над страной. Непонятно, чего он им тогда дался. Ведь и сам он был не чужд Идеи, — пусть обратной, изнаночной ее стороны. Но коль существует лицо, должен быть и затылок. Посланцы Идеи были, как им и положено, чисты и на удивление безгрешны. За всем многообразием моральных кодексов значимости кроется разменная этика. Они аннулировали значимость, и не только чужую, но, с не меньшим рвением, и свою собственную. Шел постоянный размен, как в поддавках, который закончился разменом дамочек, после чего доска стала невыносимо просторной. Автократор был разнесен в клочки парой килограммов гремучей ртути. Но сруби голову — уж нет ни лица, ни затылка. С ним вместе пропала и надобность в Комиссии по его уничтожению. И она все равно, так или иначе, изошла бы, даже если бы их всех не казнили под барабанный бой.

И наступило время, которое могло показаться целиком запустевшим — эпоха всеобщего разрежения, имеющая, однако, исключительную и уникальную ценность. Она представляла всем и каждому великий опыт безвременья. Почти любую значимую ситуацию можно для себя создать. Вакуум же духовный — как и полный физический — искусственно не создается, он всегда принудителен. Но при исключительной принудительности внешней эпоха ноля предоставляет широчайший простор духу. И, почти исключая творчество социальное, она требует творчества в духе, — причем непосредственного, минуя любые искусства. И требует настойчиво, как только она умеет. В эпоху ноля искусства побоку: сколь ни мало в них материального, тут материала вообще нет, полный ноль, короче говоря.

Ошибка ноли считать развязками. Это разве что псевдоразвязки, завязки же — истинные. История вообще не знает развязок — только вот такие: внезапные прорывы, когда все в равновесии, потому и недействительно. Ноли — парники, где вызревают зерна разнообразных и редчайших растений. Они могут быть невиданно хороши, но попадают и монстры. Ведь в эту внутренне непринужденную и непринудительную эпоху каждый сам себе творит и смысл, и цель. И по-разному может обернуться такая самостоятельность. По крайней мере, ананасы там скорее отыщешь, чем пареную репу. Впрочем, монстры видятся монстрами из временной дали, как и обычный динозавр стал драконом. Только время отделило про-

грессивное от тупикового. В ноле же, где вызревал эволюционный скачок, все это существовало равноправно. Даже и странные метисы прогрессивного и тупикового были тогда нерасчленимым монолитом. Только взгляд аналитика, направленный как из прошлого, так и из будущего, рассекал их на две половинки. В настоящем же ноле аналитиков попросту и не было, ибо нечего было раззять.

Ох, как же не нравятся значимым эпохам эти синкретические монолиты. Они их растерзать готовы — и терзают, рвут на части. Не желают они знать их настоящего — только лишь их будущую или прошлую двойственность. А ведь в собственном своем настоящем — я свидетель — они не более двойственны, чем лист бумаги. И стоит ли удивляться, что все их кости трещат, когда их стараются перекрутить по принципу Мебиуса.

Я из ноля, конечно, вышел, но прошлого своего не знаю, — ведь я проснулся для жизни, когда прошлое уже иссякло и медленно-медленно завязывалось будущее. Так медленно, что казалось — время и вовсе остановилось. Но, однако же, то проистекало, точнее, утекало и, как ему и положено, оставалось однонаправленным и необратимым, как песочная струйка. Но истекало оно как-то подспудно и вяловато. Притом оставалось столь же назойливым, как и прежде, если не больше, ибо мы разучились волиять. Ноль — это эпоха чистого, пустынного времени, ничем, по крайней мере, существенным не заполненного, — соответственно, в большей мере эпохой, чем какая-либо другая, так как повисла на кончике минутной стрелки.

У всех живущих в ноле отношения со временем трудные и увлекательные. Не знаю уж почему, но я, видно, страдал от него больше других. Постоянно оно у меня свивалось в петли. Мое время то скакало без удержу, то вдруг замирало, а иногда вдруг пятилось назад. И все мое прошлое — как переплетенная веревка, которую и не распутаешь, не натянешь телеграфным проводом. Да оно и неплохо: на этом вервии не повесишься, как пробовал наипервейший из нас — нолей.

Напрасно они надеются — не растяну я его в строчки, не переплету в значащие крючочки. Пусть изыскивают зерна среди плевел прошлых и будущих слов, разнонаправленных и чуждых друг другу. Будет им вместо зеркала — зеркальная пыль, вопль ужаса, который слов не выбирает. Нулевой человек недоступен страху — в нем страх вырождается, ужас его перехлестывает. Страх замыкается в оболочки, ищет формы, ужас — их рушит. Вопль ужаса беззащитен, он не внутрь себя, а, наоборот, призывает. Не боюсь и я в своем каменном бункере быть ни смешным, ни наивным.

А вот часы, несмотря на ненависть к времени, я очень даже любил. Все тянулся в детстве к бронзовым «Пастуху и пастушке», пока те не свалились мне на ногу, — до сих пор хромаю. А сколько я потом накапал луковиц — и золотых, и серебряных. Если б у меня хоть когда-нибудь был свой футлярчик, я увешал бы стены тикающими ящиками.

На «Пастухе и пастушке» я впервые ощутил весомость и опасность времени и, видно, с тех пор оно для меня стало не мыслью, а «штукой», — причем опасной. Перед ней все штуки мира легки и невесома, почти идеи, эманации. А разбирать я их стал зря. Конечно, запутался в колесиках, пружинах и шестеренках, а времени там не нашел. Потом я их собрал, но они не затикали. И тут уже подступил ноль, в котором угасли все тиканья мира, хоть стрелки и продолжали свой ход. Как сейчас гулко каждый тик отдается в здешней пустоте. Пустоте, но уже не нулевой. В пустоте-одиночестве, а не единстве.

Когда я потерял свои последние часы, меня стали одолевать оцепенения, хотя в ту пору телесность еще не окончательно изошла. Меня как бы не было ни снаружи, ни внутри. Я зависал на тончайшей грани внешней и внутренней пустот. Меня почти принимали за мыслителя, но мыслей как раз и не было. Не считать же мыслями переливы пустот снаружи внутрь и обратно. Так я тихо свихивался, пока кто-то не шепнул мне на ухо: «Видно, у тебя Идея». И я понял, что это на самом деле так.

Та же самая, старая Идея, уже стертая до невидимости, оглушающая до неслышимости, и в ноле оставалась такой же полновластной, как и в предшествующую эпоху, таким же ее узлом, пускай мнимым. Но из всех мнимостей ноля эта была все-таки самой полнокровной. При полной, казалось, непринудительности ноля — а он, если тогда и не наступил, то уже подступил, — трудно сказать, он ведь неограничен и наступает бесшумно — Идея приобрела едва ли ни общеобязательность. Хотя уже стала фантомной, погубив Автократора. Однако ноль — рачительный хозяин, к наследству относится бережно, ведь иначе он полный банкрот. Прошлое в нем существует подобьем настоящего, хотя бы потому, что между ними не проведено внятной границы. Былое может протянуться через весь ноль и утечь в будущее уже другой эпохи, однако, неожиданно видоизменившись, — Бог знает, что может произойти с прошлым в ноле, замаскированном своей неукрытостью.

Эпоха, лишенная форм, цеплялась за формы прошлого и потому кишела фантомами. Прошлое разбивалось вдребезги, — и каждый дребезг, минув ноль, терял свою суть. Оболочка же уплотнялась и,

без ограничения извне, разбухала до последних пределов, стремясь захватить все пространство. Следующей значимой эпохе бывшая реальность, ставшая фантомом, передавалась уже не свежей, а приобретшей давность, унаследованной — причем бесконечную давность, как бесконечна эпоха ноля, — и потому бессмертной. Ноль — место излившегося нутра и опустошенных оболочек.

Идея фикс предыдущей эпохи, конечно же, стала навязчивейшим из нулевых фантомов. И, разумеется, этот уплотненный призрак не затерялся среди прочих. Именно в его опустошенном нутре вызревали самые упорные семена будущего.

Моя мысль долго блуждала в пустыни, и сама была пуста. Ноль не порождает форм, только лишь — структуры, устанавливаются взаимосвязи между пустотами. И мышление в ноле — взаимное перемещение пустот, почти одинаково пустых, но все же не совсем однородных. Нутра в них нет, пусть нет даже и формы, но все же какая-то предформа есть, конфигурация, тяготение к будущей форме, вполне конкретной. От такого перебирания пустот как не ополуметь, если оно уже не есть безумие. Потому единственный путь сохранить в ноле остатки разума — уже ненужного, но все же привычного, — это облечь брызги разбитой там мысли одной из прежних лишенных нутра форм, пусть и выродившейся в конфигурацию.

Бог знает, что было бы, если б мне не нашептали Идею. Если б тот шепот не грянул эхом в моих пустотах. Ведь даже бесконечно длящееся безвремя не может отучить ум от изысканья форм. А запустение мысли больше всех свойственно остро переживающим время. Об Идее шептало все вокруг, — в ноле все только шепчут, как в храме, — но еще попробуй расслышать шепот своими нечуткими ушами-пустотами. Я услышал.

Однако, блуждание в пустоте, хоть и тягостно, но не трудно. Отношения же нынешней мысли с прежними формами трудны — чаще это борьба, чем согласие. Если мысль слаба, то прежние формы ею вовсе овладеют, навязав ей прежние взаимосвязи. Если же она сильна, то с хрустом и скрежетом пересоздаст старое по-новому. Моя и не сильна, и не слаба, оттуда вечный пат, ноль. Те формы не так сильны, как упрямы, — то, что они прошлые, не делает их более хрупкими, наоборот, придает неуязвимость. Прошлым, кажется, верти, как захочешь, — но не знаю уж, как другой, а я не мог.

Фрагменты прошлого заполняют наиболее подходящие для них пустоты, лишь самую малость уточнив границы, от чего не больно, а разве что щекотно. Таким образом, структура будущего оказыва-

ется заполненной реальностями прошлого, живущими не своей жизнью. Так часто и возникают нулевые монстры.

Из временной дали до-ноль так тесно смыкается с после-нолем, что его самого можно бы легко проглядеть. Но вправду ли предшествующее и последующее его добросовестно не углядывают? Ведь предполагаемый стык эпох кишит монстрами. А могут ли они в таком своем множестве уместиться в точке, мгновенье? Неужели вся мыслительная мощь двух значимых эпох — эти взаимонаправленные лучи как раз в ноле и сходятся, — не способна пронзить хлипкий овалчик ноля? Или оба этих потока растекаются необъятной лужей в его бесконечных пространствах? Может, будущее потому непроницаемо для прошлого, а прошлое для будущего, что они разделены прозрачной, но непобедимой нулевой преградой?

И все же пустоватый ноль для взгляда извне — все равно откуда глядишь, спереди или сзади — должен быть сверхзначительным. Пусть идей он не способен родить, а только совершает бесцельные потуги, но мыслящих и действующих в нем обитает предостаточно. Он так и бурлит бескорыстным действием, и пузырьки на поверхности лопаются как бомбочки. Разве что последующую значимость сбивает похожесть его форм, изоморфных предыдущим.

Нулевой шепоток дал названия пустотам, где блуждала моя мысль. Хотя, конечно, название зародилось бы во мне, пусть чуть позже, не так уж это важно для безвременного ноля. Наверняка им со мной поделился какой-нибудь нулевой примитив. Они более чутки к формам, как подобные мне более чутки к нутру. И совсем не грех ее у них позаимствовать, притом, что они лишь возвращают одолженное. Их формы слеплены из нашего материала, они — ороговение изливающегося из нас нутра. А напрасно думать, что в ноле не водится примитивов. Еще как — не меньше, чем в значимости. Полны улицы их — разгуливающих в своих фиктивных оболочках, как короли в новых платьях. По сходной цене они всегда готовы их уступить, вернее, догадываясь, что им грош цена.

Пускай фиктивные формы — это уже ничто, — их условность, неподлинность, несейчасность я и прежде чувствовал, даже преувеличивал. Все же это не совсем игрушки, или я был не лучших из игроков. Вот и теперь, когда каждое пятно на стенке оживает, как на люмьеровых живых картинах, все же и они стремятся жить своей волею, а не по моему хотению.

Когда все вокруг было нулевым, я не жил, а мылил. При недостатке форм, эпоха ноля всегда эпоха мысли. Мысль становится ре-

альнее и полновеснее пустоватой незаполненной жизни и вытесняет ее отовсюду. Я оказался в пространстве мысли, переиначивающей соответственно своим законам легковесные формы. Мысль, причем, тоже не слишком подлинная — не устоявшаяся, скорее, предшествующая или будущая. Она с обеих сторон устремилась в разреженность ноля, где даже и ей самой стало тесно, — не говоря уж о жизни. Она, может, и совсем вытеснила бы жизнь из ноля, но жизнь-то живуча, — пускай и выродившаяся в существование. Даже еще более живуча и неотвязна.

В эпоху ноля, где смешалось прошлое и будущее, настоящее почти совсем отсутствует. Точнее, там оно лишено собственного материала, оно не первично, а смесь в различных пропорциях того, что будет и того, что было. Материал настоящего ничуть не менее фиктивен, чем прошлый или будущий, тогда как в значимости он жестче и весомей. Настоящее в ноле сжимается в точку, но разрастается вверх и вглубь до бесконечности. Оттого ноль бесконечен, хоть и невидим.

Настоящее в ноле маслянисто, как я представлял себе мировой эфир, — вроде подсолнечного масла. Вот эта, пусть почти прозрачная, преграда пролегла между мной и всем. И в той призрачной, фантомной среде я, как тонущий в маслянистом эфире, ухватился за нечто не слишком прочное, но прочнее остального — за Идею. В ноле и она стала текуча, не хранилась в сокровищнице, пускай и общедоступной, а растеклась по всему нолю, все, все вокруг пропитала собой. Может, именно она придавала эфиру маслянистость и ненавязчиво искажала все в нее погруженное. Она была стержнем предыдущей эпохи, но уже не ноля, — скорей, уж фиктивным его наполнителем. Стержень ноля ей прямо противоположен: антиидея, принципиально не мыслимое, а существующее. То, для низвержения чего и была рождена Идея. Так, однако, было в значимости, а в ноле, где все становится идеей, идеей стало и это — такое с виду на идею похожее, — не совсем, слишком уж грубо зримое, до полной невидимости. Навязчивость Идеи тоже была груба, но все же не так.

В ноле между Идеей и Антиидеей обнаружилась какая-то спайка и взаимобратимость — уж не поймешь, что здесь «анти». Идея огрубела и вышла наружу, Антиидея, наоборот, стала мягче и залегла в глубине. Где плюс, где минус, стало зависеть от направления взгляда. А в ноле страшно, страшно было, даже и мне — его отродью. И я боялся выпустить из рук стержень, крепчайше вросший в почву. И не до того было, чтобы разбираться, плюс он или минус. Да и как разобрататься, если, чего уж я, помещенный как раз посередке, совсем ли-

шен, так это неравноправности взгляда. Куда ни взглянешь, повсюду бесконечность, в которую вбит плюс-минусовый столп.

Века простояло то, что все принимали за мировое древо. И все-то в нем казалось исполненным смысла. И смыслом же, казалось, его питают корни, запущенные в глубочайшие недра. Потом и корни ему обрубили, и сучья. Ждали, что оно засохнет. Так, вроде бы, и случилось, — только, не пало и вдруг стало даже давать побег. В ноле не слишком много смысла, потому почти и нет бессмысленного. И существующего в ноле совсем мало, так что все существующее осмысливается. Сам факт существования уже полемичен, хотя бы в силу его необязательности, даже никчемности.

Идея, пусть и бывшая, не вовсе бездвижна. Вот как-то раз она меня и привела к домику с парой сфинксов, примостившихся у фасада. И там из сгустившегося эфира вылепился некто лысый, поигрывающий яблоком как бомбочкой, — но все же пока осторожно, опасаясь до времени сам на ней подорваться и взорвать все вокруг. А бомбу я так себе тогда и представлял — кругляшкой с фитильком, который можно прижечь сигаретой. И еще две траурные дамы, траур которых был, безусловно, связан с Идеей, трудноопределимо, но однозначно. Другие же пока были неразличимы и только сильно позже вылепились в тех, кого я предал и погубил. Вообще, в ноле лицо — непозволительная роскошь, это эпоха людей без лиц, все они взаимозаменяемы, даже тем, кто запомнился грядущим векам, обозначив очередной изгиб полновластной Идеи.

В ноле хоть и стремятся к отделенности, но какой-то безындивидуальной. К отделенности коллективной, — обручем цели, лучше, идеи. В ноле ведь нет другого материала, кроме этого, псевдопрочного. Не выносят людишки собственной незащищенности, — открытости для вторжения жизни и для утекания своего сокровенного в жизнь.

Впрочем, так ли уж плох нулевой материал идеи? Ведь стоит выветриться ее нутру, смыслу, как идея может стать сверхпрочной, словно орех-дичок. Ею можно шибать по головам не хуже, чем кувалдой. Но все же какую-то проницаемость она сохраняет, так как взамен бывшего под оболочкой вдруг заводится новое ядрышко. Но не ошметок ли это ее прежней сути? Кто скажет — процесс ведь скрыт от глаз. В том домике со сфинксами на пороге, сгущенье Идеи было еще многократно плотнее, чем где бы то ни было. Здесь все было Идеей, вплоть до мусора на полу, все было значительно, а наименее значительны мы, перелавившие Идею с боку на бок. Бо-

ков у нее оказалось, что граней алмаза, — какой мы избрали уже не припомню. Важнее то, что мы все мучительно пытались преодолеть ее застылость, отыскать в ней хоть что-нибудь мягко-незавершенное, — но та оказалась жестка. Тогда мы принялись дробить ее на куски, рушить ее скорлупу, чтобы добраться до внутренней мякоти, но каждый кусок вновь замыкался в оболочку, — его поверхность на глазах роговела, и окаменевшие глыбы Идеи высекали друг об друга искры. А я-то знал, что значит искра в этом пороховом погребе.

Так добросовестно мы раздробили Идею, что кусков на всех бы хватило. Каждый из нас мог бы в кармане унести по собственной частице. Может, кто-то из нас, отчаявшихся, так и поступил, но не я. Они ведь, эти ублюдки значимости, признавали деление. А для меня, ноля, оно всегда бессмысленно. Они-то считали, что деление можно исправить умножением, разбитое — аккуратно сложить. А для меня ведь и умножение лишено смысла. Я-то уж лучше всех знал, что составленное, и даже крепчайше склеенное, только подобно бывшему, а не оно само, — облик, но не порыв. Разрубленное способно разве что к движению обрывочному и неосмысленному, ничем не связанному с потребностью целого, как бьется в конвульсиях, разрубленный лопатой червяк. Но попробуй его склеить, как и этот намек на жизнь пропадет.

Как в ноле расплодился ложные пророки, которые в своих широких карманах сберегли труху прежних идей. Притом, — ни единой крупинки истины, — ведь даже острейший взгляд не пронзит нулевых пространств, не достигнет после-ноля. Кажется, что не только оттаяли все слова, замороженные значимостью, но они еще многократно умножились. Не ложные ли пророки расплодили в ноле бессмысленно извивающиеся червяные обрубки, которые вообразили себя змеями. И даже шипят, но не укусят.

Окунаясь в этот бродильный чан, я дрожал от страха, но боящийся всего ничего не боится. В ноле все дрожат от страха, как дети, заблудившиеся в запутаннейшем из лабиринтов. Ведь пространство распялилось, — любой путь стал бесконечным, край эпохи из сердцевины ноля не виден. К тому же, из-за переизбытка отовсюду нахлынувшей мысли — прошлой, настоящей, зарождающейся, просто случайной, все пути так перепутываются, что концов уже не отыщешь. Остается только лишь один прямой путь — путь предшествующей Идеи, — да и он обманной, зеркальный, ведущий вспять. Его якобы прямизна — зеркальное отражение его бывшей прямизны в значимости. То, что видится впереди — уже

пройденное. Конец предыдущей эпохи видится началом будущей. Ноль трудно пересечь напрямик, зато его можно прошагать прямоком, — то есть, никуда не сворачивая. Поскольку все нулевые пути почти одинаково ложны, удобнее всего шагать прямой дорогой бывшей Идеи, которую я избрал, ступив на распрямленную улицу Имперского города. Там все улицы прямолинейны, а эта привела меня к домику с парой сфинксов у входа, внутреннее пространство которого мне уже заранее виделось, как бы узилищем с решетчатыми окнами, — а то оказалось вполне уютным.

Не знаю уж, удалось бы нам, что-нибудь сотворить с Идеей, ставшей уже окоченевшим трупом, если бы не подоспела моя быстрина. Предвестником ее всегда бывало оцепенение, когда эфир сгущался почти до осязаемости, так что я будто купался в теплой ванне. Однако оцепенения всегда бывали тягостны, — ведь я пред ними был незащищен, — а изнутри казались они бесконечными. Тут главное было замереть совсем, не создавать ни малейших сцеплений с жизнью, — тогда потом оцепенение можно было изъять из нее безо всяких последствий. Никаким усилием оцепенение не преодолевалось, из него можно было выскочить лишь на быстрине, которая, собственно, была порывом того же ступора, так как и в ней не существовало времени. Мое сокровенное время могло либо стоять, либо нестись как угорелое.

Замирания оставались в памяти, как уколы сожаления. Рывки — никогда, так как в них отсутствовала возможность другого пути. Недробимый поступок — сам себе оправданье. Это были мои победы над врагом — тикающей стрелкой, — только нырнув в быстрину поступка, я переставал слышать ее занудный тик, равномерно подскакивающее утеkanie времени.

Не знаю уж, откуда в ноле заводятся быстрины, — да ведь и вообще, откуда что в ноле? Разве что внутреннее время, или наоборот, его негатив — безвремяе, скопившись в каком-то тайном пазухе, разом прорывало плотину. Одним из них был я сам.

Потом, уже в значимости, где время летит, я быстрины не нашел, — верней, потерял ее. Следовательно, вся значимость для меня — сожаление об упущенном поступке. Но вот сейчас у меня искусственный ноль, пусть только мой личный, и я чуть ли не вновь подхвачен быстриной. По крайней мере, что-то мощно влечет меня Бог знает куда. И тиканья стрелки тут не слышать.

Там, в домике, возле трупа Идеи, мое оцепенение преодолелось быстриной. И как невероятно было мое оцепенение, так эта оказа-

лась стремительна. Именно она и пронесла меня через весь бескрайний ноль и забросила в этот теперешний закуток, охваченный камнем. А, может, и не одна быстрина, а множество подхватывали меня и передавали друг другу. Быстрины ведь невоспоминаемы, так как неаналитичны, монолитны, они только оставляют где-то в недрах естества пересохшее русло. Поэтому быстрин много, и все они — одна единственная, как ручей, иногда ныряет под землю. В ноле — они попытки увлечь за собой стоячее, болотистое время. Они — проточная вода безвременья. Не свойство ль они лишь моего естества? Не есть ли история мира лишь история быстрин и нолей, где они только и возможны истинные. Впрочем, значимым эпохам я не судья. Если многие вышли из значимости и ею обогатили ноль, то я вынырнул из неведомого ноля и одарил нулевыми значимостью, куда меня все-таки привела упорно бегущая стрелка. Но спасибо значимости — она опять меня поместила в ноль, с крепчайшим каменным овальчиком. И тут я замер, ожидая, когда новый ноль вызреет за стенами, который, надеюсь, будет еще нулевее всех моих прежних.

Пускай я предатель. Но я предал все, кроме ноля. И верность несуществующему выше верности осуществленному. Они проворонят ноль, но уж меня-то никогда. Ноль незапоминаем — я не буду забыт. Я — сторож ноля и его символ, не меньше, чем яйцеобразный овал.

Они предпочли бы размножение, умножение, я — уничтожение. Дорасчистить, вымести ноль дочиста, привести ноль к полному нолю. Я победил, потому что это была моя быстрина.

И все же оказалось, что я злодей, а члены Комиссии по уничтожению чисты. Но ведь они нарушители, а не я, — даже и в значимости истинная мораль отлична от разменной. Я не нарушитель, так как ноль неморален по сути, — вернее, даже слишком ее много, но вся она прошлая или будущая, а не здешняя, не нулевая. Но вот Его образ в ноле не замутнен, виден отовсюду ясней, чем всегда. Да он и, должно быть, единственный, наконец неискаженный, — протертый, как зеркало, бархоткой ноля, ибо нету других зеркал. Значимость же бесцельно склеивает зеркальный бой. Еще вопрос: нужны ли вообще зеркала? Но ведь для нас, здешних, как значимых, так и нулевых, не отразиться нигде, значит исчезнуть вовсе, пропасть навсегда.

Только в это ясное зеркало я и погляжусь, только Ему и отвечу. Нет для питомцев ноля ни рая, ни ада, а, возможно, тараканий закуток, щель. Какой-нибудь Лимб, подобный тому, куда я угодил.

Но только кто ж проливал кровь, а кто разгонял призраки? Страшно подумать, но истинные люди, наверно, и возможны лишь только в ноле, а в значимости — только фантомы, хотя с виду плотнее и мясистей. В значимости люди — частные случаи, в ноле же частного не бывает, как нету законов. В значимости подчинены даже самые своевольные; в ноле и лебезящие свободны. Почему же, когда я взрывал оболочки, лилась лишь сукровица, а Комиссия утонула в пролитой крови?

Ноль хорош своими просторами. А вот когда на самом обнаженном духе нарастут оболочки, тогда и станет тесно — ведь оболочки прошлые и будущие пространства не занимают. Когда же ороговет обнаженный дух, не будет уже пустоты, прилягут оболочки одна к другой и настанет всеобщая предопределенность, — это и называется значимостью. И я, единственный, кто осознал и полюбил ноль, не допускал состыковки оболочек, мешал отделению черного от белого, а смешивал их в сером — это цвет ноля. Я перепутывал нулевые пути. И перепутал их так, что уж не распутать, а можно только разрубить одним махом.

Только в ноле-то и завелись уничтожители ради уничтожения. В чем-то они мне и братья — те же расчистители ноля, но я не из них. Они попросту обезумели от нулевой вседозволенности, а я добросовестнейший из труженников ноля. Тех тоже породил ноль, но как по сравнению со мной недолговечны эти нулевые мотыльки. Даже для ноля они чересчур нулевы и нестерпимы. С их гибелью начнется преодоление ноля. Не влилась в их пустоты шелестящим шепотком та Идея, а, видно, сама завелась иная, пустотная. Они — пшик, нулевой парадокс. Да и водились они в иных пространствах, где ноль жесток, а вовсе не болотист.

Члены комиссии, подобно луддитам, стремились испортить машину, шибая по ее важнейшим рабочим узлам. Я же взламывал лед, чтобы добраться до воды. Ноль — эпоха обнаженного духа. Она текуча, хотя время стоит. Значимые эпохи неподвижны, — тороплива лишь секундная стрелка, да и та движется по кругу.

Те новые луддиты и сами были готовы броситься в державную машину, подобье мясорубки, чтобы там нечто нарушить. Но тщетно: она их перемальвала одного за другим. Я осторожней, размен меня не устраивал. Потому ли я злодей, что не пожелал за Идею расплатиться жизнью? Нечем мне расплатиться — ноль вряд ли имеет цену, ничего на этот кругляк не купишь. Уходить из мира я не желал, хотел вечно обитать в ноле и сберегать его. И сейчас, вопре-

ки всему, не желаю. Я бы ушел добровольно, если был бы уверен, что там, за гранью граней, меня вновь ожидает нулевость. Но я в это не верю, — иначе, зачем ноль был бы нужен здесь, на земле? Я предпочел бы, чтобы полустанок стал конечной станцией, а жизнь и смерть — постоянными завязками без развязок.

В ноле ждут конца света, но при путанице переднего и заднего не понимают, что он уже наступил. И не тот, который только начало, а самый настоящий, ибо ноль вечен. Только вся беда в том, что стрелка продолжает упорно тикать. Вот и тут она вдруг почему-то затикала. Мои-то часы отобрали и фиг отдадут. Они золотые или, по-моему, платиновые, но, должно быть, подбросили какой-нибудь ржавый будильник, — отыскивай теперь его по темным углам. Как безжалостно он теперь расчленяет быстрину. Хоть тут-то могли дать мне покой. Я любил часы, но с какой радостью я швырнул им золотой браслет.

Найти бы это ржавое колесо, спрятанный тут будильник, и шваркнуть об стенку. Но не шваркну — в ноле только бегущая стрелка дарит надежду. А этот ноль мне, признаюсь, в тягость. Я мечтал о всеединстве, а они взяли и отделили меня ото всего и всех, видимо, чтоб спокойнее вспарывать друг другу животы, — раньше-то ведь не тронули.

Каменные стены в три метра толщиной — какая плоская метафора, так же как и яйцевидный овальчик. Ноль разомкнут, а непреодолим из-за бесконечности своих пространств. Ноль — это вечность, стоящее время при бегущей стрелке.

Расчислить ноль я решил, не пренебрегая опытом убийц Автократора, с помощью гремучей ртути. Прежде еще ни одна идея не производила такого шума. Трудно было себе представить, что так грохочет именно Идея, особенно когда во все стороны летели куски человеческих тел, — мозги и кишки размазывались по бульжнику. Один я знал, что в ноле все — Идея, и был спокоен.

Нас было пятеро. На четверых полулюдей-полуфантомов один человек, это я. Хотя и человек ноля. Один из них был, можно сказать, человеком на три четверти. Уж не знаю, что мешало ему стать стопроцентным. Может быть, то, что в нем черное и белое сосуществовало, но не смешивалось. Он был не серый, а черно-белый, пегий. Все равно, если случить коня блед с вороной кобылицей. В детстве у меня был полосатый волчок — одна полоска белая, одна черная. Но только пока его не запустишь — тут уж оба цвета сливались в серое до полной неразличимости. Вот на том волчке я и научился с ним управляться. В движении — а покоя он не знал —

он мне казался моим братом в ноле. Кого бы я ни предавал, его я берег, как зеницу ока. Да, случалось, предавал, но чтобы сберечь. Пусть он от природы будет пегий, но ведь я раскрутил его, как волчок. Одна беда — волчок не крутится вечно. Он тоже считает меня предателем, но ведь и он предал ноль.

Да, собственно, я и знал, что стоит волчку остановиться, стоит размежеваться черному с белым, как он пожелает свести счеты с тем, кто его запустил. Ведь он, хотя и волчок, но, как все, стремится к двухцветному покою, сам по себе не завертится. Поэтому я и раскручивал, раскручивал его.

Он, собственно, был не волчок, а матерый волк. Он наверняка меня бы прикончил, если бы не этот нынешний трехметровой толщины ноль из камня. Искусственный, но достаточно для меня прочный.

Иногда мне казалось, что он лучший хранитель ноля, чем даже я, — ведь ноль им не осознан. Сознательно так все пути не запутаешь, как, не ведая, что творишь. Сознанием всегда руководит принцип, пусть неведомый, а он наворотил дел — так перепутал все пустоты, почти завалил все выходы из ноля, что ноль стал еще куда нулевее, чем был. Поэтому я хранил его невинность, не посвящал в свои дела, а только раскручивал.

Может быть, его беда в том, что он представлял себя политиком. А возможно, и был по натуре, хотя и нулевым. В ноле же политика умолкает, только мистика остается. Тому доказательство, что терминами политики ноль не опишешь. Именно этими суровыми нитками часто пытались его затянуть, но только увеличивали зияние. Однако в ноле все политические фантомы уплотняются и наглют. Это, вероятно, путает. К тому же, после-нолевая и пред-нолевая политика протягивают друг другу руки и пытаются ужать ноль до невидимости.

Не понимал он, что если он и политик, то чисто нулевой, то есть мистик, втиснувшийся в одну из политических оболочек. В ноле все — мистики, а реалисты — самые из них отчаянные. Лиши его нулевого простора, пространства идеи, сметет его, как пушинку, — грош ему будет цена.

Как все политики, даже нулевые, он мечтал выпутаться из ноля для политического творчества, напрочь лишенного материала. Тем более что политические оболочки как бы сами собой сушили выход из ноля, — казалось даже, что вывезут, на подобье конки. Но он так и останется в ноле, как и я, если даже и спасет свою телесную оболочку; если она и позже истлеет — в после-нулевое время. Если да-

же он меня и прикончит, то не выпутается из ноля, даже еще глубже в нем погрязнет. Я буду называть его «авантюристом», как после наверняка прозовет его значимость, для которой «авантюрист» синоним нулевого политика.

Второй был прекрасен и чист. Написавший труд под названием «Оболочка», кажется, именно ему хотел его посвятить, но я отговорил. Я считал, что она посвящена мне, даже и без указания адресата. Нолю — нулевое посвящение. Славы его сочинение все равно мне б не добавило. Наверняка он его сжег, так как смертельно боялся коварных изгибов собственной мысли. И писал, наверняка, не перечитывая, — так что я остался единственным его читателем. И я почему-то побаиваюсь этого трактатика, хотя он нежен и благостен, — вовсе лишен демонизма, но потому и опасен в миру, даже нулевым. И все же я поскребу по сусекам памяти, чтобы наскрести хотя бы часть наивно и страстно сплетенных словес.

Второй был человек без оболочки. Собственно, в ноле все без оболочек, но он был так природно и урожденно ее лишен, что даже покрытый тончайшей кожуркой по сравнению с ним казался толстокожим. В значимую эпоху это была бы первоклассная польня духа. Чем-то он был похож на членов Комиссии, но позже родился. Они — из значимости, а он отделен от них невидимой, но осязаемой границей ноля. Из них ни один в ноль не вошел. Подготовив его, именно они первые, и решительнее всех, от него отреклись.

Не предполагал написавший «Оболочку», как поведет себя ее природно лишенный в пространстве ноля: когда все безоболочны, оказывается, он не прочь ее занять. Недаром его прозвали «поэтом», — а те, не имея собственной, часто лакомы до чужих, которые так уплотняют, что они делаются куда прочней природных.

Видно, все-таки желание выделиться исконно. В значимости лишенный оболочки выделен, — пусть не отсутствующей собственной, так чужими. Он даже готов вытерпеть напор тех, кто в оболочке, — для духа ведь физического пространства не нужно, достаточно точки, а ее у него все равно отнимут, — не так уж плотно смыкаются оболочки, остается зазор. К тому же, в значимости все оболочки уже кем-то заняты, а в ноле множество ничейных — выбирай любую и там располагайся.

Поэта я боялся не меньше, чем того сумбурного трактатика, меня просто жуть от него брала. Из всех нас пятерых только он был по настоящему опасен, авантюрист по сравнению с ним был просто ребенок. Отпустил же он меня на все четыре стороны. Отпустил, я

точно знаю, — этот бы никогда. Даже ртути пожалел бы, — испырял бы ножом, как, хоть и не он, но тоже, видно, из поэтов, одного беднягу, прямо на глазах старушки матери. Кажется, и ей самой досталось — к старушкам у этих просто какая-то животная ненависть. Этот, правда, был аккуратнее: намечал себе жертву, как тигр-людоед, и тот уже, будьте спокойны, был обречен. Мне этот великолепный расчиститель ноля, сам чистый, оттого и не знающий жалости, был необходим. Я дорожил им, может быть, не меньше, чем авантюристом, а любил наверняка больше.

К сожалению, такие недолговечны. Задыхаются, что ли, они в чужих оболочках, даже мнимых? У них все же неодолимая тяга развеяться по ветру. И целятся они, пожалуй, меньше в другого, чем в себя. Им-то, неотграниченным, все равно в кого целить. А может, и просто — в оболочку как таковую, ведь равно свою и чужую, они должны ненавидеть. Особенно в нулевую эпоху им, кажется, так и не терпится разлучиться со своей земной оболочкой, единственно истинной. Видимо, хорошо понимают собственную ненужность — полынья-то бывает во льду, а какая полынья в половодье?

Третий был инженер, то есть исконный враг ноля. При этом именно он готовил гремучую ртуть для его расчистки. Он, конечно, считал себя необходимым, и к своим хлопущкам, годным только для уничтожения ничтожной нулевой телесности, относился еще как всерьез. Наивный, как большинство инженеров, он наверняка был уверен, что взрывает ноль. А как взорвешь ноль? Только прочно стоящее можно взорвать, а взрывай пустоту и получишь запустение, то есть ту же пустоту, но еще более вопиющую. А впрочем, кто знает, не приобретал ли тем самым ноль немного значимости, соответственно теряя немного нулевости?

Не знаю, может быть, он и вообще не был мне нужен, как не нужна была звучная метафора расчищения. Разве что всем продемонстрировать немощь этих хлопков. Или, не придавая нолю значимости, основательно его обозначить.

Инженер был исключительно добросовестен, и своей собственной телесности не пожалел. Однажды взлетел на воздух вместе с приготовленной для убийства другого ртутью. Это был могучий акт расчистки. Я как раз подходил к той гостиничке, как снесло полкрыши. А ведь еще десяток шагов и инженер почти бы своего добился, — без меня ноль был бы уже не совсем ноль.

Четвертым был я — ноль, то есть умолчание. А пятой была женщина. Их автор «Оболочки» как бы и не учел. А ведь, может быть, вся она

должна была быть именно о них, — женщина, как правило, не в оболочке, а сама оболочка и есть. Недаром «оболочка» женского рода. По крайней мере, для женщины вопрос оболочки еще важнее, чем для мужчины. Потому, хотя бы, что ее телесность разомкнута.

Не заключенные в оболочку несколько женственны, но только немногие женщины лишены оболочки, но тогда уже напрочь — одно голое нутро. Большинство женщин почти тождественны своим оболочкам, — это сплошная поверхность без нутра. Именно из женского материала и образованы крепчайшие из оболочек. Но оболочка ищет нутра, чтобы его охватить. Иногда это бывает нутро индивидуальное, но чаще ей охватывается какая-то общность, нутро идеи. Правда, иногда оболочка так прорастает вглубь, что ни для чего иного, то есть внутреннего, уже не остается места.

Лишенные оболочки часто нуждаются в женщине-оболочке. Мне она была тоже нужна для скрепления нашей общности. В эпоху ноля, по крайней мере, это была единственно возможная и надежная. И она умело нас охватывала, не давая истечь и растечься. Поэт был нутром, она была оболочкой. В покрытом оболочкой нутре, извиваясь, перетекали авантюрист и инженер, неотделенные, но выделяемые, а я невидимо пребывал. Оболочка эта была мрачно-траурная, отпугивающая, всегда в черном платье и, кажется, с белой розой в волосах, — а впрочем, без оной.

Теперь я попытаюсь припомнить сочинение моего друга, — не целиком, конечно. Оно ведь было какое-то водянистое, на тысячи две страниц, но стоило его отжать, как обнаруживалось десятка на три страниц его сути, — совсем немало. Многословными разъяснениями я пожертвую, — оставлю голый конспект, точнее, проспект, почти оглавление. Он был мастер изрекать, но не разъяснять. При этом не побоюсь ни умолчаний, ни отсебятины. «Оболочка» ведь эта принципиально разомкнутая, не исключаяющая, а включающая пограничную духовную материю. А вся ее сила именно в эластичности, — от включений она, думаю, не лопнет, — замкнутое в нее не утечет, со всех сторон охваченное немотой ноля.

## ОБОЛОЧКА

...Образуется она исподволь, с начала жизни до конца младенчества. Момент осознания оболочки — центральный в жизни тех, кому не дано пережить её прорыва. Конец изоляции, гибель изолированной

личности выходит за рамки человеческой судьбы, становясь фактом истории, пусть скрытым.

Прорыв оболочки — начало тяжкого духовного кризиса, который может закончиться либо рождением святости, либо победой зла. Основа святости в невозможности замкнуться в себе. Когда прорывается оболочка, исчезает понятие частного дела, разделение на «внутри» и «извне». Личное переустройство совпадает с переустройством мира. Однако, сам по себе прорыв оболочки еще не предопределяет святости.

Потерявший оболочку ничего не может укрыть от мира, но и мир не может от него укрыться. Его собственное, личное свободно изливается в мир, причем без приспособления, непосредственно.

Потерявший оболочку беззащитен перед миром, но и мир перед ним беззащитен. Заключенные в оболочку ограничены и в добре и в зле.

Личность укрывается от мира в оболочку, но таким образом и мир укрыт от личного, вносящего в него сумбур. Приказ создать оболочку идет от мира. Она заявляет о себе первой осознанной обидой, а затем все уплотняется и уплотняется, пока недоверие не отделит личность от мира непроницаемой корой.

Одновременно с оболочкой зреет и разум. В миг её осознания он впервые говорит «не», что-то исключает. И с того момента личность становится на путь разума, то есть исключения. В разуме сходится корысть мира с корыстью личности. Он проводит между личностью и миром взаимоприемлемую черту. Это и есть личностная обложка. Однако, тут корысть мира абсолютна, а о корысти личности можно говорить только, если мир необходим и вечен. Иначе Разум с большой буквы становится бескорыстным исследователем, а стелющийся по земле скорее пытается быть корыстным, настолько неглубока его корысть. Поднимаясь к своим вершинам, разум, лишаясь хитрости, не приобретает мудрости, так как путь мудрости — путь включений («да»). В наивысшей точке он — исследователь с примерно ясным предметом, но ложной целью.

Разум оставляет за собой цепочку минусов. Он не остановится, даже когда, пройдя весь путь отрицания, остается наедине с «я», единственным, что осталось. Казалось бы, возможен один только путь — назад, начинающийся поначалу только с робких «да». Однако, исследователю такой разворот перед глухой стеной покажется даже не «неразумным», а неэтичным — изменой и исследованию, и себе. При самоотожествлении с разумом так оно и будет.

Слить же частичные «не» в решительное и конечное «нет» даже в горячке отрицания случается не часто. Поэтому, как правило, ни «нет», ни даже робкого «да» не говорится. Снова звучит «нет», но уже нерешительное. Однако, чистое исследование на этом заканчивается.

Силу впервые сказать «да» дает только явление подточившей оболочку мудрости. Мудрость зарождается в чистом духе, образующем нутро личности. Разум — в духе, приспособленном миром, огрубевшим в оболочку. Разум загоняет мудрость вглубь, в не соприкасающееся с миром нутро, где у незнающего чужого, не может явиться целей укрывать или отвоевывать, в отличие от разума, который находится как раз на линии раздела.

Лишенный оболочки соединен со всем, поэтому нуждается не в разуме, а в мудрости, которая умеет копить без укрывательства. Накопительство разума — расточительство. Сколько ни вбирай, снаружи окажется больше. Спасая личное от посягательства, он так же отказывается от дара.

Мудрость своими «да» стремится охватить пространство духа, разуму его «нет» нужны, чтоб захватить пространство мира. Разум агрессивен, так как направлен на мир, где и душевное приобретает свойства материи — тяжеловесность, навязчивость и взаимоотдаленность. Мудрость радушна, так как живет в духе, не знающем давления.

Мудрость зарождается в глубине, потому что сознание почти целиком заполнено разумом. Способное породить мудрость составляет внутреннее ядро личности и оттуда может управлять поступками и даже чуть осознаваться, но явиться в сознании целиком, вытеснив оттуда разум, может только после падения оболочки.

Первое чувство после падения оболочки — паника от полной беззащитности. Пали стены, а привыкший к расточительному скопидомству разум по-прежнему ничего не желает отдавать. Не привыкший к простору, он готов попытаться создать хотя бы подобие стен. Привычный вбирать самоограничиваясь, он не может вбирать отдавая.

Падение оболочки — самый драматический момент в жизни величайших, превращающийся в драму мировую. Разрыв оболочки может предвшаться предчувствием, может стать результатом более или менее осознанной работы духа, но может оказаться и внезапным. Тогда это — разрыв личности во времени и Апокалипсис разума. В первом варианте: разрыв оболочки — исход конфликта между разумом и мудростью, в последнем — его начало. Это опаснее: тут

драма может обернуться трагедией, разрывом с реальностью мира. Тем, что зовут «безумием», хотя это состояние, скорее, без мудрости, чем без ума. Благополучный исход — не отвержение мира, а его перестройка по законам духа.

Соединение мира и духа после падения оболочки может обернуться их бесплодной, взаимопарализующей борьбой. В то же время представление об их несовместимости ложно. Дух, будучи, казалось бы, не от мира, может хорошо в нем ориентироваться. Мир для него не конечная цель, но движется он по путям мира. К тому же, без этого было бы невозможно учительство. То, что ведет личность по путям мира к цели, находящейся вне его, называется мудростью.

Но бывает, что при падении оболочки не происходит ни разрыва связей с миром, ни их видоизменения. Это может стать трагедией не только для личности, но и для мира. Привыкший подменять духовное материальным способен заменить духовное освоение захватом. Исчезновение грани, отделяющей от всего, переводится им в материальный план и возникает страсть к преодолению всех границ мира. Родается не свобода, а своеволие — желание не слиться со всем, а все сделать собой. Здесь, возможно, повинна привычка к уединению, но теперь не в оболочке, а во всем мире, где исчезло все другое.

Возможная агрессивность лишнего оболочки — от страха перед миром. Не имеющий возможности защищаться, он будет нападать. Не умея подчиниться, если подчинение — корректировка оболочки, подчинять. Если оболочка пала, а мудрость еще слаба, его положение на самом деле опасно. Но опасен для него не мир, который страшен только в миру, а беззащитность перед злом. Это опасно и для мира, перед его злом в свою очередь беззащитного.

Падение оболочки означает наивысшее доверие, бесконечное расширение поля деятельности. Потерявший оболочку волен вносить в мир свое, и вряд ли кто определяет меру вносимого им добра и зла.

После внезапного падения оболочки разум, хорошо ориентирующийся только в ограниченном и отграниченном, сразу теряет силу, но не сразу власть. Привычка жить по разуму заведет еще во много тупиков, прежде чем он дойдет до своего конечного пункта — самоотрицания. Дальше он, конечно, двинуться не сможет. Овладевший всем сознанием и даже проросший вглубь, он способен с собой вместе перечеркнуть всю личность в целом. Сознание же, не окончательно поработанное разумом, способно отказать ему в претензии на самостоятельность.

В период, следующий за падением оболочки, возникает настоятельная необходимость понять, что мысль — не вся личность, а лишь часть, притом, незначительная. Сознанию предстоит изыскать, а тем самым хотя бы частично осознать в личности нечто лишённое мысли и признать за ним право на существование в этом качестве. Таким образом, в сознании появятся сокровенные пустоты, пусть только гипотетические. Оно избавится от полного совпадения с разумом, что даст ему возможность хотя бы частично изменить направленность — направлять активность не только вовне, но и внутрь, не только мыслить, но и сознавать, для чего оно и предназначено.

Могучий своими «нет», когда пришла пора говорить «да», разум стал не нужен, даже вреден. Впрочем, разум сложен и многослоен. Здесь стоит выделить только два, различающихся по степени той самой вредности. Разум-1, собственно разум, присутствующий изначально, и Разум-2, формирующийся в течение жизни нарост на нем. Разум-1 — личность в мире, Разум-2 — мир в личности. У Разума-1 та же направленность, что и у духа — в мир. Точнее, это опошленная и приспособленная миром часть духа, приобретающая в силу этого подобие собственных целей.

Проходя через зону разума-1, дух теряет свои главные свойства, в первую очередь — способность к независимому творчеству, приобретая взамен полезные миру. Обработка духа разумом гарантирует миру безопасность, соответственно и мир гарантирует безопасность неопасной ему личности. Разум-1 — компромисс между миром и духом, более выгодный миру.

Разум-1 все же не так вреден, как Разум-2. Будучи частью духа, он способен к благотворным изменениям. Не исключено, что мудрость — трансформация разума-1, разум очищенный, научившийся равно прислушиваться и к духу, и к миру; вносящий дух в мир измененным, но не искаженным. По крайней мере, выдвинувшаяся в сознание мудрость там занимает именно его место.

Разум-1 может быть помехой личности, но образован он из материала, ей не враждебного. Если он не окончательно развращен миром, то после падения оболочки, он способен отречься от ложных целей и помочь благополучно завершить переходный этап. Разум-2 во избежание несчастья должен погибнуть.

Направление Разума-2 — обратное Разуму-1. Это оценка личности миром, маскирующаяся под самооценку. Не глубин, конечно, а оболочки, но стремящаяся проникнуть как можно глубже, тем са-

мым оболочку утолщая. Именно Разум-2 развращает выходящий на поверхность слой духа, превращая его в личную оболочку, цемент которой — Разум-1. Разум-2 осуществляет диктат мира над личностью. Он стремится высосать из нее все нутро, оставив одну оболочку, только и доступную взгляду мира.

В Разуме-2 овеществлен взгляд мира на личность, который при пассивности духа может стать единственным доказательством реальности ее существования. Уважение личности к Разуму-2 основано на страхе исчезнуть, раствориться во всем.

Обращение Разума-1 вовнутрь полезно, Разума-2 — нет. Разум-1, по крайней мере, изначально не знает долженствования. Внутрь он обращается, чтобы осознать. Взгляд Разума-2 на личность всегда тягостен, это взгляд осуждающий — дух никогда до конца не будет соответствовать миру, не будет им полностью признан.

Разум-2 возникает позже Разума-1. Каждый рождается с зачатком Разума-1 и без следов Разума-2. С его возникновением намечается оболочка, но пока Разум-1 сильнее, она слаба и проницаема. Осознание, даже неполное, оболочки совпадает с признанием равенства между обоими разумами. С этого момента личность лишена прежней свободы, обречена жить под тяготящим взглядом мира. Оболочка призвана укрывать от мира не устраивающее его духовное нутро. Образуется она на стыке двух разумов.

Состояние равенства длится недолго. Постепенно все больше устанавливается главенство Разума-2, и личность уже больше прислушивается к миру, чем к духу, который сильнее, но менее навязчив. Разум-2 может достичь исключительной силы и окончательно отвлечь разум-1 от духа, навязать ему интересы мира.

Разум-1 вылепливает Разум-2 из материалов мира, точнее, это его отражение в кривом зеркале мира. Затем творение обращается на своего создателя — начинает вылепливать свой образ в огрубевшей зоне духа. Кривое отражение становится идеалом, и Разум-1 стремится слиться с Разумом-2, обладающим куда большей, чем он, разумностью. Это движение уплотняет оболочку.

Агрессия Разума-2, направленная вовнутрь — зеркальное отражение агрессии Разума-1, направленной вовне. Такая взаимонаправленность не означает в данном случае вражды. Она необходима для создания и укрепления оболочки, необходимость которой равно признается обоими разумами. Максимальное их сближение соответствует наибольшей плотности оболочки. Полное же их слияние маловероятно. Разум-1 может всю жизнь прогоняться за собствен-

ным отражением, не достигая. Зона несовпадения разумов — место, где может зародиться мудрость.

Разум-1, приобретший качества мудрости, равно направлен и внутрь и вовне, но не для действия, а для осознания. Он пассивен, у него нет целей ни в мире, ни в духе. Активность он оставляет духу, и только увлекаемый его движением входит в мир. Полностью успокоенная сфера Разума-1 — место благоприятного соединения духа и мира. Если после падения оболочки Разум-1 не пожелает совместиться с духом, освобожденный дух сметет его.

Трудность изменения ориентации разума в том, что он не может прийти до нее собственными средствами. Здесь нужно будет пройти через разрыв мышления, соответственно, при обычном самоотжествлении с мыслью, через разрыв существования. Переживший такой поворот — пережил собственную смерть. Колеблющийся может и многократно. Пусть это всего лишь смерть разума. Но и в физической смерти только этого и страшатся.

Дух смерти не боится, как не боится смерти не осознавшее себя, не являющееся для себя объектом. Уникальность личности без оболочки только в единственности ее положения относительно Бога, в этом ее отдельность, хотя и неотделенность — она сливается со всем, но не растворяется во всем. Духовная личность бессмертна, так как ее положение относительно Бога сохраняется, пока существует Бог, то есть вечно.

После падения оболочки только для Него она и остается объектом, а не для мира и не для себя. Разум твердо знает, что перестать быть объектом, значит перестать существовать. Разум не нуждается в Боге. Для него Бог — мир. Дух не знает разрывов. Разум не желает знать. Смерть страшна только в миру и для мира. Разум-1 может заразиться страхом мира, но духовное в нем помогает их преодолеть.

Почти для всех личностная оболочка исчезает только со смертью — трагедией всех и всяческих оболочек. Перенесший, преодолевший и осознавший падение оболочки при жизни навсегда теряет страх смерти. Изменение ориентации после падения оболочки и есть смерть, конец мнимой, отграниченной жизни и начало настоящей, переход через разрыв, скачок. Физическая смерть такого будет уже плавным переходом. Скачок возможен лишь однажды.

То, что при жизни доступно только величайшим, после смерти становится судьбой каждого. В этом всеобщее равенство. Смерть — прыжок в гениальность. Потеря оболочки при жизни означает осо-

бое доверие. Она допускается только у тех, кто способен преодолеть мир, находясь в миру.

Один из обычных путей потерявшего оболочку — творчество в материале искусства. Этот способ не непосредственного духовного творчества, если и не ошибочный, то промежуточный, попытка все-таки включить в себя в мирские рамки. Это последний совет разума своим безнадежным ученикам.

Искусство — скважина духа, но облаченная в камень — официальный колодец духа. Это заповедник для лишившихся оболочки. Там и они в относительной безопасности, и миру они почти не опасны. Сделанное ими — дань миру, который способен использовать все, даже неотмирное. В отсутствие достойных этот отстойник заполняется шарлатанами, но для достойных это даже благо: именно те его оберегают, превращают в отделенную зону — безграничные держать границу, разумеется, не могут. Правда, шарлатаны творцов туда просто бы не пустили, но вынуждены, так как наивность мира велика, но не безгранична.

Путь искусства вряд ли неугодный, но компромиссный. Не каремый отказ выполнить волю, но самоограничение. Падение оболочки открывает возможность непосредственного творчества во всем, привнесения; а ведь только лишенный оболочки способен привнести.

Для лишенного оболочки время становится врагом, по крайней мере, пока не изменится отношение к нему. Раньше их взаимоотношения регулировали разум, для которого время заключается в «успеть — не успеть». Но успевать надо отграниченному, объединенному со всем успевать некуда. Время борьбы и захвата умирает вместе с разумом, как и боязнь не успеть.

После падения оболочки личность мучительно привыкает действовать в вечности — во времени, но вне «успеть». Пока это не удастся, для лишенного оболочки время будет жить только в стрелке часов. Ему будет казаться, что оно вообще остановилось, на самом же деле время потеряло для него мирскую важность, а время духа еще не внедрилось в сознание. Противоречие стоящего внутреннего времени и бегущей стрелки тягостно. При не искорененной установке на мир лишенному оболочке остается только ждать, пока пройдет вечность. Его скука — не мирская, проходящая, а уходящая в вечность принципиальная невозможность заполнить время действием, ни даже бездействием. Она исчезает только, когда погибнет Разум-2. Тогда время будет изъято из часов и сольется с духовным нутром личности. Духов-

ная личность станет временем, а время перестанет быть идеей: она будет жить во времени, не осознавая этого.

Дело разума составлять разнообразные карты мира с обозначением опасностей, поворотов, обходов. Это и называется приспособлением к миру. Для разума мир полон опасностей, чтобы избежать которых, он скривляет все пути. Дух прям, хотя и не прямолинеен, разум — извилист. Он потому и разум, что полагает непрямой путь безопаснее прямого. С созреванием личности (в миру) все больше искривляются ее пути. Полная зрелость наступает с определением идеальной кривой.

С падением оболочки теряют ценность все карты, составленные разумом, и все расставленные им в миру ориентиры. Боязнь прямого движения, однако, остается. С падением оболочки бывают дезавуированы принципы скривления, но не принцип скривления. Пути будут скривляться произвольно, а так их гораздо трудней распутать. Их скривляет страх, а он нарастает.

Для разума дух наивен, так как не осознает себя через мир, не видит собственного отражения. В миру это признак наивности. Наивными кажутся святые и пророки — они не обладают разумностью: умением идти непрямым путем. Разум — искривленная часть духа, часть духа, потерявшая наивность.

Казалось бы, прямой путь самый естественный. Но у мира свои представления о прямизне. Труднее всего потерявшему оболочку именно научиться идти прямо. Поначалу он постоянно будет наткаться на остатки стен, возведенных разумом и разрушенных духом. Для того чтобы распрямились пути, нужно осознать, что мир опасен только в миру, а духу мир не опасен. Как святой ни наивен, но пытающийся защищать крепость с рухнувшими стенами от несуществующего врага, наивен еще больше, даже и с мирской точки зрения. Разум скривил пути, потому что ему приходилось лавировать между личностями-крепостями. Для лишившегося оболочки и чужие стали проницаемыми.

После падения оболочки величайшие уходили в пустыню и там оставались, пока в них не созревало новое слово, когда их связи с миром организовывались по мудрости, а не по разуму. Пустыня — это не там, где песок, а там, где пусто. Их широкий горизонт распрямляет пути. Там нет дорог — обязательных путей, нет предметов, которые нужно огибать. В пустыне мир минимален. Лишившись наружного, разум поневоле обратится внутрь, станет больше прислушиваться к духу, чем к миру, который в пустыне теряет большую

часть своей навязчивости. Там Разум-2 захиреет от своей неприменимости, в отчаянии заселив пустыню призраками.

В пустыне до сознания начинает доходить только голос духа, больше не заглушаемый разумом, который необходим только тогда, когда надо петлять. Пустыня — метафора пустыни духа, в которой придется блуждать потерявшему оболочку. Пустыня проста, не поделена и не изучена. Он уходит туда, принося с собой мир, который обречен на гибель, а потом возвращается в мир, принося с собой пустыню.

Лишившийся оболочки испытывает чувство потери себя. Направленный на мир, он признает существующим только заключенное в оболочку, отделенное от другого. Это в отличие от — того. Себя он привык осязать только отраженным в миру, и теперь ему предстоит осознать, что исчезла не личность, а личина — отражение в мутном и неверном зеркале. Духовное нутро личности не способно отразиться в зеркалах — они отражают только оболочку. Потерявший оболочку перестает быть объектом, остается субъектом только. Падение оболочки во многом похоже на смерть, а смерть, в свою очередь — падение всех оболочек. О разрыве умершего с зеркалами говорит обычай их завешивать, когда в доме покойник.

Переставший быть для себя объектом уже не способен на самонаблюдение, только на самосознание, не знающее критики. Мудрость знает, что дух всегда прав и говорит только «да», так как любое «нет» искривляет путь. Задача мудрости — распрямлять мирские пути, устраняя препятствия для духа.

Для потерявшего оболочку невозможны приостановки, покой ему больше недоступен. Действием становится и его бездействие — теперь уже не ноль, а минус, отказ исполнить волю, грех, приводящий к дурным последствиям.

Найти себя потерявший оболочку, может только осознав, что тождественность самому себе гарантирует не одна оболочка, позволяющая делить движение на моменты покоя. После падения оболочки непрерывность и уникальность личности заключены в непрерывности ее пути к Богу. Не идти к Богу для нее — гибель, распад, хаос. Для живущих в миру ложь ценнее истины, так как ложь — истина мира. Ложь — материал, из которого он вылеплен. Когда с него пытались сорвать покров лжи, находили не истину, а пустоту. Не пустоту духа, а пустоту мира — ничто. Бог в миру нужен, но не ценен. Ценнее — кумиры, ложные его отражения в зеркальных осколках мира. Он цель мира, но не цель в миру.

Личностная оболочка сделана из лжи, часть которой — бывшая правда. Потерявшему оболочку ложь уже не защита, и ни один ку-мир не поможет.

Лишившийся оболочки перестает существовать для мира, так как взгляд мира способен охватить только оболочку. Однако навязчивый мир не отказывается от пристального разглядывания. Так рождается фантом, продолжающий свое ложное существование в миру. Это не символ жизни личности в духе, а всего лишь ложная догадка мира.

Взгляд мира теряет для лишившегося оболочки какую бы-то важность, поэтому Разум-2 обречен на гибель. Он создает форму, а с исчезновением оболочки форма становится невозможна. Как после физической смерти, так и после падения оболочки, миру остается оболочка без нутра, форма без наполнителя, постепенно разрушающаяся из-за своего равнодушия к миру.

Лишенный оболочки вызывает страх у заключенных в оболочку. Отсутствие строго отграниченной сферы принимается ими за безграничность претензий. С ним невозможно общение в мирском понимании, то есть установление взаимоприемлемой границы. Общение в миру — не слияние нутра, а состыковка границ. При сближении с неотграниченным, отграниченные крепят свои оболочки.

С падением оболочки личности возвращается простота, так как дух прост и единообразен. Просты и его цели, только мир их дробит. Оказываются простыми и его связи с миром. Стоит распрямить мир, как станет очевидной его подобность духу: дух, сотворивший его, ничего не мог ему придать, не заключенного в его собственной природе. Мир не то место, где пути должны скривиться, а то, где они скривлены. Скривление путей — ложное перетворение, произвол разума. Познание добра и зла породило первое «нет».

Материя — защитная корка духа. По аналогии с ней формируется и духовная оболочка, куда более прочная. Обе они навязывают части самостоятельность, отделенность от целого.

Язык — цемент личностной оболочки. Он результат бесконечных «не» и «нет», без которых был бы невозможен. Сотканный из различий и различений, он не способен привести к единому, собрать целое. Дух не знает языка, хотя нельзя сказать, что он бессловесен. Однако все человеческие слова он сливает в единое слово. Когда говорит чистый дух (речь пророка), его речь — единство умолчаний, его слова — объединенные символы духовных пустот, земные, пусть и неполные отражения начального Слова, а не результат его дробления.

В любом высказывании больше отрицания, чем утверждения, поэтому лишившийся оболочки не должен пользоваться языком, но вправе использовать изъятые из языка слова, оставленные ему в наследство погибшим разумом. Заключенный в оболочку — раб языка. Язык — слепок с разума, разум — слепок с языка. Лишившийся оболочки обязан выйти из-под власти языка. Язык предшествует личности, дух управляет словом. Однако, окончательный разрыв с языком в миру невозможен. Это исключило бы учительство. Любая связанная или псевдосвязанная речь сохраняет языковый оттенок, что не отрицает ее внеязыковой ценности. Лучший пример — молитва.

Слово породило мир, язык рожден миром. Это ложное отражение Слова в миру. Мир раздробил Слово на слова, но каждое из них хранит память о прежнем единстве, язык же навязывает им законы мира. Аналитичность языка мешает выразить единое духа, но синтетичность слова делает это возможным.

Речь пророка — не слова, а слово. Как любое выражение духа, она не дробима. Недробимо и обращение к Богу. Молитва становится собственно молитвой только после срастания в нерасторжимое единство. Тогда она уже не допускает перестановок, что доказывает ее нераздробленность и недробимость.

Духовное не выдерживает проверки логикой, но и не терпит от этого никакого ущерба, оставаясь полыньями духа в скованном логикой мире. Оно неотмирного происхождения, потому существует не в языке. Языка требует мир, разрывающий истинные связи и навязывающий ложные. Образовавшаяся ложная структура и называется языком. Осколочному миру нужна хотя бы иллюзия связности. Дух в этом не нуждается. Только связанное в миру и с миром получает его «добро». Идущее не от мира продолжает, однако, существовать и без его разрешения.

Все языковое (мирское) становится понятнее от изучения. Для того, чтобы понять неотмирное, надо не учиться, а забывать. Цель духовного высказывания — не разъяснить, а указать. Поскольку его предметность и языковость — мнимые, его смысл не прояснится от вдумывания. Однако духовное нутро способно ощутить его непосредственно, не соотнося ни с какими реальностями мира. Как целое — целое. Раздробленное пророчество теряет всякий смысл.

После падения оболочки дух начинает отовсюду вытеснять разум. В результате образуются словесные пустоты, которые при установке на мир-язык, потерявший оболочку может принять за жизненные,

временные. Только изменив установку, можно сказать, что эти разрывы языковой пленки и есть настоящая жизнь — пустоты духа.

Потерявший оболочку не может таиться, но его открытость оберегает его лучше самой плотной оболочки. Заключенные в оболочки могут представить себе самую сложную кривую, но бессильны осознать прямую. Совершенно проницаемый в большей безопасности, чем совершенно непроницаемый. Личностные оболочки приобретают свойство материи — несокрушимость, но сокрушаемость, в отличие от несокрушаемой пустоты духа. Для того, чтобы скрыть в миру, бессмысленно таиться. Поскольку укрывающий — разум, то будет скрыта не основа личности — нутро, а одно из отражений в миру, пусть самое навязчивое. Толковому взгляду — он редок, но возможен — по тому, что и как скрывается, проще добраться до сути, чем изыскивать ее самому. Здесь, мешая, скорее поможешь.

Если потерявший оболочку идет своим путем — прямым, а не виляет, опасаясь мира, его путь для мира почти непознаваем. Относительно кривых мира, прямая — наикривейшая, самая изошренная из всех возможных кривых. Лишенный оболочки должен идти прямым путем в пустоте духа, без слов. Слова уточняют кривые.

Падение оболочки и слияние со всем — судьба всех. Лишенный оболочки среди не лишенных — испытание и тем и другим. Это разрывы оболочки мира, которой он отгораживается от духа, прорыв духа в мир. Лишенные оболочки играют как бы провоцирующую роль. О чем бы ни шла речь — она о низвержении оболочек.

Сам факт, что в скованном оболочками мире существует нечто лишенное оболочки, служит отрицанием общей необходимости их возводить. Лишенные оболочки всегда были ориентирами для остальных. Правда, их часто начинали ценить, когда их уже не было рядом. Погубленные заключенными в оболочку, они потом ими же и возвеличивались. Требовалась временная даль, сливающая их слова в единое слово, вытравляя из них сиюминутный смысл.

Языковость сбивает с толку. Она толкает искать объективное не там, где его можно найти. Объективное только в Боге, а истинное — на прямой личность-Бог. Только лишь этой совершенной прямой проверяется верность пути. Долго геометрию духа переносили в мир, теперь делают обратное.

Слиться личности с идеальной прямой мешает скривитель-разум. Этот идеальный путь — указатель направления, но реальным путем он никогда не становится.

Разум загромождает прямой путь множеством опасений, часто этических, хотя добро и зло отмеряется только от него. Ориентированный на мир разум не способен на верные оценки. Так на волне верного движения души в сознание может проникнуть дурная с его точки зрения мысль. И наоборот. Мысль — только барашек на гребне волны. Сколько раз бывало, что мутная волна вносила в сознание многих, казалось бы, благую мысль.

При переоценке сознания. путаница барашка и волны неизбежна. Казалось бы, для волны безразлично качество барашка, но в миру мысль приобретает навязчивость, она способна увлечь дух на пути мира. Мысль, сопровождающая движение духа, просто дурная привычка, необходимое обозначение его бесплотных порывов. Однако же она стремится сковать его свободу, навязать духу свой закон. Между волной и барашком идет постоянная борьба. Мысль стремится развиваться по законам мира, которые дух не признает. В результате ближнее и дальнее для них оказывается разным. Спротивляясь мысли, дух глумится над логикой мира, выворачивая ее наизнанку.

В искривленном пространстве мира возникает иллюзия, что путь мышления истинно прям, а прям он только относительно кривизны мира. Пути духа и мира настолько различны, что признав один прямым, следует неизбежно признать другой кривым, но мир на это не идет. Он странным образом сливает реальность с долженствованием. Именно здесь берут начало парадоксы.

Попытка подчинить личность, лишенную оболочки, логике ведет к дроблению ее духовной жизни. Разум признает только точки пересечений кривой логики с прямой духа. В одни эти моменты жизнь считается истинно реальной. Остальное — жизненные пустоты: дух не находит одобрения в логике, логика — в духе.

Упорствующий в логике попадает в лапы мелкого беса — отца парадоксов. Именно он совершает обращение — прямота кажется кривизной. Возникает чувство, что дух рушит гармонию логики, а не наоборот.

Бывают случаи, когда мысль окончательно побеждает дух, и наступает торжество логики — мирского, объективного, чужого, не собственной, а заемной жизни. Личностная оболочка не мешает соединению с миром. Лишенному оболочки заемная жизнь ни к чему.

Мысль направлена на выявление и перераздел уже существующего, по своей сути общего. Привнести она не способна. Полное по-

знание — окончательный отказ от своего. Дух привносит и безвозмездно отдает собственное.

Логика — прекрасное орудие в миру, высшее достижение здравого смысла. Прямой дух несоразмерен искривленному миру. Избыток духа путает кубики мира. Однако, прорывы духа в мир редки.

Лишенные оболочки и есть такие прорывы. Они лишены здравого смысла. У заключенных в оболочку они вызывают тревогу, сомнение в прочности основных ориентиров мира. Безбарьерные личности расшатывают здравый смысл и потому иногда считаются насмешниками или парадоксалистами. Но смех бывает двух родов: мира над духом и духа — над миром. Причина и того и другого — разнонаправленность, несоотнесенность того с другим. Как мир может высмеивать логику духа, так и наоборот. Поверка духа логикой мира вызывает смех, поверка мира духом — также.

Смех духа всегда заемный, в себе он совершенно серьезен. Чтобы найти повод для смеха, ему надо выйти в мир. Потому смех духа мирской из мирских, не тонкая улыбка, а утробное ржание. Смеющийся всегда находится в миру, вне зависимости — дух или мир для него точка отсчета. Смех — всегда в миру и для мира. Он может разрушать или крепить, но в миру, а не в духе.

Смех мира безразличен потерявшему оболочку, так как он лишен зоны, которую можно высмеивать, высмеивается лишь его фантом. Когда мир одолевает дух, смех нарастает, когда дух одолевает мир, утихает. С полной победой духа, с падением всех оболочек смех прекращается вообще. Смех предполагает объект, если даже объект — ты сам. Когда все сольется воедино — некому и не над кем будет смеяться.

Духу, прорвавшему оболочку, свойственна радость без смеха. Радость от соединения, слияния «да». Смех всегда предполагает разделение и сопоставление. Смех связывает несвязность картины мира. Он обозначает разрывы мирской логики. Даже добродушный, он всегда заносчив. Смех юродивых — эхо мирского смеха, смех мира над духом, возвращенный миру. Объединению сопутствует тихая радость. Смех агрессивен, он крепит оболочки, сопутствует обособлению. Смех возникает всякий раз, когда мир сталкивается с духом.

Взрывом смеха, пусть и неслышным, начинается отход от мира, как и ренегатство в мир. Смех всегда что-то отрицает, поэтому в нем заключена горечь. Это средство защиты. Один из скрепителей оболочки. Смех — следствие иерархии. Где нет иерархии — нет и смеха.

Смеемся — теряют, радуясь — приобретают. Поэтому веселье духа не знает смеха.

Лишенный оболочки обречен на одиночество. Общение в миру — состыковка оболочек. Они не объединяют, но соединяют. Охвативший все, естественно, одинок. У него нет собеседника, кроме Бога. Даже он сам, после гибели разума-2, себе не собеседник. С другими у него образуются новые, не мирские связи. Отрешившемуся от мирских законов не важны ответы мира. Для заключенного в оболочку жизнь — диалог с миром, для лишенного — диалог с Богом, относительно же мира — монолог. Проповедь не предполагает ответа, молитва — предполагает.

Лишенному оболочки мир не может отказать, хотя бы потому, что он у него ничего не просит. Диалог всегда борьба, колыхание взаимной границы. В диалоге колобродят «да» и «нет», а лишенный оболочки не знает «нет». Это почти сексуальное трение оболочек в миру называется общением. С лишенным оболочки возможно лишь слияние. Проповедь не допускает расчленения. Ответом на нее может быть либо произнесенное «да», либо полное «не». Она принципиально антидиалогична. Только история может вести с ней диалог. Проповедь лишена разумности, поэтому разум не может ее опровергнуть. Временная даль нейтрализует разумное. Расчлененная проповедь — скопище парадоксов.

Разум требует диалога. Дух же безответно направлен в мир, который не способен ни подчинить его, ни ограничить, ни направить. Никто в миру не может помочь лишенному оболочки. Но оставленному людьми, ему еще предстоит пройти через богооставленность. Развеются ложные отражения Бога в оболочке мира, и привыкший искать Его только там, может на время потерять Его образ. С падением оболочки начинается тяжкая работа — поиски собственного пути к Богу в пустынном пространстве духа. Это и право и необходимость лишенного оболочки.

Лишенный оболочки не направляем никем. Его путь лежит по неисследованным равнинам духа. Не в загрубевшей нынешней реальности, а в податливой будущей. Его движение создает новую реальность. Он не чувствует давления жизни. Не она его формирует, а он ее. Не он — результат усилий жизни, а она — результат его усилий. В отличие от заключенных в оболочку, для него жизнь податлива и ненавязчива.

Однако, с течением времени, и его жизнь загрубеет в культурное явление, станет каменоломней для желающих укрепить оболочки.

Но это ожидает результат его трудов, а не само движение, в котором вся ценность его пути. Оно — единое и нерасчленимое — пример, провокация. И сила примера не выветрится, даже когда путь окончательно омертвляет в догму. Это участь любого духовного движения в миру. Оторванный от движения результат служит целям противоположным движению.

Для заключенных в оболочку ценен только результат движения. Это строительный материал для укрепления барьера. Порыв, разрушающий здравый смысл, остыв в продукте, служит для укрепления здравого смысла же.

Для лишенных оболочки в его предшественниках интересен не инертный, навязчивый результат, а именно движение духа. Их пути ценны для него не как ориентиры, а как прецеденты. Он умеет обнажать скрытое под корой результата духовное нутро.

Стоит расколоть эту скорлупу, как под ней обнаружится увлекающее за собой движение. Мир полон такими живыми камнями. Даже — весь он состоит из окаменевших порывов духа. Потому он не прочен, а псевдопрочен. На падение оболочки он отвечает истечением духа, и вдруг все ответы снова становятся вопросами. Мир обнаруживает свою зыбкость, отсутствие окончательных истин, следовательно — настоящего строительного материала. Мир вынужден использовать для своих построек материал, для этого не годный. Мир — опошленный дух. Освященные духом, оживают мертвые камни мира. Мертвость — не присущее им качество, она навязана миром, это желание мира.

Разум — устроитель преград. Его стремление к благополучию связывает порывы духа. Благополучие невозможно без иллюзии понимания. Мир сложен из плохо состыкованных камешков, меж которыми изливается дух, как лава из кратера. Охлажденная разумом, она застывает. Однако, благополучие мира — благополучие на вулкане, потому что такие прорывы происходят постоянно.

Мир тяжел, и в миру все тяжелеет. Тяжесть в миру — категория оценочная. Слово «легковесный» имеет отрицательный оттенок. В миру непроницаемости материи отдается предпочтение перед проницаемостью духа.

Дух — враг всего сковывающего. Он отрицает все людские объединения в миру. Лишенный оболочки — всегда одиночка, он неуловим и неорганизуем, при всем желании отдать кесарю кесарево. Путь его пролегает не в миру, а в бесплотном пространстве духа, в словесных пустотах и истинной жизни.

Дух проходит через словесные пустоты, оставляя за собой новое слово, которое потом дробится миром на слова и растаскивается для повседневных нужд. Так дробится и опошляется единое духа. Мир терпит лишенных оболочки, так как движение их миру вредно, но создание полезно. Они разбрасывают камни, мир их собирает.

Однако дух сильнее. Постепенно от его прорывов ветшает мозаичный монолит здравого смысла. Только прорывы духа делают мир опасным. Если бы не они, знание давно изгнало бы из мира страх. Его порождает только проникновение духа в мир. Ни в духе, ни в миру по отдельности его нет. Дух прям, мир прямолинеен. Дух только кажется беззащитным перед миром. Мир на самом деле перед ним беззащитен, так как дух победит, а мир погибнет.

Мир, пока у него хватает сил, будет выставлять барьеры против прорывов духа, но в борьбе с духом он обречен. Путь разума — лавирование между окаменевшими глыбами духа. Мир кончится там, где кончится извилистый путь. Распрявленный, он потеряет свою силу, сольется с духом, исчезнет.

Мир не больше, чем колебания духа. Он силен изгибами, но погибнет от собственной сложности. Когда все пути перепутаются, он вспомнит о прямоте духа.

Укрепляющие собственные оболочки стремятся не защитить свое, а укрыть чужое. Само укрытие говорит о сомнениях в праве владеть укрываемым. В миру стремятся захватить, укрыть созданное другими, собственное же не ценится и не укрывается, потому что не может быть отнято. В глазах заключенных в оболочку имеет ценность только то, на что претендуют другие. С тем же, что представляет истинную ценность — единственность пути к Богу, он может легко расстаться. Он копит и материальное, и духовное, но от истинного стремится укрыться сам.

Дух не предмет. В миру он бесполезен, разве что после того, как окаменеет. В миру стремление к общему разъединяет, к индивидуальному — объединяет. Индивидуальное лишенной оболочки — не вещь, а единственность пути. Поводом для раздора служат только предметы.

Лишенный оболочки отдает свое. Все прочие укрывают чужое. В духе нет права собственности: твое принадлежит всем и тебе принадлежит все. Лишенный оболочки умножает не общее, а всеобщее. Духовное нельзя ни продать, ни купить. Его можно только подарить или получить в дар. Но оторванный от личности духовный путь становится вещью, приобретает мирскую ценность, почти цену, так как

он пригоден для сооружения и укрепления оболочки. Оболочки нужны всему, что существует в мире, — и лицам, и группам, и идеям. Лишенный оболочки — со всеми сразу, а значит один.

Бессмысленный поступок рушит будущее, предопределенное прошлым. Он вырывает личность из замкнутого круга логики. Это выход из мира, но еще не переход в дух. Часто — юродство без святости, своеволие. В равной степени произвол и над миром, и над духом. Потеря без компенсации. Такая личность подвергается наибольшей опасности. Утерев связи с миром, она не находит поддержки в духе. Это состояние, как правило, промежуточное, но тянуться может бесконечно.

Такая личность разрушает мир без союза с духом. Она вносит в мир одно только зло.

Сам по себе мир не хорош и не плох. В уравновешенном состоянии он не стремится к увеличению зла. Однако зло — его строительный материал, обойтись без него мир не может. Переизбыток зла для него так же губителен, как и недостаток. Оболочка одновременно и защита от духа, который вносит только добро, и от зла. Зло — вязкий раствор, склеивающий камешки мира. Чем больше строительство, тем больше его требуется. Если самовольно рушить оболочки, в проломы хлынет зло, а не добро. Пробивать оболочки может только дух. Ко всему существующему нужно относиться бережно, тем более, что глубинные причины скрыты. Сломаешь вроде бы ничего не поддерживающий столб, а рушится кровля.

Оболочки не противоречат намерениям Бога. В настоящем мир не может без них обойтись. Падут оболочки только тогда, когда его победа над злом будет предопределена. Однако и тогда падение оболочки разом будет всемирной катастрофой. Начнется парад зла, но уже обреченного на гибель.

Лишенные оболочки — люди будущего. История человечества — история приспособления оболочек и меняющейся жизни. Но в ней прослеживаются разрывы, прорывы духа, до поры затягивающиеся. Конечно, падение оболочек не затянется — всего зла мира для этого не хватит. Тогда всем придется искать Бога в пустыне без проложенных путей. Как обещание будущей свободы лишенный оболочки привлекает, как обещание будущих мук и трудов — отталкивает.

Оболочки ограничивают зло. Без них оно растеклось бы по всему миру. Причина оболочек — страх. Страх же удерживает от зла, он же и порождает зло. Потерявшему оболочку нужно в первую очередь отрешиться от страха. Оболочка спасает от страха открытости, но не

от страха открыться. Имеющий оболочку боится ее потерять. Смелым может быть только неукрепленный. Лишенный оболочки либо всего боится, либо не боится ничего. Страх начинает исчезать, когда понимаешь, что он не послужит защитой.

Не боящийся нападения и сам не желающий нападать ходит безоружным. Лишенный оболочки, не сумевший преодолеть страх, может стать великим злодеем. Не преодолев направленности на мир, он не откажется от соблазна его переустройства. Он не должен оставаться в миру — это будет губительно и для него, и для мира. Все его тяготы — тяготы духовного пути. Его цели не в мире, а в духе. Мир не сможет ему ни помешать, ни помочь.

Только для стремящегося отгородиться мир состоит из камней. Для живущего духом жизнь полна движения. Для направленного на мир духовное стремится совпасть с материальным. Духовные явления становятся предметами, как и материальные, мешающими движению.

Дух легок и неуловим. Если с ним обращаться как с предметом, он ускользает. Несмотря на все тяготы духовного движения, его сопровождает радость. Тяжеловесная серьезность по отношению к духу невозможна. Дух раскрывается только духу. Он не поддается изучению. Он может увлечь, подвинуть. Предметом становится ополченный миром дух.

Духовный путь не требует физического напряжения, борьбы. Он может быть тяжким, но никогда тяжеловесным. Он не сокрушает, а пролагает. Он легок, но не легковесен. Путь разума больше похож на физический, чем на духовный, — так же приходится ворочать камни и воздвигать из них постройки.

Мир духа зыбок, но он прочнее, чем мир материальный. В нем есть законы, но не покоя, а движения. Движение в духе не оставляет следов. Потерявший оболочку может побудить к движению, указать цель, но не провести по своему пути. Повторение чужого духовного пути — факт недуховный. Цель мира проложить дороги, унифицированные пути. В пустыне нет дорог, как нет дорог в духе. В миру прошедший всегда оставит след. Тропинка становится дорогой. В духе нет следов и быть не может. Мир воображает в духе мирские дороги. В духе есть события, но нет дорог. Дух не способен удержать чужое, но может натолкнуть на свое.

В свободном движении духа невозможны тупики, но возможны ошибки и уклонения. В духе нет логики, потому и нет противоречий. Там, где нет предустановленного, нет и ошибки. Несоответст-

вие здравому смыслу указывает на правильность пути, на его именно духовность, неотмирность. Когда мир приобретает странность, значит, что уже не он навязывает законы духу, а дух проникает в мир, разрушая его законы.

Способен разрушить мир только дух. Самостоятельные попытки рушить в мире ведут не к освобождению, а к еще большему закабалению миром. Мир, лишившийся связности, становится еще агрессивнее. Его разделенные части сразу же замыкаются в оболочки и стремятся раздвинуть свои границы. Нужна не борьба с миром, а отстранение от него, уход в дух.

Мир равно стремится и к обособлению, и к объединению. Он готов распасться на бесконечное множество частей, но они образуют связи. Им необходимо чувствовать соприкосновение. Перебирание частей мира напоминает детскую игру с калейдоскопом. В промежутки между дурно состыкованными частями просачивается зло.

Насильственные перестановки в миру неплодотворны. Жизнь возможна только вне оболочек. В оболочках — существование. Борющийся с миром входит в сферу его законов. Лучше на своем примере доказать миру, что существование вне его законов возможно.

Для живущего духом и в духе важно не соответствие здравому смыслу, а соответствие духу. Допустима не логичность, а псевдологичность, так как это пропуск в мир. Без намека на логику духовное слово не вышло бы в мир и не смогло бы там существовать. Здравый смысл должен оставаться на поверхности, не затрагивая нутро. Впрочем, и мир больше ценит псевдологику, чем логику. В миру здравый смысл придает слову силу, а к бессильному слову он прислушиваться не станет.

Здравый смысл проповеди — уступка миру. С точки зрения мира, дух противоречив. В себе он ясен, противоречия ему навязывает мир. Проверка высказываний духа здравым смыслом доказывает несостоятельность здравого смысла.

Духовные реальности могут быть восприняты не благодаря логике и грамматике, а вопреки им. Проповедь только нерасчлененная благотворна. Ее замкнутость мнимая. Подобие мирской формы она приобретает, чтобы существовать в миру, на самом же деле это прорыв оболочки мира — колодец истины.

Мир вынужден постоянно штопать свои прорехи. Вокруг простых слов кипят страсти. Мир не стал бы бороться с не имеющим значения, значит, их сила признается миром, причем сила неотмирная. Ведь поверку миром они не выдерживают.

Прорывы духа мешают благоустройству мира, поэтому он затягивает. Дух враждебен миру. Точнее, благополучию мира. Благополучие мира — в покое. Дух не знает покоя, потому не знает благополучия. Дух создает новое, мир — познает уже существующее. Стимул познания — стремление к благополучию. Мир был бы уже познан, если бы не вторжения в него духа. Из-за этого мир и не может успокоиться в полной познанности. Знание затягивает полыньи духа. Для борьбы с движением духа мир использует результат этого движения.

Мир благоразумен. Он использует все. Понятиями пользы и выгоды кончается дух и начинается мир. История мира — история его борьбы с духом. Дух стремится разрушить мир, сковывающий его движение. Мир стремится отгородиться от духа. Оттуда и оболочки.

Страх скривляет пути. У поставившего дух выше мира страх постепенно исчезает и дух распрямляется. Прямой путь не требует ни разума, ни хитрости, которые суть отражения в кривом зеркале мира качества духа, называемого мудростью. Хитрость противоположна мудрости, и обе они отличны от разума. Разум ищет истину отвлеченную, мудрость — всегда конкретную. Хитрость пытается обойтись вообще без истины. Хитрость может быть тактикой, но никогда не стратегией. Она хороша только в ограниченном времени. Путь духа — путь исключительно истины...

## 0

... Эти многоточия... Ничтожная попытка передать умножением точек разомкнутость. А ведь это всего лишь посул будущих окончаний. Утверждается конечность не только этого, но даже того, что свершится в будущем. В точке хотя бы есть надежда, через нее можно перепрыгнуть. Через многоточие куда труднее — не втрое, а во множество раз. Но что делать, если нет ноля без овала и разомкнутости без многоточия... Да и бесконечность окончаний, хоть и хилая, но все-таки бесконечность.

«Оболочку» мне пришлось распрямить, фактически, перекрутив ее петли. Первоначально была она куда прямее, не лишенная даже глянцежитости, — автор не побрезговал даже цитатами и ссылками. Пришлось вскрыть оболочку оболочки, и операция эта была нитруднейшая — очень прочный оказался покровчик. Не потому ли он сам так боялся творения собственной же мысли? Один мудрец, про-

читавший этот трактатик, заметил, что рассуждение о Разумах I и II как-то, по его словам, «не поется». Я бы вообще не решился спеть и весь трактатик, — только ветер в нем может посвистывать.

Друг подарил мне рукопись, а потом отобрал, и Бог знает, куда она потом канула. Хотел ли он, отобрав оболочку, даровать мне путь, а, может быть, соблазнился заткнуть «Оболочкой» пробойну в своей собственной? Не был ли он изощренным и тайным оболочкоманом? Любопытно было бы посмотреть, как памфлет против оболочек сам используется в качестве оболочки, — и попрочнее многих. К сожалению, вместе с «Оболочкой» он и сам канул. А мне оставил то ли путь оболочки, то ли оболочку пути — по моему собственному выбору. У меня была мысль превратить ее в каменоломню, — из ее материала соорудить прочную стену, лучше даже целый замок. Я его почти уже видел. Хотел я ею охватить с обеих сторон или хотя бы ограничить с одной свое вольное скольжение по листу. Но поместил я ее в самом неподходящем для нее месте, внутри.

И все же я обрел в ней порыв, свою быстрину, — именно ею влекомый я и несусь в неведомую даль, сам теперь сделавшись быстриной в пространстве ноля, образуя там единственный подлинный ток, — в отличие от псевдо, управляемых движением стрелки.

В бездвижном ноле даже пребывающее казалось в движенье. Иллюзию создавали разрушение, нарушение, крен. И я не был Атлантом, а наоборот, старался падающее подтолкнуть, но чтобы то обрушилось на самого разрушителя. В ноле я уничтожал прошлую значимость посредством будущей и наоборот, чтобы не дать им сомкнуться.

«Оболочка» здесь была необходима как противовес — чтобы свести к нолю мое бесконечно усложнившееся письмо, которое сам едва понимаю. Вместе с «Оболочкой» оно станет описанием ноля.

Тот самый друг — а был ли он вовсе, не нулевой ли это мираж? — признавался, что хочет написать еще один опус — о возобновлении оболочки, нарастании новой. Он боялся зла, боялся меня, так как, познав оболочки, не познал ноля. Мы с ним невозможны друг без друга: откровение об оболочке ничто без откровения о ноле. Ноля он не знал и не предвидел. В него он и провалился, как в неожиданно разверзшуюся под ногами яму, вместе с уже ненужным трактатом о падении оболочек, вместе с замыслом трактата об их возобновлении — пока еще не нужном.

Ноль — обнаженная эпоха. В ноле все без оболочек. И в ноле не стоит бояться зла, — он смиряет и доброе, и злое. Это бездонный ко-

тел, бочка Данаид, куда изливается добро и зло, и там смешивается в равных пропорциях, теряя свойства. Когда ж они размежуются и обретут формы, наступит значимость, кончится ноль.

В значимости он боялся меня, сомкнуться со мной. Хотя бы «Оболочкой» хотел от меня отмежеваться. Но нет, слова произнесены, и мы слились до полной нерасторжимости. Где он? Его нет, а я есть. Может, его и не было вовсе, а всегда был только я один. Он вовеки будет обитать заключенным в своей «Оболочке», без лица и плоти. А я вот тут, обретаюсь в своем заточенье, но и несусь в быстрине под тиканье стрелки. Веду бесконечные невеселые игры с нолею и оболочками, которые ненавижу, но играть можно только ими, не нутром же. Еще ноль сгодится для игры, — единственное, что не замкнуто, — потому что он круглый и катается не хуже детского мячика. И даже вверх подпрыгивает, если его хорошенько брякнуть об землю.

А может, и не было никакой «Оболочки», а все ее слова — звук прорыва всех оболочек разом или излияния добра и зла в ноль. Или странным потоком мысли устремились в никуда мои сны. Но важно ли, был он или нет, если в ноле мы с ним едины, как и все едино.

... А тут все-таки тоска в моем квадратном, кирпичном ноле. Как отлично он расчищен, вычищен, выметен. Видно, что культурная страна — ни одного таракана. Но я сейчас бы не отказался от самой малюсенькой таракашечки. Пусть в ноле нет диалога, но и для монолога насущен некто молчащий. Так бы мы с ним и беседовали, два таракана. Я — говорящий, он молча — кивающий, без головы и шеи. Точнее, просто молчащий в знак согласия.

Я порвал бы эти листки в клочья, мне на них смотреть тошно, как наутро в лицо нелюбимой женщине, но те, кто меня заключил в камень, на всякий случай их уносят один за другим. И предо мною всегда чистый лист. Я несусь в пустом пространстве, но не как комета, а как метеор, хвост за мной не тянется. У меня нет прошлого, а памяти самая малость. Поэтому буду повторять, повторять и повторяться. Страж, раньше наглухо замкнутый, теперь, по-моему, ухмыляется. По крайней мере, его оболочка чуть вибрирует на кончиках губ. Не могу только понять — злобно или сочувственно; вероятно, со злобным сочувствием.

Нас было пятеро — или трое, или один, — но не больше пяти. Пять фантомов, из которых каждый сам по себе человек — в прошлом или будущем. Но Группа состояла именно из пяти призраков, образов без

лиц и воли: ноль, авантюрист, поэт, инженер, женщина — видения моего нулевого бреда, сгущения маслянистого эфира. И был великий князь, тоже без лица, но с тысячью лиц. Он был пребывающим, стоящим — точнее, застоявшимся. Прежде крепкая почва под его накрепко вросшими в землю ногами давно превратилась в трясину, и его отрешенное спокойствие обернулось утверждением: «я стою», потом: «я стою!», — и так до бесконечного числа восклицательных знаков. Это молчаливое утверждение в беззвучном ноле постепенно сделалось настолько громоподобным, что у многих уши позакладывало. Это был вызов, приглашение к спору. Ведь восклицательные знаки, да еще в таком количестве, вопрошают настойчивей вопросительных, — это был вопрос, если даже уже не ответ. Стояние на твердой почве естественно, стояние на болоте — странность. Вот и существование Имперского Города всегда казалось курьезом.

С наступлением нулевой эпохи закованное в броню болото явственно зашевелилось, захлопало. А что в Империи значимость, как не облицованное камнем болото, в этой нулевой из Империй, где со всех сторон подступают вязкие умолчания? Однако ноль, заключенный даже не в гранит, а в легчайший овалычик, уже не совсем ноль, скорее возможность ноля, ноль, но неизлившийся. Одно дело хлопанье болот, другое — их разверзанье.

А спроста ли тиран заковал болота в гранит? Часто он мне кажется нулевым политиком, вроде авантюриста, — а иногда даже и ратоборцем ноля, вроде меня. А ведь он чуть ли не создатель нашей значимости. Ну, пусть не создатель, так активный заимствователь чужой. Но ведь истинно нулевое всегда завидует значимости.

Собственную значимость он холить не стал, а она, хоть и робко, но произрастала. Предпочел облечь отечественное болото привозным гранитом. Тамошние формы можно было, конечно, и проглядеть, так они были немонументальны. А в сравнении с привозными, они и вовсе терялись. Тем более что, будучи своими, они были все-таки не теперешними. Хотя и близкими в пространстве, но отдаленными во времени. Но, устояв против многочисленных обветшаний и пережив множество нулевых времен, они как бы обрели некоторую значимость или значительность. Стали если не идеей, то, по крайней мере, позицией, которая и есть — неподвижное длительное пребывание. Тут-то их и смахнули разом, — точнее, очередной ноль расквасил их в болотную жижу, куда и были вбиты довольно прочные сваи. И сваи в свою очередь застоялись, тоже превратились в позицию.

Неужели тиран не слышал хлопанья болот? Не высмеивал ли он форму, ей облакая болотное нутро, как облачая боярина в шутовскую одежду? Не хотел ли он показать ее нелепость и неуместность здесь? Не подготавливал ли великое и уже окончательное зануление державы?

Может быть, вообще все тираны — ратоборцы ноля. Ведь и первый из них развлекался нулевой игрой с оболочками. Выворачивал их наизнанку, примерял то одну, то другую, а потом легко скидывал. Это верный признак того, что он был лишен собственной. В ноле — бесконечный простор, без которого тиран — не тиран. В ноле он поистине страшен, ничем не ограниченный не отграниченный ни от чего. При этом он неуловим и неуничтожаем, — его нет нигде, и он везде, в каждом. Те, которые в оболочках — псевдотираны. Они-то уж обречены, — либо слишком уплотнив собственную, в ней и задохнутся, либо бывают раздавлены иными, ими же возведенными.

Бывают еще тираны нулевые — не бойцы и провокаторы ноля, а его порождения и жертвы. Ноль — Кронос, хоть и безвременной. В теперешнюю нулевую эпоху и Автократор обречен на безоболочное существование. Это уже, конечно, не тот, уничтоженный, — тот был значим и значителен, оттого и погиб, а один из последующих. Он и незначителен и незначим, но он тиран, так как растекся по всей эпохе, став здесь и теперь нулевейшим из нолей. То есть не просто круглое отверстие, а вопиющее и почти значимое зиянье.

Наверное, поэтому глупый инженер его первого предложил разорвать своей ртутью в ключья. Вот до чего дошла его ненависть к нолю — он различил самое в нем незначительное. Но мне-то это было зачем? Конечно, можно было бы грохнуть нулевого тирана. Я вроде должен был бы его любить, как брата, но не любил. Но это не только никакой пользы не принесло бы, — а могло и вред. Я-то уж знаток нулевой пиротехники, понимаю, чем способен обернуться взрыв в нулевом пространстве. Взрыв чего-то значимого всегда разрушителен, а нулевого может быть созидающим. Значимость взорванного ноля, пожалуй, не так уж велика, но может возникнуть отграниченная, маркированная, учено говоря, зона, куда бог знает что может излиться.

А нулевой тиран все равно никогда ноль не покинет, там и останется навек. Ему суждено стать жертвой, даже не так ноля, как нулевости. Существовать он может только в ноле. Интересно, чувствовал ли он, а может, и точно знал, что я главная и единственная его опора, спаситель, так как я продлеваю ноль, а тем и его существование.

А великий князь — никому и ничему уже не опора, ему снести бы собственную тяжесть.

А закончился ноль, и мы с ним оба кончимся. Нас вытеснят, затрут — два жалких нулевых моллюска в море значимости. С преодоления нас, начнется преодоление ноля. С его гибелью уже бесповоротно сомкнется ноль. Когда я умру — неважно, — изойду я раньше, чем он, и это будет не наступлением, а проступлением значимости. Победы значимости я, слава Богу, не увижу, а если и увижу, то не пойму и не признаю.

Может быть, я и люблю его как брата. Хотя бы, как чуждого и нелюбимого, но на великого князя я направил разрушительную силу ноля не из ревности. Автократор был незначителен, зато великий князь вобрал всю значимость Империи. Не знаю даже, какими ручейками и протоками она в него слилась, но оказалось, что ее не так уж мало. Пусть ее хватило на одну только оболочку, но на массивную и величественную. Он крепко еще стоял. Крениться — кренился, однако падать не собирался. И сам по себе никогда бы не пал, но он оскорбил ноль, запятнал его прежде незапятнанную чистоту. Не я, а он мне бросил вызов своим упорным пребыванием. Единственный достойный ответ — пара фунтов гремучей ртути. На него одного нас было пятеро.

Не знаю, как инженер ее мастерил, но такой специалист-расчиститель, кажется, мог добыть взрывчатку прямо из воздуха. Тишайший ноль, как ни странно, пропитан взрывчатыми веществами. Не исключено, что все громовые раскаты истории — это взрывы нолей, гулко отдающиеся в соседней значимости. Сами же ноли поглощают все звуки, даже ими рожденные, поэтому и забыты историей. В детстве бомбы мне виделись трехмерными ноликами, кругляшами с фитильком, который можно прижечь сигаретой. Воздушными шарами, но куда тяжелей, и черного, траурного цвета. Даже представлял, как бомба взлетает, наподобие детского шарика, и, лопнув, рассеивает повсюду свою пустоту. Только внутри себя та была мирной, а, излившись наружу, обернулась кровавым запустением.

Я не любил воздушные шары, боялся их — напряженной пустоты, коварной оболочки. А мне все несли — бабушки, тетушки — эти опасные подарки, и я должен был радоваться. А ведь гнусное дело разрешать детям играть с пустотой, лучше уж с серными спичками. Я боялся самих воздушных шариков, и того, что те лопнут, жалел их за их недолговечность, — поэтому и хоронил заживо; отпускал нитку, чтобы те канули в небесах. А я притворялся, что случайно, и так до-

бросовестно, что плакал настоящими слезами, — тем горестней, когда мне сказали, что воздушный шар там обязательно лопнет от разрежения воздуха. Казалось бы, чем легче воздух, тем ему будет проще лететь. Оказалось, что внутреннее давление уравнивается внешним, оттого шар и существует на границе двух пустот, — стоит одной ослабнуть, как он лопнет. Впрочем, инженер принес не кругляши, а упакованные в бумагу магазинные свертки.

Те четверо были наивны, полагая, что — фунт взрывчатки, и — нет великого князя. Я-то в ноле не наивен, как вне ноля нет никого наивней меня. Я знал, что против позиции, тем более против застоявшегося, взрывчатка бессильна. Застоявшийся великий князь почти зримо обретал идеальность с каждым мигом своего нулевого существования. А нулевой миг бесконечен, ноль членится на секунды-бесконечности, минуты-бесконечности, часы-бесконечности и так далее. Но странно, что бесконечное время ноля соотносится с конечным времени значимости. Впрочем, стрелка ведь тикает. Каждый из этих промежутков, равных по длительности, но несоответственных по длимости, прибавлял ему бессмертия. И каждая приплюсованная к его существованию микровечность была его победой над нолем.

Великий князь не тонул в болоте, он был специально болотной постройкой, предназначенной для стояния на болоте, — его не засасывала трясина. Едкий для значимости, ноль не мог растворить его оцинкованные сваи. Пусть фунт взрывчатки тоже идея, но он идея более давняя, потому еще более бессмертная. Ноль силен не своим напором, а наоборот — инертностью. От его напора устоишь, а ее труднее сбить. Сила моря горизонтальна — волны набегают на берег, болота — вертикально устремлена вниз, как и мощь ноля. Бунт нолей в нулевую эпоху — полная бессмыслица. Значимость, одолевшая инерцию ноля, падет, только если вдруг станет искать в ноле опору.

В каждой конструкции, говорят, есть критическая точка. Не то чтобы даже гвоздик или гайка, а так — точка, ничто. Не что-то действительное, а мыслимое — нолик. Так вот, стоит туда тукнуть, даже не сильно, однако точно, как вся конструкция разлетится вдребезги, даже и без взрывчатки. Примерно то же самое я в ноле, подобная точка.

Однако обитало в ноле и еще одно весьма нулевое существо, нет, пожалуй, не нулевое, — скорее, вся нулевая значимость, которой хватило на одну щепоть. Не важно, кто кого отыскал, но нам — двум точечкам, двум совершенным ноликам, невозможно было разми-

нутья даже в широченных просторах ноля. Его запутанные и перепутанные дороги, так, казалось, и вели нас друг к другу. Я шел к нему, плутая по замусоренным коридорам, выщербленным паркетом, попадая в тупики, где углы, затянутые паутиной, перешагивая через пыльные папки «Дело». Он ко мне — плутая извилистыми переулками, проходным дверям, перешагивая через битое стекло и дохлых кошек. Мы шагали по нулевому пространству идеи, точнее — каждый своей, и отыскивали место их смычки. Одновременно шагнули, я — в его грязный кабинетик, закуток под лестницей, он — в мой пыльный подпол.

Я оказался в пространстве пересечения всех идей ноля, — куда более идейное, чем каждый ноль сам по себе. В этом закутке сошлись, казалось бы, несходимые, нулевые пути. Там стоял стол, а за столом сидел гном, человечек, в котором сосредоточилась вся значимость ноля; и какова значимость — таким был и он — жалким и мерзким. Производил даже неуместное впечатление, как плевков на отдраенном до блеска паркете. В ноле все значимое — мусор, а его скопление — помойка, то есть бесструктурное скопище когда-то нужного, но в чем теперь уже нет надобности, — вылущенного из быта. Иногда это называется музеем.

Притом, гномик был существом не без блеска, как бывает мыльный пузырь. Он сверкал, как рождественская елка моего детства, сусальным золотом, увешанный всеми знаками имперского величия, сусальными обложками выветрившихся идей. Он был многозвезден, как Аргус. Не то чтобы я сомневался в качестве имперских знаков отличия, но в пространстве идеи все подвергаются коррозии и выветриванию, так что из цельнозолотых они превратились в сусальные. Золота в них осталось не больше, чем в пряничном петушке, — на один скребок, тоненькая обложка, но все же обложка. Так все выглядело в вещем пространстве идеи, — образ, искаженный значимостью, мне уже неведом.

Конечно, кабинет гнома был забит пустыми обложками. Казалось, тут предбанник ноля, а гном — здешний кастелян. В темном углу, подальше от решетчатого окна, стоял некрашенный, вполне уродливый шкаф, где под амбарным замком в больших папках «Дело», уплощенные для удобства, или придавленные налегающими сверху, хранились обложки. Их было столько, что, не обладай шкаф нулевой бездонностью, он давно бы развалился. Каждый, сбросивший обложку, — а в ноле это почти все — сдавал ее сюда, и тут она хранилась, дожидаясь владельца. Случалось, однако, что лишенные

оболочек призывались для насильственного ее возобновления. Но такое удавалось редко, — гном, бывало, сетовал, что от долгого хранения оболочки ссыхались, как листья в гербарии, теряли эластичность — непереносимое условие оболочки — и приобретали хрупкость, так что при натягивании на владельца, даже полудобровольном, рассыпались в прах.

Правда, гном сам был мастер по изготовлению оболочек — в значимую эпоху он сотнями кроил их на заказ. В ноле его фирма потерпела крах из-за отсутствия годного материала, в результате чего из честного мастера он превратился в бракодела-фальшивооболочника. Для невзыскательных заказчиков он кроил их из фикций, правда, довольно элегантно, в стиле «ретро», или мог подогнать чужие по фигуре, что предложил и мне на выбор, но я отказался. Слишком уж непрочна для моего настырного ноля оболочка фикции, а чужую я не надену — брезглив.

Кажется, гном был даже готов со мной поделиться своей собственной оболочкой. Действительно, она казалась слишком просторной для одного — обвисала складками. Но только он ее начал оттягивать и растягивать, чтобы похвалиться, она полезла как ветхая ткань под его пальцами. Видно, гном давно не проверял ее на прочность, так как даже сам испугался. Впрочем, гномы — существа обманные; все в них — лукавство.

Интересно, что мою исконную оболочку, которая должна бы храниться с прочими, он мне забыл предложить. Даже заметно уклонился от разговора, когда я сам о ней вспомнил. Так что она либо утонула в недрах нулевого архива, либо, как я догадывался, ее никогда и не было. Моя оболочка лишь та, что на мне — нулевой овалычик, родственник мировому яйцу. Однако, и та, что есть, в чем-то важнее, и уж точно, нужнее, чем морщинистая оболочка гнома. Не тугая, та не облегалась фигуру, не подчеркивала форму и не была формой, как шинель отставника.

Значимость в ноле инертна, худосочна, не распирает изнутри оболочек. Тогда как овалычики туги, они сияют и лоснятся от внутреннего напряжения. Внутренние силы их просто распирают, но, равномерно ширясь, они не теряют своей яйцеобразной нулевидности, как и воздушный шарик в разреженных высотах. Пока не лопнут.

Овалычик вполне прочен — он ведь прилегает к отграничивающей его значимости, вне-нолю. Если ноль разбухает, его овалычик способен охватить даже и всю целиком значимость, — и, поверьте, ей не понадобится оболочки крепче.

Не исключено, что хитрый гном позарился на мою нулевую оболочку. В его глазах блестела прямо конокрадская одержимость. Ведь с виду моя оболочка весьма привлекательна, — тугая, она сияет всеми цветами, так как непроницаемый для взгляда ноль отражает все лучи, а брошенный взгляд отшвыривает обратно. Оба мы были хитры, как бесы. Я приманивал его своей непроницаемой шикарной оболочкой-овалом, — оболочки вообще красивы, не будь их, что бы мы знали о красоте? — сверкавшей золотом, как новое платье короля. А он добросовестно смотрел как бы мимо меня, притворялся, что не замечает.

Ноль можно проглядеть, он и существует для того, чтобы его проглядывали, но гном-то не проглядел. Недаром он высмотрел меня в пространстве ноля, как стеклянный осколок в озере. Я был последней ставкой этого обанкротившегося бракодела. Значимое искало опоры в ноле; так бывает: как-то я видел падающего с крыши трубочиста, хватавшегося за воздух.

А не был ли и гном поклонником ноля? Ведь в значимости он никто, мелочь, а в сравнении с незначительностями ноля он огромен. Очень он был хитер, его не обманешь.

Стоило ль мне связываться с этой импозантной развалиной? Но говорят, что даже деревянная свая, застоявшись, пускает корни. Этот крошечный канальчик всасывал в ноль прошлую значимость. Как трубка из гуммиластика, он был протянут через весь ноль. Он соединял предыдущее с последующим, перебрасывал значимость из «до» в «после», пакостя и в самом ноле, так как трубка была дырявой. Казалось, бездвижная по природе, она легко могла превратиться в змею, эта растянутая дыра, ноль, вытянутый в минус.

Это был трухлявый пенек, но корни бог весть куда запустивший: вглубь, вглубь, через бесконечность ноля, сквозь земную бомбочку. Присядешь на такой гнилой пенек, а он обернется гномом. Я отыскал тот самый водопровод, сработанный на века, который, как до меня дошли слухи, давно превратился в клоаку.

Разрубить, разрубить шланг, обернувшийся змеей. Мне повадилось сниться черви, кишасие в луже, огромные, как змеи. Причем, виделись они будто сверху, с большой высоты. Один, я помню, наполовину поднялся из мутной воды, из горизонтального став вертикальным, — из змеи змеем, и утробно взревел. Сам он был слепой. Не помню только, вчера ночью мне это приснилось или давным-давно, — а, может быть, и не мне вовсе, а другому, но это неважно. В ноле сны блуждающие, по крайней мере, в этом, каменном. Тут

передо мной, формоборцем, все формы вышли, как на парад. Я стал главнокомандующим форм. По ночам я веду игры вроде живых шахмат, но с кем и какова ставка?

Гномы, как известно, хранители несметных богатств, — он бы усыпал меня сусальным золотом, но к чему мне шоколадные медали? Сокровища я отверг и попросил тридцать кругляшек — не больше и не меньше, чем я стою. И не из скромности: их металл менее благороден, но в ноле надежней. Только они там не поддаются коррозии, остаются такими же полновесными, даже пройдя сквозь тысячи нолей. Они неразменные, никому еще не удалось хотя бы один из этой тридцатки разбазарить. Гном расстался с ними легко, даже с улыбкой.

И я бесшумно, только позвякивая кругляшками в кармане, вновь полетел по коридорам, где из-под облупившейся штукатурки выступили грязные деревянные перекрестия. Но если туда я летел только под цоканье крысиных лапок, то теперь тут работали веселые ребята — маляры и штукатуры; они красили стены и потолки, замазывали трещины. С крысами они обращались совсем бесцеремонно. Двое даже, поймав седоусого самца, перекачивали его от одного к другому, как баллон в английском ножном мяче. В коридорной полутемноте — канделябры там недавно заменили лампочками накаливания, загнали под колпак даже и не пламя, а какой-то красноватый уголек, — мне старый крыс показался прям-таки великим князем, вслед за которым гном тянулся, как хвост или бикфордов шнур.

Пока инженер готовил гремучую ртуть, надо было чем-то занять авантюриста и поэта. Чтобы они мне не мешали, и чтобы гном не выудил их из ноля, как мальков, своим колпачком. Я предложил им две расхожих формы — офени и извозчика. Они-то считали, что форма — соглядатай, а это только мундиры. Но соглядатаи мне были не нужны. Не помню, для пользы или нет, но я внедрил их в наипрочнейшие образования, перед которыми даже ноль бессилён. Они хранятся на дне ноля, укрытые его побулькивающей поверхностью, как камешки на морском дне или даже как жемчужины в перловице.

Сложное в ноле гибнет, простейшее может выстоять. Ноль разверст, но именно потому недоступен ученому взгляду, который оболачивает бытие оболочкой, сквозь которую потом сам же не может добраться до сокровенного ядрышка. Что для бытия — периферия, его эманация, верхний слой атмосферы, для ученого взгляда — ближайшее. О подводной жизни он судит по пузырькам и бурунчикам на поверхности вод. Для бытия — это даль, бытие для него — глубь.

В ноле простейшие образования становятся плодовитыми и плодотворными, способными произвести эстетику и мораль. Собственно, такое бывало и раньше, но в присутствии значительного мелочь теряется. А в ноле ученый взгляд часто бывает озадачен, обнаружив на поверхности истечение извозчицкой этики, растекающееся, как масляное пятно. В ноле они производят плотную эманацию, просто смердят. И, пойдя, догадайся, откуда тянет дурным запахом.

Вспышки извозчицкой или, к примеру, сапожницкой эстетики верней чего-либо обозначают ноль. Откуда попахивает ваксой, там, примерно, он и пребывает. Что же касается истинно нулевых эстетики и морали, они, если и возникают, то их судьба — кануть вместе с нулевой эпохой. По крайней мере, в их словесном выражении, оболочке слов. И, возможно, они останутся в качестве неких быстрин и замешательств. Основные категории безоболочной и этики, и эстетики — точнее, этико-эстетики, — ведь в значимые эпохи их разделяет лишь тонкая плева, с которой ноль мигом расправится: путь, направление, остановка и тому подобное, короче говоря, термины движения. На их мирской разделенности завязываются многие мирские же парадоксы, преодолеть которые мешает именно оболочка — то, что существует на их стыке эстетики и морали, не позволяющее им воссоединиться. Для лишенного оболочки, для меня, к примеру, этика и эстетика — единство.

Соглядателями они оба оказались никакими, в чем я и не сомневался. Но по противоположным причинам. Для поэта новая форма была именно тем, что надо. Она была прочна и плотно пригнана к другим подобным. В извозчицком сообществе он точно занял предназначенное ему место — там как раз не хватало полудурачка-книгодея, к которому традиционно относились с пренебрежительным почтением. Могли нагадить в тарелку, но зарвавшихся останавливали строгим: «Не замай». Из всего многообразия чувств, добавших извозчикам, только одно это полупрезренье-полупочтенье не находило выхода и нарушало гармонию трактирных взаимоотношений. Частично оно изливалось на полного уж дурачка, который и говорил-то так, что не разберешь, но всегда листал суворинский календарь за давно прошедший год. Вот он-то был счастлив уступить не по праву занятое место — календарь ему осточертел, читать он все равно не умел, а пришептывал губами только по доброте душевной. Этот календарь он вскоре подбросил поэту.

Поэт замечательно вошел в прочную структуру, с которой слился до невидимости и счастливо жил жизнью формы, которая лихо

и уверенно, даже с гиком, несла его по распрявленным улицам Имперского города. Мне даже поначалу казалось, что я направил его на истинно верный путь, и лучше там его навек оставить. Но нет, поэт был безусловным поэтом — он тогда только признавал оболочку, когда она была объята еще и фиктивной. Его форма всегда мнима, сколь бы правдоподобной она ни казалась. Прочная для любого, для него она была годна только в чехольчике фикции. Извозчицкая доха — для него, как для бабочки куколка, сбросив которую он обернулся истинно поэтом — запаливателем бикфордова шнура.

Я любил поэта и, возможно, поберег бы его на будущее. Но дело в том, что у поэта совершенно отсутствовало «потом», как, в общем-то, отсутствовало и «до». Он был не взрывчаткой, а взрывом. Именно с него начиналось его истинное существование, наступало не «потом», а «всегда», равноустремленное во все стороны. Стоило ли длить его фиктивное существование, отдалять миг, когда он, грозно громыхнув, обретет вечность? Ведь до своей вечности он мог просто не дожить физически — даже для бесплотного ноля он был чересчур хрупок. Мог, к примеру, гном его прибрать, несмотря на уговор. А там, у гнома в запаснике, он уж точно не жилец.

Впрочем, наивный гном поэта заметно презирал, считал совсем безвредным, зато побаивался авантюриста. Не понимал он, что в ноле поэт куда опаснее политика. Те в ноле напоминают детишек, строящих башни из песка, — притом, сухого, который и размочить нечем, кроме собственной слюны. И такие же башни они и способны рушить, обидев подобного им паренька. Меня он, конечно, боялся еще больше. Даже принимал за какого-то антигнома, видимо, разглядев на моей блестящей округлой поверхности свое преувеличенное изображение. То есть, во мне он страшился своих собственных качеств, — и был прав.

Авантюрист же был совсем импотентен. Он попросту не обладал убойной силой. То есть, он мог убить, как и любой, однако был неспособен уничтожить. Вот поэтам такая способность еще как дана, но только в ноле они решаются вооружиться взрывчаткой. Ведь там реальное обретает идеальность, а идеальное становится осуществимым. К тому же поэт был будто бы рожден, чтобы уничтожить именно великого князя. Они были подобны разнозаряженным частицам, так что при их встрече просто не могло не произойти взрыва со взаимной аннигиляцией. Так что пакет с гремучей смесью у него в руках был не больше, чем поэтическая метафора.

Впрочем, прежде чем поэта, я опробовал в деле авантюриста и женщину. Но то, что даже для отвода гномовских глаз, — гномы, как и кроты, плохо видят при свете, — а скорее из любопытства, чтобы проверить догадку об их безопасности. Правда, о женщине — вопрос особый.

Я смотрел сверху, опершись на мраморный парапет, и могу сказать, что в толпе они выпирали прямо-таки бесстыдно, — вот почему авантюрист никак не годился в соглядатаи. По виду — офеня, даже с каким-то коробом, он просто вопиял своей неразстворенностью в толпе. Будь он одет по-человечески, он еще, быть может, и растворился б. А тут еще серые нолики создавали фон, — ведь стоило ему где-либо появиться, как вокруг него начинали бурлить серые водовороты. Только глядя сверху, я понял, что ему никогда и нормально-го человеческого лица видеть не доводилось, — только серых посланцев гнома. Сверху я наблюдал, как вокруг него так и пузырятся серые котелки.

А вокруг женщины, наоборот, образовывались пустоты. Теперь она была оболочкой, не охватывающей, а выгораживающей, — не внешней, а внутренней, но, видимо, достаточно прочной. Так и катился по улице голый овальчик. Именно овал, а не круг, так как он вытягивался в сторону движения. И даже ни один из серых нуликов туда не просочился.

Вид у нее, в черном пыльном платье, с всклокоченными волосами, — даже шляпку она позабыла надеть, — казался балаганно-трагическим. Так мы как-то нарядили одну старую деву для дачного спектакля, отыскав в бабушкином сундуке ее траурное платье. Она играла смерть. Дали ей еще острую золингеновскую косу и почему-то ридикюль, — или она просто его никогда из рук не выпускала. На сцену она, к несчастью, не вышла, — в темных кулисах наступила на острое лезвие и порезалась чуть не до кости.

Однако, несмотря на то, что за женщиной следовало выкошенное пространство, она была менее видна, чем псевдослившийся с толпой авантюрист. Гном, — а его присутствие где-то рядом чувствовалось — наверняка не обращал на нее никакого внимания. Если это была и смерть, то никак не великокняжеская. Не то чтобы скромней, — ведь и сам уже убитый Автократор, выходявший на медведя с рогатиной, шарахался от черных дам. Но гнома, должно быть, успокаивала окружавшая женщину лунка — было пустое пространство, но не обнажающее, а отдаляющее.

Когда в воздухе только пахло князем, я поднял над головой белый платок, и сразу же по тревожному бурлению серого островка понял, что это заметили и гном, и авантюрист. Пузырьки все разом взбурлили — кажется, некоторые даже полопались от усердия — и авантюрист, наверное, впервые почувствовал неподатливость среды. Он оказался в центре водоворотика, который, ширясь, образовал вместительную воронку, которая в себя всосала почти весь уличный люд. Князь же потоком пронесся по освободившейся трассе, весь без остатка превратившись в быстрину. Ему сопутствовали велосипедисты охраны.

Прямо напротив моего наблюдательного балкона, к нему бросилась женщина, достав из-под шали плетеную корзинку. Ее бросок был хорош, однако не одолел изолирующего овалчика. Не долетев до кареты с князем, корзинка ударила в плечо велосипедиста — тот свернул руль и врезался в стену дома. Из корзинки что-то выкатилось и раскатилось в разные стороны, — с моей высоты напоминавшее мотки шерсти.

Женщина теперь стояла совсем одинока. Только ее одну не унес просквозивший улицу вихрь, — даже велосипедист укувылял со своим велосипедом. Она теперь тупо ждала, когда сомкнется овал, который, как негатив великокняжеского движения, растекся на всю улицу, вдруг сделавшись прямоугольником. Или это был гном, хвостом тянувшийся вслед карете. Пустота не сомкнулась, и женщина покинула место, перешагивая через разноцветные нити.

Авантюриста ласковые нулики уберегли. Мне показалось, что те больше охраняли его, чем великого князя. Именно его упасало их ожерелье. Видно, они принимали моего дружка за альтернативного великого князя, — или даже находили, что великокняжеского в нем больше, чем в натуральном. Сходство и в самом деле было, но только в срединном зеркале ноля, где и возвышенность совпадает с низиной, как плюс ноль и минус ноль. В значимости же нетрудно отличить холм от ямы.

Наивные нолики, не без участия мудрого, но еще более наивного гнома, охватывали плотным кольцом этот негатив великого князя, не допуская утечки его мнимой значимости. Возможно, именно заботливость среды и не позволила ему завязать оболочку. Какой, должно быть, холод он ощутит, когда наконец отстанут от него уютные нолики. Промерзнет он, затвердеет от этой стужи, — весь влажный и текучий превратится в сосульку. И прочен будет не больше, чем сосулька.

Ноликов он теперь ненавидит, а позже, наверняка, пожалеет о них, — и даже, не исключая, станет собирать их, раскатившихся, по всем закоулкам. Ведь только ими он был защищен, только для них и при них он был политиком, а для значимости — перекасти-поле, авантюрист. Гном считал его чуть ли не творцом новой значимости, которую тот, якобы, не хотел замарать устаревшей. Ведь выходы из ноля, как в парковых лабиринтах, застыт зеркала, — так что путь вспять кажется дорогой вперед, тупик мнится выходом. Правда, этот тупиковый монстр был целиком подобен форме, устремленной в будущее. Но форме, а не содержанию, которое зарождалось в средоточье ноля, — из темных глубин устремлялось к свету, как лотос, и, нанизав на себя безвременье, цветом распускалось уже в будущих временах, — а он утыкался в зеркало, обращавшее все пути вспять.

Новая суть зарождалась в самой глубине нулевой эпохи, — тайно, неуловимо и бесшумно. Тогда я много бы дал, чтобы узнать, где она прячется. А теперь к чему мне это? Она сильна, окрепла, и познавать умом ее уже ни к чему, так как скоро все станет ею. Там, снаружи, за трехметровой стеной, пока еще хаос, — трудится мясорубка, перемалывающая нулевые формы. Но скоро взамен обветшалых форм в будущее вползет первосортный фарш, ожидающий кулинара. Но откуда явится повар? Возможно, из глубин нулевого шкафчика гнома. Видно, так он и вызревал, в черной шкатулке. То-то гном улыбался ехидно. Но ведь и этому авгуру новая, — то есть старая, но обновленная разрывом времен, — сила была неподвластна. Да и вообще, сомневаюсь, что гном о ней ведал больше меня, — разве что о большем догадывался. Она и никому не подвластна. Кому может быть подвластна власть? Откуда мог знать гном, что хранится в той черноцельной коробке? Может быть, она и вовсе была пустой, или в ней завелись тараканы, которые, кажется, могут завестись просто так, беспричинно? А может быть, новое, как зловредная опухоль, все время росло в кишках великого князя? Произрастало в нем, чтобы его ж самого и сгубить, а, разнесенное взрывом, разлетелось во все стороны, напитав все вокруг.

Ноль — это пауза, задающая ритм истории, без них история стала бугрюмо немзыкальна. Хлюпанье болотной хляби, поскрипывание в нее вбитых свай почти не нарушают ее безнадежного затишья. Это вне ее музыки, как, скажем, посапывание музыканта. Взрывая бомбочки, которые вроде хлопшек, я не рисковал нарушить затишье ноля. Эти взрывы не стали нулевыми барабанами, ноль — никакой

музыкальный инструмент; он немзыкален, вернее, внемзыкален, как нем воздух без золотой арфы.

Пауза в моем каменном мешке порядком затянулась. Стало даже казаться, что пьеска закончена, а тогда все внемзыкальные звуки — шелест зала, поскрипывание кресел — вдруг приобретает значимость. А наступившая тишина — сверхзначима, и становится все значимей и значительней с длением времени. Тишина в моем каменном мешке теперь столь плотна, что ее пальцами можно пощупать. У меня иногда возникает чувство, что он медленно, как воздушный шар, воспарил над нолею и теперь вот-вот лопнет во всеобщей разреженности.

Теперь вокруг — избыток материала, даже из тишины я вылепливаю формы. Не фикции, а именно всамделишные формы, которые окажутся жизнеспособнее, чем я сам, и заживут потом от меня отдельно. Можно сказать, что и сейчас зажили, опередив мой исход. Боюсь или мечтаю, что они, расплодившись, меня изгонят из моего тесного узилища. Тут уже стало и впрямь от них тесновато, — а я устремляюсь вверх, как пузырек воздуха в бутылке. Они меня вытесняют, как более легковесного, — так, надеюсь, и будут заполнять нижнее пространство, пока я не улечу в небо. В эту тяжеловесную эпоху всем легковесным одна дорога — в небеса.

А может, и весь ноль воспарит в небо фата-морганой, и хотя бы на время оставшимися внизу будет принят за нечто небесное. На земле ж будут сталкиваться каменные глыбы, так что искры полетят во все стороны. И только, когда все формы раздробят друг друга в каменную крошку, тот облачный град спустится наземь и рассеется, как мираж. Мой земной ноль тяжел для небес, — для небесной пустоты земная лишь метафора, она только равновесие противоположного.

Но лично я-то на вышнее не уповаю. Предавая землю, я предал и небеса. Ни то, ни другое меня не примет, поэтому я стану путешественником недалеких высот, скитальцем середки. Для небес настоящих, вершинных, я тяжел и на них не удержусь надолго. Для земли же я чересчур легковесен, поэтому, достигнув ее, снова отправлюсь в полет. Срединные небеса так и кишат неказистыми формами, подмаранными эйдосами. Ноли — пушечные жерла, направленные в небеса. Плодящиеся там ереси засоряют их все новыми легковесными формами, а значимость потом их расчистит.

Такой, видно, и будет мне Лимб, где я, формоборец, буду навеки приговорен к общению с формами. Вглубь земли будут опускаться формы отяжелевшие, значимые, и там будут храниться под земной

пленкой, как античные статуи. Мне ж не дано ни обрести плоти, ни развеяться в небе. Ноль и есть мои небеса. Только в них на земле и происходит что-то, напоминающее небесное.

Мне оставили малый клочок пространства, казалось бы, защищенное своей всеоткрытостью, но и оно меня отторгло, завалило камнями. А я ведь хотел втиснуться туда, как таракан в щель, и затихнуть. Оно принимало меня, пока я был целокупен, а расчлененного хоть и не отвергло, но выделило. А может быть, и сберегает, как диковинку, для своей всемирной кунсткамеры, коллекции монстров, где пророки, гении, злодеи, вылущенные из жизненных обстоятельств, стали мумиями, восковыми фигурами, — именно экспонатами страстей и добродетелей. А я, как наиценнейший, хранюсь под двадцатью замками.

Но они еще не знают, как я ценен. Для них я архипредатель, но где они еще найдут предателя, который никого и ничто не предал? Как я мог предать того, чего нет? — прошлое и будущее! Моего настоящего они знать не желают, но ведь я не виновен, что оно такое безразмерное, точечное, лишенное цвета и запаха. Что его и на временной оси не отыщешь, — может быть, не там поискать? Пршлое и будущее расплющило меня в лепешку. Теперь и меня самого не найдешь ни на одной оси. Я остался на острие иголки — так все же, сколько там уместится ангелов, на грани вчера и сегодня, в одном бесконечном миге?

Но тогда еще, упершись ногами и руками, я пытался растянуть полотно резака. Пришло время пустить в ход поэта, который столь отождествился со своей новой формой, что чуть ли ни лишился поэтической сущности, и рисковал навек остаться артельным старшиной. Поэтому для начала надо было содрать с него извозчицкую кожурку — уже почти ладно сидящий, но еще не закаляневший зипун.

Не знаю, кто была она, эта новая женщина, — я никогда прежде ее не видал. Бог знает, как она соприкасалась с великим князем, каким боком, в пространстве Идеи. Может быть, до того и никак, но, втиснувшись в последний миг, она сумела растянуть пространство меж началом и концом его гибели. Пространство вроде бы невеликое, но весь поэт, сбросив, правда, теперь ненужный зипун, сумел туда втиснуться и там навсегда сохраниться.

Могуч был великий князь, но вся его значимость, — как истинная, так и мнимая, — ни на миг не смогла отдалить его гибели, которую сама ж и накликала. Бессилен был и гном, хотя, не исключено, что женщина в карете была его уловкой, — ему ли, специалисту

по оболочкам, не зная об упасающей силе женщины? Она рассклала на две части единый миг, оставив между половинками зазор идеи, в котором поэт навек воссоединился со своей сущностью, — сквозь эту щель нырнул в будущее.

Любопытно было бы полюбоваться на такое надругательство над временем, однако, я его свидетелем не был. Я все же благородный его противник, — неплохо, если б оно ко мне было столь же благородно. Я готов его уничтожить, но тоскливо смотреть на его унижение.

Это был псевдомиг, нулевой, — миг не события, а его отсутствия, — однако утвердивший поэта истинным, негативным поэтом ноля. Что может быть более нулевым, чем отвержение самого отвержения? Увидев женщину, он вскрикнул и лишился плоти, — исчез, провалился в миг, чтобы потом громовым раскатом возвестить о его завершении. Образовалась триада: женщина на входе в миг, великий князь на выходе из него и поэт внутри, как замена отсутствующему там времени: быстрина, стрелка, направление. Тут уж и я, и гном оказались лишними, — не оспаривая свою ненужность, мы откатились в сторонку. Благо тут все вокруг было сторонкой. Хитер был гном, но и наивен, а я — наивен, но я хитер. Подсунув поэту женщину, которая в миру была князю супругой, он сделал миг еще более безнадежно-гибельным. А я потом женщину подменил.

Тогда нам приходилось встречаться, но мы не подружились. Зато я благодарен ему за знакомство с его гномиками, веселыми нуликами, плевками в физиономию значимости. Вот их-то я полюбил, и как за истинную любовь потом расплатился по полному счету. Мое душевное влечение к ноликам чуть ли не перевесило все мои вины. За эту ниточку и потянул разматывший клубок.

Ничтожное тянется к ничтожному? И да и нет: ноль — образ наименьшего, притом, не вовсе ничтожен, а велик. Есть дурная привычка у движущихся по оси справа налево приговаривать: меньше, меньше, еще меньше, совсем мало. А ноль, вроде как, меньше, чем наименьшее. Ан нет — это прорыв, колодец, в нем пересчет смолкает. Даже точнее — это труба, устремленная как в верхнюю, так и в нижнюю бесконечность. Тихий звук может быть и не услышан, зато пауза слышней самого громкого.

Однако, как ни крути, ближайшее к нолю — именно мелочь. А я от своего положения на числовой оси не отказываюсь. Может ли быть незначительной точка отсчета? Она незначима, но сверхзначительна. А вот незначим ноль истинно — и плюсы, и минусы для него равноценны. Поэтому он менее разборчив, чем все остальное: ме-

лочь и плюсовая и минусовая для него — все равно мелочь. А ведь даже часто не определишь, какой у нее знак, он ведь относителен, по крайней мере, для мелочи. Слева направо взглянешь — получается плюс, а справа налево — выходит минус.

Возможно, что и с еще одной ревнивой мелюзгой, великим разоблачителем, я б тоже сдружился, но, к сожалению, у меня не нашлось микроскопа, чтобы его выискать. Велико ли разоблачение назвать ноль нолем? Разоблачение — навряд лишение оболочки, скорей на нее указание. Сей же минусовый разоблачитель указал на ее отсутствие. Казалось бы, он в своем деле гений; улика-то меньше малости, — как и все безоболочные, я и повсюду, и нет меня нигде. Но, думаю, и серые мышата меня бы раскусили, если б не получили двойственного, чисто нулевого приказа: следить, но не замечать.

Однако признаю, что это ничтожество был-таки глашатаем, возвестившим окончание ноля. Глашатаем, впрочем, может быть любой, у кого мощная глотка, — что еще надо, чтобы провозгласить?

Приход значимости он возвестил отрицательно — вот ноль. А если «вот ноль», если он виден, то выходит, что кругом уже значимость, пусть и незначительная, — зрение у него все же острое, надо признать. А дальше, конечно: «ату его», — однако ноль не так уж просто ухватить. Разве что поэт ухватил бы его, то есть меня. Но я, правда, ничего не предвидя, давно послал его на смерть и бессмертие. Теперь уже он до меня не снизойдет. Я честно разменял яму на гору, — и осталась равнина, где копошатся всякие авантюристы, уже оскверненные значимостью.

А для великого князя я устроил первосортный загон, не пренебрегая опытом Комиссии по уничтожению. Первой стояла подменная женщина — ее задача была обрубить, замкнуть, — только она могла стать полноценной межой. Та, упасая, растянула его смерть, эта, наоборот, сопровождала князя в бессмертие. Та растянула миг, втиснув в его сердцевину поэта, эта — разрубила время на «сейчас» и «всегда». Вторым встал поэт, а третьим авантюрист со своей безопасной взрывчаткой, опять-таки приманив к себе всех ноликов. Последним встал я, как отверстие получившейся трубы.

Женщина одним взмахом косы обрубил хвост — волочившегося по булыжникам вслед за княжеской каретой гнома. Впрочем, может быть, это был и не гном, а так — муляж хвоста. То, что великий князь ничего не почувствовал, свидетельствовало, что хвост не живой. А, возможно, он не наметил подмены трубки трубой, — и нолики тоже не засуетились.

Женщина вновь была в трауре, но уже не смешном. Это была сама смерть, так как в ней не было ничего теперешнего, — даже траур был прошлый и будущий. Когда она обернулась вслед князю, я, как и ожидал, увидел лицо без черт — оболочку, уже истонченную, но с непроступившим нутром. Видно, тут же на нее взглянул и поэт, и молнией сверкнул наперерез. Лошади понеслись, все сметая на пути. Нолики тут же раскатились кто куда, обнажив авантюриста, который, ежась от холода, сунул руку за пазуху.

Тут я увидел великого князя — впервые, но уже без головы и эпюлет. Из горловой дырки струилась кровь. Ее было так много, что она сливалась в ручья, чуть ли ни реки. Казалось, скоро вся улица станет кровавой рекой, что кровь затопит весь город. Поэт же для меня пропал навсегда, — он теперь был со всех сторон облеплен ноликами. Куча едва колыхалась, как грудная клетка.

Тут же была и женщина с вновь проступившими на лице чертами, но жалкими и неявными. Эта оболочка казалась еще более ненужной, чем валяющаяся на земле оболочка великого князя, — ибо ей уже нечего было охватывать, а той — еще было. Там все же сохранились остатки значимости, которая только постепенно исходила, — не с кровью, а в противоток. Смерть отнюдь не гибель значимости, а ее кризис, после которого она может как сойти на нет, так и возрасти беспредельно.

Значимость великого князя была обречена на исхождение, но постепенное, даже иногда кажущееся увеличением. Под неведомой стеной лежала, казалось, вся имперская значимость, — и даже в растерзанной, в ней оставалось величье. Женщина ж была, как осуществленная смерть, — для нее наступило вечное сейчас, бессмысленное проживание сброшенной оболочки. Ей был только один путь — в архив к гному. Ее и унес этот Черномор, а как и когда — никто не заметил.

Тем временем авантюриста вновь охватили со всех сторон гномики, — и еще плотнее, чем прежде. Стоило ему повернуться спиной, как стал виден, не то чтобы хвост, а пока крошечный хрящик. Видно, хитрый гном с помощью этого отростка приучал его к хвостатости. А может быть, этой лаконичной репликой напомнил мне о себе.

Думал ли я, что образованная мною труба вместе с великим князем всосет и меня самого? Признаться, нет. О значимости я ничего не ведал, но мог бы догадаться, что с нею шутки плохи. Видно, все ж в ноле я зародился, в каком-то досознательном, неведомом. Иначе откуда бы моя уверенность в том, что ноль — вечность? Будь иначе,

я б наверняка почувствовал, что вроде бы вечный ноль лишь пред-значимость. Ноли — паузы, прерывы звучания; не будь его — к чему и межзвучья, которые обернулись бы вечной немотой. Только речь делает паузу говорящей, не было б счета — и ноль не нужен.

Согласен на самую сильную ноту, чтобы тем мощнее грянула пауза, и звук, отдавшись в моей просторной трубе, мощно ахнул ее рас-трубе. И чтоб раскатилось эхо, которое бог весть, когда еще стихнет, — а затихнет, и звук застынет айсбергом, холмом на равнине, образованной двумя затишьями.

Значимость заводится в пазухах ноля, как в подполе тараканы. Стоит начисто выскрести пазух, как в нем уже кишит новое, а чаще — мутации старого. Нулевая эпоха — это праздношатание пустот, но в каждой из них уже нечто копошится. Наш взрыв пробил овальчик ноля. Самая прозрачная и вроде б неуязвимая из всех возможных оболочек, оказалась, как и все оболочки, брэнной.

На этом и погорел мой, никогда, видно, и не существовавший друг-мыслитель — оболочки так коварны, прилипчивы и заманчивы, что, возмись поиграть хотя бы словом «оболочка», как оно обовется вокруг твоей шеи удавом.

Взамен великокняжеской, сюда стала просачиваться какая-то неведомая мне значимость, о которой я прежде только догадывался. Журчание ручейков, вытекавших из каких-то подвалов, подворотен, непонятных скважин мое привыкшее к тишине ухо замечательно улавливало. Еще как, — оно грохотало для меня лавиной, водопадом. Я чуть не оглох от рева этого будущего половодья.

Всегда она существовала — здесь значимость неискоренима. Но для меня эта, о себе заявившая, была презренной и не достойной внимания. Крупное было размолото в пыль, сглажено, — мелкое во все от меня не тайлось, но было недостойно внимания. Оно вряд ли росло, но с искоренением большого как бы разбухало. Камешек становился горой, их рядок — горным хребтом. Легкое журчанье — лавиной, комариный писк — словом. Для ноля — трагедия то, что он находится рядом с наименьшим, — даже его существование — невольное потворство наименьшему. Да ноль, ко всему еще, и наивен, — он не ведает арифметического деления, как постоянного уменьшения.

Видно, я попросту был высокомерен. А ведь и значимость, как и ноль, — едина и недробима. В годы значимости ее не много и не мало, а ровно столько, чтобы заполнить собою все и вся. Я считал нолями, а можно считать не значимое, а значимостями. Вымрут, к приме-

ру, носороги, так ведь у них уже есть заместители, пока метафоры, — существует птица-носорог и, кажется, жук-носорог. Стоит исчезнуть носорогу, как метафоризация пойдет вспять. Исчезнувший гигант превратится в их сомнительного предка, а то и однофамильца.

Когда меня всосало в трубу, мой путь, наконец, обрел прямизну, predeterminedенную ее стенками. Это было уже не блуждание и праздношатание, а прямонаправленное качение, как шарика по желобу. А вслед за мной так же катился, позвякивал авантюрист, устремившийся за мной вдогонку, но, пока не зная зачем. Оба мы с ним разбухнем в горловине трубы огромными пузырями и будем переливаться всеми цветами радуги, как и положено мыльным.

Так все-таки, где же, кто же тот слушатель, для которого все — мелодия, паузы? Или слушателя и вовсе нет, а есть только дирижер, который точно отмерит паузу и не допустит ее неполной немоты. Но ведь есть еще, наверняка, и композитор, которому равно важны, дороги и звуки, и паузы. Он-то уж не отринет добросовестнейшую из пауз, в которой если вдруг и явится призрак звучания — напряжение тишины, только по причине ее добросовестности. Да и не сможет он ее отринуть, ведь она уже свершилась, и Его волей. И не унижит Он ее, сделав нотой. Мне, к несчастью, не дано прослушать до конца пьеску с моим участием, — точнее, надеюсь с эффективным и эффективнейшим неучастием.

Только композитор для меня и существует, не исполнители. Они соавторы его звучаний, а пауза принадлежит только ему, его личное творчество. И всему одновременно — оркестру, залу, городу, миру. Я — именно та самая пауза, где замирает звук предшествующий и зарождается будущий.

Но почему я сам себе мерзок до тошноты? Неужто, Тот благословил одни звуки? Сам Он был ли бы нотой, нежнейшей и полнозвучной, без последующей оглушительной паузы? Казалось бы — минуса, но я своим нулевым нюхом угадываю там именно паузу, бродильный чан поля, который простирается ввысь превыше любого плюса, а вглубь — наминусовейшего из минусов.

Только в просторнейшем ноле мог так высоко вознестись Тот, в такую глубину низринуться этот. Как жалко вольный полет Того отозвался в наступившей значимости. У значимости одни только подставки. Пусть их множество, так много, что можно выстроить башню до небес, но пространства для полета у нее нет. В значимости можно только карабкаться, летают в ноле. Так и я полетел, хотя бы и вниз, а не вверх, — прямо с тех самых нагроможденных значимостью камней,

с высочайшей башни, достигшей уже небес, — вот именно с ее вершины люди прислушивались к небесам и, не слыша райского пенья, вообразили, что те пусты. Верно, еще как пусты, даже и представить трудно, в какой мере пусты небеса. Земное запустенье — просто заполненность по сравнению с пустотой небес. И она так полнозвучна, что привыкшим к земному звуку уши позакладывало. Значимости там и в самом деле нет, но все исполнено значением. Земные ноли — только лужицы, отражающие небеса.

Пусть я рухнул вниз, но все-таки изобразил полет, напомнил о давно позабытом. Как мог я взлететь, все же замаранный значимостью? Конечно, мой полет был не целиком волен — не куда хочу, а только вниз, — я об этом догадывался, даже взмахивая руками, как крыльями. И все же я не цеплялся за воздух, как тот трубочист, пока падал в бесконечную трубу — от бесконечного верха до бесконечного низа. Возможно, оттолкнувшись от вершины башни, я предал небеса, но трубу до небес я не предал. Ту, в которую валились один за другим падшие ангелы, или они-то ее и пробили. Всей земной значимости не хватило, чтобы достроить башню до неба, на трубу же хватило земной немоты. Я, не пожелавший ползти вверх, сверзился вниз. Может, я и расправил бы крылья, но что толку — в небе нет воздуха. В том, по крайней мере, в котором я хотел бы лететь.

Полет мой был эффектен — им восхищались и глядевшие сверху и снизу, покуда я летел, конечно, — до того, как я шмякнулся. При нулевой путанице верха и низа мало кто догадывался, что я именно падаю, а не взлетаю. Видно, у зрителей все-таки шевельнулись туманные воспоминания о полете — просто, как замороженные, глядели на это мое вольное кувыркание даже те, кому было все равно, взлет это или падение, важнее — что зрелище, но зрелище значительное. Все, кроме мельчайшего жучка-древоточца, и знать не знавшего о полете. Зато большого эрудита, теоретика высшего пилотажа. Наибольшего — ведь ни один летун уже не теоретик. А его взгляд на полет оставался свеж, не смазан самим полетом.

И вот, по некоторым моим отступлениям от норм высшего пилотажа, он стал догадываться, что я именно падаю. Но сначала сам же, видно, своей догадке не поверил. А может, и испугался: поведай он людям, что мой полет, который те наблюдают, затаив дыхание, забыв о своих делах, не великое зрелище, а просто беспомощное кувыркание, так они б его разорвали в клочья. А потом он, наверное, и меня побаивался. Вдруг да из мести рухну прямо на него и раздавлю в лепешку. Ему подобным кажется, что они колоссами высятся

на равнине, и нет вокруг лучшего ориентира, — направлю на него свое падение и придавлю ненароком. Забиться в щель им гордость не позволяет.

Да еще был один нолик, много раз менявший плюс на минус. Но по его малости никто этого не замечал. Вот они с жучком и спелись. У этого, видно, была игра — перекатываться из одного знака в другой, — скромное, незаметное развлечение. Не один только он его себе позволял. Некоторые нолики до того докатывались, что сами уже не знали, чьи они сейчас. Величинами же покрупней, как справа, так и слева по оси, эти игры, скорее, поощрялись. По крайней мере, свойство серых котелков туда-сюда перекатываться, они использовали в своих интересах. И, разумеется, этому колеблющемуся эрзац-нолю мое существование сильно досаждало. В первую очередь моя несуетность, — даже падая, я пребывал, а не катался туда-сюда. Ведь сам он был не ноль, а просто крупинка значимости, которой можно за малостью пренебречь. Ноль не как утверждение, а как отрицанье, оскорбительная кличка.

Видно, и его пульсация была предназначена, чтобы привлечь к себе внимание. Он колебался между знаками, я же колебаний не ведал, так как во мне слились оба знака, выродилась значимость. Ему же ее микроскопическая крупинка мешала слиться со мною, нолем, и во мне успокоиться. Он проскакивал мимо — то в одну сторону, то в другую, может быть, на мельчайшее расстояние, но как-то безнадежно.

Он был ничто, но «почти». И в этом «почти» была завязка, узелочек, затянувшийся на моей шее. Хрящ между прошлым и будущим, между лево и право, перескок через ноль. Пустота, но опасная, то есть «почти» пустота, раствор ножниц.

Будь он покрупнее, такие прыжки ему даром бы не прошли. Был один такой, — его перескоки были величественны, почти полеты, от которых всю ось лихорадило, она металась, как стрелка в магнитную бурю. Вот этот путаник, кажется, мог бы мне всерьез пригодиться, но дело в том, что я презираю предателей. Если ты значимость, то соблюдай цвет, а главное — счет. Попробуй перекрутить ось, как она захлестнется змейкой на твоей шее, — вся суть ее в прямизне.

Он мне мерзок, и грустно, что будущая значимость еще, чего доброго, нас с ним перепутает. Ни в коем случае! Ноль первичен, а не результат вычитания. По крайней мере, в исторической арифметике это так. Тот был худшей на свете значимостью, пытавшейся воспарить на крыльях предательства. Он пытался в значимости жить по

нулевому закону, — вот и шмякнулся, и не в болото, как я, а прямо на иссохшую почву, а та жесткая — повис на вешалке между чуек и салопов.

Того я углядел, а этого нет, так как и не пытался. Пропустил его незначительную вибрацию, хотя углядывать меняющих плюс на минус — мое дело как человека-ноля. Ведь через мою голову они пере-скакивали. Он ускользнул от гнома. Да ускользнул ли? А может быть, специально был им и подослан. С гибелью великого князя для гнома кончилось прошлое, где он обитал. Не решил ли он закинуть удочку, свой хвостик, в будущее? Не сидеть же век мастеру по оболочкам в безоболочном настоящем. А на стыке прошлого и будущего пребывал я, мельчайшей и все убывающей точкой, — казалось, ногтем можно ее сковырнуть.

Вряд ли, он не мог простить мне великого князя. Ему ли не знать закон сохранения значимости — если в одном месте ее ubyло, то непременно прибудет в другом. Uбыло в прошлом, прибыло в будущем, — только бы ноль не помешал. А то истечет она вся в нулевую бездну — и уж навсегда пропала. Почему б тогда не заштопать ту не-обширную бездну суровыми нитками?

А мысль его была удачная: растянуть бездну по горизонтали и в образовавшуюся дыру просочиться ужом из прошлого в будущее. Вот только с авантюристом он слегка просчитался. Думал, я изйду, а он останется. А он-то не больше, чем отражение в моем, чистейшем из возможных, зеркале. А отражению, понятное дело, никогда не покинуть зеркало, — оно неопасно, какие бы свирепые гримасы ни корчило.

После взрыва всякая мелкая значимость обложила меня со всех сторон, вернее, обложила бы, будь у ноля стороны, а у него только бока, в которые удобно пинать. На меня ополчилось все прошлое, стремящееся проникнуть в будущее, куда я был заветной дверцей.

Даже всплыли из небытия, — в ноле, кто не летает — плавает, — члены Комиссии по уничтожению, продремавшие весь ноль в бездействии. Догадываюсь даже, откуда, — из гномава архива, где они коротали вечность, — выползли, почуяв зарождение значимости. Гном их оттуда выпустил, чтобы те меня задушили.

Перед ними я и предстал, как больной перед консилиумом, — с сорванными покровами. Они меня разглядывали со всех боков. Неверно, будто я выкручивался, — я раскручивался, как любой ноль. И, как любой ноль, был скользок и выскальзывал из их неумелых пальцев. Какая моя в том вина? Я вертелся вокруг оси, демонст-

рировал им все бока, для того только, чтобы доказать им свою округлость, одинаковость боков.

Они пытались меня ухватить, но хватались за пустоту. Слившимся в них прошлым и будущим я действительно мог быть задавлен, — однако и то и другое стало в них уже немощным. Совсем они не похожи стали на молот с наковальней. Их прошлое и будущее было монументальным, но теперь безжизненным, не действующим, а разве что воздействующим — музейным. Прошлое и будущее, не размежеванное нолею, сливаются в вечность, ведь время — стремительно бегущий нолик. А нет ничего немощнее успокоенной вечности. Вечность — это не прошлое с будущим вместе, а не прошлое, не будущее, а тем более, не настоящее. Вечность ноля плодотворна, музейная вечность — бесплодна. «Никогда» плодовитее, чем всегда. Всегда — застывшая значимость, никогда — перемещение значительных умолчаний. Всегда — уже сказанное, никогда — вечно умалчиваемое.

И эти шуты гороховые, мелюзга, выставили друг против друга две вечности, чтобы те взаимно поглотились, утонули б друг в друге. Ошибся гном — если я и дверца, то не та, что он отыскивал, — в будущее сквозь меня не проникнуть. Он-то полагал, если я ноль, то граничу с будущим, как граничу и с прошлым. Но разве способно граничить неограниченное или, к примеру, сама граница? Своим ограниченным, вернее, ограничительным умом, как мог он понять бездну? Ну, дыра, яма, ну еще глубже, ну еще, ну, глубже, чем самое глубокое. Сколько не плюсуй этих «глубже», все получится конечное. В бездне нет «глубже», так как отсутствует дно как возможность. И тем более нет никаких «еще». Если «глубже» и существует, то слитое с «выше» до полной нерасторжимости. В ноле ведь не только нет плюса и минуса, но те невозможны.

Если взглянуть из значимости, то у бездны нет низа. Что падаешь, что взлетаешь — все едино. Но внизу нет небес, — поэтому, если глядеть с неба, падение в бездну единонаправленно и необратимо.

Ну, поверг бы гном бездну навзничь, из места для полета превратил бы ее в террариум. Но ведь, коль даже свободным падением ее не пронзишь, то, тем более, и не проползешь до конца. Ползти ему до скончания света.

А что такое авантюрист, которого он возлюбил, как не отражение великого князя в зеркале моей оболочки? Не плюс-минус князь, а плюс-минус фиктивный князь, — фантом, нулевая фикция. Направил он свой взгляд в будущее, да уткнулся в зеркало. Хотел он за ним

хвостом тянуться, вкачать значимость из прошлого в будущее, а она сама собой туда просочилась, мимо ноля. Оказалось, что и его взгляду указывала направление Идея, та самая, которую он, казалось, в порошок стирал. Не лишь оттуда явилось будущее, — не спереди, не сзади, а сбоку, вернее, с боков, со всех сторон. И будущее это было не шаг вперед, а постепенное накопление. Он готовил свое ухо к взрыву, а оно пришло тишайшим журчанием. Будущее он ждал в будущем, а оно успело наступить, — и не взрывом, а в послевзрывное затишье. Потом и оно еще прогрохочет, но уже как настоящее.

Мне ли бояться обленившейся вечности? «Всегда» для «никогда» не опасно. А вот я для них, престарелых боевиков, был опасен. Я-то мог их объять и стиснуть, утопить в себе, все их усилия обратить в ноль. Они-то перепугались. Так и готовы были меня разорвать, но ведь — не ухватишь. Покатали они меня всласть, попинали во все бока, а потом я от них укатился. Конечно: «хватай, держи», — да поздно. Убедившись, что самим не ухватить, они призвали других на помощь, а те не уклонились. Авантюрист, правда, даже руки расставил, но я прошел меж ними и утек.

Утек ото всех и ото всего, покатился по народившейся значимости, с которой я, разумеется, был не слит и неслиянен. Я раньше был нолем, теперь стал мячиком, который только подсказывал на кочках, колобком. Как-то сразу изменилась не только моя судьба, но и моя суть. В ноле задача ноля — вбирание, в значимости — отвержение значимого, отказ. В ноле ноль радушен, среди значимости он придиричив. Его овалчик костенеет в плотнейшую из оболочек. В нулевую эпоху он — нигде, в значимую он почти обретает место, он — негде.

Там, снаружи, ратоборцы значимости дробят друг другу скулы. Ведь, порожденная нолем и привыкшая к нолю, она долго будет сама же себе ненавистна. У привыкшего к серовой одноцветности, резь в глазах от разнообразия цветов. Как быки, они бросаются на красное, а скоро красным будет все, все зальет кровью. В ноле же не было крови, только сукровица, притом, почти бесцветная. Но я, хоть и сукровицу проливал, однако приучил зрителей к жестоким зрелищам, научил жестокости. Только как все-таки в значимости отяжелели идеи, как им не хватает нулевой невесомости. Они просто как кувалды вздымаются и обрушиваются на неосторожные головы. Спасибо, что меня спрятали подальше от остервеневших форм. Дали позабавиться в выключенном из мира пространстве — собственными, легковесными. Они и здесь копятя, и все ужимают

пространство моей игры, — но как они ненавязчивы по сравнению с теми, что снаружи. Здесь у меня, хоть и маленький, невселенский, но все же ноль, потому здесь — все идея.

Как славно играется с идеями, пока они не обрели форм. Мое ли дело заботиться, как потом поступит значимость с вольными играми ноля? Не взбунтуются ли игрушки, не вырвутся ли из рук ребенка, не устроят ли адской пляски по наущению злого колдуна? А ведь могут запинать и самого ребенка.

Ноль — это детство, завязка; ноли — те источники, окунувшись в которые, история обретает девственность. Не будь их, мирозданье давно б одряхлело, сморщились бы все оболочки. Детская жестокость лишь подражание действительной жестокости взрослых. Я играл, как ребенок, пусть и в дурные игры. Ну, в угол меня можно поставить, отшлепать, но так, ошельмовать на века? Несправедливо.

Я рухнул в колодец, меня самого уже не осталось, а падение мое останется запечатленным. История вся ушла в горизонталь, а я все падаю, падаю. Да и как иначе — ведь колодец бездонный. Так мне и падать, пока не придет конец бесконечному, пока я не достигну дна бездонного, пока вертикаль не вздыбится горизонталью.

А теперь я плыву, пусть уже не в океане, а в капельке идеи. Так откуда же тоска? Сквозь какие черные дыры в мои сны вползают черви? Ведь сами собой они не заведутся в этой чистой капельке. Правда, она тяжелеет и приобретает маслянистость. Вот ведь я сам не заметил, как уже плаваю. Раньше словно летел, даже объятый водами, теперь и в воздухе — плыву.

Я укатился ото всех, — а там, в ноле, ведь обитали и человеческие существа, пусть уплощенные, сплюснутые ноле, или, наоборот, по нему растекшиеся. Ноль ведь необыкновенно многосоставен — в нем можно найти все, что угодно, и даже гораздо больше: все бывшее, будущее и возможное. Где они теперь, прежние? Наверно, живы-здоровы, лишь сменили облик. Они — там, за стенкой. Точнее, все — перед стенкой, а за стенкой я один. Она — граница между драмой и трагедией. Снаружи — поле драмы, тут — место трагедии. Трагедия — это выделение и ужиманье не заключенного в оболочку. Здесь гибнет главный герой, а там — нет, за отсутствием главного героя. Там — заключенные в оболочку, объекты. Их гибель не трагична, она — их частное дело, а гибель безоболочного касается всех.

Трагедия — память о нолях, о нулевых героях. В значимости нет героев, во всеобщей предопределенности нет своевольцев. Там даже рок смиряется, а существует закон — правила перемещения камен-

ных глыб. Рок начинается там, где кончается закон. Это — негатив закона. Рок являет себя в широких пространствах, где возможность различных путей, а всеобщая состыкованность оболочек требует закона. Рок, который неотвратим, однако ненавязчив — это затухание закона в нулевых пустотах, его отражение в мутном зеркале ноля. Рок — это молчащий закон, смутная предопределенность пустот, сопряженная с законом значимости. Рок индивидуален, ибо ноль объединяет, но не обобщает.

За стеной — финал трагедии, перед ней — завязка драмы. Точнее — рождение драмы, завязка тысяч и тысяч драм. Для драмы нужны массивные декорации, машинерия и массовка, для трагедии — одни кутурны. И еще хор, подчеркивающий выделенность героя, его уникальность — вытесняющие и отвергающие.

Что может быть эффектней немого хора? Еще нужен зритель, — а он есть, пусть даже отводящий глаза, делающий вид, что чрезмерно увлечен драмой. Необходимы ль глаза для созерцания трагедии, ведь, в отличие от драмы, это — не зрелище, так что глазение вовсе уж непристойно.

Драма предполагает соучастников, трагедия — только свидетелей. У нынешних два их глаза вперены в драму, — так ведь существует и третий. Или что там у них, бородавка? Вот все эти глаза-бородавки пронизывают мою каменную стену, и я со своими червями — как в террариуме. Пусть снаружи грохочут одичавшие формы, но тем полнозвучней прозвучит тишина, пауза. Пускай там завывает отвергающий хор, — тем сильнее звучит каждая моя реплика-умолчание. В меня вперены миллионы вопросительных знаков, и мое молчание это да-нет, плюс-минус — знак ноля. Так и будет тянуться вековечный беззвучный спор плюсов и минусов с моим молчанием.

Как значимое в ноле может застояться, так и ноль в значимости способен залежаться. Как она ни будет обволакивать ноль оболочками, будто погребальными пеленами, ей этот прорыв вечности не замазать, вовек не обрести благополучия. Но этим провалам в вечность значимость найдет применение — они станут мусорной ямой для всего, что значимая эпоха сочтет сором. Такой выйдет бездонный мусоропровод. Что ж, пусть они превращают меня в помойку. Я буду компостной кучей, где все ненужное перегорит в чернозем, который будет питать корни. Чем глубже запущен корень, тем выше можно протянуться к небесам. Можно и до небес дотянуться, если корень запущен в самую преисподню. Пусть плюют в колодцы, от их

жалких плевков те не замулятся. Они готовы принять в себя всю значимость целиком, — и еще останется место.

Одним из первых ублюдков значимости туда сверзится авантюрист. Когда была возможность, он со мной расправится даже не попытался, — утаил от значимости собственное бессилие. Еще убить он меня, пожалуй, сумеет, но ведь не уничтожить. Да и убить вряд ли, хотя ему было б это на руку — провести между нами черту, навечно размежеваться. Тогда бы он еще больше раздулся, разбух, но вдруг, да и лопнул бы.

У меня, кажется, уже и чернила кончились, и я пишу пальцем. Но почему тогда след остается? Может, кровавый, — в темноте ведь крови не видно, лишь некое сумрачное истечение. Да и откуда ей во мне взяться? Если б я раскравил себе палец, то вытекла бы бесцветная сукровица, не оставляющая следов. Или это не след, а само движение, оставляющее не закорючки букв, а иероглифы, каббалистические знаки, — не пустой лист и не испещренный значениями: действительную фикцию.

Чернила кончились, перо сломалось, стол так и не дали, так что писать мне приходилось, прикладывая лист к стене, и по нему расплзлась паутина трещинок, — зато бумагу приносят исправно, и не забывают потом унести каждый исписанный лист. Так что мне собственную каббалу никогда уже не разгадать. Но уж им-то и подавно, архивным гномикам. Только Одному их и разгадывать не надо, они Ему ясны, единственному свидетелю моего движения, стремительного полета моего пальца. Для Него нет вопросов, одни ответы, — самая наизощреннейшая из загадок просто глубокая разгадка.

Но до чертиков надоело водить пальцем по бумаге и стенам. Вот и ноль от перекатывания по листам наполовину стерся и даже чуть зашершавел, как оселок. Когда же мне поставят мат в моих сонных играх? Когда, наконец, ноль стешется до полного исчезновения, совпадения с самим собой, когда же он весь испишется?

Снаружи гомон; там, после прежнего запустения, происходит взаимное узнавание форм. Каждая из них нова, неожиданна и нахальна. Самоутверждающиеся формы начинают знакомство с подскульников. После затишья ноля разом оттаяли и загомонили все умолчания. Ложные пророчества обратились, коль не в действительные, то в действенные. Идет разбазаривание всего накопленного ноля, всех его сокровищ.

Формам следует попривыкнуть друг к другу. Чем теперь жарче баталья, тем скорее они самораскроются, саморазоблачатся. Зуботы-

чина — это знакомство действием. Сейчас все утверждает себя, а с другой стороны — гомонит о собственных открытиях. Но ведь тем самым уже зарождается и будет копиться новое молчание, которое позже заполонит все и вся, скопившись в будущий ноль. В немому проваливается все уже познанное, — окаменевшие истины станут материком эпохи, всеобщим местом. Каждая стертая истина обратится в затаенный неведомый принцип, в знакомое до уже невидимости. Как и ноли лучше всего укрыты своей общепризнанностью и очевидностью. Они наступают тогда, когда все значимое протирается до общих мест.

Яснейшее равно самому таинственному, разгадка — загадке. Так вот и я, банальнейшее ничто, превратился в таинственное нечто, загадку, молчащего сфинкса, узел истории. И в то же время я ей не нужен, как ненасушно уже познанное, общие места. А я самое из них общее — склад всех легковесных банальностей, кладовая истории. Там бурлит случайное и необязательное, общеобязательное же — тишайше пребывает. Оно неотвязно, как ни прячь глаза-бородавки. Вот они-то уж бог знает, как навязчивы, просто неискоренимы — так и вперены в это вечное. Случайное раздробится в нынешней бойне, насущное станет подземной залежью — плотью будущих нолей. Какой-то из них будет уже последним.

Возможно, я и в самом деле грыз решетку — во рту какой-то железный вкус и два зуба шатаются, и язык покрыт ржавчиной. Но разве нет у меня хотя бы этого права? Может, и ноль, который само равновесие — ошалеть. Все, что тут есть, — а тут ничего практически нет, — разве не моя собственность? Ведь не так уж глупы тюремщики, чтобы предположить побег. Мне некуда бежать — снаружи для меня нет пространства. Решетку я еще мог бы перекусить — зубы у меня крепкие, — но овальчик-то даже из пушки не пробьешь. О коварстве овальчиков я больше них знаю, — мог бы много порассказать, но они слушать не станут, ибо уповают на крепость стен. Здесь больше внимательны к метафорам, чем к сути, — как вот эта чертова решетка и каменные стены ведь всего лишь метафора.

После моего нападения на решетку они пригрозили меня связать, — а это уж совсем вульгарная метафора. Впрочем, может, и нет, — было бы даже тонко спеленать меня, как младенца. Пускай бы и спеленали, — но, конечно, не решились, соблюдая права человека, которые почитают незыблемыми. Зато, не погрызи я решетку, не познакомился б с человечком, с парой безумных глаз.

Когда вкатили его в мое метафорическое узилище, я принял его поначалу за одну из расплотившихся здесь мнимых форм. Но со временем, приглядевшись внимательней, понял, что эта форма не здешняя, хотя сквозь нее даже и не мерцало содержание. Зато слишком уж разнообразно переливались пустоты. Уж, казалось бы, я в несуществующем дока, но такого конгломерата неслиянных пустот мне видеть по сю пору не доводилось. Эта форма, несомненно, прибыла снаружи, — уже хотя бы потому, что ее закатил в мое узилище вполне неметафорический тюремщик. Да и отличалась она от здешних необыкновенной пристальностью, — так и вылупила на меня зрочки всех своих пустот. Такой навязчивости нулевые формы никогда себе не позволяли.

А впрочем, человек был приятный. Его собственный, неметафорический взгляд был врачбно-умиротворяющим, хотя и не без сумасшедшинки. Вот, казалось, сейчас обоймет нас обоих врачбным «мы», как любимый мой в детстве доктор Коган. Даже как-то приятно, по-детски повеяло от него нашатырным спиртом, хотя он явился и без врачбного саквояжика.

Эта форма, хотя и пришедшая снаружи, была совершенно не осатаневшей, а даже умиротворенной и умиротворяющей. Она была вежлива и приятно для моего взгляда пустовата. В ней было заметно желание образовать со мной земляной орешек, тот, который с двумя ядрышками. Правда, скорее не объятием, а внедрением себя вовнутрь, для чего, конечно, надо было сперва расколоть мою скорлупу. Это он, видно, считал своим врачбно-хирургическим долгом.

Но беда в том, что наивный венец привык продалбливать значимость, чтобы добраться до болотного нутра. Ну, а коль оно разверсто, до чего же ему добираться? Он привык прорываться к разнообразной пустоте, которую образуют умолчания, — рефлексы сказанного, туда, где пустоты живут своей болотной, нулевой жизнью. В чем-то он был моим коллегой, этот выявитель нолей.

Да не шпион ли он значимости? Не отыскивает ли он спрятанные ноли, чтобы не допустить их тайного смыкания? Но мне-то он не страшен, — в моей равнокачественной пустоте смерклись все его соблазнительные расспросы о давно умерших. Диалог не для меня, — любой вопрос во мне угаснет. Захлебнулись и его в моих пустотах. Не с его поверхностным пониманием пустоты во мне копать. Довольно примитивная выдумка значимости, что пустота — это ее отсутствие. Впрочем, существуют разные виды пустот, — я предпочитаю небесное запустенье.

Ну, продолбил бы он, этот посланец наружи, где его, наверняка, едва терпят, мой овалчик, и что дальше? Вместо мутных страстей — истечение небес, такое, что он захлебнулся бы. Однако, по сравнению с грубыми, ранящими глаз формами значимости, он был безусловно нежен. Нечто в нем было нулевое, — однако ноль великий и всеобщий он принял за тепловатый болотный ноль младенчества. Был он и историк, и философ наверняка, но, покопайся он в истинном ноле, нашел бы он там свою или чужую матушку? Я мог бы ему что-то и разъяснить, но он, как ребенок-почемучка, жаждал ответов, а не вольного истечения смысла, хотя утверждал обратное. Он был рабом значимости, пусть уже потрепанной и смягченной младенчеством. Не предполагал он, что за той гранью, куда он устремлялся, отыщется лишь нулевость, а не исток значимости. Не позабытое, а будущее знание. Впрочем, там можно отыскать и отца, и матушку, все, что угодно, — так пластичны болотные формы. Да и вообще странная у него затея — порядок объяснять разором.

Из моей болотной сердцевины ему, несмотря на всю его творческую мощь, не удалось слепить ничего приемлемого, — все было пусто, пусто, пусто. И он, конечно, здорово рассердился, тем более что мой взгляд, устремленный в его собственные пустоты, был куда эффективнее. Он как бы даже наигрывал на них некую мелодию, и те отзывались ему, как органные трубы. А венец от этого только ежился — он считал себя органистом, но никак не органом. Поэтому не прошло и часа-вечности, как он меня покинул, отвергнув предложенное ему нераскрытое знание и спасая собственное — сомнительное. Не захотел он воссоединить наши с ним ноли, — его в моем утонул бы, — и ушел, хлопнув дверью, во внешний мир, со своим нолею вместе, хотя и сомнительным, но все же в миру опасным. Там ему и место.

Игра с нолями для значимости всегда дурная забава. Заведи себе ноль, пусть и игрушечный, так ведь он может выйти из-под твоей власти. Бог знает, что там происходит под его непроницаемым овалом. Вдруг, да в этот резервуар вместе со значимой пустотой сольется и настоящая и там скопится, — выйдет подобие вакуумной бомбы, которую когда-нибудь изобретут.

За дверью он выкрикнул: «симулянт!» И конечно, обо мне, а не о себе, и был прав: ничего не скрывающий и никак не укрытый, как известно, симулянт из симулянтов — пройдоха. Затем сразу появился мой страж, чтобы обозначить истинное время порцией баланды. Он весело мне подмигнул, а потом, повернувшись к двери, повертел

указательным пальцем у своего виска. Никогда бы не подумал, что и здесь те же средства выражения, как и в родном болоте. Связать меня все же не связали, но и решетку я больше не грыз.

После смехотворного судилища я впервые был несвободен, но впервые — волен. Я устремился вперед, как шарик ртути, проворный, не дающийся в пальцы. Я волен был катиться в любую сторону, но не свободен был замереть, поэтому все местности и пространства для меня сливались в нерасчлененное многоцветье. Все обобщалось, смазывались детали, выявлялось общее. И вот по дисгармоничности цветовой гаммы я раньше, чем покоящиеся, понял, что в народившейся значимости возник непорядок. Какая-то возникла дурная картинка, — если долго рассматривать ее в историческом музее, то вскоре кинешься на нее с ножом. Композиция рушилась, — в силу неясности замысла каждое сальное пятно норовило стать значимым и значительным, средоточьем, точкой отсчета. Утомленный этой цветовой чересполосицей, я искал свою норку, точнее — лузу, чтобы туда закатиться, и отыскивал некое пространство усредненно серого цвета.

Конечно, это был не природный ноль, а именно усреднение, то есть, так сказать, бездейственное разнообразие. Не свалка, не хаос, а нечто вроде музея. Один мне был путь — в музей. Моя встреча с членами Комиссии была обязательным пересечением путей при обмене местами — они переместились туда, где был я, я — туда, где раньше пребывали они.

Случалось мне и прежде заглядывать в этот музей, — может и с подспудной мыслью подыскать себе заранее достойный постамент. Ведь, как любой ноль, я тщеславен и в постаменте нуждаюсь в самом возвышенном. Думал ли я, что в залах мне места не найдется, — отправят в запасник. И очень зря — было бы эффектно и таинственно: котурн, пустая подставка, даже без таблички. Публика валом бы валила полюбоваться этим антизрелищем. К сожалению, музей — не кунсткамера, — те, почему-то вышли из моды — а учреждение этико-эстетическое, культурно-просветительное. А, по мнению музейной администрации, пустой стенд — соблазн и ничего больше. До мысли о сотворчестве художника и зрителя они еще не скоро дорастут. А ведь, что такое художественные полотна, как не грань двух пустот, барьер между их сотворившим и разглядывающим, меж пустотами творчества и катарсиса: удвоенное расчищение. Так не стоит ли заполнить музей пустотами без табличек, хра-

нить не то, что уже есть, а то, что будет? Но для подобных резервуаров духа время еще не наступило.

Отнюдь не во имя будущей духовности меня отсюда не прогнали, но все же сберегли на всякий случай, хоть бы в запаснике. Скорее, дело в том, что музей все-таки сохранил внутреннее, тщательно скрываемое из-за его непрестижности, родство с кунсткамерой, — не расплевался еще до конца со своим ярмарочным прошлым, да и не желает. Бережет почти ускользнувшее сходство, как капитал на старость, — вот почему приберегают диковинки.

Меня, впрочем, они прибрали не сразу — дали время покататься по залам. Как бы самому поискать себе место и убедиться в собственной ненужности, а может, и в собственной ничтожности. Но ноль-то и катится, как шарик, и бежит, как трещина, — а в музее трещина уж не менее значима, чем экспонат, даже существенней, ведь стена может рухнуть. И вот где-то, в темном закоулке, между, скажем, этрусским саркофагом и чугунным конским копытом я, к собственному удивлению, столкнулся, чуть не лбом, с нулевым соглядатаем, который бежал, конечно, за мною следом, по моему желобку. Гнался за мной, как за своей ускользящей славой. За здешнюю администрацию он себя не выдавал, но держался подчеркнуто, как дома. Может быть, намекая этим, что с его помощью я все же удостоюсь экспозиции. Он был как бы рамкой, на самом деле тяжеловесной и уродливой, но претендующей на изящество, — а мне внутри этой рамки предлагалось стать самой картиной.

Хитер был гномик — ведь даже и пустоте место в музее находится: та простерлась на все стены за небольшими изъятиями, а вот раме, ничего не заключающей, места уж точно не найдется. Уже хотя бы потому, что рама не может заключать ничто. Ничто может лишь исключаться, а заключается — нечто. И при грандиозности исключенного, только значимое и значительное «нечто». Рама вообще полемична, а уж рама, выделившая ничто, — попросту вызов. Тут уж дело пахнет не полемикой, а вытеснением, уничтожением.

Короче говоря, он предложил мне стать именно картиной, — то есть, обрмить некоторую мою часть, прочее же вынести за скобки, то есть во внеэстетическую, зарамную область. Получилось бы что-то вроде черного квадрата. Пусть и эстетическая новация, но, по крайней мере, не этическая, — и разбираться с нею ученым-искусствоведам, а не взбурлившему теперь общественному мнению.

Конечно, будь это в моей власти, не попасть бы ему вовек на стенку, — дал бы я ему такого пинка, что он бы катился без остано-

ки до родного болота, но дело в том, что этот проходимец всего лишь предлагал мне оформить де-юре существующее де-факто. Попал он уже на стенку, и век там нам с ним висеть, пусть не с лицевой стороны, а с обратной. Он уже меня так плотно обрамил, что, даже когда рама рассохнет или сгниет, или ту просто выбросят на свалку, быть ему моим меловым кругом.

Так побеседовав, мы с ним раскатились в разные стороны. Картины он не заполучил сразу, но рамкой остался и, наверно, кого-нибудь попытается в себя вмалевать. Тут он даже подлогом, наверняка, не погнушается, — его жертве позировать не придется, вмалюет первого попавшегося. Вот перед тем, его будущим невольным натурщиком, я грешен, как обрамленная пустота, куда все что угодно можно вписать. Жалко их, но не нолю вмешиваться в дела значимости.

Кроме того соглядатая, странно, но меня никто не потревожил. Даже авантюрист отстал, угодил в какую-то лузу. И сановитый гном от меня отвязался, — видно, уже немощен, да и, возможно, никакого зла на меня не затаил. Даже, наверно, считал, что перехитрил меня, — но тогда выходит, что и я его. Коль случается противоборство ноля и значимости, ноль ровно настолько ж хитер, насколько и противостоящая ему значимость. Если та наивна, то наивен и он, но он всегда отразит ее кривляние, даже сделает еще уродливей, как кривое зеркало. Если та вернет ему изображение, то они могут долго перебрасываться собственным лукавством, исказиться, искривляться до полного замутнения обеих зеркальных поверхностей.

Не боится ль гном моего разоблачительного зеркала, где сместились все оптические оси? Если так, то зря. Ведь теперь по овальчику водит не бархотка ноля, а шершавая значимость. И сам он зашершавел так, что уже почти ничего не отражает. На слишком уж глянцевиной поверхности нутро не проступит, она обречена бессмысленно отбрасывать внешнее. Бессмысленно, потому что не во имя нутра.

Так я катался по быстро пустеющему музею, пока снаружи не донесся писк утомленной почвы, предвещавший землетрясение. Почва тонко потрескивала там и сям, как выводок цыплят, только что вылупившихся из яйца, — очень было похоже, даже чуть слышалось квохтанье наседки. Этот лукавый щебет все нарастал, так что уже почти заглушил все остальные звуки. Особенно гулко он отдавался в музейной тишине пустых залов. В ответ ему запели невидимые опоры. Однако самому музею ничего не грозило, он был крепок, ибо нерукотворен. Колебание почвы только подчеркивало его незыбле-

мость. Единственным тут сгустком уязвимости был именно я, — моя пустота скрадывала звуки, вместо того, чтобы им подпевать.

Еще недавно почти незаметный, я вдруг очутился в противостоянии всему. Я этого не хотел, мечтал бы слиться со всем окружающим, но не попискивать же мне, как цыпленку? Так я стал выпадать из хора, но пока оркестр лишь настраивал инструменты. Если звуки случайны, среди них может затесаться любая пауза. Когда же они станут значимы и значительны, сольются в мелодию, значительней станет и пауза. Своевольная, конечно, будет изринута из значимого межзвучия, будет сослана в вечную немоту, где пускай своевольничает, коль та ненарушима.

Оркестр пока еще был какой-то безвольный, — чувствовалось, что без дирижера, верней, что дирижеров много. Поэтому инструменты вступали не разом, а какими-то произвольными группами. Одни уже вступили, другие еще настраивались, третьи, возможно, просто заевались, опоздали начать. Вместо симфонии выходило безумное по-пурри, — смешались мелодии, от лирических до героических. При этом, в этом разное угадывался определенный смысл, который, скорее всего, и заключался в этой разнородности. Если исходить из привычного, это была и не музыка вовсе. Однако это была именно музыка — мощная и своеобразная, дурная, но совсем не плохая. Я не без удовольствия к ней прислушался, стараясь выслушать ее до самого доньшка, до низа. Поверхность музыки всегда ясна, едва ли ни однозначна. Ведь ее направление прежде было строго вертикально, но ее корни неопределимы. Начало музыки было уже продолжением взлета, а корни запущены в предшествующее молчание. Но, правда, что я ожидал от корневищ музыки? Верно ли, что все произрастает из отчаянья? Не только ли его я бы счел безусловным корнем? Но может ли оно присутствовать в вертикальном взлете, — ведь он и есть сам по себе преодоление отчаянья?

Однако я не смог прозреть отчаянье и в нынешней великой дурной музыке, устремленной вертикально вглубь, — по земле она не стелилась. Может быть, его поглотила пауза последующая. Старая музыка была музыкой послеотчаянья, новая — предотчаянья. И все же она всегда — его преодоление, даже самая дурная. Или, возможно, способ его заглушить. А паузы — те проемы, откуда оно сочится. Вот и причина всеобщего неприятия паузы.

В это время я жил в домишке у озера. В саду росли розы и еще цветы, названия которых я не знал, потому что в наших краях никаких цветов, кроме роз, не произрастает, да и те с какими-то хилыми

бутончиками, больше годящимися на терновый венец, чем для вазы. Хозяйка жила тем, что на заказ составляла букеты. И я от скуки, приглядевшись к ее работе, взялся ей помогать.

Поначалу я пытался читать книги, которых накупил не один десяток, но мне они скоро прискучили, и я их забросил. Видно, дело в том, что после парения в их бесплотном нутре, я пожелал почувствовать их коленкоровую весомость — и чуть не задохнулся, затертый солидно хрюкающими свинными переплетами. Раньше они у меня порхали, шелестя страницами, и исчезали так же беззвучно, как и появлялись. Теперь же они захламили всю мою комнату. Так я и ходил, спотыкаясь о тома, все в сусальном золоте. Если б у меня было хоть чуть связующего материала, я сложил бы из них крепость с башнями и бойницами, и там бы укрылся. Причем, крепость была бы накрепчайшая: как бесплотен дух, так нет ничего прочней духа отчужденного. К счастью, моя слюна была водянистой и склеивающими свойствами не обладала. Так что в один промозгло-дождливый день я сжег один за другим все тома в «голландке» и покончил с образованием. Бог мой, как они горели, как перекручивались строчки, образуя новые смыслы, с каким яростным свистом лопались переплеты. Саламандры так и метались по страницам, вычеркивая новые знаки, прочесть которые никому уже не дано. Такой жар шел, что почти лопался кафель, а золы совсем не осталось. Хозяйка поутру выгребла из печурки десятков бронзовых застежек — вот и вся людская премудрость.

На другой день после аутодафе я, маясь от скуки, стал приглядываться к работе немногоречивой хозяйки. По ее бессмысленному, но едва ль ни вдохновенному лицу я догадался, что доверяет она не размышлению, а интуиции. Видно, ее искусство не то что было лишено законов, но те затаились в закономерностях еще более универсальных, правящих мирозданием. В своем деле она была, конечно, не мастер. Я уж не говорю о мещанской символичности ее творений, — она, казалось, совсем не признавала благородных различий одноцветного, игру форм, а не цветов, переливы тончайших эмоций, да еще устремленных вглубь души.

Занявшись сам составлением букетов, я вскоре понял, что это искусство пока еще пребывает у самых истоков, почти лишено канона. Чему удивляться — тут не Япония. Сначала, чтобы войти в доверие к хозяйке, я нес такую же, как она, добросовестную пошлятину. Однако, моя школярская прилежность, видимо, искупалась эстетическим чутьем, так как мои букеты куда больше нравились

покупателям. Конечно, мне это занятие скоро наскучило, к тому еще раздражал самодовольный идиотизм заказчиков, которые не доросли даже такого вполне профанического искусства. Начал я с иронии, а потом дошел до сарказма — мои творения так и вопияли своей неуместностью. Невеста получала букет, полыхающий всеми красками порока. Я был уверен, что мне его швырнут в лицо. Нет же — приняли, и даже похвалили. Для именинных подарков старым девам я создавал нечто inferнальное, — тоже нравилось. А потом я стал бесчинствовать — сляпывал букеты из чего попало, предоставляя заказчику самому изыскать смысл. Изыскивали, и очень успешно, — тут уж моя слава букетчика достигла необычайных высот. Так бы, казалось, и творить мне отцветающие шедевры, но тут, на этом моем творческом взлете, закончилась быстрина, иссяк некий некогда неким посланный мне импульс, и я замер, как шар посередине суконного поля.

Время ноля только, может, и продвигалось моими быстринами, но стоило вызреть значимости, как быстрина иссякла. Конечно, быстрина абсолютна, но не продвигающая время, а, влекомая временем, она теряет свою всеобщность. Так я и замер, не дотянув до лузы пару кувыркков. Вылетев из жерла ноля, я еще некоторое время по инерции двигался прямолинейно и равномерно, но там, в нулевой бесплотности, движение не убывает, а тут силы трения должны были рано или поздно меня остановить. Конец быстрины убил мою вольность, хотя и даровал свободу, точнее, своевольство, — началась никуда не устремленная жизнь.

Только в том беда, что удел ноля — катиться. Если ноль потеряет и направление, что же ему останется? Вся его сила в увлекающем движении, образовании в пространстве жизни невидимых желобов, трубок. Он не способен наполнить быт, а тот не может его заполнить. Ноли — дыры в пленке быта, притом, обреченные вскоре затянуться.

Я не привык жить. Я зародился там, где жизни нет, только лишь бытие. Теперь мне нужна свобода, а воли не надо. Воля — это ветвистое древо возможностей, на котором я и повисну. Паузы между ветвями, где сквозит сожаление, дают простор его кроне; свобода же — его корень.

С момента, когда пришла воля, мое единонаправленное, быстринное бытие распалось на множество необязательных поступков. То есть могло бы выродиться в быт. Но ведь и быт требует, пусть не определенной и стремительной, так хоть вялой направленности. Он

влечется темной силой желания, но вот желаний у меня никогда не было. Разве что сверхжелания — быстрины.

Я как бы оцепенел, даже не как бы, а в самом деле оцепенел, но стрелка тикала, и под ее тиканье во мне б рано или поздно зародился быт. Его наваял бы мне тихий иноземный городок. Он влился бы в мои пустоты, став и моей карой, и утешением, пока его неторопливая ласковая волна не вынесла бы меня за кладбищенскую ограду. Может быть, подобный Лимб я себе и отыскивал — ведь не случайно именно сюда закатился.

Замаранный бытом, я был бы наверняка избавлен от утомительного воздушного путешествия и залег бы тут, под безымянным крестом, если и не навсегда, то на бесконечно долго, — на томительную безыстринную вечность, до пресловутых труб. Не пришел ли я сюда, безымянный, пресекавший прежде, нулевой, как никогда, чтобы тут навсегда залечь и обрасти мхом, как валун; перестать быть нолем увлекающим, а стать нолем бытовым, бесцельно, притом впервые, живущим?

Дело казалось не простым, но вполне выполнимым. Надо было постепенно, преодолевая даже не самое оцепенение, а инерцию покоя, обзавестись как можно большим количеством занятий и причуд, не заботясь, что вглубь бескачественного ноля им все равно не прорасти. Не надо было их туда и проращивать, — нулевое нутро очень непитательно для такой растительности, но ведь и камень способен обомшеть. Причуд я был искони лишен, но ведь я существовал ох, как долго, сколько вечностей пережил. Прежнее существование можно было раскрошить, и эти осколки завершенного дела сами по себе обернутся чудачеством. Мало ли чудаков ходит по здешним улочкам, — не отличишь, кто местный, а кто привозной. Среди них попадают и мои собратья, все равно, прошлые или будущие.

После того как пресекалась быстрина, я лежал недвижим, надеясь лишь на бегущую стрелку, громopodobное биенье которой заглушило другие звуки, — да в них и нужда отпала. Было отчего-то тревожно, и так холодно даже под тремя хозяйкиными одеялами, что бил озноб и зубы стучали с влажным треском. Однако, я уже начинал ощущать нарастание моха на моей отсутствующей шкуре, — так что предвиделось потепление... Но подступил страх, — и даже не страх, именно ужас. Страх-то всегда был при мне, но, если катишься прямонаправленно, и тот прямолинеен, — гнался сзади и тем самым подгонял вперед и одновременно поджидал спереди. Теперь же он подступил со всех боков, обратившись в ужас.

Как я мечтал, чтобы страх обрел, пусть враждебный, но человеческий облик, — обернулся гномом, наконец, или авантюристом. Но их даже и не чуялось, зато какие-то призраки все время скрипели разошедшимися половицами. Вокруг шло постоянное шевеление пустоты. И чей-то взгляд был на меня всегда обращен — пустота обернулась соглядатаем. Я прятался с головой под одеяло, но даже и там ухали совы. Нет, не становились байковые оболочки теплой утробой, несвязуем этот ноль с моим изначальным.

Снаружи, на открытых пространствах было как-то спокойнее: я бы даже взял рыбацкую лодку и выгреб на середину озера, но меня распирала мощь моего своевольтва. Так бы я и лопнул, как пузырек, на водной поверхности. Неплохое, казалось бы, для ноля зануление, однако недопустимое. Слишком уж много в нем определенности, которая на стыке прошлого и будущего непременно окостенет, — образует между ними хрящ. Дело истинного ноля отвергать, а не быть отвергнутым, наше дело — размыкать. До самовольного ухода своевольтво ноля, даже покинувшего быстрину, видно, не простирается. Сбросило ведь дерево величайшего из моих учителей. А то, наверняка, было не просто дерево, а древо упущенных возможностей и сожаления.

Но даже и сама мысль об уходе, уступке взаимонаправленной силе морали прошлой и будущей, для ноля недостойна. Пусть он уже высох, выжат, обвис, утерять свою быстрину, но он не позволит прошлому уйти в будущее без звука и шороха, как нож в масло. За такое предательство нулевой идеи — уже конец, — и трубы такого предателя не пробудят. Подобная гнусь для предателя-ноля слишком уж слишком великая роскошь.

Ноль куда больше значимого страшится не-быть. Он ведь на самой границе небытия, поэтому, как никто, чувствует эту грань. Но и грань ощущает его прилегание, — она пружинит и выталкивает его, как светлое озерное зеркальце. Ноль отвержен всеми и всем, но ничто не способно его уничтожить. В вечном отвержении его всем остальным гарантия его вечности. И все же, как мучительно больно, когда предшествование и последующее с двух сторон давит в обмякшие бока, стараясь сомкнуть меня.

От самоотрицанья я был спасен. Когда у меня в ушах грохотала стрелка, я, разумеется, не слышал никаких других звуков, тем более, что они тренькали в невероятном отдаленье, за многими слоями оболочек. Отвлечшись от тех звуков, я, конечно, забыл, что и они могут вторгнуться в мою судьбу, а не только тикающая стрелка, которая не

так движет, как продвигает. А там уже отыграли увертюру, — даже глухой к внешним звучаньям, я это почувствовал, — эфир стал густеть и масляниться. Хозяйкин сад был отделен от мира только живой цветущей изгородью, и вдруг вокруг нее образовалась еще какая-то граница, стык пространств, неуловимо, точнее, уловимо, но неопишимо друг от друга разнящихся. Теперь я понимаю, что это было необходимое загустенье границ перед тем, как им разомкнуться. В такие моменты как никогда остро чувствуешь различье своего и чужого, — под вывернутыми наружу границами образуются еще и пленки из, казалось, более тонкой материи, но вполне прочные, предназначенные, чтобы из разомкнутых оболочек не истекло нутро. Должно быть, нечто подобное происходит со змеей, прежде чем ей скинуть кожу.

Старая, усталая, ороговевшая кожа лопается под давлением новой — свежей и напористой, готовой вобрать и утеснить. Напор ее пока еще не направлен — она не ведает будущего, но готова к любому движению или, по крайней мере, продвижению. Новая — это даже еще не кожа, а предкожа, тоненькая кожурка. Кожей она станет от соприкосновений с тем, что вовне, когда станет защитой внутреннему, задубеет от соприкосновений с наружей.

Сейчас только еще созревающие формы с наслаждением сбрасывают свои закаляневшие оболочки-фикции и приступают к взаимному дублированию шкур. Тем легче старые слетают, что они нулевые фикции. Теперь же фикциям пришел конец, — приживется лишь истинный нарост на истинном нутре. А нолям только и останется, что взвиться в воздух, как шарам пожарной каланчи, и там парить в псевдоосмысленном движении, — а на самом деле быть игрушкой воздушных потоков. Небеса теперь ветреные, взвихрился воздух. Со мной же, нолем великим и уникальным, конечно, случилось иначе. Слишком опасна моя пустота, — так что могли однажды и рухнуть стены нерукотворного музея, где я пребывал. Внешняя значимость, стремящаяся заполнить все пустоты, могла их смести. И в один прекрасный день цветущая изгородь ороговела до каменного мешка.

Меня поместили в бункер — безопасный, но и безысходный, — что стало истоком уже последней моей быстрины — странной, скорее мыслимой, чем действительной. Воображаемого продления прежних быстрин. Этакая получилась бумажно-чернильная быстрина, где все сплющилось и вовсе лишилось плоти. Зато она не потеряла главных свойств быстрины — курса движения и смены темпов. Она стала схемой, обобщением всех моих быстрин, то есть моим нулевым портретом. Поначалу мне даже казалось, что именно она положит начало без-

оболочной эстетике, — так она вольно и странно проистекала вначале. Но потом я стал чувствовать, как она роговеет под моими пером, затягивается оболочкой. Я прогонял ее вперед, стараясь усилием вывести ее из-под ороговения, но от этого она еще стремительней застывала, быстрее даже полета моей руки, — речку сковывал лед. Я чувствовал, что вожу рукой уже не по чистому листу, а по наперед проложенным канальцам. Сперва я заподозрил, что мне специально приносят оскверненные листы. Да нет, к чему им это? Они бы с удовольствием обнаружили там полную небывальщину, чтобы, следуя небыли, тем надежней добраться до были. Иначе, зачем бы подсовывать лист за листом? Не исключаю, что они даже их предварительно чистят и ошкуривают. Однако напрасно — слишком уж въедливы канальцы, выскребленные всеми перьями мира. Я попросил бы лист из детского альбома, но не решился еще и его испоганить, — ведь тогда на всем белом свете не найдется чистой бумаги.

Я надеялся, что, сменив перо на собственный палец, не буду оставлять следов, — но еще какой оставался, куда въедливей, чем чернильный. Сжечь, сжечь, всю эту бумагу, отдать на испещрение саламандрам, а если водить пальцем, то уж по осенним дубовым листьям. Но остается еще надежда, что все бумажные листы испещрятся вдоль и поперек, канальцы перепутаются, — они станут все равно что чистые.

Таков уж закон написанного: даже вопль ужаса обрстет оболочкой, — и тогда станет красив. Да и я ее еще похолою, вновь образованную, морщась от брезгливости и наслаждения. Добраться бы мне до первых, мучительных, листов я порвал бы их в клочья, во имя окосневшего. Приятнее все же и привычнее скользить по наперед проложенным бороздкам.

Запуская ноль по чистым листам, я был уверен, что его путь будет всегда прям. В ноле так бы и случилось, но в значимости он потерял свою прямизну, — так ноль и отскакивает от всевозможных углов или выписывает петли, крив и петлист его путь. Правда, кривым он покажется только с различных точек значимого обзора. У значимости их много; у ноля только одна, — та самая, с которой его путь всегда прям.

Меня заботливо спрятали в запасник от осатаневшей значимости, не ведая, что я неуязвим. То ли делая вид, что не ведают. Когда меня объяли истинные, капитальные, стены, в отличие от колеблющихся, меняющих толщину, неуловимых, тревожных, я снова обрел покой, а с ним и глубокую, совсем не тревожную тоску, которая, как я по-

нял, сочилась из всех четырех темных углов, как бы отсеченных вписанным в квадрат шаром. Без этого мне никак, — всегда останутся лишние темные углы. Иначе это было бы и не узилище, а просто уютный футляр. Те не виноваты, что нет специальных темниц для нолей. Тикающая стрелка с каждым тиком испускает неделимо-мельчайшую порцию тревоги. Но это не страшно, — когда тревога настолько ритмична, к ней можно приладиться.

Суда не было. Да и они при всей своей тупости понимали, что он и не возможен. Как выудить единую точку взаимного перехлеста всех человеческих законодательств? Искать ее вряд ли следовало — точка эта была напряженная, критическая, отторгаемая любым законом, — пространство беззакония в любом законодательстве. Слишком бы оказалось значительным наложение законодательных пустот, — многое могло б рухнуть в это зияние. Согласно же прецедентам, приговор был ясен: к вечности. О нем мне гомонили все окружившие меня умолчания.

Вынесен он был, однако, давно и не ими. И не только вынесен, но и постоянно приводим в исполнение: сколько уже вечностей я отсидел в узилище — не пересчитать. Но во имя какой гуманности мне оставили тикающую стрелку? Надежда, только на что, очередную вечность? Тут даже вечности, не то чтобы — невечные, однако не неокончательные. В каждой из них чуть ли не виден дальний берег. А может быть, стрелку оставили, предполагая мое недоверие к ним, чтобы она мне точно оттикала вечность, — и ни мигом больше. Ладно, спасибо им и за такую — не спокойную, пульсирующую вечность. Все же она покойней всего невечного. Пусть в ней существует направление и ритм, даже — цель, но многих целей, конечно, нет; иначе, что ж это была бы за вечность?

Здешнего главного я видел только раз, и он был так невыпирающе зауряден, что сразу проскользнул в какую-то мою глубь, из которой его извлечь теперь невозможно. К тому же, там уже хранится множество разнообразных, но чем-то ему подобных, существ, — так что было б легко перепутать его с другим. Эти ненавязчивые формы хранятся в какой-то моей копилке как материя будущих снов. И все они с зачатками характера и даже с завязками судеб. Вот откуда, наверняка, в мои сны сочатся сумбур и хаос, — они живут почти сами собой.

В моих сновидениях, куда он проскользнул угрем, земляным червем, он почти всевластен, но в яви моей — бессилен. Знай, что так получится, я хотя бы попытался удержать его на поверхности.

Но это были бы лишние усилия, — и он вовсе лишен трения, скользкий из скользких, да и моя поверхность совсем утратила способность отражать и отталкивать, все так и летит камнем на дно. Моя пленочка даже не способна удержать границу между сном и явью: любая явь — это мой сон.

И все-таки, стоило ухватить его за мельчайшую морщинку, за складочку кожи, вцепиться в нее. Да какие складочки на сверкающе гладком? Как по-хозяйски этот колдун ведет себя в моих снах — и манит, и ускользает, может обернуться чем угодно — птицей, камнем. Как в яви он незначителен, так многозначен в сновиденье. Но не спрячется, не скроет своей ползучей червяной сущности. Он даже не способен запаковать мои сны целиком. Кто б знал, как чисты и светлы сны предателя. Изредка, разве что, там шевельнется червь. Точно так же, видно, как пакостны сны добродетельного. Не желаю, чтобы и тут, в единственном моем убежище, хозяйничал червь, хоть бы и в самых дальних, отсеченных углах.

Как стерильно все здесь было, пока я сам не захламил свое узилище формами. Правда, именно в такой чистоте они и рождаются. Сами заводятся в пустом пространстве, — ведь пространство для форм и предназначено. Они зарождались в шелесте неисписанных бумажных листов и, сначала плоские, потом наливались объемом и весом, пока я совсем не затерялся в их толпе. Затолкали они меня, совсем затерли. Может, с ними было бы и веселее, но они оказались никакими собеседниками. Диалог с ними был бы невероятным изгибом монолога, свивающегося в коварные петли. Без них произнесенное мною слово, многократно отразившись от стен, затухало в одном из темных углов. Теперь же оно отражалось от расплотившихся форм, многократно и причудливо поворачивалось и разворачивалось всеми боками, выворачивалось наизнанку, из одномерного становилось миллионномерным, но обогащалось ли оно этим, не уверен.

Можно ли вообще обогатить слово, которое только безразмерный прокол в молчании, и только на черной подушке немоты и засверкает бриллиантом? Многократно отраженное, оно действительное, но уже недействительное. Там, за стенами, слово всегда проходит через эту мясорубку, врываясь в мир уже удобным фаршем. Я думал, хотя бы тут оно прозвучит не размолотым сложной системой жерновов, многочисленными «я». Здесь ведь оно неприменимо, а значит, насущно. Какого же черта все они вырвались из моего опустошенного нутра и заполонили внешнее пространство многоцветьем звучаний — бездарнейшим из всех возможных разноголосым хором.

Вместо простого и ясного диалога со стенами получился скучный разноголосый монолог. Видно, вот и причина бесконечного усложнения поля. Он так и стремился отразиться в каждом бутылочном осколке разбитого.

Я собираю осколки, чтобы склеить их в яйцевидную амфору, но они все множатся, и не закончить мне этой работы. Но то не моя печаль: ноль не давящее, а испытывающее давление. Он не взвихряет воздух, а парит по воле воздушных вихрей, он не философ и не оратор, а медиум. Его дело не собрать, а собирать. А потом найдется метла, которая все выметет начисто. Единственное право и забота ноля — катиться в лузу после могучего тычка. Главная его добродетель — добросовестность, которая состоит в невесомости и беззвучности. Быть невидимым центром, а там уж бог весть, какую окружность опишут вокруг этой центральной точки, — пусть и на всю Вселенную. Его дело только невидимо пребывать.

В расплодившихся формах я видел себя отраженным одновременно со всех боков. Это зрелище было вульгарным и навязчивым, истинным зрелищем. Я всегда предпочитал себя «проигрывать» на великолепном органе пустот. Как мягко и бархатисто он звучал в ноле, где нет эха, а тут звуки, натываясь на стены, все перемешались и устроили мерзкую какофонию.

Я всегда был врагом пластических искусств, загромаждающих пространство и вовлекающих его в свои законы. Не создающие пространство идеи, а захламляющие его окаменевшими идеями, так что жизни там уже тесно. В таком пространстве прошлое и будущее сливается в окаменевшее вечное «сейчас». Это полная противоположность нулевому замиранию времени. В ноле нет времени, но есть быстрины, а тут одна безбыстринная безнадежность. Впрочем, расплодившиеся здесь формы пока еще не застыли, они жили, пхались локтями, но я-то знал, что их будущее окаменение неизбежно, — разве что мне все-таки удастся выписать нолик, замкнуть овал. Однако на это слаба надежда — слишком уж точный глаз и верную руку надо иметь, чтобы ноль, наконец, замкнулся. Существует такой глаз и такая рука, которая потом единым и единственным, простейшим из возможных штрихов замкнет все наши угловатые кривые. Но нашей рукой она не поведет, не избавит нас от усилий. Ведь даже один абсолютный, замкнутый, ноль аннулирует всеобщую суету, образует воронку, куда все сольется.

Ручеек обязан добежать до цели, влиться в тот же океан, из которого истек. Для него допустимы неполные ноли, озера, где жизнь

не навечно замирает, а лишь на время — микроморя, лужицы, болотца. Пускай они малы и неказисты, а часто попросту грязны, но все же, в сравнении с ручьями, — это напоминание о морях, пусть чуть насмешливое. Да ведь, как известно, в отличие от чистейшего и жизнерадостного ручья, даже грязноватая лужица способна отразить небеса в своей гладкой поверхности. Вот те и раскиданы по всему течению потока, эти омуты, загрязненные клочки небес.

Чтобы свести кончики овала, нужно исключительное усилие, — очень тот упруг. А сил у меня уже нет, — казалось бы, остался всего крошечный зазор, но, сколько всего заключено в этой трубочке пространства. Уж не затаился ли в ней еще какой-нибудь ноль, куда более глубокий, даже и мне непонятный, настоящий небесный ноль, в сравнении с которым все земные ноли просто разреженная значимость — ось, захлестнувшаяся в петлю, метафора. Если так, то мне никогда не свести конец с концом. И стоит ли преодолевать небесный ноль ради земного? Не так ли, как меня ужимает значимость, я ужимаю его? Не в этом ли крошечном промежутке должна угаснуть добросовестность ноля? Да она в нем и угаснет. Своя задача и у ноля, и у значимости — движение к определенной цели, которая всегда в стороне от задачи. У значимости — ужимать ноль, у ноля — ужимать ноль небесный. А последний ли тот, может, и он что-нибудь ужимает? Так и будет продолжаться вечное ужимание до последней, невидимой точки, где все частные задачи сольются в единую цель.

Совершая последнее стягивающее усилие, я чувствовал, что подошел к конечной грани своего дела. И уже даже чуть вышел за нее, заглянул в бездну, где ноли множатся, приближаясь к полному и окончательному. Но те ноли уже не по моему разуму, — их нельзя измерить значимостью, но и мой кустарный ноль для них слишком грубый инструмент. Можно провалиться в такую бездонную щель, откуда меня и венец не извлечет. Исследовать ошеломляющие глубины, конечно, подвиг, но не мой. Хватит мне моей собственной бесконечности, что мне до других? Все равно мне не угнаться за ноликами, один за другим катящимся по бог знает куда ведущему желобу. Для ноля, как ни для кого, страшно обезуметь. Ведь его безумие так и хлынет наружу, проломив хлипкие стены, тогда как для всех иных безумие — это лишь кривляние оболочки.

Уж бог знает, как долго левая стена — если встать лицом к решетке — постукивает, но только сейчас я вычленил этот ритм из многочисленных внутренних пульсаций. Конечно, это язык и предельно существенный, тяготеющий не к словам, а к корням, но пока мне

невнятный. Да и как мог бы я понять значащие ритмы, когда свой собственный я давно потерял, — иначе чужой я расшифровал бы по несопадениям. Даже сердце бьется как-то вразнобой, с бездонными провалами в никуда. Кто же там, за стенкой? Уж не авантюрист ли, а может, гном. Могли ведь и их прибрать в запасник. Но вряд ли — их место снаружи, служить баллоном в развернувшемся всемирном ножном мяче.

А стук тем временем становился почти музыкальным, на глазах преодолевал тяготение к слову, становился отчаянным воплем. Вот такому воплю из-за стенки я хотел бы ответить, но молчал, не способный к диалогу. И стук постепенно потерял настроение, стал монотонно-пробивающим, почти слился с тикающей стрелкой.

Когда, интересно, вылетит кирпич, и в стене образуется проем, куда я смогу истечь? И куда изолюсь, и смогу ли истечь? Может, я уже истек до конца и больше из меня вытекать нечему. Проклятый стук, — как мне отвратительна и тягостна эта трепанация. Кому понадобилось добираться до моего нутра — или пробраться в мое нутро. Оно ведь теперь растеклось на всю темницу. Так в узилищах бывает даже и с куда более ограниченными. Тут ведь не от кого хорониться, и стены невольно кажутся такими надежными, что нутро само по себе доверчиво изолюется, затопив все ограниченное от мира пространство. Могут излиться наружу и самые наисокровеннейшие глубины, так что останется только сморщенная кожурка, дряблый мешочек. Тогда — безумие. Причем излившееся нутро может так накрепко пристать к липким стенам, что и века не ототрут эту плесень. И стены уже падут, а из бывшего ограниченного пространства все будет доноситься позвякивание цепей.

С тех пор, как нутро растеклось повсюду, даже мой страж меня перестал навещать, будто боясь замараться моими внутренностями. Да я и сам шагаю, словно по собственным кишкам. Теперь уже ничего в темнице не осталось от ее первоначальной чистоты, вся она замусорена. Не понимаю даже, откуда берется мусор. Ну, пыль — ладно, она сама как бы рождается из пустоты. Но мелкие камешки, щепки, травинки, елочные иголки — откуда все это?

Вот что всерьез меня злит, так это решетка, располозовавшая небо, хоть и мною подгрызенная, но еще, ох, какая крепкая. Даже моя волчья хватка не оставила на ней ни царапины. А ведь нутро может истечь и в эту форточку. Она мешает оболочке окончательно совпасть, намертво склеиться с каменными стенами. Иначе каземат стал бы моей собственной теплой утробой. Я бы сам себя зачал и выносил

для новой жизни. Заложить бы, замазать, замуровать эту брешь всем, что здесь найдется, — камешками, травинками, щепочками, и все это склеить собственными плевками. Но маловато тут материала, не хватит. И материал-то дурной — сор. А размочи слюной, так получится грязь. Грязью эту пробоину не замажешь.

Так и уходят в эту вытяжную трубу излияния духа из всех мировых узилищ и снаружи свободно резвятся. Ими-то, может, мир только и живет, но тягостно смотреть, как он с ними играет по собственному произволу. Соскребает с них тюремную тоску, обряжает в разноцветные наряды, траурные марши вплетает в оперетку, — а, бывает, и в ораторию. Да, собственно, и пускай — незачем отравлять мир тюремными страхами. Но и напрасно мир обволакивает эти излияния нутра изящными оболочками. Он боится их расколоть, думает, что в их сердцевине обнаружит смердящее ничто. А ведь нет же, казематы — не склепы, мертвечиной там не воняет. Там вдоволь страха и тоски, но нет ужаса и отчаяния, которыми полнится мир. Снаружи страх и ужас сочатся в узилища, а не наоборот. От самого игривого мирского соблазна всегда потягивает тлением. В мирское-то как раз нельзя углубиться без тошноты.

Темница чиста даже и замусоренная, туда можно ступить безбоязненно. Только необходимо на пороге скинуть оболочку. С ней насыщенная путями пустота может поступить жестоко — истеребит, истреплет, изомнет. Никакой красоты не останется. Из темницы всегда видны небеса, пусть даже один квадратик, да и всегда перечеркнутый. Именно так — стены и небеса, а мир сокровенен.

Улететь из нее возможно лишь в небо, если только грубо не выпрут в мир, за порог. Меня-то уж не выпрешь — из меня все излилось, а излившееся тут и пребудет. Не послушаются меня здесь обретшие самостоятельность формы, не пойдут за мной следом, даже если я их позову. Наружу можно выкинуть только сморщенную кожуру, отыскав ее в одном из темных углов, но к чему — тот же сор, который весь до конца не выметешь.

А стук тем временем становится все навязчивей, настойчивей, ближе. Уже вот-вот камень зашатается и выпадет. Уж не побег ли мне готовят? Вряд ли, и это, к счастью. Снаружи, в черно-белом мире, нет у меня друзей и быть не может. В ноле и те, и другие были мне друзьями, — все. Теперь же, после размежевания, все мне враги. А если и остались друзья, то разбросанные по дальним казематам, — да и нет у них такой мощной и целенаправленной силы, чтобы продолбила камень.

Они просочились бы в щель ручейками или даже проникли дуновением. Но отчего-то здесь полный штиль. Щели хорошо замазаны, чтобы никакой наружный сквозняк меня не прохватил? То ли даже они знать меня не хотят. Ну и пускай брезгают моей гнусной оболочкой предателя, — не моя вина, что мир заковал мой нулевой порыв в мерзейшую из оболочек, мой проток все равно их не минет. Пусть, — и даже лучше, — что он останется безымянным, не обозначенный позорным именем. И все же меня когда-нибудь извлекут из его глубин, как изъеденного раками утопленника. Черно-белые, конечно, сморщившись, заткнут носы. Но сколько бы утопленников не извлекали из водоемов, напиться-то можно только из них. Черно-белые уверены, что пьют из крана, но даже и оттуда течет вода, не совсем избавленная от речных вибрионов. А другим, хоть они и брезгливо оттолкнут ногой мой разложившийся труп, все же придется, припав, напиться из родника.

Пусть моя отяжелевшая оболочка, как ядро, перекатывается по исторической оси, много разрушений она не принесет — значимость не только устоит, но и окрепнет, закалится. Моя судьба не так приглядна, чтобы кто-нибудь рискнул еще разок моей оболочкой воспользоваться.

Могу себе представить, как я мерзок, выбравшийся из легковесного ноля на каменистую равнину значимости. И не только «могу», но и представляю. Я ведь не небесный ноль, а здешний, стремящийся к пустоте, но тяготеющий к значимости, которой загажен. Я и сам себе гадок, вымазанный этим вонючим навозом. Как хорош и невесом был мой полет, и каким жалким червем я шлепнулся на каменистую почву. Но ведь не только падение останется, — и полет где-то запечатлен, точнее — вечно длится. Для значимости месиво переломанных костей — итог, вечное «сейчас». Но в этой кровавой груди замер полет. Коль устремляться вперед, следуя их настойчивому и необратимому времени, и впрямь паденье — итог. Но, если обратиться вспять, оно вновь обернется полетом, пусть и заверренным.

Значимости, если и случается обернуться назад, то она только и видит уходящие за горизонт холмы курганов. Она и мыслит недвижностями; воспоминания ее состоят из застылостей — будущее для нее тоже череда курганов, этот мрачный пунктир. Для нее все уже заранее свершилось, не начавшись. К чему множить могильные курганы, или их недостаточно? Конец всегда неподвижен, как межевой столб, — даже то завершение, которое лишь грядет. Движение в значимости — сумма упокоений, то есть вовсе не движение, а про-

движение или, скорей, мельтешение. У ноля нет конца, он всегда продолжение — поток своевольного времени, который для значимости все равно, что покой.

Покой ей видится и в начале, и в конце. По-своему они и правы, если движение для них — своевольство. Когда несешься в потоке времени, ты волен, но несвободен, и только совпав с быстринной, то есть вырвавшись из тенет времени, ты обретаешь свободу, а вместе с нею и цель взамен множества целей. Ты становишься однозначен и безгрешен, целен и равен себе.

Быстрина прямолинейна, как намекал мой канувший друг, хотя и слабо их осознавший. Историческая ось — искривление прямизны духа в прямолинейный путь. Это деятельность, но бездействие. От действия не утомишься, оно всегда радостно. Деятельность — дробление каменных глыб, потому утомительна.

Но отчего же я так устал? Может быть, тому виной путешествие кубарем по зеленому сукну значимости, — краткое, однако непривычное. Да и наматывалась на меня липкая ненависть, от которой я теперь отгорожен каменной стенкой. Я отяжелел от налипшей оболочки чужой ненависти. А теперь она на мне подсохла, как глиняная форма, и отколупывается кусками, которые бьются об пол с глухим треском. Скоро ли я освобожусь до конца от этой яичной скорлупы, и не будет ли это избавление от чужой ненависти окончательным освобождением ото всего, уходом? Что меня еще может удерживать в оскудевшем мире? Я необходим, как мраморная плевательница, мусорная корзина. Не будет меня, и весь мир будет завален мусором. Впрочем, и после моего ухода, плевательница им все равно останется — опустевшее место. И лишь, когда пропадет в ней нужда, плевательница станет менять назначение, пока в грядущем музее не займет стенд с табличкой «амфора». И не по ошибке ученого археолога.

Точно, так оно и будет — временная даль эстетизирует низменно-утилитарное, даже плевательницы и писсуары. Люди будущего оценят то, чем их предки пренебрегали, и прилив умиления смывает границу меж этическим и эстетическим. Приятно, конечно, после плевательницы стать амфорой, но что делать, если мне противна любая скорлупа? Не желаю быть ни писсуаром, ни амфорой, — предпочту бежать трещиной в штукатурке. Плевать мне и на хулу, и на слово. Почти. К несчастью, их звуки, отражаясь от моей поверхности, создают эхо, которое раскатывается по моим пустотам, многократно ими умноженное. Выходит, я в чем-то их соавтор, хоть и не-

вольный. Хотел бы я поглощать их звуки без остатка, но крепко втянут в их свершения.

Интересно, до каких пор можно разматывать ноль, будто клубок ниток? Весь он, казалось бы, исписался, но даже и оставшийся крошечный огрызок продолжает выписывать что-то существенное, без чего, кажется, и ноль — не ноль. Сам ли он испишется, или конец письма затеряется в будущей немоте. Ведь без конечного, как и без начального умолчания, ноль уж точно не ноль. Но ведь и плоть его — умолчание. А слова только обозначают границы умолчаний. Слова о ноле — метафора, а сам он — отбрасываемая ими тень. Нет, недостойную игру словами я веду, а значительную — междусловными пустотами, теньвыми смыслами.

Но умножение пустот множат ли пустоту? Сомкнутся ль все тени в глухую ночь? Не наоборот ли, — не прояснится ли она, когда тени получают наименование, пусть, примерное и неблагозвучное? Когда каждая тень, пусть легчайшим шелестом, о себе заявит? Не потревожу ль я своим многословием теневой мир? Но столпятся слова — сомкнутся их тени.

А не наоборот ли, не слова ль — тени умолчаний? Да это и неважно, коль одно сопутствует другому. Единственное, что я могу, так это предоставить умолчаниям побольше простора, разрядить междусловное пространство. Ведь сколь много ни сказано, это лишь подчеркивает огромность невысказанного.

Но, все-таки, стоит ли мне бежать вдогон каждой зашевелившейся тени? Сперва казалось, не так уж их много, шевелящихся, но когда мой глаз привык к здешней темноте, оказалось — вся она шевелится. На каждый шорох и не укажешь пальцем. Пересчитать все тени до единой — значит сотворить теневую значимость. Не этим ли я занят? Пусть и этим, но все равно мне это не удастся. Мои бесплодные усилия только обнаружат мою срединность. Неполное молчание станет туманным рубежом меж звуком и полной немотой. Мой ноль — это пространство зарождения и затухания звука, пусть через шепот душ, обращенный к безмолвию духа. Храм, где все переходят на шепот. Это мастерская, где безмолвие дробится, плавится и отливается в бронзу.

Я замер на грани. Место ноля на пересечении вертикали с горизонталью. Его влечет во все стороны, и равновесие сил — гарантия его прочного пребывания. Куда мне до Распятого, но все же я — гвоздик, вбитый в крестовину.

Пробивающий звук стал совсем уж настойчивым. То ли эхо виновно, то ли ко мне и в самом деле добираются со всех четырех сторон. Содрогаются стены, — даже, вроде, пошли трещинами — в темноте их не различить. Спиной, что ли, мне подпереть мои стены? Только бы рука их долбила, а не новая идея. От идей тут и так тесно, — еще одна даже и не уместится. Да и не пустят ее сюда здешние, прогонят, как чужака. А может быть, это заблудившееся эхо моих слов, решительно отвергнутое окрепшей значимостью? Или сама значимость так развевалась снаружи, что земля содрогается, — даже до моего безопасного бункера докатываются толчки. Ничего, он не развалится. Значимость, наверняка, с виду ярится, строит зверские рожи, но больше пугает. Не так уж она решительна, — много еще у нее сохранилось пустот, и она их сберегает. Вот когда туда с поверхности стечет вся мерзость и гнусь и они, переполнившись, станут лопаться, разбрасывая вокруг всякое дерьмо, то прорыв этих гнойников будет куда поопаснее. Такая в них скопится разрушительная сила, что наши бомбочки, хоть и той же природы, в сравнение с ними покажутся детскими хлопушками.

Пустоты в значимости куда как опасны. И я буду твердить, твердить об этом, пока не истекет до последней капли. Когда иссякает дух, остаются души — кувшины, амфоры, плевательницы, где скапливается вся дрянь, весь гной мира. Но не они ли там вновь потом перегорят в дух? Как тело создано из земного праха, так почему бы и духу не родиться из земной текучей грязи? Может быть, туда заложено зернышко какого-нибудь очистителя или бродильные дрожжи. Сомкнись окончательно все пустоты, мир обрел бы еще более опасную неуязвимость. Лучше пустота, чем «ничто», лучше демоны — отражение в небесах замутненных пустот, — чем никто и нигде. А демоны — не отраженье ль небес в замутненных пустотах, болотцах? Стоит пустотам истинно опустеть, проясниться, как будет явлен исконный облик благих сущностей. Что ж, пусть вся грязь мира туда стечет и там очистится, — тогда и рассеются демоны. А пока этого не случилось, можно понять отвращение значимости к пустотам, — и к небесам, которые черны от множества демонов. Ключки ясно-голубых — это лишь располосованные крестами квадратики земных узилищ.

Пока существуют оболочки, небеса обречены засоряться, будь то искаженным или истинным. Их не расчистишь той грубой метлой, которой вооружилась значимость. Когда протоки объединят все разбросанные по земле лужицы, когда все они сольются воедино, тогда

и сомкнутся осколки небес. А стоит ли распугивать собственные тени, еще больше пугаясь их кривлянию?

Для значимости я — демон, а вообще-то, я ноль. Дряни во мне ровно столько же, сколько в людях значимости. Их дрянью я наполняюсь, — не думаю, чтобы во мне самом зарождалась какая-либо прибавка. А ведь им может так показаться. Нет, просто дрянь в меня стекает по даже им неведомым протокам, — ну и пускай, я бездонный, все в себя приму. Пожалуйста, — если от этого, хотя б немного станет чище в мире.

Пока я тут, даже, несмотря на охватывающие меня стены, неизвестно, что от меня ждать. Может, они бы сами помогли мне изойти, но знают, к чему это приведет. К плевательницам они, — и не напрасно, — относятся еще бережней, чем к амфорам. Поэтому я не боюсь, что долбят мои стены, — только безумцу может понадобиться губить меня, уже погубленного, или вызволить. А все безумцы мира сейчас другим заняты. Когда еще им представится возможность попотрошить небезумным животы? Там, снаружи, надолго установилась шизократия. Они уже выскочили из своих загонов, кунсткамер, запасников и царят надо всеми. Да еще небезумных туда загоняют, — вместе им жить невозможно.

А я жить среди них не хочу, — пока власть у нормальных, психи даже привлекательны, но всевластье безумных — та же скучища. Сразу выяснится, что они не разрушители и нарушители, а просто у них другой закон, — такой же скучный, но еще более невнятный и напористый. В загонах им не было нужды в оболочке, та у них и не предполагалась. Стоило им вырваться из психлечебниц, как та обнаружилась, — и вполне прочная. Оказалось, что не безумный — в загоне, а кто в загоне, тот и безумный. Я — в загоне. Но меня-то они безумным признать не хотят. Не в тот загон меня сунули, которые для тупиковых монстров. Почему-то не сработал их защитный механизм, все, во что надо вдуматься, отбрасывающий, как неразумное. Что ж, может, мне и радоваться, что они меня не отвергли, а приняли, хоть и поместив на дно глубочайшей из вырытых ими ям. Но ведь в загоне для безумных мне не было бы легче. Сначала я рвался бы на волю, выкрикивал свое имя, но потом мои неслышанные слова обратились бы в просто в отчаянный рев. Так бы я и верещал, как безумец, действительно обезумев. Но не дали они мне такого счастья, — и даже не из мести. Просто им необходим ноль, без ноля они сами ноль, точнее — ничто, полная неопределенность.

Надоело мне уже валять ноль, перекачивать его с боку на бок. Не жду ж я всерьез, что ноль иссякнет? Я прекрасно знаю, что ноль неисчерпаем, что боков у него миллиарды и миллиарды, — каждый не разглядишь. Да надо ль непременно досчитывать до бесконечности, чтобы сознать, что перед тобой именно бесконечность? Это достойно разве что значимости. Бесконечность ведь не сумма конечного, она первична. Бесконечность, и в зародыше — бесконечность. Ведь даже значимость не отрицает, что беспредельный счет ни на йоту не приближает к бесконечности как таковой. Так что, если моим листкам суждено выпорхнуть в значимость, придется ей поверить мне на слово. Может быть, и заключена в них убедительность не количественная, а качественная. Если они выпорхнут, сколько вокруг них суеты поднимется: плевательница до срока превратилась в амфору, пусть аляповатую и еще не отмытую от плевков. А может, к тому времени и срок придет. Если же нет, так пусть плюют в амфору.

Я бы уже закончил валять ноль, но чем еще заняться в этой пустоте? Я повесился бы от скуки. Надеюсь, окончание придет откуда-нибудь снаружи и еще до той поры, когда перекачивание превратилось в совсем уж пустую, не мучительную игру. Впрочем, что мы, мазохисты, знаем об играх? Только я по своей природе не игрок. Видно, уже наигрался до тошноты в свои сонные игры. Страж мой как-то раз, с непривычно гнусным выражением лица, — вообще-то он совсем неплохой парень, — предложил мне партию в шашки. Я послал его к черту, а потом изрядный кусок вечности задавался вопросом: не он ли партнер по моим ночным играм? Но вряд ли — тот совершенно незначим, но необыкновенно значителен. Не иначе, как я играю сам с собой. Но что ж это за раздвоение в нечленимом поле, к тому ж при отсутствии личности? Неужели, наконец-то срослись плюс и минус или горизонталь с вертикалью? Но если те и не воссоединились, то накрепко объединились, — им, вперившимся друг в друга, не надо других партнеров. И победы никому не будет — одни только ничьи, вечный пат. Тогда зачем же игры? Или это значимость раздирает ноль в клочья? А может, и стоило принять вызов стража — тогда игры, перешедшие в явь, вероятно, покинули бы мои сны. Но в этом закутке идея так все собою пропитала, что игра оказалась бы не игрой, а разрешением неких проблем, возможно, мне и чуждых. Останусь же наедине с ночными играми, — пусть и мучительными, — где все едино, выигрыш или проигрыш. То и другое равноценно: плюс-минус ноль. Ничья в ней — слияние выигрыша и проигрыша, и не

отсутствие результата. Да и не ничья это вовсе, а тот результат, для которого даже у меня нет названия.

Вдруг я почувствовал — причем давно, но осознал много позже, — что где-то стало вызревать окончание моего письма, а с ним — заточения. Росток его зримо выбился из почвы, и деревце уже крепнет. Окрепнув, оно протянет ко мне ветви, так что я смогу за них уцепиться. До сих пор мне не за что было цепляться. Видно, не в прошлом, а в будущем таится исток увлекающей меня сейчас, последней моей быстрины, которая, скорей, всасывание, как и положено последней быстрине. Она всегда — перевертыш, верней, тебя уносит не лицом вперед, а затылком. Так что перед глазами — не переднее, а заднее, не будущее, а прошлое, которое потом тебя захлестнет, взбурлит водоворотом перед тем, как всосать в свою воронку. Окончание, как и конец, может зародиться вовне, но, в отличие от конца, оно индивидуально только для тебя, и, даже зародившись вовне, все равно твое личное — только тебя увлекающая сила.

Обратные быстрины, влекущие к финалу, куда настойчивее прямолинейных. Они подхватывают неожиданно и уж никак не управляются волей влекомого — непременно донесут его до самого исхода, сколь бы он ни хватался за подводные камни, — только руки себе раскровавит. Может он разбиться об эти камни насмерть, а может, и пронесет, но в любом случае его ждет не конец, а окончание. Я это знаю. Разобьются, слетят грубые оболочки, но тончайшие более неуязвимы, — чем тоньше, тем неуязвимей. А что помешает тончайшим потом уплотниться?

Окончание уж вовсе не гниенье тела, хотя может и этим обернуться. К разложенным от гниенья телам устремлен ужас мира перед падением оболочки. Это и есть зримое воплощение ужаса. Тут у меня, в моем узилище, столь уплотнилась идея, что мое окончание обернется тлением почти физическим. Я уже всеми своими внутренними пустотами-ноздрями ощущаю, предоощаю его омерзительную вонь — идеи усопшие смердят еще гаже, чем тела. Загнивают все пазухи, — чем не орган, если каждая из пустот будет вонять по-своему? Закопать бы им мой труп с осиновым колом между ребер, а могилу запахать. Да нет — бросят на съедение голодным псам. Их псы еще всласть отъедятся мертвечиной. Разрубят мой труп, а части выставят на всех базарах мира, для всеобщей острастки. Но ведь от разделения меня не убудет, любая часть равна целому. А значит, даже глупцу доступно понять, что перед ним действительно ноль, только слегка провонявший. Расчленения я не бо-

юсь, как и того, что голодные псы меня растащат по косточке, — пусть у каждого голодного пса заведется по нолю в брюхе.

Близится окончание — и одно из самых окончательных — а райского хора все не слышно, но не слышно и улюлюканья дьяволов. Вот в этот прогал взаимного перехлеста двух пауз мне предстоит втиснуться. Пока он столь узок, что даже мне, почти целиком изошедшему, туда не протиснуться, — но будет все шириться и шириться эта всасывающая воронка. А там, за гранью граней, меня встретит затишье, это уж куда как почетно.

Умножившиеся формы расплзлись по углам, размазались по стенам: им не следовать за мной, — оставаться, где были. Речь, свою эхопроизводимость, они утратили, только, как рыбы разрезают рты и прислушиваются к беззвучью. Его они могут расслышать лучше, чем я; их слух — это мой, распавшийся на отдельные ноты. Мне, нолю, нечего с собой забирать, уйду в никуда таким же пустым, как и вышел из ниоткуда.

Все звуки тут затухают, гаснет и мое многословие, неторопливо погружаясь в вязкое болото умолчаний. И стук уже до меня не доносится, только стены дрожат, — сыплется пыль, кирпичи ходят ходунном. И тени затаились, почти слившись воедино, и располосованное небо теперь посмурнело, хотя решетка надежно обрамливает каждый квадрат. А моим усталым глазам чудится исходящий с небес луч, круглым пятном растекшийся в самой середке узилища. А может быть, и всегда лучилось небо, только невидимо для неутомленного зрения? В нем кружат пылинки, одна за другой улетающая в отдушину. Я же, разбазаривший даже и все легковесное, что во мне было, однако остался чересчур тяжел, чтобы воспарить в луче.

Бах-бабах! Это наконец рухнула пульсирующая стена, и в пробой или нечто вползло, или влетело, или проникло, или вошло, или изошло. Что именно, я не успел понять, ибо тут же эхом звякнул засов, громко, но не нарушая, а подчеркивая всеобщее беззвучие. А стремился ль я понять, нужно ли мне это было? Ведающий дерево — предвосхищает и его плод, еще пока не налившийся. К чему разглядывать апельсиновую кожуру, если мякоть все равно не тебе достанется?

Страж вывел меня за порог, — стены-то пали, а порог остался, как был, — и я не услышал стога остающихся в узилище форм, разве что, легкое позвякивание цепей. Ступив за порог, я понял почти сразу, что я не качусь и не влеком, и не лечу в воздухе, а именно шагаю. Ноги-то когда у меня успели вырасти? И надо же — именно там, где

им и полагается быть, — снизу, а не сверху или сбоку. Довольно мушкетистские и уверенные. И тень моя меня удивила — она была огромной, преломленной, но чуть ли не человеческой.

Страж шагал впереди, за ним, привалившись к его плечу, моя тень, а вслед за ней уже я сам, чуть наступая собственной тени на пятки. А спереди, сзади, со всех сторон, звякали, брякали, лаяли запови. Сейчас бы мне воспарить и, задевая спиной потолок, пролететь вдоль коридора, где стены так реальны, что ощутим каждый камешек. Но я шагал, как впервые, и долго-долго. С каждым моим шагом во всем, что меня окружало, — точнее, в том минимальном, что было вокруг, — проступали цвета и плоть. Видно, и во мне нечто проступало, судя по тому, что тень обрела все оттенки темного, стала почти дагерротипом, причем, подвижным, как изобретение Люмьеров. Ноги мои, сперва маслянисто скользившие по кафелю, вдруг по нему противно зашаркали.

Все стены теперь зияли дверями. Одна, маленькая, обнаружилась спереди, в тупике. Туда, пригнувшись, проник мой страж, потом и я вслед за ним. Я шагнул — это ж надо? — в комнату, столь натуральную, что мне, привыкшему уютиться в аппендиксах идей, едва не стошнило от столь грубой определенности. Мог ли я предполагать, что столь уже окрепла значимость, что ее неуловимый закон достиг каждой канцелярской скрепки? И тут же, охватив меня, ороговевшая значимость вся целиком на мне оттиснулась до мельчайшей своей морщинки. Я будто впервые дышал воздухом взамен густого эфира. И ничего — дышалось, и уши мои слышали, глаза смотрели и видели. Мне хотелось выбежать поскорее наружу из моей тюрьмы и поплутать по умножившимся закоулкам, пусть паучком или тараканом. Таракану много места не надо — куда-нибудь забьюсь, так что и никто не отыщет среди расплодившихся уютных мелочей; буду упиваться тараканьей суетой до самой смерти. Это в разреженной нулевости я раздувался до последних своих пределов — тут я не великан. Как нежно здешнее меня умяло и ужало. Наделило ногами, а под них постелило почву, по которой и бежать — радость. Пусть даже ноги так замелькают, что будет их не человекья пара, а тараканья шестерка. Боже, как великолепна эта однозначность форм — дивное «здесь» и «теперь», вечно изменчивое, но всегда единственное. Уже не склизкий ноль, а уютный вагон, катящийся по рельсам времени. Как бы те ни петляли, для пассажиров путь всегда прям.

В этой ячейке времени не растечешься — тут гаснут и память, и предвидение. Не мирская, конечно, память, а проточная, — той сю-

да и не просочиться, а если и выйдет, то она попросту развезет слякоть. Но здешние стенки хорошо законопачены, а главное — тут и секундная стрелка смирила свое навязчивое биение. Оно ведь совпадает — пусть и с неритмичным — погромыхиванием вагона на стыках. Блистательная выдумка: отринуть «лучше» и «хуже» во имя «есть». Разъять прошлое и будущее, но уже не скользким ноєм, а уютным, даже и в движении неподвижным «сейчас». Какая радость из нулевой пустоты выбраться на прочную поверхность. Там вся — идея, а тут и обобщеннейшая из идей разъята на частности. Добро и зло, ад и рай здесь — только отблеск на серебряном подстаканнике. Всегда бурлящая, свивающаяся в петли значимость непременно оставляет на своей периферии такие вот закутки. Они уютны, нежны, но и прочны. Бурлящее размелется в муку, а они так и будут проталкиваться значимостью вперед, передаваться по наследству, как фамильная драгоценность, разменная монета, серебряники, — сокровище мироздания. Так постепенно со значимости облетит осенним листопадом все тревожное и сомнительное, до самого дна завалив обломками нулевые колодцы, и вся она станет сплошным сокровищем. Исчерпывается будущее, окостенеет прошлое, навек замрет уютное «сейчас». Вагон отправится на запасной путь, где будет стоять, пока не рассыплется в прах. Не замечательная ли судьба?

Я выкатился в стенной пролом на вагончике, именуемом «сейчас». Главный тюремщик и лукавый страж прощально махали мне вслед. Прежде они отвели меня в кладовую, где был собран весь хлам или сокровища мира, и предоставили выбрать все, что захочу, или даже всю кучу захватить с собой — они бы не пожалели. Но я, пустым сюда вошедший, и уйти бы хотел пустым. Но не идти же мне голым? Я выбрал минимальный покров, чтобы прикрыться от стыда и холода, оставив им на память свою оболочку, шкуру, в которую главный тюремщик, — он же и страстный переплетчик, — ее растянув, сумел бы переплести не один книжный том.

Я сразу ринулся в мешанину красок, в людскую толпу; отправился бродить по путям, овегществленным в дороги, опредмеченным в улицы, уточненным в переулки. Мальчишки тыкали в меня пальцами и кричали: «манекен», но мне было на все наплевать. Я хлебал в трактирах пиво, бурлящее почти океанской пеной; разламывал, исколов пальцы, хитинную оболочку раков. Толпа не зажимала меня, а нежно ужимала, умело вылепливала. Насколько проще было выявить и наименовать даже неясные, чуть шевелящиеся тени, чем перечислить все многообразие здешних подробностей. Капельный

закоулок здешнего пространства был изобильней, чем вся бесконечность ноля. Раньше я мерил нолями, потому и значимость обобщал, охватывал кольцом. Ноль исконно лишен подробностей, а в значимости только они и желанны. Легко было возненавидеть значимость, как негатив ноля, но в разнообразие деталей нельзя было не влюбиться, не разжиться хотя б одной, по вкусу. Не Его ли любовь сияла в каждой их них, и не она ли возвращалась к Нему, умноженной бесконечным отражением? Может быть, только тут и возможна любовь, в смешном, незначительном побулькивании значимости. В величественном же, всеохватном ноле ее нет, — хотя бы потому, что там невозможен другой; ты один, как воздетый в небо перст. Истекающей с небес любви не от чего отразиться, ибо ноль способен только вбирать. Потребит и ее, — но та для него станет мучительной, как не знающая исхода. Конечно, вся она сбережется в этом сосуде, но ведь и не умножится, — разве что стечет с поверхности жизни ее игристое вино.

Знал ли я наперед, что еще выпишет совсем уж было стесавшийся ноль? Те листки улетели и канули где-то сзади. Пускай хранятся за крепкими стенами, которые уберегут их и уберегут от них мир, пока не исполосуются трещинами и не рухнут. Зато впереди простерся чистый лист, на котором я пишу, прислоняя его к каждой стенке, так плотно, что на нем оттискиваются барельефы, — и знаки меж ними плутуют.

Я плескался в толпе, уходя в рукава, протоки, и опять возвращался к руслу. Мне улыбались, улыбался и я, пусть застывшей улыбкой манекена. Уступая давлению толпы, она бы постепенно вымялась, приобрела подвижность иль неподвижность естественную.

Людская толпа была изобильна, даже избыточна, однако не хаос, — ее движение регулировалось чем-то мною пока еще непознанным. Вот что мне предстояло познать, но как? Даже мой острейший нюх не чувствовал исходящей от толпы и зависшей в воздухе эманации смысла. Над нею витал только рокот голосов и шарканье подошв — видимо, также и мирские запахи, которые вскоре я уже и не чувствовал, — слишком для меня оказались резки. Так уж изошрился мой нюх в пространстве мысли, все ее оттенки мне, слепорожденному, были знакомы. Как пахнет мир, я не знал и теперь не узнаю.

Тем временем небеса над Имперским городом мутнели, желтели, на миг чуть окровавились, — и стало темнеть. Всеобщее перемещение теней теряло целенаправленность. Окружающее перестало меня

ужимать, оно постепенно распалось. Толпа меня предала, она иссыхала на глазах, пока не остались от нее лишь одинокие капли, мелкие лужицы. Теперь плыть уже не удавалось — влага разбилась на ртутные шарики, которые разбежались по подворотням, закуткам, чтобы там на время замереть, затаиться. Но у них-то было время, а у меня — одна только вечность. Я остался посередине площади, как подыхающая лягушка на дне высохшей лужи.

Чересчур много было вокруг пространства. Будь я прежним, я бы растекся по нему, слился бы с ним, не оставив опасного зазора. Но хоть и рассеялась толпа, видно, остался ее незримый негатив, форма, куда она потом вольется. Хотя протоки, рукава и само русло обратились в гулкие трубы, я, дрожа, теперь не от ужаса, а от сильнейшего в моей жизни страха, повторял свой дневной путь. Как прежде, в ноле, я разгонял стоячее время, так теперь — застывшее пространство. Вновь оказался в лабиринте труб и пустот, который недавно покинул.

Была труба как труба, разве что прямее многих других, потому и ветер ее вольнее проскваживал. Он сипел, хрюкал и посвистывал, задевая балконы. За стеклами мерцали осколки разбившейся толпы. Что труба замкнулась спереди, я учуял, казалось, давно отказавшим нюхом. Это было странно, так как ветер поддувал мне в спину. Поэтому я и катился без остановки. Мне и глаз не потребовалось, чтоб в темноте разглядеть лысый череп авантюриста. Мой прежний подельник был еще далеко, но приближался так быстро, что мне так и не удалось понять, идет он, летит или катится. Шаги, по крайней мере, не слышались. А сзади уже доносилось сипение и шуршание. Вряд ли это был сам гном, — он уже стар, дряхл, немощен, если вообще жив. Да он и сановен, не станет сам делать грязную работу, — выслал за мною вдогонку, должно быть, мельчайшего из своих гномиков, моих прежних друзей.

Они приближались, а я, не дожидаясь мига их смыкания, пал на землю и изошел без остатка. А что было дальше — тайна, которую вам и предатель не выдаст.

Они сошлись.

— Сдох, — сказал авантюрист.

— Царствие ему небе...

*сто дней*

А лучше было бы — Путь. Сам знаешь — путь бывает разным. И бесцельное петляние с возвратами к началу — тоже путь. И сам отказ от пути, и он — путь. А еще точнее было бы — Дребезги. Путь по дребезгам, как по камешкам, когда ноги в кровь. И совсем точно было бы — Эхо. Эхо густого бора, плутающее между деревьев, когда сам голос невесть где, а оно — повсюду, все вторит ему, и самому себе вторит.

Нет, все-таки, лучше всего — Путь. Ведь и топтание на месте — и оно путь. Путь там, где цель. А ее вам у меня не отнять. Она не уйдет от меня сквозь пальцы, как все уходит, как уходит наше сыпучее время — единственное наше богатство. И, тем не менее, 100 дней. Коль я пришел к тебе, доктор, выберу маску под стать твоему дому. И попросе, чтоб ничем не выделиться, как было за забором. А у тебя тут все больше Наполеоны и чайники. Почему чайники, это выше моего разума, и, чтоб не крутить себе и так скрученную на сторону голову, выберу первое.

Так слушай же, доктор, мой безыскусный рассказ. Искусственный, конечно, донельзя. Но это и гарантия его безыскусности. Иначе ведь и я был бы не я. Мои 100 дней — взлеты и падения. И победные стяги упрутся в небесную высь, и паду распластанным на жизненном поле, открытом небесам из конца в конец. Такие вот дни дороже всего — плуг по мне пройдет, взойду колосом. И серп меня подрубит, и цепи размелют тело, но изготовлено будет тайное сусло. А потом вспенится брага. Я — такое же поле, как все: и злаки, и плевелы.

Пришлось мне написать одну шутовину, которую я назвал Ноль. А новое могло произрасти из любой ее фразы, и вся она заколосилась. Теперь я срываю один колос. Надеюсь, что он подлинный, среди всей

намешанной там муры, всего ненастоящего, которое единственная гарантия подлинности. И есть там одно заветное место, то зерно, из которого проросла и вся она, и весь я нынешний. Оно неказисто и немощно — ни блеска, ни громовых раскатов. Но проросло оно из той капельки света, которую ни с чем не перепутаешь. За что он? За какие заслуги? Ни за какие, должно быть, вымолен. Что-то неожиданно простилось в моей сумбурной жизни. Вдруг промелькнула та прямизна, по сравнению с которой прочее — лишь извивание червя. Ведь путями мира идем, а они извилисты.

Должно тогда проститься и то, что не смог я на негладких листах передать всей его неземной прямизны, — кого же в этом упрекнут? И как беззащитен этот кусочек света. Может, поэтому ни у кого на него рука не поднимется, как на младенца. И это камешек, а прочее было — оправа. Стыдливая попытка заглушить тоненький голосок небес грозowymi раскатами, где, бывало, и демонизм просверкивал. В который уж раз он охраняет святое. Или это земная ошибка, мираж нашей пустыни?

Ничего, изощренная витиеватость оправы лишь подчеркнет неказистую подлинность камня даже для самого неверного взгляда. Надеюсь и тут уцепить хоть миг подлинного, поэтому щедрой рукой рассыплю перед тобой, доктор, ворох ненужного. Разве сам я способен угадать единственную перловицу? Не такой уж я знаток в себе самом. Будем же раздвигать створки всех раковин подряд. Будем вылизывать соленые устричные сопли. В одной-то блеснет жемчужина, и это будет нам на веки вечные богатство.

Ничем мы с тобой не побрезгуем. Ведь когда сами слова замшели ложью — только случайно, чудом сболтнешь правду. Что ухватил — то мое. И сразу — на тебе, пускай будет и твоим тоже. Скажешь: чушь, — я не огорчусь и не обижусь. Мало ли ее уже наворочено на этой свалке. Скажешь: все чушь, — я не поверю. Не поверю, и все тут, доктор.

Так что — карты сразу на стол. Только лишь разок-другой передерну для подлинности и по старой земной привычке. Не пугайся, доктор, не так уж много у меня карт. Ребенок ведь играет разноцветными стеклышками, дребезгами, посудным боем. И каждый мечтает о кладе. А найди он клад — бриллиантовые россыпи, сокровища падишахов — так может оказаться, что вовсе они ему не нужны. Полюбуется на блеск самоцветов, да снова робко потянется к своим стеклышкам. Не так-то много осталось для подлинных игр в нашем опустевшем миреке. Давай перечислю: небо, а там облака, полет, птицы,

солнце и луна, и высота, и ничего вовсе. Оттуда — снег, дождь, град, луч. Потом — земля. На ней — слякоть, опавшие листья, драгоценный, павший уже снег, колосья. В ней — мрак, вонь, черви, золотые зерна. Что еще сгодится для наших игр? Запад — восток, день — сумерки — ночь, горизонт, все безвременье. И еще несколько мелочей. К примеру, заветная перловица. И потом, конечно, сокровища. Что поделывать, я не накопитель, а граф Монте-Кристо. Это — дух времени, сочащийся во все не заделанные тобой щели в моей келейке. Алкаю сокровищ, быть может, слегка иных, чем те, кто остались за забором. А может, и тех же самых.

Итак, только лишь я расстался со своим странным героем, насильно вытолкнутым из тягостных и безопасных для него стен, как снова меня потянуло в какой-нибудь загончик. Видимо, побоялся, как он, изойти, исчезнуть, растечься на просторе. Захотелось вновь прикипеть к чистым листам, доктор. Ты прости, что называю тебя доктором, но надо ж тебя как-то называть. Вновь захотелось стать плоским и шуршащим, как эти вот листы, и до поры даже для себя неведомым. Ведь наперед не скажешь, из каких именно дребезг сложится шуршащий герой, какую тень отбросит на бумагу мужчина за тридцать, — и все при мне.

Может получиться совсем странно, как выплыл же невесть из каких глубин или высей самый отпетый подонок, историческая заваль. И он-то заставил меня его размотать на полторы сотни страниц. А что мне он, где мы с ним породнились? Я ведь, честно скажу, в тюрьме пока не сидел, великих князей не убивал. Никого не предавал. Впрочем, было что-то в детстве, мелкая стыдная пакость. Было, конечно, из ничего ведь и ноля не изогнешь. Как вот сейчас же предаю его самого.

Но оставим его и прежние заколосившиеся листы — я никогда их не перечитываю. Не желаю снова выписывать разбегающиеся концентрические круги — надоело. Расскажу только, доктор, как я поговорил с тем при помощи бегающего блюдечка, — есть такая глупая игра. Сам, небось, вертишь. Все проделки домовых, развеселых духов. Короче говоря, на все мои вопросы «отчего» и «почему» он ответил ясно: потому что я болядь. Именно так.

Он ушел от меня, потому что тихо и тайно изменилось время. Уже и, пожалуй, не ноль. А какой-то пока хрупкий хрящ, который надо брать осторожно, точно, но решительно, как хирурги копаются во внутренностях. Но вовсе я не собираюсь быть хирургом себе. Время — вот мой интерес, которое мне брат или сестра, с той поры, ког-

да прохудилась моя оболочка. Прохудилась, доктор, я весь перед тобой, раскрыт, гляди мои кишки, только не запугайся в них. Никого я из себя не строю. Какой я философ, какой мыслитель? Не такой, по крайней мере, что кишат в твоих келейках, как сельди в бочке. Что я знаю? Чуть себя и чуть время. А ведь интересно мне другое. Но не хотел, а познал — и себе, и времени обреченный. Я ничего, поверь, доктор, из себя не строю — я не судья ни другим, ни другим временам. Я весь перед тобой — с созревшей уже мыслью и детским воображением. Они друг другу несоразмерны, оттого мысль и гонит все время картину. Но подцеплю одну-другую — будут и твоими. Мне они дороги своей беззащитностью. Пускай будут дороги и тебе. Ты их защитишь получше меня, доктор.

Все высыпаю перед тобой, доктор, и ты будешь всему защита. Я буду повторяться, доктор. Что жизнь, как не вторение, не эхо. К примеру, перловица, луч. Она вторение лучу и перловице. Да я мильон раз произнесу эти слова, чтоб только послушать их эхо. Защити мои банальности, доктор. Они мне дороже всех сокровищ. Их я искал в горах сверкающего хлама. То, что отыскал, — твое и наше.

А все же тянется за мной тот ноль. Погоди, сейчас дам ему, изловчившись, пинка, так что он далеко укатится. Что, доктор, ему открылось, когда он истек до капли перед глазами охранника и авантюриста. Ведь не то же, что он блядь. Мне не открыть того, что ему открылось. Вот истек мой ноль, выпит до последней капли. А что вокруг? То же, только слегка хрящевающее. Тишина — молчат музы, и пушки, о радость, молчат.

Я здесь, у тебя, в твоём парке, где осеннее небо так близко, хотя его и не ухватишь, в твоей келейке, где так близок свод с облупившейся штукатуркой. Но отчего ты так молчалив, доктор, как язык проглотил? Почему так молчаливо время, все не дает ответа? Оно как бескрайняя песчаная коса, песок, куда уходят без следа все звуки. И мы сидим, что-то ищем в золотистом песке, пересыпаем его между пальцами. Что ж, молчи, доктор, коль нет слов, а одни архаизмы, береги слово, я скажу за нас обоих. А ты будь вешками, обозначающими мой путь.

Но я устал от простора этого времени без зеркал, а с одним зеркальным боем, на котором вспыхнешь искорками — и нет тебя. Потому я и пришел сам, добровольно, в твой парк. Парк был осенний, а я люблю осень, хотя она для меня, как селедка, завернутая в газету, вся облеплена чужими строчками. Целое озеро усталой осенней воды, а в ней вверх тормашками отражается городская усадьба с гер-

бами какого-то графа. А прямо напротив ее, на другом берегу озера — флигелек, так и исходящий легким парфюмерным бредом.

Тогда был пуст шикарный парк — таким вот изящным увяданием обернулись муки твоих гениев и пророков. Я ведь, случалось, раньше подходил к решетчатому забору поглядеть, как их завозят в твой заповедник, как они бьются в крепких руках белохалатников, такие немощные с виду. Они верещали, бесновались, опасные, как дикие звери. Еще опасней в нашем безвременье, когда каждый протянувший руку обращается в регулировщика. Я ведь сам так стою — тяну руку: то ли прошу подаянье, то ли указываю путь.

Не хочет зверье в клетку. Но что делать? Тебе упасать мирок, где детишки играют в песочек. Этот рассыпающийся, уходящий сквозь пальцы мирок, такой уютный, что взрывы, которыми детишки друг друга пугают, не громче новогодних хлопушек. Тебе же упасать и зверье. Вот дом твой потрясают разрывы — так разрывы. Но нет ничего крепче его глухих стен. Ни звука не пропускают наружу. Только внутри — сражение звуков. Они пожирают один другой. А результат — лишь благовонный дымок из трубы, который обволакивает парк спокойной грустью.

И только однажды на меня тут пахнуло жутью. Не беспокойся, доктор, ничего — просто мои раздерганные нервы. Обычный парковый грот, куда, готовясь к зиме, стащили обломки парковых статуй. Уродцы всех времен — от нимф до девушек с веслами. И не разберешь, где кто, — все поломано. Забытое капище, и никого вокруг. Меня и от меньшего жуть берет. А я ведь шел и не был уверен, что твои белохалатники не скрестят передо мной алебарды, не захлопнут перед носом решетчатые двери. Часто ли к вам приходят добровольно? Ваша клетка для отторгших или для отторгнутых, а у меня с миром — полупризнание. Видимо, я не из тех зверей, от рыка которых вдали, за песчаными дюнами детишек дрожь пробирает. Но я вреден, доктор, пусть вред из меня исходит не рыком, а черным паром. Я полуосвящен: полголовы — в ночи, полголовы на свету. Вредно и то, и то, доктор, — и холод ночи, и дневная жара. Вот где я был раньше, доктор: на самой невозможной оболочке вечного света. Я был незаконным духом из тех, кто — ни туда, ни сюда. Оттуда такое острое чувство оболочки. И, как все заколебавшиеся, я пошел вниз. Был сброшен со своих средних высей — за гордыню, должно быть. Те, кто на грани, всегда заносчивы, начиная хоть с вахтеров. И вовсе я не напрочь оторван, но я и не принят с тяжким сейчас даром свободы. Зато могу крутить головой во все стороны — солнечные ожо-

ги излечивать прохладной тьмой. Я пришел к тебе, когда мне стали сниться вещие сны. А прежде я впитывал в себя ночи по неведомым капиллярам-соломинкам, как лучшие коктейли из приворотных зелий. Парил во мраке, широко раскинув свои крылья-культы. Не желаю вещих снов. На хрена мне здешнее предвиденье? Оно тут, как голая степь, не замкнутая горизонтом. Даже сны, которые снились мне в темное время беды, и те были лучше. Ох, как тяжелы они были. И что, казалось бы, особенного? Зеркало, отражающее там скуку здешнего точно, до мельчайшей детали. А ведь сказано, что это и есть ад. Черная ночь души. Казалось бы, ничего не происходило, ничто не преображалось — таким же снаружи уходило внутрь, изнутри — наружу. Но ведь что-то копилось в неизвестной глубине, шло тщательное переживание мрака. А это ведь значительное занятие, признай, доктор. Из этого темного кусочка, как из волшебного мешка, потом может целый мир родиться.

И первым делом из него выкатился резвый нолик, скользкий, как обмылок. Если я его и не поймал, то охота за ним была и увлекательной, и поучительной. И велась она на исходе черной ночи, точнее, когда она изошла, стала паскудным сереньким рассветом. Так, доктор? И надо ж, чтоб он совпал с такими же сумерками времени, — мы встретились на пробуждении-угасании, и с тех пор я и время — родня. Разжалованный неотмирный дух получил возможность понять мир, ухватить рукой угасающий свет. Хоп — и, разжав ладонь, обнаружить в ней пустоту. Нет, если приглядеться, то не совсем пустоту — бледного солнечного зайчика.

Что ты качаешь головой, доктор? Да-да, ты прав, сначала вовсе был не ноль, а луч света, прорезавший черную ночь из конца в конец. И он разбился на осколки, мельчайшие частицы, которые нотками, цветными фигурами, небесным дождем орошали мои сны. Миг — и не ухватить. Почти что ничего. Но только выписав ноль, можно понять, что не то это было.

Доктор, я был уверен, что ты меня примешь в свой дом. Я не зверь, и погляди, как гладок мой бред. Но я болен чем-то вроде падучей. Ее мне накаркал один королевский звездочет. Он тут, среди твоих больных. Погляди в окно — видишь, маячит кончик его колпака в золотых блестках. Расписав все дни года, на дне, когда я родился, он начертал: падать с высоты. И каков оказался провидец — падаю все время с самых разных высот, как прежде пал сюда со своей прежней, единственной.

Я ушел к тебе из осеннего мира, где люди метутся по навек опустевшим улицам, как осенние листья. И так же, как те, светятся прожилками. Они и есть листья, опавшие с прежде зеленевшего дерева. Мне холодно в этой застывшей осени, открытой всем ветрам — и теплым, и холодным. А вместе — холод, пронизывающий до костей. Вот я и бросаюсь в жерло твоего вулкана. В клочущий, пыщающий котел, где варится будущее.

А до этого были вещие сны. Я все бросался и бросался в эти омуты, где по-устричьи попискивают мелкие детские страхи. Как ловец жемчуга, я пытался ухватить заветную перловицу, которая когда-то упала с прозрачных тогда небес в тогда еще чистые воды. Но куда? Они давно уже замутились, заболотились, зацвели красивыми цветками. Прошлое лишь иногда пробулькивается, как болотный газ. Но находок было немало. Правда, больше чушь. Например, хрустальный гробик со спящей царевной. Она — маленькая, по-восточному носатая, и шепчет: ключик, ключик. Нашел я ключик, завел ее сквозь дырку в поясице, а она, сделав пару па для разминки, вдруг взмахнула подолом, как цыганка, и блестками своего платья затмила звезды. Вот чушь-то. Я в твоём парке, слушай, доктор. Он пуст, но вот картинка, смывшая тот страх, с которым я переступал порог парка. Пожухлая лужайка и мои коллеги-психи, собравшиеся кирнуть. Перед ними натюрморт далеко не фламандский: все скромно, но достойно, совсем по-заборному. И тут я являюсь перед ними, ломая кусты, как ошалевший фавн, и их вмиг сдувает, как листья ветром. А ведь и я такой же лист, упавший невесть с какого дерева. Что так боязливы твои гении и пророки, а, доктор?

Но и то хорошо, что нахальства в нас много, как в тех же осенних листьях, летящих прямо в физиономию, но нет победного хамства. Мы оробели, доктор. До того, что я расцеловал бы прежнего хама за ту прочность, что он вносил в заборный мир. Но те вымерли, как бронтозавры. Что нам делать без них в заборье?

Надеялся ли я встретиться с таким в дверях твоего зыбкого дома? А он стоит — вахтер или кто там, — о них речь уже шла. И со своим куда прешься? Говорит: ходят, таскают сюда сор — весь не выметешь. Что хмуришься, доктор? Куда ты его еще разжалуешь? Ведь видно, что он бывший белохалатник, только халат засалился. Должен же кто-то у вас открывать и закрывать двери.

Он был ласков со мной, доктор. Принял, не прогнал. На цыпочках провел мимо морга, такого тишайшего, но — он шепнул по но-

чам прыскающего призраками, как переваренная сарделька. Он не виноват, что на меня тут пахло давним страхом больничным. Там где-то он застрял с давнишних пор в нутре со своим запахом лекарства и нездорового тела. Где-то в аппендиксе нутра рядом со страхом железнодорожным. Я назвал твой дом больницей, потому что келейка, куда меня привели, — в точь больничный бокс. А мой сосед — твоя выдумка, доктор? — вовсе завернутый псих. Погляди на него — весь день каркает: я каркадил — и сладострастно трется жопой о калорифер. Пусть каркает, я уже привык, а ведь раньше — ты скрыл — он буянил: одна белохалатница раскололась. Во время буйства, говорит, вырвал напрочь оконную крестовину и, гляди вот, — прибил над дверью. Пускай, даже красиво, и ветры теперь вольно сквозят в оконный проем.

Ты оставил меня одного с этим вот отребьем. Зачем, доктор? Такая ведь вокруг была непривычная тишина. Даже самые неслышные шуршанья доходили до моих ушей. И, казалось, слышится музыка сфер, а это, выяснилось, — спевка больничного хора. Выздоровливающие поют прямо над головой. Как тут прислушаться к лепету будущего? К воде, шуршащей в невидимом мельчайшем пробое плотины?

И тут, без тебя, мне пришла мысль раздвоиться — право любого здесь у вас, хотя вы и пытаетесь сметать сколько ни на есть половинок на живую нитку. Я решил прощупать вертикаль — горизонтально для меня так опустела, примелькалась, что я и Эверест не замечу, не то, что нынешние кочки. Не так, доктор? Ты прав — горизонт, я ведь не слепой, все заворачивается вверх: и горизонтальные пути теперь наклонны. И мы с тобой уже не на шаре, а в шаре — как муравьи ползем, срываясь, по его хрустальным стенкам. Видишь эту вот дверную крестовину, не на двери, а над дверью. Она — винт жизни, маячит все время перед моими глазами. Сделала лишь четверть оборота, и вертикаль стала — вперед-назад, а горизонталь вздыбилась. Но и еще ведь будут четверть-оборотики.

А мне нужен подводник. Пускай уйдет вглубь, до самого донца нутра, а оттуда вверх — все выше. Я лишь провожу его глазами, прослежу за его полетом. Мне ли самому лететь, накрепко прикрученному полотенцами к твоей койке? Только вот кого выбрать в моем нутре, набитом, как стручок горошинами, самыми различными сущностями. Есть какие-то ублюдки, недоделанные: кто безрук, кто без носа, кто без глаз. Они хороши для пустых времен, ибо способны навеять небывальщину. Они подходят для твоего дома, так

как по-настоящему безумны и любезны небесам. На них моя надежда, но тут же и мой страх. Страх рассыпаться вконец, провалиться в одну из тех расселин, что раздирают нутро. И доходят они до последних глубин. Я осторожный псих, доктор, и осторожный игрок — хочешь, кину на карту весь мир, но душу не поставлю. Эти ублюдки мне дороже всего, но я не знаю их языка. Пусть они, как пиявки, вцепляются в смысл любого слова или молчания. Я предпочту внятную речь.

Ведь есть в моем нутре и привратники, двуликие, одним лицом обращенные внутрь, другим — наружу. Есть, должен быть такой, с которым мы склеены спинным хребтом и ягодицами, как сиамские близнецы. Ему-то дать жизнь не очень большая загвоздка. Вот стоит в углу зеркало — круглое, мутное, серебристое, с парой бронзовых ангелов по бокам, с трещиной наискось. И в этом почти умершем зеркальном стекле я высмотрел свой образ — бледный, хилый, не очень, честно говоря, достоверный. Но в каком-то мутном ореоле. Все мои движения он повторял точно, но чуть иначе. Тому виной мутное ли стекло, паутинка трещин на нем или иные цели зазеркалья. И, тем не менее, это был мой слуга и раб. Может, и лживый. Сколько ведь снаружи стекает к ним всякой отравы. Там немало лжецов. Есть и такие привратники, что пропускают одну ложь, а истину — ни-ни. Есть и великие архитекторы, строящие замки из случайного морока. Не из этих ли он. Я погрозил ему пальцем. Он тоже мне погрозил пальцем.

А кому доверишься, доктор? Этот хоть похож на меня, по крайней мере, того, что расплзается сейчас по чистому листу, борясь с уже проложенными, вьезшимися в него канальцами. Теми, что разрывают лист, расширяются, как овраги. И моя рука в них все глубже увязает. Но, глядишь, дойдет и до тех глубин, где залегают суть.

Что делать, доктор, коль не родился еще диалог, — все звуки угасают в дюнах. Поговорю хотя бы с самим собой, со своей решкой, оборотной стороной медали, на которой пока еще четко выбит профиль. Ты замешкался, доктор, и мне понадобился какой-нибудь alter ego — альтерэга, короче говоря. Киш, откуда пришел, и чтоб я больше тебя не видел. Отыщи мне перловицу, мой слуга. Пускай не диалог, а монолог на два голоса. И не жди от меня ответа — мы с тобой не ровня, мой слуга.

И мы с ним расстались, доктор, на этой неверной зеркальной грани. Он побрел вглубь по моим кишкам. Ну и щекотно было — мелкие смешки так и пузырились на поверхности. Глупая картинка, доктор?

Погоди, вышло еще глупей. Мне стали приходиться от него записки, я находил их каждое утро на этой вот тумбочке. У этих перевертышей, небось, все наоборот. Когда у нас день, у них ночь, когда ночь — день. По крайней мере, ни разу не видел его во сне. Должно быть, он отсыпается в это время в каком-нибудь закутке под этой, ты знаешь, железой. Там, где подчас собирается почти вещественная тоска. И ее можно пальцами равномерно разогнать по всему телу.

Как я провел те первые дни? Я успокоился, доктор. Попал в привычный загон, и уже не прежняя какофония в ушах, а перекатываются клавишные хрусталики. Меня не тревожил ни ты, ни твои белохалатники. Что, доктор, ты ждал, пока мой бред утрясется, ужметсся по размерам этого спичечного коробка? Коробок хорош, понравился мне коробок — стены выбелены, по милости каркадила, высадившего стекло, — прохлада. Из сада в пробой все наметало и наметало опавшие листья, пока они не легли на пол пестрым паласом. И такая воцарилась тишина — нету скрипа половиц, одно осеннее шуршанье. Келейка стала будто храм с этой прибитой над дверьми крестовиной. И луч света бил в незастекленное окно — в этом луче вились легкие пылинки.

А теперь вот, слышишь, опять прямо над головой начались спевки? Заткнул бы ты, наконец, свой бездарный персимфанс (был когда-то такой дурацкий ансамбль без дирижера). Ведь какая была тишина, какая тишина. Прежде все гомонили наперебой, наплевав на чужое слово, ведь собственные распирали. А теперь, где они? Иссякли. Растрочена звонкая разменная монета. Теперь — только чистое золото. А ведь оно у каждого припасено в загашнике — и золотое зерно, и заветная перловица не обманут. Разве что завалилась за дырявую подкладку или осенним ветром вымело из дырявого кармана. Лезет в каждую щель бесприютная осенняя жизнь, и нечем заделать щели.

Теперь бы и рад послушать, но кругом пат, все устали, умолкли. Теперь и робчайший голосок может прозвучать трубным гласом, органом, что единственный, почти неметафорический голос духа. Тут дух нужен, мощь нужна, а кругом — исстрадавшиеся души. А ему бы врываться — сильному, победному, и оставить такую уже борозду, которую не поглотить жидкой грязью, что мы намесили по дорогам.

Я пришел к тебе, чтоб его отыскать? Возможно, доктор. И что ж? А ничего. Я любопытен — обошел все келейки. Все тот же скучный бред — кривое зеркало мира. Иной узор из все того же. Тут у тебя лжецов много и симулянтов. Есть и ротозеи. Один, ты знаешь, здесь

давно уже сидит — так он недавно растерял свои мысли. Что каркаешь, каркадил? Заглох бы хоть на минуту, мешаешь. Как бы и мне не растерять. Ведь тот хоть и скромно называл их мыслишками, но очень боялся недосчитаться. А кошель у него всегда был дырявый, и мысли, случалось, выпадали пригоршнями. Тогда он белохалатницам запрещал даже пыль выметать. Но все ж не уберег. Однажды ночью они у него все разбежались — оказались с ножками. И утром он оказался вовсе пуст или с одной-единственной мыслью, говорят разное. Куда вы его потом дели, доктор? За забор или по ветру развеяли?

Ну, знаю, доктор, — старый несмешной анекдот. Сам ты, наверное, его и придумал. Тебе он надоел, а каркадил, гляди, смеется-заливается. Мне, доктор, никаких своих мыслишек не жалко. Раскидаю их, как сеятель, — кто знает, какое зерно прорастет, что завянет. Пробуем наудачу, доктор. А нам с тобой нужна удача. Вот каким примерно было первое письмо от альтерэги.

## ПИСЬМО

*Дорогой хозяин, а нелегкое ты мне дал задание. Мне — в глубину? Ты ведь сам видел, как я тебе подобен. Ну нет у меня мяса и жил, но ведь я — оттиск мира. Ты — барельеф, я — контррельеф. А те уродцы, бескрылые ангелы, которыми кишит нутро, мне так же чужды, как и тебе. Я и язык их уже позабыл. Плохой я буду переводчик тайных разговоров нутра на язык наружи. Допустим, я буду добросовестен, но кто может меня проверить? Не навею ли я тебе очередную ложь. Не желая солгать, а по незнанию. Как перевести? Нутро — орган, где шелестят небесные дуновенья. Там не слова одни основы слов: ах и ха — и отбрасываемая им тень, ох, хо. Одни охи и смешки. А каковы они будут на языке изболтавшейся наружи, эти камертоны небес?*

*Чем ты хочешь заполнить опустевшую середку? Иль ты хочешь ее расчистить, чтоб уж не ломался небесный луч, а был прям, как стрела? Или ты просто хочешь заглушить раздражающий уши звон от полнейшего затишья? Ладно, не слуге судить хозяина. Покоряюсь и ухажу вглубь. Пока.*

Такая вот приблизительно была записка. Он прав — невероятно мне подобен. И пускай — не будем проводить искусственного разде-

ла. Надо бы ему черкнуть — пусть посмелее лезет в мое, как я — в его. К чему мое-твое, если все — наше. Придет время, зазвучим дуэтом, каждый со своей партией, а все вместе — едино.

Он — я, что ж удивляться, доктор, что его рука выводит навсегда заданную вязь, именной вензель. Ну, чуть более он бумажный, обобщенный. Я, но чуть прикрытый телесной оболочкой от суеты наружи. Он мой хранитель, но я-то его не от всего уберег.

А у меня, доктор, снова моя падучая. Лежу на койке, и снова навалилась тоска. А встать не могу. Узка келейка, но все ж далеко от стены до стены. А мне б сейчас костыли. Раздался, доктор, вон как раздался мир — не видно ни конца ни края. Ближнее не подпирает ни сзади, ни спереди. Взгляда уже не хватает ни до востока, ни до запада. А все прежняя близорукость, когда нынешнее покорно рождало завтрашнее. А причина и следствие — пара кирпичей без зазора. А теперь мы на крючке, доктор. Так, доктор? На самой сцепке между причиной и следствием. На одном огромном крюке, сцепляющем отдаленнейшее.

Предавали мы время, а теперь оно нас предало. Сделалось огромным — большущим, гулким. Перелом большого времени, доктор. Очень дальнее нами правит, а ближнее взматается осенним листом. Вот какой мне был сон. Ты хотел картинок — на, лови картинку из нашего детского букваря. Я вышел на широкую полосу расступившегося моря. Под ногами вертелись подышающие рыбешки. Серебристые, вроде килек. И уже погибшие чудовища глубин. Смерть, страх, погибель. В вышине верещали чайки. Я шел, брезгливо переступая через полудохлых гадов. Море чуть накатывало на полосу, ластилось к моим ногам. И вдруг прорвалось — стукнулись лбами два ряда барашков. Меня сшибло с ног, закрутило. Не сразу я отплевался от соленой воды. А после — поглядел: нет уже ни единого гада, всех смыло море. Остался один гладкий песок. А на пляже — множество детишек. Лица вроде бы знакомые, но тоже как будто омытые океанской водой — ни лет, ни тягот. И каждый роется в своей ямке — ищет ракушки, стеклышки, странно обточенные морем. А сверху парило нечто вроде твоих белохалатниц и осыпало их этими дарами.

И что, ты спросишь? А — ничего. Детская картинка. Даже вот каркадил притих — припомнил. Тишина вокруг. Только один ветер свищет в оконном пробое. И от альтерэги никаких вестей. Уж не провалился ли он там в какую-нибудь извилину. Там ведь болота, хлипкие трясины. Провалишься в них, и нет тебя — только пузыри

пойдут. Улыбаешься, доктор. Ты, авось, достанешь. Не выйдет. Кто ведь он, альтерэга? Так, отблеск на твоём старинном зеркале...

Страхи изнутри покалывают, доктор. Что с этим делать? Пропишешь мне сельтерской воды? Не хмурься, оставь их в покое. Сейчас они — крошечные надежды. Пузыри на поверхности мутного колодца. Давненько мы в них не заглядывали. А теперь и чудовища глубин могут стать малюсенькими сверкающими камешками. Многим мы пренебрегали, доктор. А теперь — все размотали, и ничем уже не пренебрежем.

## ПИСЬМО

*Дорогой хозяин, как ты приказал, я начал с самого начала. Вам, будто прикованным к кончику длинной стрелки, часы вспять не повернуть. У меня, зародившегося в нутре, это умение все же сохранилось — я приучен к его времени: странному, прерывистому, с возвратами. Музыкальному времени, в отличие от ритмичных стрелок наружи.*

*И вот я, прилипший изнутри к твоему телу, как подкладка, стал ужиматься. Со скрипом уменьшались мои полупрозрачные косточки. Стягивались несуществующие мышцы. Я сперва стал крошечным комочком, а потом и комочек исчез. Я очутился на самой-самой кромке бытия, где оно так прозрачно, что точно не скажешь, ни оно есть, ни нет его. Меня не было, а была — почва, пахота, единое бытие-небытие. Не скажу, как я это распознал, не имея ни глаз, ни обоняния, ни слуха. Но мне ясно виделось, как над ней, над пахотой, витает тоже нечто существующее-несуществующее и рассыпает золотые зернышки. Рассыпало. А затем с неба, ясного, без туч и даже облачка, пошел дождик из капель, почти таких же золотистых, как зерна. И одновременно с высот, которые повыше неба, бил луч, тонкий, как лазерный. И он прогревал землю. Рассыпался радужными блестками, самоцветными камешками.*

*И я стал прорастать, так как был одним из брошенных с вершин зерен. Сладко было лежать в сырой прогретой почве — труден был путь наружу, прорастание. Нет, ты знаешь, хозяин, на земле муки, равной темному ужасу пробивания сквозь плодородный чернозем. Оно и есть прообраз всех мук жизни и после жизни. Память о чистилище, беззаконно разомкнувшем двойцу. Разве что, будет еще мука, когда жнец взмахнет серпом, но что нам о ней ведомо?*

*Увы, нечему, хозяин, уподобить муку пробивания — язык скуден, беден мир. Да к чему о ней говорить, о том, что известно каждому колосу? Колосья молчат и хранят свою тайну. Главное, что пробилась в срок. Как и ты, как вот и я пробился. Стебель соломинка потянулся вверх, окреп, только чуть колеблемый невесть какими дуновеньями. Но я был слеп, ослеплен отовсюду нахлынувшим светом. А когда стал различать округу — был посреди поля, где из земли на глазах перли существа подобные людям. Входили, как воины, из засеянных драконьих зубов. Грибной дождь, хозяин, у одного — только голова торчала из почвы, как тыква. Другой вылез по грудь, кто — по пояс. Были среди них и странные — почти совсем нелюди. Но все какие-то завершенные, не вызывали страха даже во мне, совсем новеньком, потому пугливом.*

*В каждом из них я искал тебя, но потом бросил. Любой из этих наших близнецов-ублюдков мог стать тобой, а пока все равны, все прорастают. А грибной дождь все продолжал капать, и на краю поля выросла еще низкорослый, но густой лесок. Дремучий маленький лесок. И я понял, что мне — туда. Я прав, хозяин? Я с хрустом переломил собственный стебель, и я в лесу. С приветом.*

Такой была его вторая записка. В общем-то, я в нем не ошибся. Смышлен альтерэга. Ребенок, и лепечет, как ребенок. Голосок слабый — словечки просты, неизощренная мысль. Но угадывается, что он ближе к истине, чем он сам считает. Все достоверно, не выдуманно, доктор. Давай, доктор, собирать эти золотистые зерна, детские открытки и развешивать их по стенам этой тошнотворно-скучной келейки. Как проста расшифровка того, что мы мучительно расшифровываем всей жизнью. Земля — зерно — дождик — колосок — лесок. Поди, плохо. И чего еще надо?

А у тебя тут — скука, скука. Небо заволочло тучами, даже тонкий луч погас. И притих неумный каркадил: больше не каркает, уткнулся носом в стенку. Отчего ты меня не лечишь, если ты доктор? Дал бы какую-нибудь таблетку, только не такую горькую, что мне приносила твоя белохалатница. Хоть просто кусочек сахара. Чего ты молчишь? Давай вместе поиграем моим бредом, ведь за тем я сюда и пришел. Скучно и бредом играть в одиночку. Но каждый занят собственным. Помнишь песчаную косу? Там разве детишки собирались стайками, как положено детям? Нет, каждый рыл свою ямку, как еще те, кто не успел стряхнуть одиночество подземного прорастания. Глянь в пробой — там твои гении и пророки гоняют мячик. Мне, что ли, к ним? Зябко снаружи, еще не отогрел меня твой дом.

Не напрасно ли я сюда забрался, доктор? Может быть, стоило разменять золотые песчинки, хоть на медь. Видал я тех, кто совершил эту мену, и они благоденствуют. Тяжко, ты знаешь, намывать песчинки, легко и сладко растрачивать медь. Впрочем, мне это не подходит. У меня иммунитет к уюту мира, вероятно, еще оттуда, с не слишком высоких высот, где я прежде парил пограничным духом, а может, это было то самое пробиванье?

Но я запаслив, доктор. Не допустил себя до полной нищеты, разменял-таки пару песчинок, чтоб было на прожитье. Нет, в миру я не был счастлив, таких вы не берете в свой монастырь с непонятым уставом, но радость бывала. Не от небесного лучика, а, к примеру, весной я впитывал ее каждой порой. Или, представь себе, ночь. Маленький, вконец одичавший садик. Лето, летняя ночь. Белая акация, роскошно расцветший шиповник, до чего же пахучий. Какая-то давно забытая девочка, не подумай, доктор, совсем бесплотная, так что сквозь нас даже лунный свет просвечивает. Она вся — шиповник, акация, ночь. Лепечет какую-то чушь, что для меня как соловьиное пение. А главное — ночь, чуть туманная, теплая. Страхи где-то таятся уютными клубочками, вроде ежиков, а только дают глубину картинке.

Что едко улыбаешься? Тебе этого не представить, небесному доктору. Да, доктор, я сентиментален — во мне много безвкусно красивых слов. Дай мне выплеснуть хоть частицу, а ты мне все подрезаешь крылья. Хочешь, я расскажу тебе про радости поглубей. Представь себе... Испугался, доктор? Да весь твой дом порушится, если я кину перед тобой и одну такую радость. Они не для тебя, ты нежен, доктор, у тебя тонкий вкус. О чем ты хочешь, чтоб я говорил? Про луч? Хорошо, и мне он дороже мира.

Так вот, луч. Здесь, в твоей келейке, я могу его созерцать. Когда могу. Тут я всегда со своим неразменным бредом. И я совсем добродетелен. Быть там и не замараться — это мудрено. А я все ж брезглив, хотя марался еще как, и это давало радость. Но оттого шло и несчастье. Иногда хотелось просто застыть на годы без движения, как один твой псих, которого я сначала принял за статую.

Твоя добродетель скучна, доктор. Постная она. Нудная, как вот эти заунывные спевки твоей самодеятельности: перебор арф и бездарный разноголосый хор. Слышишь, опять наверху затянули? Предлагаешь и мне записаться в хор? Нет, тебе не нашептать мне этой томительной скучищи. Душу мою холишь, доктор. Душу, робкую и совестливую, трепещущую от любого запрета. А как же с ис-

тинами первоначальных книг? Они ведь бурлят и клокочут на грани греха. Говоришь, за гранью, доктор? Вот и видно, что ты не оттуда, а от робких душ. Не понять тебе мощного и победного духа, чистого, как добродетель, и заманчивого, как грех. Созиданья и разрушения разом. Я о нем больше тебя знаю. Знаю через сияющие крупинцы озарений алмазной россыпи в моих снах — сверкающие музыкальные миры куда заманчивей и увлекательней, чем порок. Да если б у меня хватило сил хоть крупинку, блескту с полноготочка бросить тебе на ладонь, как озарилось бы твое постное, лицо, ты вмиг бы заткнул козлоголосых певцов с верхнего этажа.

На нет — суда нет, доктор. Врачуй души, тоже — дело. Уврачуй хоть одну мою.

## ПИСЬМО

*Дорогой хозяин. Я углубился в лес, где шорохи блуждали меж стволами. Каждый треск ветки, перебегая от дерева к дереву, в отдаленье превращался в «ау», И то тоже металось по лесу, доносилось со всех сторон. Передо мной лежала тропка — тут уже ходили, хозяин, даже по моему первоначальному лесу. Правда, тропинка была какая-то неуверенная, вихляла, как змея, и неизвестно куда устремлялась. Вынужден был, хозяин, предположить в ней змеиную мудрость.*

*Лес был дик и неухожен, устланный желтыми иглами и буреломом. Лесок без лесника или с плохим лесником. Однако, я говорил, нога человека здесь ступала нередко, — он был весь испещрен такими же робкими тропинками. Но так и кишел страхами истинными ли, мнимыми, не разберешь. Скорей всего, странным слиянием тех и других. Вот, к примеру, воет в чаще обыкновеннейший серый волк, но я слышу, как в его утробе зарождается рык далеко не волчий, а из самых страшнейших, тех, что во всю жизнь не отвяжутся.*

*Я бы, маленький, мельчайший, конечно, заплутал бы между стволов, запутался среди зыбких путей, если б не вела меня нежная и твердая рука. И еще ведь грибной дождь нашептал мне пару слов. Заветные слова, заклинание, не самое могучее, но годное для обступивших меня мелких страшков. В этом и была моя сила — от моего лепета так и шаркались все лесные ужасы, и даже стволы деревьев расступались. Я иду вперед, хозяин. Привет.*

Лесок, конечно, хорош и уютен, а испугать может только младенец. Я помню его — он весь иссечен наклонными столбами света. Туда бы сейчас, но ведь в него нет возврата. Куда же вернуться, если теперь он даже не подлесок, а травка под ногами, нежный мох. А в памяти и в снах он такой же, как прежде, — могучий, высоченный. Наш мираж, Фата-моргана. И нет уже леска, а ты все огибаешь его нематериальные стволы, к корням которых прикованы верещащие убудюки-близнецы и прежде грозные страхи лесные.

Что этот лесок, доктор? Ты-то знаешь? Не он ли предопределил наш дальнейший мрак? Что он был? Предутренний туман. А как он подрос, хоть и стал невидим. Прежде его бы легкий ветерок размел, разогнали бы утренние лучи. А теперь такими густыми стали незримые кроны — ни один солнечный луч не пробьется. Но прав альтерэга, те руки все нам дали, в том числе, уменье петлять по лесным тропкам, но заветные слова дать позабыли. И искать нам их всю жизнь, как заветную перловицу. Но как, доктор, внятен голос альтерэги. Странное существо — младенец, и взгляд младенческий, а мысль не слаба. И совсем уж я не понимаю, как, прорастая, он ухитрился увидеть дождик с небес. Уж не шулер ли он, доктор? Впрочем, если он — я, то ему есть в кого быть шулером. Ладно, потом дознаемся. А пока я расскажу, как я прогулялся в твоём парке.

Тут ведь и окно всегда раскрыто, но невыносимая жара, как в инкубаторе. Там жара, доктор? Откуда тебе знать. Но здесь-то зачем вы жарите, жарите, весь мир, что ли, хотите прогреть своим теплом. А от него только духота.

Ваши наглухо замкнутые двери меня не обманули — я-то знаю, что они без запоров. На выходе даже не было привратника. Парк по-прежнему был равнодушен и условен, как придуман мной. Там осень застыла, как на картинке, будто не решаясь двинуться к зиме. Он был не то что совсем пуст, но шло к вечеру, и не было уже тех суеты и бурления, которые я наблюдал в пробой. Сумерки — тень, силуэт, лица не разберешь, смазано. Да к чему мне лица, я их столько нагляделся, что воображу любое. За кустами маячили огоньки сигаретные или болотные.

Сырость шла от пруда, от него же тянулся парок, туман, обволакивающий парк. Огни были четкими, но их припорошила эта дымка. И вдруг ото всюду — бывшее прежде. Прежде жизни. Видно, тогда в наших высях клубились огромные дымы, способные стать любой формой. Мало ценил я, что ли, сверкающие выси, что очутился

на этой зябкой земле? Теперь мне — один желтеющий, увядающий парк, и то немало.

Я обошел пруд кругом. Там между звезд плавали лебеди, поверь мне, доктор, ты ведь никогда не бывал в своем парке. Плавали, точно, доктор, и именно между звезд, золотых капель — белые и черные. Я подошел к тонкому флигельку, курившемуся парком сладострастья. Окна плотно зашторены, лишь мерцают бледно-голубым и бледно-розовым. И из этой бонбоньерки слабо доносились звуки лютни и будто русалочье подвыванье.

Из трубы шел дым в котором было видно, как вертятся серебристые змейки. Ближе, ближе, звали русалочки голоса. Но ближе как подойдешь? Флигелек такой зыбкий, что колеблется от любого шевеления воздуха. Казалось, вот-вот рассыплется по кирпичику и дальше — в пыль. И будут плясать на руинах одни только серебристые змейки.

Из верхнего окна раздался хохоток, и к моим ногам белой ласточкой порхнула записка. Она пахла, не знаю чем, но каким-то дурящим цветком. Какой-то парфюмерией. А может, и серой попахивала, не помню. И на ней была строка корявых букв: спаси спящую царевну. Такая ерунда, но многозначительно.

А я тем временем до костей промок во влажном парке. Одежда противно липла к телу. Совсем отяжелел мой серый халат. Чернильная ночь, намалеванная на театральной холстине со светящимися крапинками. У тебя мои ночи как-то лишились высоты. Я пробрался мимо морга, который ничем не прыскал, а, как положено, был тих, лишь попахивал парфюмерной мертвечиной. Каркадил похрюкивал, посвистывал. А вокруг — ночь. Чернильная ночь души.

Вот тебе еще картинка, тоже пришипил куда-нибудь, в уголке. Видно, от альтерэги ко мне перешла любовь к лубкам. Мы тебя звалим ими. Сейчас все тянутся к лубкам, доктор.

## ПИСЬМО

*Дорогой хозяин и друг, не падай духом. Теперь в твоём нутре у тебя есть соглядатай. Я сам видел те темные болота, где варятся, как крутые яйца, наши ублюдки-близнецы. Те болота так и клокочут черным паром, отравляют твои ночи. А многие ведь из этих коллег, как и мы, — из золотых зерен. Но они безгласны, безответны, беззащитны*

перед той мутью, что сочится в твои поры. Как и мир беззащитен перед их мутью. Но кем бы мы без них были? Как мы были бы уныло однозначны — две склеенные затылками балды, вертящиеся, как флюгер. Пусть многие из них — ошибки сеятеля, если он способен ошибиться, но один-то вырос из единственного подлинного зерна, крупинки света. Он спит в перловице, его мы ищем.

А пока я позабавлю тебя сказкой безо всякой морали. Болота я минавал, прошел хлипкие трясины. Об этом говорить не буду. Мой путь — твоя ночь. Опять лесок, но уже посветлей, и все больше разреживается, постепенно переходит в пустошь. Только здоровенные деревья повсюду валяются, как переломанные бурей. Буря, должно быть, была здоровенная — повыворачивала с корнем вековые дубы. Шелестение страхов лесных как будто смолкло, и тут послышался негромкий чистый пересвист. Заглядываю под корягу — вижу маленькую серую птичку, которая безо всякого страха вспархивает мне на плечо и начинает свистеть мне в ухо чуть не человеческим голосом. С трудом вспомнив язык птичьих пересвистов, ахов, охов, душевного зуда, я примерно понял, что насвистел мне серый разбойник. Да, так он прямо и назвал себя тем самым соловьем, страхом нашего детства, грозой богатырей. Скопив глаз, я поглядел на него повнимательней. Ничуть не похож, хозяин, — скорее, соловьиный пересвист нашего детства. Видно, заметив мой взгляд, он засвистел еще убедительней. Он был могуч и огромен — и впрямь сидел на трех дубах. Только свист его и тогда не был так уж силен. Может, и не сильней теперешнего, но иной. И он был смертелен — видно, попадал прохожим и проезжим, минуя ушные раковины, улитки, органчики, прямо в самое нутро. Входил в какие-то тайные резонансы, и те гибли у подножья трех дубов то ли от невыносимой муки, то ли наслаждения.

Говорит, сознательного желанья губить у него не было. Наоборот, забрался в самую глушь. Но к нему целый шлях проложили и княжеские птицеловы, и просто поклонники вокала. И ни один жив не вернулся. А потом прошла мода на его губительное сладкоголосье. Поклонники возлюбили приезжих теноров, а богатыри-птицеловы были брошены на отражение степных кочевников, а потом все перемерли в княжеской богадельне для ветеранов. Пришлось соловью свистать для себя самого. Только он забыл, что все одушевлено в этом заповедном лесу — его слушали деревья и камни. Камни рассыпались в пыль, а деревья склонялись перед ними, ломая стволы. Последними рухнули его три дуба. И тогда он огляделся вокруг — так он ничего не видел, не слышал, как токующий тетерев, — а кругом одна пустошь. И сам он за это время усох,

*как раз, чтоб схорониться в траве. И голос его потерял губительность — то ли так темна и низкоросла была душа травы, но ни одна травинка от него не пожухла. А голос-то, похоже, был прежним: он ведь помнил не слухом, а kloкотанием в горле. Такая сказка. Хочешь верь — хочешь нет. Счастливо.*

А я тут совсем потерял счет минутам, и это мое счастье. За забором, как я боялся потерять хоть миг неподвижного безвременья. Вот чего я боялся, доктор, — не мыслишки растерять, а минуты. Я нанизывал их одну за другой на бесконечную нитку, перебирал, как четки, пересчитывал. Боялся, что моя жизнь песчинками уйдет сквозь пальцы. Что еще делать с неподвижными, как мертвецы, единообразными минутами? Только низать на протянутую сквозь безвременье нить. Ты ведь, доктор, знаешь, как успокаивает перебор округлых зерен.

А тут у тебя вдруг наметилось, пусть легчайшее, преодоление пустоты. Какие-то дуновения, еще непонятно откуда идущие. С небес, с этих прикрытых тучами небес. Хорошо, что их прикрыли тучи. Пока они для нас не сияющие, а сверкающие, как та самая шахская сокровищница, как корона царей, разнообразно брызжащая изумрудными, рубиновыми, сапфировыми искрами. А в середине ее — бриллиант такой чистейшей воды, что даже невидим. Лучик света, солнечный зайчик. Побережем глаза, доктор.

Неизвестно даже, дуновение ли это смерти или надежды. Ее, надежды, конечно, ее луч пробьется и через плотнейшую оболочку, окутывающую смерть. Но почему же тогда, гляди, прибитая над дверью крестовина исходит слезами? Я вернулся из парка, — ты помнишь, была чернильная ночь. И ее освещали только эти слезы, бусинками, жемчужинками осыпавшие оконную крестовину. Или это просто влага от моего дыхания? За окном ведь холодает. Природа наконец двинулась к зиме. Пора бы белохалатникам заложить пробой. Или твоему ворюге-завхозу жалко листа фанеры?

Здесь у меня порвалась ниточка бус, четок, моя путеводная нить. Рассыпались, потерялись минутки, но их мне не жалко. Вдребезги разбилось время — мутное зеркало. И что за ним? Голая облупившаяся стенка? Стенка, но вся в трещинах. И снаружи — ветерки, токи. Вечность из всех дыр, доктор. Так и захлестывает нашу каюту, всю в пробоинах. Я купаюсь в ней, как в теплой ванне, со всех сторон обдуваемый теплыми ветрами. Что, доктор? Да, ты прав, а кругом — осень. Дай побредить, помечтать, доктор. Дай хоть на миг окунуться

в безумие, попротиворечить самому себе. Ведь сказано, что наши противоречивые слова золотыми цепями сходятся к престолу небес.

Я растерял свой бисер. Мне нет уже нужды знать, какую по счету бисеринку я нижу на капроновую леску. Все они перепутаны. Каркадил их все давно уже растерял, и погляди, с какой блаженной улыбкой. С детской улыбкой это дурное дитя. Но, ты знаешь, мне не дано каркадильего блаженства. Буду собирать, но не бисер, а самоцветы. И не нанизывать на нитку, а собирать, чтоб рассыпать горстями, метать перед тобой, передо всеми, доктор. Пусть кто хочет, собирает себе на бусы, на ожерелье. Оно будет подороже бисерного.

Не знаю, сколько миль вечности я уже отмахал, продвигаясь, как ледокол, раздвигающий льдины разбитого вдребезги времени. Земная ли минута прошла или же годы с тех пор, как я получил последнюю записку от альтерэги. А правда, красивое у него имя, вроде испанского? Как у испанского гранда. Не хотел я отвечать на его записки — хозяин слуге не ровня. Но, по-моему, он не туда идет. А его-то своевольтва я не допущу. Если рухнет он — мой каркас, то и я рассыплюсь, как башенка из кубиков. Тогда мне — только каркадилей удел. Я черкнул ему пару слов, но как же передать, доктор? Проглотить? Какая гадость. Я встал перед этим вот бронзовым зеркалом, которое, смотри, совсем уже замутилось, и трижды прочитал свою записку. А потом сжег ее прямо на полу, на костре из опавших листьев. Там, в углу, черное пятно, я заставил его тумбочкой. Да, доктор, и листья занялись. Но спасибо кар кадилу, он погасил, как это делают туристы, — свинья. Вот каков был мой ответ альтерэге.

## ОТВЕТ

*Дорогой слуга. Ты был послан в глубины моего нутра, чтоб там копаться, и, как старатель, намывать золотые песчинки. Изыскивать нам с тобой обоим неведомое. Но, видимо, был плох мой выбор. Теперь то я тебе верю — ты и в самом деле так долго был обращен наружу, что сейчас охвачен куриной слепотой. Но уже ничего не поделаешь — ты в пути, и не нам с тобой его прервать. Я подожду, изошряй слух, чтоб слышал, как трава растет, и даже еще больше его заостри. Привыкни к мраку, шорохам, зуду.*

*А ты начинаешь с побасенок. Лжешь ведь — есть в этой сказке и метафора, и мораль. Для нутра, признайся, довольно поверхностная. Я до-*

гадывался, что оно подобно наружи, но не до такой ведь степени. Неужели у вас там есть этика, политика, искусство? Когда это успело завестись? Не в это ли тартарары все провалилось снаружи? В таком случае наружа, опустевшая наружа, сейчас глубже и мистичнее нутра.

Чему удивляться — моя оболочка так и светится дырами, как и у всех. У меня нет нужды разгадывать твою метафору, но точно тебе скажу, что это все дерьмо. Недаром ведь я удалился в эти стены. Тоже, правда, дырявые, раскрытые мирскому. Ты разгони, альтерэга, всю муть. Не будь брезгливым. Та жемчужина наверняка лежит на дне одного из этих смрадных болот, что куда мерзей земных. Да ведь знаешь и земной жемчуг откуда берется. Противный моллюск обволакивает год за годом простую соринку. Глядишь, и — вот тебе жемчужина. Впрочем, не думай, что я тебя послал лишь копаться в грязи. Будь брезгливым, альтерэга, раздвигай грязь благоговейно, и она к тебе не пристанет. Она ведь не земная — мистический прах, из которого человек слеплен.

Внимательней смотри под ноги, не пропусти ни единого вновь выбившегося ростка. Изощись к внутреннему, но не забудь и земного, а то только прибавишь зуда и так иззудевшейся душе, поколеблешь хрупкую башенку из детских кубиков.

*У нас тут осень, застывшая картинкой в оконном пробое. Пиши.*

А что же это все-таки за дом, в котором я добровольно поселился. Конечно, он не такой, как другие. Он — с бесчисленным числом свойств — и их, признаюсь, не собрать, не перебрать, доктор, даже мне, коллекционеру. Мне было любопытно, доктор, кто же его хозяин. Впервые мне показал тебя каркадил сквозь оконный пробой. Ты шел по дорожке, взметая осенние листья полами своего халата. Не слишком он был тогда аптечной белизны — снизу замаранный осенней грязью и как будто даже с пятнами копоти.

Ты оглянулся — тебя окликнул звездочет. И твое лицо, не обижаясь, мне показалось ровно никаким — чистым листом, податливым белым воском. Но ведь из воска — свечи, с мерцающим огоньком, с парафиновыми слезками. Так я увидел тебя в первый раз, доктор.

Ты ушел, как развеялся в воздухе, а меня потянуло еще раз взглянуть на дом снаружи. Вылез в пробой. Дом как дом. Дворянская усадьба. По обеим сторонам герба — львы, дующие в трубы. Застывшая музыка, но умолкшая и потому непонятно какая. Дом тяжелый — крепко налегший на землю, но не без какой-то зыбкости. Я пригляделся: да он весь облеплен воздушными пристройками —

башни, минареты, химеры, статуи святых. А из середины крыши вырывался истончающийся к небесам прозрачный клин. Шпиль, к концу сходящий на нет объем воздуха. Вот под какой мы ненадежной кровлей. А может, мне это лишь померещилось, доктор. Все тут морок и обман.

В заборье упрямое, телесное время стало вдруг обращаться для меня в легкий пар. Я заблудился в туманах заборья, увязнув по плечи в его жидкой грязи. Я ушел оттуда, прожив целые геологические эпохи медленных изменений, став таким же старым, как мир, старей земли. В заповедник ушел, хотел попасть в коллекцию, где, как думал, хранятся такие же реликты. Заборный мир был для меня только нотки будущей мелодии, в которую я хотел вслушаться, выйдя из нее, отделившись. Но слабо она отсюда прослушивается — крепки твои стены. А ведь нет лучших концертных залов, чем безвременье. Их окна и двери распахнуты — и вперед, и назад, и во все стороны. Запечатлеть бы мне эту устремленную ввысь мелодию. Как неблагодарны к безвременьям другие времена — забывают их, другим исполнителям и залам приписывают их роскошные концерты. Бог с ними, с временами. Безвременье вечно. Выйдем из него не мы, а наши бледные тени. Будущее для нас — загробный мир.

Когда я проснулся, за оконным пробоем было белым-бело — первые заморозки. По пустому парку бегала черная собачонка и носом что-то искала под снегом. Смотри, сколько снега намело и в нашу келейку. А под ним ледок, смерзлись осенние листья. И если раньше комната поглощала все звуки, то теперь стала вроде музыкальной шкатулки — поскрипывает, клякает от каждого шага. В нашей комнате стало веселей от бодрого морозца. Надо бы и альтерэге бросить хоть горсть свежего первого снежка. Как бы он вовсе не уплотнился, бродя между абстракциями нутра.

Но готов ли твой дом, доктор, к зимним стужам? Мы ведь нежные зерна, озимь. Дожить бы до весны. Не упрекни меня, что я полюбостествовал заглянуть в подвал, в твою котельню. Там бьют горячие родники. Из каких они глубин, доктор? Там вечный шум — работают помпы, чтоб воды не подмыли фундамент. Там пар оседает слезинками на холодных стенах. И повсюду, во все стороны — трубы, трубы. В них что-то бурчит, булькает, перетекает. И в переплетении всех труб — печь. А вокруг нее суетятся двое. Кто они? Тоже разжалованные белохалатники? Только теперь их халаты совсем черны от угольной пыли. А они все подбрасывают в печку уголь. Скрежещут железными лопатами. Жара уже африканская — печь плюется ис-

крами, рассыпает их целые вороха. Как бы они не сожгли весь дом — единственное наше убежище. Что, доктор? Воды справятся с огнем? Из этой бани я вернулся в предбанник — прохладную келейку. А там — письмо от альгерэги.

## ПИСЬМО

*Дорогой хозяин и друг. Принимаю твой упрек. Но ты ведь объявил себя поклонником банальностей. Или ты лишь себе оставляешь простые метафоры, общие места — что найдешь общей этого парка, дома, котельной? От меня же ты ждешь полной небывальщины. Я, может, и брезглив, но не больше, чем ты. Я не брезглив, а осторожен. Разгребешь грязь, покопаешься в болоте, и неизвестно, какая еще кикимора явится на свет. Может выпрыгнуть из самой перловицы. А я ведь бывший привратник, накрепко запиравший ворота от страшилищ. У нас тут вечный полумрак, нетрудно ошибиться: то, что покажется здесь жемчужиной, вынесешь на ваш свет, а это окажется смердящая слизь.*

*Доверься мне, хозяин. Ты и в нынешней безнадежности выбрал именно меня. Не поставил на какого-нибудь нашего близнеца-ублюдка, не пошел ва-банк. А здесь ведь эти уродцы прячутся за каждым кустиком, за каждой кочкой. Они бы тебе насвистели такую небывальщину, что все ваши домики рассыпались бы, как карточные. Ты же выбрал меня, свою байковую подкладку, и я тебя согрею, хозяин.*

*Птичка давно ускакала в траву к своей соечке. Соловей-разбойник женился на сойке, свил гнездо и вывел цыплят, которым теперь насвистывает колыбельные. И им теперь, наверное, снятся разбойничьи сны. Сны эти еще прорастут.*

*Вдруг и у нас тут начало жарить не меньше, чем в любой котельной. Опять-таки проницаемость нашего с тобой раздела. Трава пожухла, быстро сошла на нет — сгорела. Почва растрескалась, и рассыпались все ее комочки. Она превратилась в песок, который взвихрялся смерчками там и сям. Труден стал мой путь по пустыне, когда тут же песком заносится каждый след. И со всех сторон уже обступает страх пустынный, где нет места мелким, пугливым лесным страшкам. Он един, широкий горизонт слил страхи воедино. Пустыня — одна-единственная раскрытая ладонь. Там нет мелких лесных тайн, но вся она тайна предстояния открытым небесам. А что там, за ускользающим*

*горизонтом? Действительно ли сходятся земля и небо, или крутой обрыв вниз?*

*Пустыня нам нужна, хозяин, чтобы по кубикам собрать себя воедино. Но как она истинно пуста, хозяин. И тут из-за горизонта появилась толпа белых баранов с грязноватыми подбрюшьями. Вся пустыня быстро наполнилась ягнячьим бляньем. Я оказался посреди этой толпы. Бараны упрямо перли неизвестно куда и откуда. Воняли они отвратно, но глаза их были умными и кроткими. Но лучше баранье басовитое блянье, чем звенящая тишина. Так, хозяин? Письмо заканчиваю.*

Видишь, какое письмо. На кой ему мои советы? Что я знаю о его пути? Пускай сам идет, пусть будет мне поводырем. Куда приведет, там и остановлюсь. Мои же дни — бесконечное раскачиванье маятника, равномерное и монотонное, только раз он дернулся, когда появился ты. Помню тот момент — я понял, что меня ждет большая честь. С утра явились две белохалатницы и в пару метел вымели полусопревшие листья. Под ними оказался еще прежний паркет, который они навозили до зеркального блеска. Ты подкатил к моей койке, как фигурист по льду. Теперь-то опять намело листьев, и тыходишь ко мне бесшумно.

За что мне такая честь, доктор? Хотел узнать, не симулянт ли я? Боялся за свой крепчайший домик. Не любят тут таких вот тихих. Предпочитают откровенно буйствующих. Я хоть и не доктор, но тоже знаю, что тихое безумие неизлечимо.

Ты завяз в моей келье, доктор. Сколько дней и ночей нам предстоит глядеть друг другу в глаза: каждый — заклинатель, каждый — удав, пока не грянет последний сотый день. Мы ищем исток, доктор? Ну, проглотил я какое-то золотое зернышко. Оно таилось-таилось, а потом начало прорастать, раздирать желудок, вызывая отрыжку. Кустится, ветвится — половина ветвей — черные, половина — золотистые. Половина — уже засохшие, половина — зеленеющие, тянущиеся вверх. Я подрезал это деревце, целое деревце, из одного зерна, и это было обременительно, как бриться каждый день.

Что я могу тебе рассказать о нем? Ничего. Сейчас оно чуть подвяло, бессильно опустило ветви — уже не указывает единственный путь вверх, как стрела. Теперь оно — не сила, а бессильный хвостик, запущенный в иное измерение. Не полновесный жизнеспособный орган, а ненужный аппендикс. От него моя осенняя тоска, доктор. Все он там за что-то цепляется, и тут же ткань мира расплзается под моими пальцами. Мир как никогда резок, осень вольно вливается

в оконный пробой. И я становлюсь подобен твоим психам, заполняющим этот дом, у которых только аппендикс в ином бытии. И жизнь рассыпается, как детские кубики. И болит он, и болит. Рубанул бы ты его, ведь ты хирург. И тогда затихнут все голоса, стены перестанут светиться. Пускай даже погаснет небесный луч, зато зажгутся окна домов.

Где ты, альтерэга? Пришли мне из твоего нутра хоть уголек, чтоб осветить мою черную ночь. Я чувствую, как рвется вязь слов, сквозь дыры просачивается жизнь бурными пятнами. Но она — никакая: темные провалы междусловий и междустрочий. Даруй мне хотя бы бляеные этих подмаранных баранов. Я тебе не верю, доктор. Не тебе мне помочь, тягостный соглядатай. Весь потолок, купол так и усеян твоими незакрывающимися зрачками. Зачем мне твой шприц, какое безумие ты собираешься мне впрыснуть? Куда меня тянут твои белохалатники, подхватив под руки. Там нет опоры, доктор.

Вот утро, и ты опять здесь. Не думай, я рад тебе, доктор. День ясен. Гляди — снег осыпал парк, похоронил осень. Снег переливается, как драгоценные камни, искрится, как брильянты. И небо синее, небесная прозрачность вдруг стала плотной синевой, куполом. Ты опять рядом, доктор. О чем это мы вчера? Нет, я снова скажу о словах. Как мне тягостна задержка слов, когда они не плавно текут, а с мукой изрыгаются, выблеваются, калеки, ублюдки. И тянутся, как вереница убогих, слепцов по пыльному шляху. Куда их путь? Кто их ведет, доктор? Я вижу пастуха. А горизонт заворачивается вверх. Вверх идет их медленный путь, преодолевая наклон.

А вот легко выкатывающиеся шарики округлых словечек скатываются вниз по наклонной дороге. Те тянутся — убоги, некрасивы, — но проросли они как раз из чистейших зерен, эти тоскливые жалобные одинокие нотки. Прислушаться бы именно к их неизящному шелесту. Они угодны небу, как все калеки. Дай же мне, небо, мучительное и корявое слово. Любезное тебе, как все не имеющее силы и защиты, как пустой объем, наполняющийся твоей силой и славой. Будущее и есть царство ныне немощных слов. И вот, погляди — вереница слепцов-калек ушла за горизонт, и у нас тут снова пустынная степь, накрытая небесной чашей.

Не всегда оно дается, это корявое слово, что зарождается в нашей черной ночи. Лишь в минуты беспомощности и непригодности к миру. Но ведь мир глубоко запустил корни в этот чернозем — там он и черпает свою силу. Что, доктор? Что это у тебя за свечной огарок, оплывший слезами? Он волшебный? Этой ли ерундой ты соби-

раешься разогнать черные ночи? Не делай этого, не разгоняй мрак. Сам знаешь, что в этих чернейших котлах варится невыносимый свет. Такой яркий, что стоит ему явиться и мраком станет все его окружающее — непроницаемым мраком, тем, что уберегает свет до поры. Я непонятно говорю, доктор? Коль я у тебя, так дай побредить. Не бойся, я не допущу ни единой небывальщины на свой чистый лист.

А ты все же боишься меня. Хочешь наскоро осветить мои мозги этим вот огарком и выгнать из своего домика. Но выгонишь пару таких — и он рухнет или его с гиканьем разнесут заборцы. Мы — ваше оправданье. Хочешь гнать, так хоть придай мне какую-нибудь форму в своей кузне. Какую? Чем угодить заборному миру? Он уже никак. А существовать там бледной тенью, для этого мы слишком полнокровны.

Что тебе надо знать обо мне? Давай-ка опять начнем сначала. О муках пробивания — мне посчастливилось их запомнить. То есть не запомнить, нет. Просто угадывать их во вспышках цветных искр на стеклянном бое. Жизнь ведь разбила эти муки на бесчисленное количество символов — лучик, бегая по стеклянному узору, отбрасывает отблески во все стороны — вверх, вниз, наружу, вглубь. Не ловец ли ты этих солнечных зайчиков?

О пробивании пытался сказать альтерэга, но беден и его, и наш язык. Но вот тебе пригоршня солнечных зайчиков — еще, еще хочешь? Тут они, все муки. Ты не веришь моим зайчикам. Ждешь вестей от альтерэги. Он — моя подкладка, изнанка, а ты так и хочешь меня вывернуть наизнанку. Что ж, но сам увидишь, как она подобна наруже. Ничуть не истинней.

Помню, как и я вынырнул наружу в теплом прозрачном океане бытия. Я не помнил о своем парении в средних высях, но был еще полон ими. Я пал в океан с подпаленными крыльями. Взбурлилась пена. И океан был хорош, и был хорош мир. Легок был полет, тяжело пробивание, а тут — изящная продуманность. Миллион изящных безделушек, шахская сокровищница. И только золотое семечко давало о себе знать резью в желудке. Оно хранило нутро, рвотой изгоняло оттуда мирскую заразу. И все же просачивалось, ой, сколько просачивалось, доктор. Многое я не уберег, просыпал. Но зернышко не дало себя погубить. Вызревая, оно вело меня своим путем, извилистым, все время возвращая к началу. А я сам втискивал себя в тогда еще жесткий мир так, что трещали мои молочные кости. И до тех пор, пока мерзость запустения не воцарилась вокруг.

Что это за холодные ветры отовсюду? Как они выстудили всю на-ружу. А ничего, доктор. Наступила осень — время собирать урожай. Пришло время золотистых зерен, полновесных колосьев. Пусть не-радивыми оказались пахари, но и единая горсть зерен уже богатство. Только найти бы заветную борозду. Ищи и ты, доктор. Трудно это, доктор, когда разверзлись недра, и прямо под ногами — россыпи са-моцветов. И так скрыто хотя бы робко произрастающее, хилое, но живое. Оно ведь нам дороже цветастых мозаик. Рубиновых узо-ров. Кроваво-красных мозаик, что так любят составлять детишки, — тем острее их игра.

Стоило ли, отрешась от одной чуши, тут же впасть в другую? А ведь безвременье — чистейшее время: рассеялись тучи, рухнули воздушные замки. И одно предстояние оголенным небесам. И тут не может быть ошибок. Только преступление. Киваешь? Я рад, что ты согласен со мной, доктор.

Вот, гляди — черная собачонка сунула морду в оконный пробой. Вся морда в снегу, в зубах какой-то корешок — отыскала-таки под снегом. Не вырывай его у нее, доктор. Смотри, как рычит, сейчас тяпнет. Она мне его принесла. Нет, не мандрагора, просто корень. И на том спасибо.

Это дар поклонника мне, музыканту. Я ведь все наигрываю на флейте безвременья. Нет ничего проще: нужно только губами про-водить по затаенным крикам, и как оно может запеть. Как на клави-шу надо возлагать пальцы на всякого молчащего, на все молчащее. И эти ноты сольются в музыку, единственную, какой никогда не бы-ло и не будет. Хорал, возносящийся к оголенным небесам, которые сами себя стараются высмотреть в застойном болоте безвременья. Что, не так, доктор? Разве я не предупреждал, что могу и сфальши-вить. Да, в безвременье нет проступков, а одни преступления. Но здесь нет и судей.

Ну и раскаркался каркадил. Я привык, доктор, он мне не мешает. Корявое больное деревце, одна из нелепых ноток, черное зернышко безвременья. А вдруг именно они прорастут? Нет, небеса этого не допустят. Нашлют на земной блин такие вихри, что рассыплются, разбегутся все нотки, только прощально тренькнув. Придет, к при-меру, неведомая болезнь, не болезнь даже, а отказ в защите. Преда-дут нас ошалевшим силам мира, и те передуют нас поодиночке. Найдем ли мы сколько надо праведников?

Что, доктор, любимый небесами, ты победишь болезнь, отыщешь нам защиту? А если она успеет захватить многих — и власть, и умы.

И те провозгласят смерть. Или пусть не провозгласят. Вправе ли мы их оставить, не разделив с ними греха и расплаты?

Крестовина над дверью подтаяла от нашего дыхания и вся пошла капельками. Собачонка снова сунула в пробой свою чернейшую морду. А расскажи, доктор, что это за флигелек в поросшем шиповником уголке парка. Что там живут за золотые пчелки? Ведь их медом можно подсластить безвременье. Да, доктор, я сам знаю, что за пчелки. Знаю, сколько раз тебе приходилось промывать желудки нализовавшимся отравленным медом. Советуешь мне держаться от него подальше? Даже и собачка рыкнула. Я и держусь, доктор. Меня больше влечет мой сон. Застывший, как все сны безвременья. Я в них могу возвращаться, когда захочу. Я тут собрал целую фильмотеку снов. Но этот всех дороже. Берег моря, песчаная коса, ребяташки, роющиеся в песке. Маленькие хрупкие тела и сумрачные, упрямые лица. Каждый играет сам по себе. Игра, вроде, детская, но такие угрюмые все детишки, что к ним и не подойдешь. И все они, как один, выкладывают узорчики из камешков и стекляшек, в которых разнообразно переламывается небесный луч.

Лица все знакомые. Я и тебя там видел — ты пытался слепить башенку из сухого песка. Она разваливалась, а ты подгребал и подгребал песок. Нет? Это был не ты? Ну, все равно, где-то там был и ты. Все, кто ни на есть на земле, там, в нашем всеобщем детстве. А игры наши серьезнее всякой жизни. В них либо будущее, либо — гибель всех.

А башенку, может, я сам и вылепливал. И в этом нет ни греха, ни позора, коль вылепливаешь ее благоговейно. Кто упрекнет пусть неспособного, но добросовестного строителя? Много чего принес морской прилив. Берег стал чуть не помойкой — любимым местом детских игр. Там и раковины, и разбитые сундуки с дублонами и пиастрами, жемчужины, царские короны, покрытые налетом морской соли старинные камзолы. Девочки, одетые в раззолоченные платья, прогуливаются, как старинные дамы. Все там есть, доктор. Нет только ни веселья, ни счастья, ни радости. Отстань от меня, доктор, я хочу спать.

## ПИСЬМО

*Дорогой друг и хозяин. Ты совсем забыл обо мне. Наверное, заболтался с этим доктором. Не слишком ли ты им увлекся? Не знаю уж, за кого он себя выдает. Может, и ни за кого — он молчалив. Но, мне дума-*

ется, не слишком высок его ранг. Его пустынное, молчаливое лицо, кажется, я заметил в тех пограничных высотах, в которых мы с тобой — помнишь? — прежде вились. Примерно там же был и он. Может быть, только чуть повыше. Но, возможно, я и обознался. Ведь его лицо оттерто до зеркального блеска — все случайное и индивидуальное стерто. Может, даже и нет никакого доктора — наше с тобой отражение на бронзовом мутном зеркале. Наша с тобой тень, за которой мы гонимся, когда солнце только взошло, и которая плетется за нами, когда оно клонится к закату. Развлекайся с этим доктором, а мне он неинтересен. Гораздо любопытней, что это за собачонка. Просто шавка, что крутится при больницах и питается обедками, или тоже тень, но уже не наша, а, к примеру, одного из близнецов-ублюдков? Среди них, я заметил, есть и псоглавцы.

А ты, может, и прав, что забыл обо мне на то время, что я плутал в толпе баранов. Пока я плутал, наступила ночь. Время суток тут меняется неожиданно и произвольно. То навек, казалось бы, застынет день, то вдруг потушат рампу, и в прореху кулисы просунется рука с матовым шаром, ниточкой привязанным к пальцу. Это — луна, а все вместе — ночь. Тут у нас все не менее искусственно, чем снаружи.

Темная ночь — от шара света немного, зато по краям степи, как лампы в углах, — небольшие пылающие террикончики. Бараны, днем рассеянные по степи, теперь, напуганные и тьмой степи, и лунным светом, испуганно сбились в кучу. Чуть белели махровым островком и робко бляели. А вдалеке, у невидимого горизонта, запалили костры. И мне стало одиноко в этой ночной степи, как и тебе без меня одиноко. Не напрасно ли ты послал меня в этот путь? Я ведь та подкладка, что согревает твою душу, твоя вечная жилетка. Разве такие диалоги мы привыкли с тобой вести? А для нас обоих нет ничего важнее наших бесед. Прежде было: мое слово — твоё молчание, твоё молчание — мое слово. Такое вот вечное перебрасывание словами и умолчаниями. А молчание легкокрыло, его так и тянет в небеса. Я думал, что так будет всегда, но ты зачем-то решил озарить плодородную ночь свечными огарками. Зачем? Видишь, как тяжело мне дается слово. Как стары и просты мои картинки. Перелистай старый букварь — и то же самое. Плохой я соглядатай.

Не в силах выносить одиночество, я пошел к костру, что пылал ярче всех. Если бараны, должны быть и пастухи. Их было трое. В отличие от здешних зыбких сущностей, они были на удивление телесны — можно было рассмотреть каждую морщинку и складку одежды. Я и снаружи не видел ничего более телесного. Впрочем, один из них, хоть тоже

*был телесен, но каждый миг в другой форме. Они сидели, молча глядя на огонь. На каждом была шапка, колпак, по-моему, из каракуля. А в руке — змеящийся посох. Концы колпаков указывали точно вверх. На горизонте небо близко — и на каждом острие горело по звезде Пояса Ориона. Они были тяжелы и телесны, но продолговаты, как тени, устремлены вверх. Казалось — головой в небе. Или то — искажающая перспектива нутра. Тут, хозяин, не менее все неверно, чем у вас, сна-ружи.*

*Все трое молча глядели на огонь. Пламя было необычное — синеватое, легкое. Разнообразно трепетали, лепетали язычки огня. Притом пламя было такое прозрачное, что ни один пастух не отбрасывал тени. Я оглянулся — и моя тень куда-то пропала. Я попросил разрешения присесть и погреться — зябко было в степи. Старший пастух, что сидел справа, кивнул головой. И я так же, как они, вперился в пламя, пытаюсь разгадать его язык. Прощай.*

А меня вот тут порадовали нелепейшей картинкой. Вовек не забыть этой потехи. И хохмач же ты, доктор. Утром глянул в пробой, а там — вереница пророков и гениев бегают по первому снежку. Впереди белохалатник с развевающимися полами. А за ним процессия забавней не придумаешь: мистики, честолюбцы, астрологи, наполеончики — вереницей, как ряженные — в развевающихся мантиях, в золоченых коронах, с картонными мечами, грохоча веригами. С блаженными улыбками тупо бегали по парку круг за кругом — мимо припорошенных статуй, мимо флигелька, который так и зашелся смехом. Прямо масленичное гуляние. А поверх забора красные носы заборцев — развлекаются отверженными гениями. Ржут над своим будущим.

А те беззаботно дурачатся, валяются по снегу, играют в снежки. Даже чуть ли не заглушили мой постоянный свербящий зуд перезвонном своих бубенцов. Куда заборью до такой беззаботности. Казалось бы, только и дурачиться на просторе безвременья. Но отчего же, отчего, доктор, все так угрюмо-серьезны? Справляют свои немудреные житейские ритуалы — литургия безвременья. И это в наимистичнейшую из всех эпох, раскрытую всему исчезнувшей небесной чашей. Когда земной блин истыкан небесными копьями-лучами, так что стал весь ажурный, сочится маслом, как на сковородке. И вот именно в это время, когда все беззащитны, все — жертвы: и жертвы, и сами палачи, предпочитают молиться богу обыденности. Как птички, склевывают блага уютного бога. Но они уходят

сквозь пальцы и остается — фьють, пустое место, пепел на ладони. И мир бесприютен, как эта унылая шавка за окном.

А не уюта ли я ищу, доктор, ушедший из бесприютного мира в твой хлипкий домишко? От чего ты меня упас, доктор? Все нервы, нервы. Рыдания постоянно шебаршат в носу. Мне жалко палачей, доктор, — в позабытье со мной такого не случилось. Но что поде- лать, если рухнули преграды и локоть палача теснейше прижат к моему. Ты вот не палач, каркадил? Что каркаешь? Знаю, что те- перь ты каркадил, а раньше ты кем был? Где ты его подобрал, док- тор? Да не бойся, даже, скажи мне, что он палач, разве я испытал бы к нему ненависть? Нет же, нет. Сейчас и зло устало, иссякло. Не движет вперед, не гонит вперед горизонталь, а добро всегда для этого было чересчур немощно.

Должно быть, безвремяе — расплата не за горизонтальный грех, а за саму горизонталь. А, доктор, не того мы боялись, не оттуда жда- ли беды? Четверть-оборот винта — и нет больше горизонтали. Как вот не ждали и болезни, неслышно подобравшей отмычку к нашему телу. От обезьянки — жизнь, от нее же и смерть. Ищи праведников, доктор, обойди все палаты. Не помнишь, сколько их надо?

Хотел я вылезти в оконный пробой, порезвиться с ошалевшими пророками. Но я какой-то другой. Они рассыпались, войдя в без- времяе, душа их — до и после. А сейчас они ничто. А я тутошний. Им — резвиться, а мне — проживать жизнь. К тому же, как пропала горизонталь, я потерял интерес к движению. Мне тягостен каждый шаг, ведь нынешнее вперед не влечет. Померк горизонт, не манит к себе. А вспять, мы знаем, пути нет. И повсюду — голоса, вольно ле- тящие сверху донизу. Не понять, где голос, а что эхо — гуляет оно по опустевшему вольному миру. Говоришь, вверху спевки, а внизу ко- тельщики скребут лопатами. Может, и так.

Хочешь упрекнуть меня, доктор: говорил — путь, а сам, расплас- тав руки, валяется на койке. Распластав, да, — я постоянно готов к полету, и, хоть изредка, он мне удастся. А, может, я сбрендил, док- тор? Оставил меня клейкий бог обыденности, которому и я прежде молился. Рассыпаюсь, доктор. Стяни меня своим стальным корсе- том. Плохо я молился тому богу. Повитавшему в высях не заразить- ся вирусами позабытья. Там — свои дела, свои заботы.

Пока был путь вперед и назад, я еще шел. А теперь не пойду по болотному месиву. Заказан мне путь и назад, и вперед. Только вверх, но воспарить трудно. Сбросив с высот, мне сначала подрезали кры- лья. Так свели бы их совсем на нет. Улыбаешься? Не ты ли мне их об-

корнал? Не ты. Но ты знаешь об этом. Бездарно мне их обкорнали — оставили два-три перышка, что треплются у меня за спиной в ветерках безвременья.

Не один я такой — пускай не перышки, — есть у меня еще братья, бьющие хвостами и плавниками на той отмели, в отличие от большинства недвижимых. Да и в этом дурацком шествии за окном я заметил, как у иных горбятся больничные рубахи с лиловыми наклейками. Что под ними, доктор?

Полета нет. Неужели путь вверх только по гнутым зиккуратам, изогнутым, как ушная раковина или раковина морская? Они вкручиваются в небо неуклюжими винтами. Но и их не вижу. Только куча хлама — можно громоздить одно на другое, скопленное за века, и карабкаться выше, выше. Но ведь и пинка не надо, чтоб развалилась эта ненадежная постройка, достаточно одного небесного дуновения. И снова она не устремлена. Снова — хлам.

Я, доктор, в детстве больше всего любил строить башенки из кубиков. Клал друг на друга прочные единообразные кубы. Любил считать ведущие вверх ступени. Но башни рушились, далеко еще не добравшись до голубоватого потолка. А ступеней оказывалось много больше, чем пальцев на руках и на ногах вместе взятых. И так было, пока я не понял, что счет бесконечен, а мир несчетен. А он — отовсюду: дуновеньями, текучими водами. Можно погрузиться, можно воспарить. И незачем считать-пересчитывать клавиши ступеней. Да теперь они все и рассыпались, разнообразно, умирающе звякая.

А я, доктор, один из немногих трепыхающихся. Ну вот, и ты на нас глядишь со снисходительной насмешкой. Я же вижу, с каким любопытством ты глядишь на эти трепыханья. Что, тень от лампы? Так лучше совсем ее погаси, чтоб не отбрасывала гнусные тени. Мне хватит костра, у которого сейчас греется альтерэга. Вот так, спасибо. Уже рассвет, серый рассвет в нашей келье. Померкли блестящие цыганкина платья. И заборье уже затихло, не слышно уже хриплых гимнов в честь бога обыденности. Все и там уже спят.

Я верю, доктор, что ты хочешь нас вылечить, но как? Вылечи прежде эпоху. Это ты можешь? Знаешь ведь заборный анекдот про нас, психов, что мы гвозди не от той стены. Найди нам нашу стену, и мы в нее войдем, как нож в масло. Ну все, теперь спать. Альтерэга заждался меня у своего костра. Слишком высоки треугольные шапки пастухов, слишком они молчаливы, слишком прозрачен их огонь. Ему б сейчас перемолвиться словом, хоть с психом. И ты заходи в мои сны, доктор. Ты не бойся — там нет злых кошмаров. Они чис-

ты и прозрачны. Там все тот же полет в пограничных высотах, где мы с тобой, бывало, вились, как жаворонки. А земля под нами была с ладошку. Это был не ты? Но ведь где-то были и твои высоты, с которых ты был сведен на эту же осеннюю землю.

## ПИСЬМО

*Дорогой друг и хозяин, как легок и прозрачен был огонь, он почти не согревал. А эта ночь южной пустыни была все же достаточно холодна, и я подошел к огню почти вплотную. Пастухи — ни слова. На меня сыпались искры, они звездочками от шутих осыпали мое лицо и все тело. Но вреда от них не было, разве что чуть обгорели ресницы. А вообще огонь был холоден, как бенгальский. Я впитывал его глазами, лишенными ресниц, и чувствовал, что во мне занимается ответное свечение.*

*Я хотел заговорить с пастухами, но был скован необыкновенной робостью. Я и всегда робок — красивые слова застревают в моем горле. А тут еще — суровые лица пастухов, которые и не отталкивали, но ведь и не привлекали ничем. Но я собрался с духом, твой покорный слуга. Я спросил их, кто они и куда идут, хотя помнил это из детских легенд. Ответил младший из пастухов, сидевший слева. Из всех троих он один был молод. Сидевший справа был старик с длинной седой бородой. А посередине — невесть кто: без возраста, вечный, старей Вселенной. Ответил же младший — примерно наших с тобой лет. Прошлой ночью зажглась звезда, и новая душа появилась на свет. Он указал на небо. Но я ведь не пастух: для меня там была обычная молочная россыпь. Брызги молока матери-Вселенной. Я не вижу, как зажигаются новые звезды.*

*А я вижу, но эту заметил старший, у него взгляд острее нашего. И мы идем через пустыню, чтоб одарить ребенка. Я спросил пастухов, что за дары. Старик молча развязал свою торбу — там был большущий ломоть дышащего ноздреватого хлеба и круг сыра с масляной капелькой. Я проглотил слюну.*

*А ты? — спросил я младшего. Гляди, только осторожней, не разбуди. И он показал мне деревянную, из легких кипарисовых планок клетку с канарейкой. Дети любят птиц.*

*Третьего я робел больше всех, и ничего у него не спросил. Он сидел чуть подалеже от костра, до него не долетала ни единая искра и почти не доходил его монолитный свет. В темноте казалось, что он весь перетекает, что он зыбок и текуч, все время меняет форму. Но и вопроса не по-*

надобилось прозорливцу. Звездочку с неба я ему достану, — гаркнул он и расхохотался так, будто лопнули небеса, небесная чаша взорвалась вдребезги, вздрогнули даже два его спутника, спокойствие которых, казалось, ничем не поколеблешь. Испуганно заблеяли бараны. А в ответ из окружающего мрака раздалось как будто собачье поскуливание, эхо или негромкий хохоток. Ах ты дрянь паршивая, — грозно крикнул старик и запустил в темноту камнем. Там жалобно заскулили.

Пастухи заснули прямо, как сидели. Спали они сидя и полуприкрыв глаза. Признаюсь, что, как они заснули, я обшарил их торбы. Мне было и страшно, и стыдно, но твой приказ для меня сильнее и стыда, и страха. Где ведь, как не в этих торбах, может завалиться та перловица. Но в торбе младшего и в самом деле не было ничего, кроме клетки с канарейкой. У старшего под хлебом и сыром я нашел горсть золотых монет. Почему он мне их не показал? Принял за вора? Что ж, я ведь почти вор. А у среднего вообще не было никакой торбы.

Остаток ночи я не спал. Ты ведь велел мне неусыпно бдить. Я смотрел на неугасимый огонь костра до того, что в глазах заребило. Мне стали мерещиться в этом огне огненные же птицы. Они зарождались в корне пламени, там, где оно должно бы соприкоснуться с землей, но не соприкасается, висит над ней на неопределимой глазом высоте. Птицы взлетали в самое острое пламени, где оно истончается, как кончик бутона, постепенно сходит на нет какая-то неуловимая, радужная грань бытия. И там, забившись на самом истонченном кончике, птицы падали вниз, как подстреленные. Но оживали в корне и вновь взлетали. Я стал считать птиц, но это было все равно, что подсчитывать звезды на небе, песчинки на песчаной косе. Это были даже не птицы в пламени, а пламя, сложенное из огненных птиц.

А тем временем ночь разреживалась, но издыхающий Млечный путь залил своим молоком всю равнину. Как стало тут сыро и промозгло. У тебя, хозяин, я, должно быть, заразился любовью к уюту. Мне ли, бесприютному духу, бояться природы и открытых пространств? Но в твоём нутре такая природа — похожая на земную, но вся живая, шевелящаяся, живущая тайно, так что и мне непонятна.

Млечным туманом мне забило рот и ноздри, как манной кашей. Чихая, я выпускал клубы пара, как огнедышащий дракон. Но старался зажимать нос пальцами, чтоб не разбудить все еще спящих пастухов. Зато зашевелились бараны. Они спали теплой шерстяной кучей, уткнувшись носами один в другого, — только зады торчали с тяжелыми курдюками. Теперь они поблеивали, просыпаясь. А потом рассыпались по всей равнине грязноватыми хлопьями.

*Ворочались разбуженные овчарки. Все — рыжие с белым, черной ни одной. Кто же скулил в ночи? Звезды окончательно сошли на нет. Долго еще оставалась единственная — на треугольной шапке среднего пастуха, потом и она погасла, Солнце как пинком вышибли из-за горизонта, и оно растерянно повисло чуть не в зените. Туман ушел вверх, крутясь змейками. И при свете я увидел, что лица двух пастухов — старшего и младшего — строги и точны, но общи. Зато третий обернулся в последний клоч тумана и был почти невидим. И этот клоч рос ввысь, закручивался, как смерч, но бесшумно. Достиг солнца и пал на землю утренней росой, которая разбудила двух оставшихся у костра пастухов, окропив им лицо.*

*Когда сошел туман, пастухи стали завязывать свои торбы, готовясь в путь. То ли они не заметили, что я в них рылся, то ли сделали вид. Спросонья оба были неразговорчивы. Я спросил их, где третий. Младший пожал плечами, а старший провел рукой полукруг с восхода до заката. Я попросился с ними. Я ведь знал, кто они, и что их путь прав. Старик, ничего не ответив, взял посох и пошел по равнине, за ночь чуть зазеленевшей какой-то непонятной травой. За ним пошел и младший, гортанным окриком кликнув баранов. И я пошел след вслед за ними — званный или незванный, но не было у меня другого пути. Блеяли бараны, пускали шарики, рыкали овчарки. А мы все шли к горизонту, все уменьшаясь, пока совсем не пропали. Мир тебе.*

Прочитав записку — торопливый, неточный, но чем-то достоверный рассказ альтерэги, — я спокоен сейчас, доктор. Нетревожен, как его молочный рассвет. Обижен, что не позвали. Но ведь и зовы этих могучих, в островерхих шапках, могут иссякнуть. Самые могучие из всех возможных зовов могут превратиться в ладанный шепоток. Но именно для нас каждый их шаг, каждый след. Я рад, что он двинулся за теми, чей шаг — всегда путь. Так и ожила в его немудреном пересказе давняя забытая встреча. Забытая, как все наиважнейшее. Но ведь это не рассыплется, как сухой лист, не разметется, как пепел, даже и тогда, когда мы сами станем пеплом.

Вращающийся винт жизни все тут перемолол в муку. Этой мукой припорошена вся наружа. Только найдется ли пекарь? Ты не он ли? А мука вся — искрящаяся, драгоценная. Что ты все сидишь здесь, доктор? Что ты меня допрашиваешь? Ведь вся твоя больничка полна страдальцами. И я не тот главный узелок, что надо распутать. Другие что, уже исцелились? Или совсем безнадежны? Много ли смысла ты отыщешь в моих словах? То есть, смысла-то много, целые

вагоны смысла. Слова плюсоются, а смыслы тем временем умножаются, поверь мне, знающему счет. Потому мир забит смыслами еще плотнее, чем словами, просто лопающийся стручок. Но эти смыслы — как они бессильны и бездельны. Привычно и бессмысленно налипли на слова. Слова в них, как муха в сгущенке. Достоин ли тебя расшифровывать пустые смыслы?

Взгляни, доктор, в пробой. Как пригрело солнце, и тут же начала расплзаться мантия. Белизна сада вся в чернейших прорехах. А из них торчит холодная почва. Еще немного — и снег потечет ручьями, растают все самоцветы. И сад пуст — все по нему мечется суетливая собачонка.

Что было дальше, доктор, после того, как все до единой были разрушены детские башенки? Потом отверженный пограничный дух вживался в жизнь во всех видах и формах, втискивал себя в неподатливое бытие, со всем любопытством и страстью, свойственными пограничному духу, у которого две балды, накрепко склеенные затылками. Сейчас уже не то — нет жизни, нет и вживания.

Я показал бы тебе отлитые тогда формы, хоть они и неказисты. Скульптор я не очень умелый, но, вроде, не без размаха. Где было научиться? Там были одни облака — секундный порыв вдохновения. Но и тут, где материал казался прочнейшим, вдруг — фьють! — и он столь же зыбок, как облачный. Подвела и предала меня псевдовязкость здешнего мира. Оказался он не прочнее облачной ваты. Не формы у меня остались, а один песок, уходящий сквозь пальцы, припорашивающий глаза. Песок уходящего времени.

И как я ценил каждую песчинку. Но скука необычайно растягивала время, которое должно было стремиться к неведомому грохочущему водопаду. Но не слышно грохота на исходе ста дней. Тишина. Перебирание песчинок невероятно растягивало мое время. Ведь их — бесконечность, а я стремился не пропустить ни одной. Так я, доктор, отбыл огромнейший, несоизмеримый человеческой жизни срок моей кары. Пересыпал песок, а в это время вдруг стало давать побеги золотое зернышко. Где мы теперь? Где мир, доктор? Мы словно бы опять в прежних высотах. Опять среди духов, только до гадости измельчавших. Стелющихся по земле — листьями, листьями. Нет, не надо мне шприца. Сам видишь, доктор, что листья не взлетают, а только лишь опадают, но они в полете и в тлении, — они ажурны. Ветер сквозь них проскваживает. И ты, каркадил, опавший лист, только не лежащий на земле, а вьющийся в поземке безумия.

Когда-нибудь, доктор, ты мне покажешь весь свой гербарий, а пока мне и собственного бреда хватает. Нет, доктор, спасибо, не хочу я назад в заборье. Лучше уж здешние зеркальные полы, где я вечно отражен вверх тормашками, чем тамошний захарканный асфальт. Ну ее, тамошнюю псевдожизнь, — псевдоразумную и псевдоправдивую. Опустился на них облачный мир и осел густейшим туманом. Только утренний он или вечерний, доктор? А в тумане все кажется загадочным и неверным. Так, доктор, так — мы живем в самое мистичнейшее время. Даже чем те времена, когда черти завывали в каждой печной трубе и воздвигались кресты на все небо. Быт обречен, потому в него и вцепились с такой страстью. Ты реальности хочешь, доктор? Но что поделать, если она иссякла, канула. Остались одни облачные грады. Вот я их и могу творить, пока небо ясно, луч — тонок и четок. Вон, гляди, — рассекает небо напополам. Видишь ты его, доктор? И ты его видишь.

Прежде я заплел бы тебе сюжет, вылепил бы тебе его из реальности. Но, чтоб он был, надо наперед знать развязку, а пока все узлы накрепко затянуты. Все сюжеты уже завершены. А теперь разворачивается один-единственный. А мы все — персонажи. И о замысле Автора знаем не больше, чем надо знать персонажу. А ему ведь почти ничего не положено знать. Мы — эхо или, если хочешь, органные трубы. Мы нереальны, по крайней мере, если сравнить с этим лучом. Не творцами нам быть, а только лишь эхом. Ау, доктор.

И жаль мне тех, кто сейчас выкладывает узоры из голышей реальности, да еще так серьезно. В неумные игры играют эти по-взрослому насупленные карапузы. А не пора ли нам разглядить морщины, доктор? Улыбнуться вот этому вот лучику. Безвременье смыло с нас годы, разметало все наши постройки. Зато, гляди, сколько игрушек — играй с чем хочешь, наряжайся в любые наряды. Нам нечего терять, ибо все потеряно. Не будем же шарить под койками в поисках потерявшихся мыслишек. Будем спать и смотреть светлые волшебные сны. Ты не можешь спать, доктор? Твой, говоришь, удел — вечно бдить. Сговорились вы, что ли, с альтерэгой? Бедняга, но ведь, когда заснули детишки, и няньке позволительно поспать. А я заснул, доктор, прямо посереде безвременья — на том и закончим нашу ретроспективу. Сперва перед глазами побежали радужные круги — все расширяющийся ноль, а теперь — они сбегаются, опять же к ничему, к пустому месту, к перловице.

Что ж, если спать не можешь, пойдем прогуляемся в парке. Он теперь почти зимний. Точней, на неуловимой грани времен года. Вер-

но, здорово хрустит ледок под ногами? Гляди, как пары клубятся над прудом, почти замерзшим, только с редкими холодными полыньями. Лебеди попрятались в деревянные ящики. Вот она, та роскошь мира, недоступная нам в пограничных высотах. Да ты это был, ты. И ты прав — нелегко этим наслаждаться бывшему бесплотному духу. Озаренья миром для меня еще реже, чем озаренья высью. Я знаю, что это одно отражение того луча в мировом зеркале. Но оно матовое, то зеркало. Как ласкает луч, от него отразившийся. А ведь грозен он бывает в чистом небе, пусть и от нашей собственной нечистоты, — молнией прорезает небо.

Может, уйдем отсюда, доктор, как пара волков, уходящих от жилья по первой пороше. Оставим всех их на произвол судьбы. Нет, ты еще не судьба, доктор. Ты — доктор, сплетенный из наших надежд. Добрый, но беспомощный дух, с не слишком высокого поднебесья. Судьба же их не оставит. В ее кладовой не пропадет ни одна монетка. Ни одна нотка не затеряется в органных трубах. Ведь и в бесцельном погибании есть свои красота и правда. Не хочешь, доктор? Ты их надежда? Нет, ты — дух, бессильный образ из мутного зеркала. И это, говоришь, их надежда. Но коль есть зеркальное стекло, будет и образ. Ты им оставь свое бронзовое зеркало с парой ангелов, и ничего у них не отнимет твой уход. Но я пошутил, доктор. И мне нет пути из твоего домика. Мой путь только вверх — тягостный возврат в утерянные выси. Поиски того, что вознесет меня куда выше, чем я бывал когда-либо. Куда выше, чем я могу себе представить. И чем ты можешь себе представить.

Куда ты, молчаливый доктор? Сам приказал мне отверзть уста, так теперь терпи. Буду говорить, говорить, слишком долго я молчал. Буду говорить и радостью, и тоской, и силой, и слабостью, и даже невозможностью говорить.

А вот и флигелек, так похожий на ликерную бутылочку, в которой по капельке собрана вся сладость здешнего мира. Но мы-то с тобой знаем, что это лишь бледное отражение сладости наших высот. Зачем ты спрятал туда прекрасных царевен — там им только и дело, что пощипывать струны лютни. Но все равно домик пористый, как кожа, испускает томленье и безумие. И весь парк им полон — зачарован этими сиренами.

Сам-то ты туда наведываешься, доктор? Признайся. Или и тебе туда путь заказан? Как-то ко мне — видишь третье окошко? Оттуда порхнула записка, как белая ласточка. Было это, когда в парке еще царилась осень, золотистая, как косы Лорелеи. Лукавая царевна про-

сит ее спасти. Но гоже ли мне отвратить страсть от небес? Заменить ее пусть и ярчайшим переливом в разбитых стеклышках царевнина зеркальца?

Куда я сунул ту записку? Гляди — нет ни в одном кармане. В них одна труха, невесть откуда взявшаяся. Куда ты уходишь, доктор? Да так легко, что даже следов не оставляешь, и снег не хрустит. Иди, доктор, у тебя и без меня дел по горло.

Парк лежит на чьей-то раскрытой ладони, и ветры в него врываются со всех сторон, подхватывая, закручивая первый снежок. И я стою в центре мира, открытый небу. А флигелек теперь тихий, он спит. Он оживет ночью. Не буду будить царевен. Это хорошо, что они теперь спят, — рассеялся бредок над парком. Воздух прозрачен, и небо близко, так и уходишь по ноздри в небесную синь.

А все ж хорошо, доктор, что с тобой встретилась моя душа. Много у нее было встреч и в даялах, и в высях, куда она, бывало, взбиралась по золотым ступеням. Какой, однако, провидец тот звездочет. Именно так: «падать с высоты» — о дне, когда я сюда пал. Падаю, падаю всю жизнь с разнообразных высот, так что уже все тело избито — погляди на синяки. И опасность велика. Альтерэга меня пугает своими страшками, а разве есть что сильнее страха высотного? С величайшей высоты такое может быть падение, что не только костей не соберешь, но и от души не останется ни крошки. Но ведь рожденному в высях, какое может быть счастье на земле? Мне один путь, доктор, буду повторять — один, в мои выси, обратно. Все круче туда идет дорога, особенно с тех пор, как на виске мелькнул первый, пока единственный седой волос.

Да погоди же ты, доктор. Ты не любишь своего парка, куда я тебя вытащил силой, но погляди, какая забавная игра. Команда наглухо завернутых под командованием честолюбца марширует по футбольному полю, как по плацу. Честолюбец в свернутой из газеты треуголке с лучистым орденом из консервной банки. Вот у него-то сто дней с громом и шиком. Это он, а не я — наполеончик, наполеошечка.

Гляди — в руках у отключенных деревянные пики наперевес, дурачки серьезные лица. Маршируют, оттягивая носок. С кем они собираются воевать? А ни с кем. Время убивают — детская игра. Смори — честолюбец и нам машет рукой. Хорош — взгляд прямо ястребиный. Кто знает, какие аустерлицы и ваграмы потрясают его раскишие мозги, какие стяги там полощутся? А вообще-то, он ничего малый. Сам видел, как он уступил звездочету добавочный компот. И с солдатами своими он хоть и строг, но справедлив. Прав-

да, в упражнениях пошады не дает, да они и не просят. Только раз того вот меланхолика посадил в котельню, на губу.

Да погоди — ты послушай. Хотел, так лови простейшие картинки, сколь хватает моего скудного интереса к тутошнему миру.

Так вот и меня он как-то приговорил к расстрелу за неподчинение. Что отключенные и выполнили тут, у старой липы, нет, вон там, в глубине парка. Для меня, привыкшего умирать по сто раз на дню, это было плевое дело. А этих отключенных, казалось бы, с головой ушедших в собственный бред, как от холода колотило. Долго честолюбец никакими угрозами не мог выровнять ряд. Но и потом все ж почти все деревянные ружья уткнулись в самые небеса. И только пара в меня целили, зато прямо в голову и в сердце.

Раз в сто лет, говорят, и палка стреляет. И я мог этим сереньким днем вдруг без хлопот вернуться в свои выси. От залпа суковатых ружей лопнула бы серая пелена. прорвалась бы прорехой сини. У меня б выросли крылья взамен неуклюжих культей. И взмыл бы я туда, откуда пал века назад. Как, однако, любой миг безвременья открыт верхнему, как будто проколот небесным лучом. Да, доктор, не морщись, именно миг безвременья. Оно, сцепление этих миггов, — наспех нанизанные на леску перепутанные бисеринки. Одни миги — уколы небес, а устремления, времени нет.

Увы, не состоялся расстрел, — зарыдал один псих, потом другой, и вскоре рыдал весь ряд убийц. И долго крепившийся наполеончик последним зарыдал, как белуга. Их слезы капали на землю и расцветали маленькими цветками, вроде кашки. Честолюбец обнял меня и помиловал. Ну, сам вижу, доктор, что заврался. Хотел тебя удержать, но ничего в голову не пришло, кроме простенькой сценки. Ладно, не буду насиловать свое воображение. Удаляйся, а я почитаю письмо альтерэги. Гляди, какое толстенное.

## ПИСЬМО

*Дорогой хозяин и брат. Мы вышли на просторный шлях, извивающийся, утекающий за горизонт. Сначала я торопился догнать пастухов, но тщетно — расстояние между нами не росло — не уменьшалось. Но потом я почти забыл о пастухах: мы шли по благословенной стране, что вся в золотистой дымке. Кругом шикарные поля до горизонта, с чуть пожухшей травой, с золотыми колосьями и конфетными паха-*

рями. За единую ночь пустыня с ее зыбучими песками ушла под травы и злаки.

Попасть бы тебе в эту блаженную страну — у тебя сразу бы отлегла наружная тоска. Впрочем, мы уже тут бывали, в этом одном из наилучших миров. Может быть, он не так высок, могуч, обширен, как другие, но как мягки здесь солнечные лучи. И воздух, словно чуть ими просвеченная бурая жижица. И свет этой страны — один из тайных родников нашей души, нашей с тобой, изредка выплескивающий вовне, испускающий эту вот золотую дымку, придающую наруже возвышенность и странность. Быть может, то и есть озарение миром. Это один из тех родников, которыми мы живы.

Дорога недолго оставалась пустой. Дело шло к полудню, у всех дела, заботы. Покатили повозки с роскошнейшей базарной снедью. А людей — уже целые толпы. И посчастливилось же мне выбрести на такую твердь посередь нутра — люди здешние были разнообразны, но все не текучи, наоборот, на редкость определенны. Веселы они были, но в каком-то отрешенном веселье. А кто был и печален, но не к нам были их печаль и веселье. Нам — только лишь их отблеск, а они — вверх. В четких лицах мужчин были и суровость, и благочестие, что-то ныне потерянное. Печаль их была серьезна, но серьезно и веселье. И в том и в этом была однозначность жизни, в отличие от разнообразных текучих игр нынешнего безвременья, которое тоже застыло, но не той, дурной вечностью.

Пастухи брели в толпе, не изменив облика. И к ним толпа была равнодушна. Не проявляла она интереса к великим событиям, ибо и ее рождение было событием великим. По правую руку раскинулись четкие прямоугольники лугов и пашен. Косари правили косы. По левую — черепичные деревеньки с воткнутыми в небо шипами храмов. Мирок был прочен и уютен, несмотря на легкое марево страха по его краям. Но то был страх небесный и придающий мирку уют и очарование, его золотую дымку.

Хижина, в которую вошли пастухи, была ветха и убога — изящный продуманный распад. И я вошел вслед за ними, чуть не по колено провалившись в навоз. Дым и навоз — вот каковы были запахи избенки. А они так резки, что даже в наши ноздри просочатся, которые вечно в насморке от сквозняков наружи: оттого мы с тобой так чувствительны к запахам. В высотах-то в наших была вечная теплынь, персики расцветали. Потому запах для нас всегда — запах иного, время, зависшее в воздухе, переплетенное морскими узлами.

*А младенец был вовсе не златокудрый пунс, а человеческая капелька с головой с печеное яблоко. И тут я заплакал, упившись даром, который был у нас с тобой отнят Бог весть как давно. Я смотрел в прореху в кровле: небо в тот миг помутнело, нависло над миром, грозное и низкое. Иногда чуть с рубиновыми проблесками — драгоценная чаша небес. И такими странными рядом с ними казались пестрые, рябящие одежды пастухов. Ветер врывался в хижину из всех дыр и колебал пламя свечи и мои невидимые струны. Я тихо тренькал золотой арфой. А он лежал, красный, крошечный человечек в грубо выструганных яслях, — с мудрым взглядом и бессмысленными паучьими ножками. И мир был неприютен, как твоя шавка. Вырвать бы мой поганый язык, бессмысленно треплющийся между десен, забалтывающий, перемалывающий те рыки или скуленье, которыми разрывается мое нутро. Те, что одни достойны неприютного сейчас. Его глас к небесам, что отзовутся трубным звуком. А теперь бы мне вой разродившейся суки, достойный гимн входившему в мир. Язычок пламени в темном провале глотки.*

*Мне жалко тебя, человечек. Я бы лоскутами содрал с себя кожу, чтоб укрыть тебя от осеннего мира. Но не часты у меня жгучие слезы высей, чаще — одна земная пресная водица. А пастухи встали у колыбели, укрыв ребенка от ветров, что трепетали в их шелках. Младенец потянулся к драгоценной короне на голове старика, и тот отдал ему корону. Малыш играл короной, а луч, бьющий в прореху в кровле, играл на гранях чистейшего алмаза, чище и больше которого нет на свете. Но недолго он ею забавлялся. Он оттолкнул корону, и она загремела вдоль яслей, и заплакал, выгнув животик с не заросшей еще пуповиной. Старик вздрогнул от этого плача и отошел в тень, подальше от свечки, зашел за столбик, поддерживающий кровлю.*

*А младший поставил перед ребенком клетку с птицей — не канарейкой, это уже был щегол, который ошалел от свечного света, потому только чуть попискивал. Ребенок заинтересовался птицей — печеное яблочко стала разрезать неуверенная улыбка. И в это время кракнули небеса, как лопнули по шву, и многоцветный столб, сверкающий всеми сокровищами мира, в мах пробил кровлю. Ребенок взвихрился в блистающем столбе, разбившись сияющими блестками. Оба пастуха пали на колени: А я, если не закрыл глаза, то только от ужаса, превышающего все возможное.*

*А тут уже стоял третий пастух, который тут же вернул младенца к жизни, слепив белыми руками из воздуха хижину, что стал золотистым. И под этим светом поперли вверх все ростки, все зерна, в меня заложенные, разрывая мою брюшину. Я погибаю, хозяин.*

## ОТВЕТ

*Дорогой друг, увы, увы. Скучность слов и проявляется, когда они наконец устремляются ввысь. Пока они расстелены на земле пестрым паласом, он вечно нов и почти без прорех. Прощаю тебе эту скучность. Чем-то ты тронул меня, алтерэга, и вот я тебе отвечаю.*

*Стары символы вечного Слова, но — гляди — не ветшают. Точней, видно, не подобрать. И мы с тобой играем, пусть не морскими голышами, так драгоценными камушками. Лучшие было бы оставить узор нетронутым. Нет ведь прекраснее его, выложенного тогда, когда был еще явственно виден световой столб. Или нет, не тогда, — тогда не было нужды в узорах. Позже, когда не было столба, но виден был еще его мерцающий след в воздухе.*

*Изошел столб, и с того ненаходимого мига кончилось бытие и началась жизнь, где эпохи — разнообразные отблески на драгоценных коронах. Теперь же завершились и эпохи царств, но нам отданы царские сокровища. Есть чем занять бесцельно спующие руки. Сейчас время создавать новые узоры из древних камней, чтоб разнообразно играл на них солнечный луч, единственный луч. И как мы сейчас близки к всебытию.*

*Не бойся корявых слов, если они взлетают в небо белыми ласточками, если зуд нутра сочится между слов. Акустика нашего храма такова, что пропадут ненужные смыслы. Останется только лепет, шепоты и эхо. Они будут отдаваться, звучать друг в друге, но друг друга не заглушат. А лазоревому куполу нужны ли готические иглы, вонзающиеся в самую его синеву? Не милей ли ему бессильный шепот, где все — молитва? А сейчас все молитва. Игры же простятся нам, детям. Мир тебе. Иди своим путем.*

*P.S. Красивых слов тоже не бойся. Никаких слов не бойся, кроме лживых.*

Что, доктор, так долго не заходил? Обидел я тебя чем-то или просто надоел? Я ведь тебя вызывал через белохалатниц, но те только бормотали что-то невнятное и выпархивали через дверной проем. Но я на тебя не обижаюсь, знаю о твоих хлопотах. И впрямь добротный был забор, правда, не без щелей, куда совали свои любопытные носы взаимные соглядатаи с обеих сторон. Хороший был забор, весь испещренный земной каббалой: Маша плюс Петя, Нина... про Ни ну там нехорошо.

Давно стоял, спокон века, и не было нужды его подновлять. Как это его угораздило? Говоришь, попала искорка из котельной? Но ведь она и плюется искрами спокон века. Подожгли, подожгли, доктор, с обеих сторон одновременно. И огонь вольно ворвался в один из моих снов. Кровавое зарево пало на крестовину. На белой стенке представлял театр теней. Оранжевые язычки вытанцовывали в ошалелых глазах каркадила. Я высунулся в пробой. Ну и полыхал он, пламенел на все небо, и — брызги, брызги. По небу во все концы Вселенной — бенгальский огонь, фейерверк, огненные колеса, огненные жертвы.

Психи метались по парку в белых простынях. Смятенные лебеди крыльями пробивали ледок. Флигелек трепетал от ужаса, сладострастно постанывая. Вот он-то был прелестен в свете пожара, весь разрумянился. И особенно хороши вечно вьющиеся рядом с ним змейки. Они, как сменили кожу, — из серебристых стали золотистыми.

Забор пал. Наутро крошечные язычки пламени долизывали его останки. Что, доктор, качаешь головой? Снова я заврался? Да, не с таким это было дешевым шиком, а просто я проснулся — и нет забора. Только психи бродят по пепелищу. Но ты заметил, доктор? Ни один ведь не перешел эту пепельную черту, как и в парк не шагнул ни один заборец. Раньше-то они, бывало, тут куролесили, особенно близ флигелька, а теперь нерукотворная грань решительного отрубил нас от заборья. Теперь нет пути отсюда.

Сам знаешь, доктор, что нет грани прочнее нерукотворной. Вот и ты ищешь нерукотворную грань моего безумия. Но перебери хоть всю сокровищницу моих миггов, и ты не найдешь ее, коль время растеклось, как пространство, — иди в любую сторону. Был ручеек, вытекший из светлой криницы, лепетал себе чего-то и вдруг ушел в пески. Как и все ручьи вдруг ушли в пески. Остались только ручьи-призраки, вихляющие между барханами лунные дорожки. И мы с тобой посередь пустыни — убегает горизонт, пустынный дух водит нас кругами, путает. Каждое «ау» — в пески. А нам только идти и идти. Они ведь — зыбучие: поглотят, закрутятся бурунчиками — и нет нас.

Что было первое, что ты заметил в пустыне, доктор? Я — что она пуста. И лишь потом — разнообразие и богатство ее жизни. Она ведь равно открыта и небесам, и бесам. Куда ни направь усилие, тут же на воображаемом кончике твоего пути сплетется пустынный мираж — к нему и стремишься. И он — реальней реального, точнейший символ нашего усилия. Тебе понятно, доктор? Знаешь ведь, что нет ничего реальней усилия.

А страшен был конец мира форм. Во мне как разверзлась трясина или как землетрясение разломило нутро чудовищными трещинами, куда провалились миры. До этого я в своих ночах витал жаворонком. Кувыркался кубарем с неведомых высот. Это, говорят, значит — рост. И ночь была долга, как будто срослись все ночи.

А раз я проснулся оттого, что комната стала мне мала — голова застряла в дверном проеме, ноги вышибли оба окна и нелепо повисли над городом. Треснула напополам одежда, и я остался наг. Лопнул дом, как яичная скорлупа. Потом и город остался у моих ног, потом и городки попискивали, как цыплята, со своими колоколенками. И я сминал печально кракающие городки не по злобе, а только по небрежности. А голова пробивала небеса, и я по плечи был в свете, которого нет ярче. И я вытоптал весь мир.

Да, я псих, доктор. Потому я — сосуд, который может наполниться любым светом, и силой, и славой. Но вот лучи в ключья разорвали цыганкино платье в золотых цехинах. И я, снова маленький, остался на разбитой земле. Гордый дух, низвергнутый с пограничных высот как раз за гордыню. Да, доктор, это бред. Но есть ли что существенней этого бреда, когда рука вольно бежит по листу, выписывая вязь букв? Мы бредим миром, который отказался бредить сам, навевать нам сны. Он — саботажник, доктор.

Я привыкаю к картинкам, доктор. А ты и хмуришься, и морщишься, но я вижу, что они и тебе отрада. Обыкновенные открыточки, которые прикрывают стенные щели, спасают от ужаса и разора. Не спасают, так хоть прикрывают рушащиеся стены. Скоро я научусь вручать их тебе без стыдливых оговорок, а ты — принимать их без снобистских ужимок. Дай побредить всласть, доктор. Не зови белохалатников, чтоб они накачали меня своим казенным бредом, заземленным сумасшествием, — чего и ждать от шприца.

Ты хочешь знать, что случилось с миром после того ночного кошмара? Ничего — он был омерзительно похож на прежний. И люди сновали, забыв о своей ночной гибели. Когда призрак в точь похож на живого — нет ничего жутче. Один был путь — к тебе под крылышко, из мира, до мерзости похожего на мир. От облачков, повторяющих любую складку реальности. Вдруг да ветер подует, неизвестно, в каких драконов они совьются. Но пока было затишье, была осень. Я знал, что ты правитель того мира, где сказка реальность, а зазаборная реальность — детская сказка.

Не спасенья я от тебя ожидал. Слабы твои ручонки, чтоб спасти вольного духа. Я хотел хотя бы временной защиты, чтоб я успел со-

брать себя по кирпичикам — ведь куски меня еще витали среди звезд Вселенной, и чтоб ты защитил мир от меня — мастодонта, губителя хрупких, неокрепших форм, — пусть крепнут. Пускай проляжет забор между мной и миром — все равно, настоящий ли, или неруководный.

Я пришел в твой дом, который прочен, как моя надежда. Пусть окрепнут формы, и я снова вернусь в мир. А тогда я шел по вихляющим улицам туманной, чуть просветленной ночью. Земля содрогалась подо мной, как в родовых потугах. Нечто рождалось. Молочные домики, как грибы, выскакивали из почвы, вырастали на плодородной почве руин. И в них крошечные человечки впервые обращали к небу свои уа-уа. Рождалось будущее, доктор, на наших руинах. И крошечные лучики, бившие из глаз младенцев, вонзаясь, пробивали окрестный туман, как трассирующие пули. Мои же два прожектора, два глаза, пробивали одно запустение — высвечивали голые каркасы разваленных домов, а в тумане гасли. Для меня он был беспросветен. Однако я шел вперед, доктор, и туман отдалялся, хотя края чаши прикрывал безнадежно. Прорывался он только лишь на самой вершине небесного купола. Оттуда потом пал луч.

И молочный туман хрящевел, доктор. Передо мной была уже не одна пустота, а то, из чего родится будущее. Звезда вела меня к тебе, доктор. Не новыми узорами оно будет, а прорвется сквозь разрывы между камнями. Камешки мира, сам знаешь, таковы, что, сколь ни ювелирной была бы работа мастера, они не состыкуются без щелей, без зазоров. Он из небесных камешков, доктор, со всей их прелестью и величием.

Все так, доктор, — бред. Скучный бред нормального, увы, человека. Я — симулянт, доктор, как, впрочем, и все в твоём домишке. Оттого ты меня и не прогнал. Принял в свою келейку, где мне опять начали сниться волшебные сны. Твой забор и стены оказались достаточно крепки от ночных кошмаров. И сторожа с колотушками изгоняют их из темных закоулков парка, куда не добивает свет фонарей. Их успокаивающим ток-ток полны здешние ночи. Пускай серенькие рассветы разгоняли без следа мои сверкающие сны, зато весь день не просыхали ночные слезы.

Тут я раздвоился, доктор. У вас ведь это законное право. Есть у тебя, я видел, и просыпавшиеся, как горох из стручка. Есть и чудища о трех головах, огнедышащие драконы — этих не видел: ты их прячешь от слабонервных постояльцев. Я был скромненький, признай, — только надвое, да и то не сильно, не напрочь. Близнецы-ублюдки

остались накрепко укрытые моей оболочкой. Иногда только пискнут и рванутся навстречу утреннему лучу. И тогда только всхлипнет прорвавшаяся оболочка, как футбольная камера. Влет я тут же бью своих пернатых близнецов, и вестники небес падают наземь. От них только ненужный шум, гульканье и беспорядок, а я блюду покой твоего домика, где я могу вольно бредить. И надеюсь выболтать хоть одну тайну своего странного нутра. Я ведь не вру, доктор. Я кто угодно, повторяю, но не враль. Не лжив мой бред, сколь может быть не лживо человеческое слово.

А ты, доктор, молчалив, но я верю, что и твое молчание не лживо. Или не более лживо, чем мое слово. Узок здешний мирок, но мне хватит и Вселенной, отраженной на сверкающем шаре моей койки. Моим словом и твоим молчанием мы оба познаем сейчас. Лучшие исследователи возможны, но так ли много более добросовестных? Какую оно, застылое, представляет прелестную и легкую, пускай декадентскую, картинку. Слаба наша рука, не лучше и кисть, неярки краски, но желание велико. И усилие велико. А сила нам будет дарована. А то ведь канет сейчас в никуда, и сияющее будущее устыдится своего неказистого предка. Нас огромной силы волна выбросила в яркий мир. И земля тогда была зелена, и пузырилась, как шампанское, лукавое время.

Мы были готовы всю жизнь прожить во времени, но выдохлось шампанское, стало сладковатой водичкой. И мы снова в небытии. Да ведь мы и к нему приучены — к нашему истоку, хоть и соблазненные игристыми соблазнами времени. Что ж, в отличие от иных-некоторых не станем лакать прокисшие вина. Трезвость — так трезвость.

Будем пить нектар богов, налитый в небесную чашу, осушим ее до дна. Вот и будет та трезвость, что прилична летописцам безвременья. И ее мы поделим на троих. Есть еще и альгерэга, плутающий во вселенной нутра. Вот что он пишет.

## ПИСЬМО

*Дорогой друг и хозяин, я замер в углу зазеленевшей ветвью, но мои зрение и слух не только не пропали, а еще больше изощрились. Младенец, как прежде, лежал в яслях, но он уже был другим: расправилось печеное яблочко, и волосы закурчавились, стали золотистыми. И уже не на него изливалась наша жалость, а его истекала на нас неземным светом,*

что лучился на мягком лице моего сверстника, высвечивал из мрака суровые черты старика. И только третий, устроивший весь переполох, стоял прежним, с лицом как пустыня.

Тут послышались шаги, будто кто-то ступал по скинутой с небес лестнице, где каждая ступенька — струна, и шаги как бы сверху донизу перебирали их все до одной. Этот даже не шел по ступеням, а как бы стекал, зависая каплей над очередной ступенькой. Вошла женщина и покормила младенца грудью, как могла укрывая его от сочащихся в хижину сквозняков. А потом на вытянутых руках она протянула его старицу. Грубым было ее лицо, а в глазах такая тоска, что весь мир, казалось, мог без следа провалиться в эти колодцы без дна. И она была сурова. А младенец застыл, как окоченел, — драгоценная игрушка в ее руках.

Старик сделал движение принять младенца, но оборвал его. Тогда младенца принял младший. Он старался играть с ним, вытягивал губы, строил смешные гримасы, но ребенок был нем, только застывшие кукольные глаза радужно лучились. Он вернул его женщине, и она ушла за потрепанную занавеску-кулису. И тут опять раздался хохоток из темного угла. Как будто развязали мешок с коллекцией разнообразнейших смехов — от иронических смешков до утробного ржания. Причем иные из них были действительно веселы и забавны, так что скоро и я сам затрясся в неудержимом хохоте, изо всех сил трепеща листьями. Сам знаешь — разрядка, ведь твои нервы и во мне перепутаны, как волокна.

Улыбнулся и младший пастух, как-то грустно, как против воли. А на лице старца, как молнии сверкнули, и полетел его посох в неосвещенный угол. Да смехи словно осатанели — находили все новые переливы и оттенки, пока средний не сверкнул взором в угол. И оттуда только дым пошел и пахло паленой шерстью. И мой смех будто в горле застрял — так я боялся среднего пастуха. Молчание воцарилось в хижине.

Еще звезда, — сказал старик, концом посоха ткнув в отверстие в кровле. — Погаси ее, — сказал младший среднему. — Не стану, — ответил тот, — так вам и бродить за блуждающими звездами.

И он вышел из хижины. За ним последовали старший и младший. За ними следом побрел и я. Перед хижинной был лужок, где плясала молодежь. Разноцветные наряды слепили, как речные водовороты. Музыкант, оттопырив губу, выдаивал покорно мычащую волюнку. Суровый пастух поморщился от ее неравномерного рева — то коровьего, то телячьего. Не развеселили его и многоцветные вихри. И вот тут пастухи устроили концерт, равного которому я не слыхивал в жизни.

Старик достал пастушеский рожок, и вознеслась к небу трель, простая и легкокрылая. И сразу умолк прислушавшийся волычник. И сразу замерли танцоры, не разнимая рук. В этой трели была простота и единственность творения. Она была ненатужна, выростала сама по себе — легка, невитиевата, складывалась в мелодию сама по себе. Но мелодия та была и безжалостна. На кого излить жалость одинокому творцу? Кто на него изольет жалость? Она тянулась вверх, легкими узорами испещряя небесный купол. Было что-то жуткое — правда, отчего нас только жуть не берет? — в ее незавершенности, открытости. А к завершению она будто и не стремилась — так легкомысленна, хотя и сурова. И все мы, не заметив, кто начал первым, стали разногласно подпевать ей, кто на губах, кто — на расческе, предлагая ей развитие и завершение. Но она, неуловимая, скользкая, как змея, все уходила в сторону, как сигаретный дым от вентерка нашего дыхания.

И всегда она была единственной и одинокой. Старик сосредоточенно дул в рожок, как бы не замечая наших усилий. И тут молодой достал арфу, откуда — неведомо, и ее жалостливые звуки по одному взлетали вверх золотистыми мыльными пузырями, пока не сплелись в гирлянду и не обняли змейку звучащего рожка. Теперь обе мелодии тянулись ввысь, образовав спираль. Змейка смирилась в объятиях золотой нити. Что это было, скажи, хозяин, озарение миром, небесами? Мелодия была воздушна и беззаботна — только истинная вера может совсем забыть о небесах, вера детей.

Тут бы вступить и третьему, но у него не было инструмента. Тогда он попросту стал перебирать пальцами воздух, щупать, теревать его. И сначала воздух был беззвучен, но скоро в нем зародился звук и быстро достиг грандиозного рева. Распались парочки, их лоскутьями расшвыряло по зеленому полю, закинуло за окрестные оголенные холмы. Звук этот смерчем взвихрил два тонких обнявшихся дымка — белый и золотистый — и штопором ввинтил их в небесный купол. И тот опять замкнулся. Теперь уже тишина пела на три голоса. Долго еще три звона свербели в моих ушах. Прости меня, хозяин, за старые слова. Сам знаешь — все было, и все заново.

P.S. Дорогой хозяин и друг. Извини, что слуга подает тебе советы. Но знай: есть какая-то скудость в твоей неподвижности. На мой вкус, было бы лучше даже бессмысленное мельтешение. Робость, что ли, тебя охватила, разрушителя стен? Кто тебе дал право на покой? Видно, никто. Своеволен твой покой, потому так беспокоен. Да почувди ты власть в этом радушиейшем безвременье. Неужели ты всерьез

*боишься перепутать его пути? Ты — крошечная нотка в его какофоническом концерте, желтый цыпленок? Кукареки уж петушком, пока не попал в суп.*

Подурил же ты прежде — а теперь-то отчего стал таким серьезным? Вспомнил, как мы были веселы, а теперь твой мрак и на меня стекает. Той руке ведь все равно, сколько мы запутаем нитей. Ей все под силу распутать. Ей бы умилиться детской игрой, ласково провести по твоим волосам. Ей, видно, надоела вечная взрослость мира. Вот и родили нас заново. Но от детей у нас почему-то лишь беспомощность, а не беззаботность.

Я думал — буду тебе как тренажер для паралитика, буду разминать, приучать к движению окоченевшие суставы. Хотел даровать тебе жизнь, пусть не совсем настоящую — возможна ли она сейчас? — так чуть обобщенную. Не таковую, как она есть, но хотя бы как могла бы быть. А ты отдал мне все движенье, а сам валяешься на койке, истекая бессмысленными словами. С приветом.

## ЗАПИСКА

*Кое в чем ты прав, а насчет бессмысленных — врешь.*

Гляди, каков, доктор, мой добрый помощник, гений-хранитель. А ведь и правда — хранитель. Пропал бы я без его каркаса — рассыпался, как многие, по обе стороны забора, ныне сгоревшего. Но нужна ли мне его притворная жизнь? Он хоть и привык к наруже, но дитя нутряных абстракций, пусть и переживает их с такой силой, которую мне бы. Но я-то хоть и змеящийся по листам тросик, узор из закорючек, нижущих петлю за петлей, а неудобно мне на листьях. Душно мне, расплющенному кипой бумаги. Хочется вскочить с них, явиться всей своей плотью. С кровью сдирать с нее присохшие ахи и охи и расшвыривать их по молчащему воздуху. Порвать листья, чтоб они хлопьями — глянь в пробой — вились в этой белой поземке.

Они честнее, клочки, и вернее, а этого не понять обобщенному альтерэге. И они растают по весне вместе со снежными хлопьями и оросят поля. Пусть что хочет квакает, а я буду, буду ловить лучик на самоцветные камешки. Каждая грань — прожитый день. А всех — сто. И моя жизнь — ускользящий всплеск света на этих осколках. Во все стороны преломляется луч. И когда-нибудь высветится во

мраке единое перекрестие всех лучиков. Вот хотя бы там — вон туда погляди, — видишь гвоздик на оконном перекрестии? И сквозь этот прокол я уйду ввысь. А оставленные мной осколки сметет твоя белохалатница — только померцает в воздухе отсвет их свечения.

Ну, пускай я уплощен, доктор. Я не только себя одного берегу, но и этот открытый злу мир. Да не провалится же мой неглубокий альтерэга в разрыв нутра, откуда выползают сернистые туманы! Нет, не бойся, доктор, — не станем мы рушить твой мирок. Благословенна моя неглубина и неглубина альтерэги. Он так же робок, как я. Не отстанет от трех пастухов, как бы ни был тернист их путь. И они его выведут, не бросят по дороге.

Ты грустен, доктор. Печально тебе смотреть на эту слякотную зиму? Грустен ты, грустен. Неужто ты знаешь развязку? А я вот никогда не знал грусти, доктор. Я или взвихрялся радостью, как эти переливчатые снежинки, или растекался глухой тоской. А мне бы была прилична грусть о потерянных высотах. Но грусть — это знание развязки, а откуда оно у духа с бременем свободы? Ведь и эти низкие серенькие небеса вряд ли ее знают, те небеса, в которых мы с тобой витали.

Как свободен мир, в который я попал, как мы милы друг другу. Вцепились один в другого, сжали в объятьях — вот-вот придушим. Не посредником ли ты заделался между мной и миром? Не арбитром ли, наблюдающим за нашей схваткой? Ну, ничего не поделаешь — все в голову лезут глупые картинки. Заработал старенький телевизор оконного пробоя, показывающий нелепые старые картины.

Гляди — психи за окном усердно гребут лопатами, расчищают снег, припорошивший парк, аж деревьям по колено. Это ты велел им очистить парк от снега? Приблизится ли тем весна, доктор?

А снег все валит и валит. Гляди — голова наполеончика стала совсем, как сахарная, — сверкает искрами, и снег на ней не стает. Здорово бедняга замерз, так и шарят северные морозы под его походным сюртуком. Смотри — всю пятерню в рот засунул, согревает пальцы. И рядом стоит его Жозефина, белая, как снегурочка. Ему б самому пошуровать лопатой, но он предоставил своей гвардии — счастливой, раскрасневшейся.

А вон — гляди-ка, вот это да. Что ж ты молчал, доктор? Не притворяйся, это же философ, — завернут в простыню, как в тогу. А говорил, что статуя, и я тебе верил, шутник. А как не поверить — сколько ведь лет он простоял столбом без всякой пищи. Конечно, высох и побелел, как статуя. Что-то величавое было в его саботаже.

Но и нечто греховное в его застылой чистоте. Казалось, так он и будет стоять, пока не рассыплется гипсовой крошкой. Верно — это я думал, а ты-то знал, что в нем зреет неведомый смысл, который рано или поздно прорвется, — только с виду он промерзший до дна.

Ты, конечно, не был удивлен, когда в один прекрасный день он попросту сошел с места, и все тут. Так это было? Но вызревшим смыслом он даже с тобой не поделился. Не горюй, доктор, не исключено, что он незначительный, куцый. К примеру, что все чепуха на постном масле, что мир недостойн и неприятя. На что тебе такая истина — кого с ней вылечишь?

Зато смотри, как гребет лопатой, добросовестно сует ее в снежную жижу, но так глубоко, что поднять ее уже не под силу. Только развозит грязь. А вон и каркадил. Ты заметил, как стихло карканье? Я нет — уже привык. Он-то как всегда празден. Суетится, сам рук не приложит, только куролесит, сибарит, под ногами у всех путается. И посадил же ты меня в клетку с самым никчемным животным на свете. С каким это намеком, доктор? Юморист же ты.

Не смотри на меня так, доктор. Все равно не высмотришь меня до донца. В лишь чуть мерцающих глубинах моего нутра, в расселинах, где варятся туманы, угаснет взгляд и пронизательней твоего. Что он там уловит? Низкие небеса, мелкая грязца — что еще? Да и то будет ложно. Твой застылый взгляд омертвляет живущие жизнью болота, и те застывают в псевдоструктуры. А какая структура у живого болота?

Ты поосторожней заглядывай в бездонные провалы моих глаз. Ведь дно болот все устлано зеркальным боем. Наткнется твой взгляд на зеркальный осколок и прынет в такие невероятные высоты, где нет никаких опор. Шучу, доктор. Гляди вдоволь своими немеркнущими зрачками. От такого взгляда только и хочется заслониться гладкописью. Не метать мысль на чистый лист, веря, что она, как кошка, встанет на все четыре лапы, а выписывать узор — строгий и мертвый. Застыть непроницаемой статуей, как псих-философ. Сейчас, сам знаешь, — не время узоров и златописма, а время звериных рыков. Не время ювелиров, а время всего. Нагой и жуткой жизни. Время небывальщины, время банальностей. Время тягостной свободы.

Чего куксишься, доктор? Время сладостнейшего луча, что, шарахнувшись об землю, рассыпается чистым золотом нежного смеха. Время ласковой усмешки небес. Взгляни на горизонт — теперь он виден

за сгоревшим забором. Как он разымается вверх и вниз, но вовсе не чтоб нас проглотить, он заходится утробным смехом: хо-хо-хо.

Сейчас время карнавала — переодеваний и розыгрышей. Скоро святки, доктор. Прикажи своим белохалатникам по-новогоднему убрать все ели в парке. Не жалея сверкающей мишуры. И на вершине каждой пусть горит звезда с лампочкой в сто свечей. Пусть каждый псих выберет по маске. Пусть они поменяются масками. Снимут и передадут другому свои застылые лица.

Не верю я, что именно та маска, что нужна, прикипела к их лицам. Это их гладкопись. Может быть, поищут и найдут, что им надо у другого. И я б тоже с удовольствием примерил чужую маску. К примеру, того философа. И талантливо же вылепила природа его как бы изобретенный думами лоб. Какой лаконизм — пара извилистых бороздок — и уже дума. А ведь, держу пари, что ничего так и не сварилось в его пустом котелке. Эта бесплодность и столкнула его с места. Или вот у Казановы тоже хороша маска. Гаденькие усики просто на славу, как на картинке. Когда он крутится у флигелька, у того просто поджилки трясутся, перебирается весь по камешку. Впрочем, одна белохалатница мне шепнула... Ладно, я не сплетник. Или вот кротость — не такая выразительная, но мила. Ни одной черточки, чтоб запомнить, не разобрать даже — мужик или баба. Но какое-то марево милоты. А гнев, этот уж выразителен — рот до ушей, торчат клыки, брови взлет — просто какой-то японский черт. Но тоже лаконично. По-моему, природа — японец, а доктор?

Но перейдем к твоей маске, доктор. Она — лучшая. Если бы мне все дали на выбор, я выбрал бы именно твою. Нет, это не лесть. Махнемся, что ли, доктор? Не хочешь? Видно, знаешь, что мне не на что меняться. Всегда ты прав, доктор. Сколько я уже перемерил этих пахнущих папье-маше формочек, но ни одна не пристала. Бывало, уже прилипла, как родная, как живая, впитывает всю мимику, правит лицом деликатно, но по-своему. Спать ложишься, густо приляпав ее клеєм. Просыпаешься — в зеркале опять живое лицо, беззащитная мякоть. И дубят ее ветры наружи, и вновь оно — маска. И снова она шелушится, как змеиная кожа, и опять — мякоть. И оттого — вверх-вниз и во все стороны.

Не лучший я актер в дель-арте безвременья. Но ему и комментатор нужен не меньше, чем доктор и все арлекины-коломбины. Где ты откопал маску в своих высях? Был ты там? Но об этом ты мне потом расскажешь. Что-то не вовремя явился альтерэга. Видно, есть нужда во мне.

## ПИСЬМО

*Дорогой хозяин и друг, я писал тебе, что был оглушен концертом пастухов. Как смолкли их звуки, и весь мир замер, будто ищет конечный смысл в затишье, куда ушел последний звук. Затишью был предоставлен финал не менее значительный, чем звучанью. В нем пело все недосказанное звуками. И оно было еще гармоничней музыки, но и еще таинственней.*

*Какая глупость, я безнадежно отравлен миром, — позабыл свой давний язык, который — музыка, забыл и свой первый, который — предзвучие. Из той же тончайшей материи — и междузвучье, и то послезвучье, что воцарилось теперь в нашем нутряном мире. Плохой я переводчик, но все ж и звуки мои, и пустоты выстроились согласно пастушьему концерту. Если я и неспособен раскрыть тебе смысл, то ведь я и есть тот смысл. Хочешь — взрежь меня, как хирург, и разгляди мои внутренности. Но у тебя глаза слабы, и большие пригожусь тебе живущим. Смысл бежит от ланцета.*

*В минуты затишья перестраивался мир нутра, все приобретало другой облик. И, когда иссякло затишье, я оказался в другом мире, на другой земле. Но я устал, хозяин, я обмяк и стал недоступен голосу высоких миров. И в тишине, уже не в затишье, до меня стали доноситься благословенные слова наружи, от которых я почти отвык. Донесся до меня и твой пассаж о масках. И он для меня был как глоток простой водицы в пустыне.*

*Как он мило заземлен, как очаровательно неглубокомыслен. Ты будто поглупел, хозяин, и это тебе идет. Прежде ты был слишком уж витиеват, а теперь не гнушаешься верхним слоем почвы, который плодороден. Говоришь, дяденьки обиделись на твой ноль. А может, и не картинки им были нужны, и ничего такого. А просто, если выразиться на твоём жаргоне, то наплевал ты им в рожки небесными слюнями, мол, вон я какой. Не уподоблялся ли ты тому философу, что так много зачерпывал лопатой — и не поднять. Спасибо тебе за простоту, мой друг и хозяин. Счастливо.*

## ОТВЕТ

*Дорогой слуга, во-первых, я не поглупел, а отупел, — это не одно и то же. Ты прав, был у меня острый и язвительный умишко, который я, пока не грянуло безвременье, ценил больше ума большого, но затупленно-*

го, как стенобитный таран. И даже еще большего — бесшумно прорастающего из золотого зернышка. Об этом я только изредка догадывался, прислушиваясь в ночи к русалочьему напеву без начала и без конца одного из близнецов-ублюдков.

Тогда мы — бойкие подростки — были все вооружены такими финками, острыми, как бритва. Ими мы открамсывали лакомые куски эпохи. И лишь потом вдруг заметили, что в разбойном ажиотаже кромсаем один пустой воздух, соблазнительный только запахами прежнего.

Может, я все-таки и поглупел, но все же не настолько, чтобы не уловить лукавства в твоей похвале. А с жаргоном ты перехватил. Вижу, ты весь в меня — для красного словца ничего не пожалеешь. Впрочем, я понимаю — речь тут не о небесах, а обо мне. Ты прав — путь мой был не столь прям, сколь прямолинеен. Что делать, не сразу научишься небесной прямизне.

Может быть, и нынешнее скромное письмо им покажется излишне многоцветным. Что поделать — в таком ритме живет моя душа: мое письмо все мотает, как рыдван на ухабах. Но вот доктор меня понимает, а мне важнее всего, чтоб именно он меня понял.

Что поделать, мой друг, в эру масок мы обречены самим себе как никогда: не умней, не глупей, не хуже, не лучше. Каждый день — осколок, единственным образом отражающий небесный блик. И все они — картина нынешних небес. А что она не складывается, не стыкуется, от этого она еще достоверней. Ведь в ту игру мы играем, что называется жизнью. Я неглубокомыслен, ты — не чересчур глубок. Мы стоим друг друга.

Так и эпоха — не самая глубь. Ты же знаешь, как археолог-любитель, что культурный слой — пару метров в глубину, а дальше — материк, вечный и единообразный. Будем же добросовестными исследователями. Погрузим ложки в хлебово безвременья и будем черпать его верхнюю жижицу, может, и попадетя гуцца со дна.

Будем хлебать то, что подносит нам жизнь. Хороша пицца безвременья. Беда только, что мы не привыкли к деликатесам, всегда готовы поменять хлеб насыщенный на кус ржаного. Ничего, будем привыкать, наращивать вместо сошедшей плоти земной плоть небесную. Будем не постниками, уныло слушающими спевки верхнего хора, а полнокровными жителями небес. Реальнее и плотнее самой оскудевшей реальности. Будь самим собой, альтерэга. Верши свой путь терпеливо и добросовестно.

*Тут, кстати, еще пару слов о моем жаргоне. Я, помнится, приглашал тебя смело лезть в мое. Теперь беру приглашение назад. Не лезь больше в мое — у тебя только начинает прорезываться собственный голосок, мне лично даже приятный. Его и держись. Иди своим путем, от меня больше слова не услышишь. С приветом.*

*P.S. Говоришь, поглупел? Да я сейчас так шарахну головой об стенку, что напрочь отшибу ненужный ум. Душа поумнела. А я сейчас сплету картинку еще нелепей прежних. Из принципа.*

Доктор, доктор, неспроста же мы закинуты в эти безумные равнины, похоронены среди необъятных снегов? Мы должны прорасти, как озимь. Я верю в это. Какое ведь необъятное небо над этими равнинами. Любая точка свода видна с земной ладони. И какие дали открылись, когда вымерзли все деревья. А я тут развлекаюсь, доктор, пока ты ходишь за другими психами. От скуки забрел в твой музейчик рядом с актовым залом. Амбарный замок — все у вас тут на запорах, да все съедены ржавчиной: только тараканы прыснули во все стороны, когда я за него взялся. У вас здесь все двери распахиваются от любого дуновения.

Отчего ты никогда не заикнулся об этом музее? Не хотел меня пугать? Но я и так знал, что прежде был более жесткий режим в твоём убежище. Выставлены орудия пыток — к примеру, испанский сапожок, вериги, совсем как в Музее религии и атеизма. Страсти, ужасы — ты прав, доктор: невыносимое зрелище для психов. Но это еще ничего. А вот — запыленная диорама: обычная комната, келейка, с нечистыми обоями, с клопиным диваном, без окон — без дверей. Это жуткая вещь, тут и нормальный свихнется. Недаром она укутана черной тряпкой. Я только взглянул — сразу снова ее накинул.

Не расчленение тела, а вечное самоистязание души, когда весь дикий разгул ее сил не знает отдушины. Терзает себя самое, как сроду не евший хищник, лев ростом с десять колоколен. Он пробил бы любую стенку, но что делать, если она — камень до самого дна?

Что побледнел, доктор? Это твой давний и единственный страх. Это и мой единственный страх. А чего нам, казалось бы, бояться? Раз явленный луч и пребудет с нами, пробьется, как вода, сквозь любые камни. Это музей былого — времени, а не безвремений.

Что там еще было? Да-да, доктор, как же. Склянки со всеми страхами, мерцающие различными цветами. Это твои лекарства, безысходные лекарства — одно лечится другим. Я прежде пивал эти упоительные коктейли, так и уносящие ввысь. Если хорошо его сбить, он

становится золотистой пеной, мыльными пузырями, летящими к небесам. Была там и пробирка с надеждой. Это зародыш, похожий на печальную рыбу, пескаря.

И все ж сводил бы сюда психов на экскурсию. Они умны и образованны — все знают. Но все ж частенько в суматохе своего безумия считают себя обкраденными. А посмотрели бы на мутные портреты по стенам музея и вспомнили бы о величии этого дара безумия. Оно ведь скачет по земле бесом, но оседлай его — и унесешься в высочайшие выси. Оно — помутнение внешнего ока, так что даже черного-белого не различить, но — просветление внутреннего. Да, ты прав, все это я от тебя же и слышал.

Но позволь упрек: твои белохалатницы так давно не протирали портретов, что ни одного лица не разобрать, хотя все же не ускользают величие и смятенность черт, известных нам по букварям, — и все бородатые. Я понимаю, что ты мудр — оставил портреты времени, чтоб оно вольно вносило в них поправки, стирало случайное. И оно так рьяно взялось за дело, что их лиц теперь не узнать. А вскоре и совсем ничего не останется — каббалистический знак. Вензель, выведенный пальцем на запыленном стекле.

Нет-нет, доктор, мне ни к чему жалобная книга. Хороши портреты, но ценней плутающий по стеклу блик. Да и кому мне жаловаться? И на что? Ты ко мне добр, незаслуженно добр. И музей твой хорош, красив. От времени растрескался потолок, и его полутьму прорезают целые плоскости света, в которых выются разноцветные пылинки, как в бальном танце. Где-то я уже видел все это.

Это музей не затхлых диорам, а музей световых лучей, в которых поют великие души. Они сошли со скучных стен, оставив там лишь странные вензеля.

Почему ты стал аккуратен, доктор? Норовишь замазать любую щель — как стерильны и комфортабельны наши палаты, малопроницаемы для солнечных лучей. Я предпочел бы прежний романтический каземат — звякающую цепь, ошейник, трущий горло, и голый камень. Давай сдерем обои, доктор. Да не бойся, я пошутил, не буду сдирать. Но на спор, доктор, — под ними тот же вечный неровный камень. Те уходили в щели, в светящийся луч из казематной сырости. Лучше на площади, под барабанный бой разлететься снопом искр, чем пропадать в твоей стерильности.

Ах, это завхоз? Да, я его видал. Тоже в белом халате, только брюхо свисает. До колен. Против такого ты, конечно, слаб. Ему под си-

лу даже выстроить новый забор, покрепче прежнего. Если не разорует доски.

Ты не обижайся, я смеюсь, доктор. Оба мы юморные мужики, как и приличествует живущим на горизонте или в пограничных высотах. Горизонт ведь и есть линия, проведенная смешками. Взгляни на усмешку солнца на восходе и на закате. В зените же оно всегда серьезно. А помнишь наши высоты? Взгляни вверх и покатишься от хохота. Взгляни вниз — и все небо заходится хохотом, как громами.

Как много там рядом витало пересмешников — небесных хохмачей. Они нас повеселили, эти выдумщики. Еще бы — кого они не развеселят. Ни одному шутнику не открыто большего простора. Нет ни одной точки небес, чтоб она не была смешна с какой-то другой. Вот эти пересмешники широченных пространств и собирали такие смешные пары. Выплясывали они свои тарантеллы на двухстороннем кривом зеркале. Не худшая это компания. Да и тебе они нравились. Так мы насмеялись, что с тех пор по обеим сторонам губ — нестирающиеся складки.

Но отчего же нам с тобой там было так неудобно? Как прочна, устойчива была грань для них. А для нас, грань — не жизнь, не твердь, а выбор. Они если и валились вниз от смеха, то тут же подсказывали, как резиновые мячики, и даже слегка покалеченные юродствовали вдвойне. Мы же грусти хотели, доктор, верно? А губы сами растягивались смехом. Свободный выбор, доктор, наше бремя, уклоняться от коего — грех. Вот и пали мы сюда, вот и мечемся между тоской, смехом и надеждой. А грусть нам не дается. Та, что залегает в чистейшем нутре и небес, и мира, та, что всегда светла. Напряженность вышних небес так и разряжается хохотом. Нам надо преодолеть, переступить через каждый смешок на пути к светлой грусти.

Но пересмешники, что витали рядом, вовсе и не собираются нас оставить. Хорошие товарищи — хотят скрасить нам нашу ссылку. И вообще, они не отвяжутся от мира. Как артистам, им нужна публика, и мир — их арена. Но и презирает их мир как истинных шутов. Мир мудр — недаром он создание небес. Вечно его презрение к тем, кто разделит мирское и святое, заложенное в сокровенной основе театра. К тем, кто профанировал небесный дар смеха. И юродствуют эти шуты, корчась на угольях жгучего презрения.

А зрелище это увлекательное. И тем увлекательнее, чем пустее. Чаще ведь, признайся, у тебя бывали не озарения миром, а увлечения. У меня — так. Я знаю, что ты иной, наш хранитель, наш защитник. Ты хоть и не в небесах, но над нами. Осеняешь нас полами сво-

его халата. Зато и зрелище мира у тебя как на ладони. Уверен, что и ты одержим бесом смеха, угадал, доктор? Душишь его своими белыми руками, а он сквозь пальцы просачивается. Так ты и корчишься на фоне небес — а нам не разобрать, то ли в смехе, то ли в попытках сдержать его. А нам, знаешь, что твой смех? Он обижает нас, коль ты смеешься над нами, и пугает, коль над самим собой.

Ты вот сейчас встал, доктор, и заслонил мне чуть не весь оконный пробой, распластался на все небо, и звезда горит у тебя в ухе, как сережка. Смотри — встревожился каркадил. Только что он спал, причмокивая губами, которые все были в лунном свете, как в материнском молоке. А теперь гляди, как он тревожно озирается, ища луну в небесах. А вместо нее — твоя голова торчит в зените. Отойди, доктор, верни мне звездное небо. Я устал от тебя, доктор.

## ПИСЬМО

*Дорогой хозяин и друг. Спасибо тебе, что ты удостоил меня ответом. Но напрасно ты что-то углядел в моих словах, иронию? Я не посмел бы. Просто я поздравил тебя, что ты стал выбирать себе ношу по силам. К чему нам теперь обоим натужные прыжки, если и тверди уже нет — не от чего толком оттолкнуться.*

*Сам знаешь, сам говоришь, что кончилась игра в жизнь и началась она сама, собственной персоной. Должно это было произойти. Жаль только, что она началась тогда, когда она кончилась. А может быть, это — закон? Не будем ломать себе голову над гримасами процессов, нити коих отнюдь не в наших с тобой руках. А наивность, так она прелестна, без нее нет письма. А ненаивны лишь те бездельные пересмешники. Я буду наивным, не буду больше питаться отблесками твоего сомнительного, прости, ума. Я согласен — давай же оба станем добросовестными археологами. Только не учеными — те не всегда добросовестны. Добросовестней дети, тщательно обшаривающие помойку в поисках сокровищ. Рад, что и ты помнишь найденные нами чудеса, перед которыми и сокровищница Али-бабы меркнет: бутылочные стеклышки, какие-то витые стеклянные трубочки. Ведь жизнь опять началась, и мы дети, как и все — дети. Что нам переругиваться, хозяин. Мы ведь во всем согласны. И оба мы эхо друг друга. Ты говоришь: дети. Я тебе вторю: дети, пускай в преджизни и достижениях седин. Ты пытался быть взрослым, оставив детство одному мне, и мне было одиноко в реальнейших реальностях нутра.*

*Что делать, если я привык к бредовым мифам наружи? Давай сравняемся, станем детьми оба. Слушай же дальше мой детский лепет... В то время, пока иссякала пауза, и сами пастухи застыли, как бы смущенные собственным неожиданным концертом, лоскутами разметавшим деревенскую пирушку. Лоскутки вовсе не торопились вернуться из-за холмов. Вблизи остался один волынец, неподвижный, как соляной столб, с выменем во рту.*

*Младший вынул из его рук волюнку, тщательно вытер мундштук и что есть силы подул в нее. Раздался прежний коровий рев, ничуть не обогащенный пастушеским дыханием. И он вернул ее волынищику. Двум пастухам, видно, самим стало неуютно в этой долине, зачарованной их звуками. А третий был, как всегда, странен — он ведь постоянно менял вид и форму, так что я не в состоянии описать ни его самого, ни его чувства. Сейчас он был человекоподобен, но чем-то подобен и белой голубке. Он уставил взгляд в небо, и в глаза сошла его беспредельность. Они видели все до конца, до исхода, но в них самих ничего нельзя было высмотреть. Ибо пробивали они и сам исход, видели еще куда дальше. И в них были видны лишь множасьщиеся узелки — завязки новых времен и пространств. А, может быть, это я нафантазировал, заглядевшись в бессмысленные и безмятежные глаза голубя. У двух других пастухов взгляд был прозрачен. У старика глаза красные от бессонницы без конца и края. У младшего — голубые. В их глазах, пожалуй, можно было что-нибудь высмотреть, несмотря на легчайшую поволоку тревоги. И все ж изнутри одного сияла вера, другого — надежда.*

*Оба они вскинули на спину торбы, пустые, как коровье вымя. Третий, как всегда, уходил налегке. Я говорил, что он сразу был мне страшен, и я его боялся до сих пор. Понимал, сколь велик риск идти за ним, — одного его взора достаточно, чтоб разметать мои хрупкие нерукотворные косточки по всей беспредельности миров. Поди потом собери. Но ведь так я тебя понял, хозяин, — именно вслед ему должен лежать мой путь? Обоим нам уже не удовлетвориться срединной высотой.*

*Но ты меня прости — я тут же его потерял. Нутро вдруг снова закурилось туманом, который слезами, испариной стекал с грубой одежды третьего пастуха. И капли высыхали, курились дымками, — в них и пропал пастух. Зато еще видны были спины старого и молодого. И я поспешил за ними, чтоб совсем не растеряться в нутре, вновь лишившемся форм. Их тут, как и ваши, любым ветерком смывает. А спины пастухов — надежный ориентир. Старик суров, но это угроза лишь телу, а им я еще не обзавелся. Но тут хватало и других угроз. Как ни был я осторожен, ступая по земле, застеленной туманом, но все ж не уберегся — по-*

летел в овраг, которыми была иссечена вся местность, как мозг извилинами. Это, к счастью, была не одна из тех расщелин, которыми ты меня пугал, не пролом, достигающий самой бездонности, но знаешь ли это, когда падаешь? Один страх, сильнее смертельного.

А шлепнулся я в болотце — маленькое, вонючее. Сидел по шейку в холодной осенней воде. Вот до чего ты меня довел, так любящего уют мирского. И противно же мне было в этом овражке — воды у нас помокрее земных и стужа еще студеной. Пробыл я в овраге ровно сто лет как один день, пока не услышал вблизи устричье попискивание, и, пошарив в мелкой вязкой жиже, обнаружил раковинку.

Вижу, как ты весь напрягся струной. Почему б не завалиться заветной перловице в грязноватом овражке. Ведь и в вашем мире величайшее находят случайно. Но нет, это была не она. Просто красивая раковинка с изящной бороздкой, стремящейся к центру. А затем я наконец выбрался из овражка, засунув противно скользкую раковину в свой дырявый карман. Сам не помню, как мне это удалось. Но ведь бесчисленное количество раз удавалось, а этот был неглубок — еще не такие преодолевали. Наверху неведомая кисть уже намалевала яркое солнце, и я высушил одежду. Пастухи никуда не ушли. Ты знал, что они меня будут ждать. Счастливо.

Вот — маленький овражек. Крошечный эпизод, скороговорка. А ведь — укол смертной тоски. Из них мое письмо. Что ты знаешь об изломах моей жизни? А именно поэтому она для тебя неуловима, хоть ты и ловишь ее ночи напролет, слушаешь мой бред.

Моя жизнь хрупка, доктор, — ломается, как высохшая на солнце соломинка. Я вооружен шпагой — прямой, но ломкой: тростниковой палочкой. Я прожил тысячу жизней, доктор, — умных и глупых, ничтожных и великих. Я, как и ты, доктор, знал невыносимо тяжкие, но и благословенные миги, когда иссякали слова и сама жизнь изливалась в пробой не состыковавшихся камней. И тогда я писал невозможностью писать.

Тогда прерывался мой ровный, обычный путь, дорожка увязала в болоте. И был только один путь открыт — вверх. Грош мне была бы цена без этих обновлений по сто раз на день, когда я становился брошенным ребенком, пугливо озирающим чужую окрестность. Благословенные, великие миги отчуждения от жизни, когда теряется волшебная нить, кончик которой мне вручили еще на моих высотах прежде, чем низвергнуть вниз. Вечно ныряет под землю ручеек моей жизни. Тогда и ты начинаешь тревожно озираться,

ища, где же он вынырнет. Что б мы оба стоили без этих мигов непознаваемого бытия? Без детских спотыкающихся слов, искренних как никогда, так как одна им дорога — ввысь. Пока мы тут, мы тщимся сомкнуть ручей, но жаждем, чтоб сомкнулись подземные воды. Улыбаешься, доктор. Ну, может быть, не ты, а я один так наивен, приписываю тебе свои детские мысли. Извини, тебя я так же плохо знаю, как себя самого. Тогда погоди, взрослый доктор, а я поговорю со сверстником.

## ОТВЕТ

*Слуга и дорогой друг, обещал тебе не писать, но куда ж нам друг от друга деться? Закончим, наконец, наш вялый спор о банальностях. Даже и не спор — полусогласье. Оба мы их равно трепещем, непонятно почему, и оба мы их любим — это ясно. Так о чем же спорить? Видно, мы спорим с доктором, и тому виной его ласковый, но чересчур пристальный взгляд. Он просматривает меня вглубь как раз до тебя. Глубже его глаз не берет, но и мельче тоже, не надо его недооценивать. Не оставляет он меня — ты это знаешь — ни днем, ни ночью. Все время мы под его прожекторами, как тараканы мечемся по его ладони.*

*Не дает он нам уйти, затаиться в сокровенной чернейшей яме, — выволок даже из твоего мелкого овражка — чтоб там тайно черпать тайное, что больше нас обоих и его самого в придачу. Наша жизнь на виду — его лечение. Что ж — торопливо раскинем перед ним не наибольшие наши приобретения. И тем излечимся, чуть разрядив клочковатый мрак в ненаибольших глубинах нутра.*

*Но то — его цель. У меня другая. Ему представь каталог мелких истин, опись наших археологических находок. Меня же интересует одно овладение, отмычки. Хоть одной истиной овладей и меня научи. И чем она банальней, тем лучше, тем более универсальной отмычкой она станет в умелых руках. И хватит об этом. Счастливого пути.*

Ты вот все предостерегаешь меня от таинственного флигелька, доктор. Но ты забываешь, что я тебе не подобен. Я не одна только идея, как бы ни старался себя уплощить на подложенных тобой листах. Многое жизненное из меня выветрилось. Стал я почти схемой. Но, нет-нет, и в меня прорывается жизнь, и через меня врывается на исписанный лист, ломая ровные, как на параде, буквенные ряды. Я

сильней собственной мысли именно своей нелепостью, рушащей ее застывшую лепоту. Не потому ли ты так припал к моей речи. Тебя низвергли с высот, а жизнь вдохнуть в тебя забыли. Потому ты мой доктор, а я — твоя жизнь. Живешь только на моих листах, а сойди с них — тебя ветер размечет.

Страдания мысли не равны страданиям души, хотя и она мечется раненым зверем — взмывает ввысь и бессильно падает. Но это просто она своей игрой увлеклась как жизнью, а подлинной жизни в ней нет.

Как-то тебя не было, я вышел в парк и шагал, шагал по черным проталинам. Вчера еще снег лежал, а теперь весь парк в черных бляхах. И как притихло теперь открытое нам заборье — ни одного прохожего. Может, оно все вымерло, доктор, от той самой болезни: не нашли праведников.

А мне б поглядеть хоть на одну заборную рожу. Хлебнуть глоток обыденности, а потом вновь нырнуть в мир шуршащих идей. Черные птицы облепили перекрестье, венчающее твой дом. Они грают и трепещут крылами, шуршат ими о небесные тучи. И простор просторен, и природа трепещет на стыке осени и зимы неуловимо, как та улыбка. Солнышко катится за пруд.

Но, прости, твой парк теперь стоит оголенный, как схема бывшей жизни, потеряв и таинственность, и глубину. Схемы деревьев стоят, протянув к небесам сучья-руки. Но нет шепота листьев, и они мертвы — танцующие скелеты. И парк твой стал скуден. Даже густевшая тьма не прибавляла ему тайны. Уже нельзя заблудиться в лабиринтах желтеющих кустарников. Они голы, колкие, как колючая проволока. Но мне довольно и этого скудного парка.

Его скудость — символ, она и клапан души. И вот душа уже изливается на эту скудость, и парк затоплен изливаниями наших душ. Не горюй, доктор. Скоро ведь его припорошит снежком. Начнется сверкающая драгоценностями зимняя сказка. А пока снег не приживляется к этой земле. Сверкающие кристаллы на глазах становятся грязным месивом.

Только пруд прихватило ледком. Может, и непрочным, но чей-то след его все же пересекает. Может быть, неосторожно мне было ступать на свежий ледок, но я устал от твоей стерильной безопасности. Слишком прочные полы ты настелил в своем домике. Этак я и сам разленюсь, разленится и моя мысль, и душа замурлычет пушистым уютным котом.

Я и по прочным временам шагал, как по чуть прикрытой травкой трясины. Мог ли я думать, что в трясинном безвременье вдруг обрету почву. Лед слегка осел, побежал трещинами, но выдержал. Доказательство, что я стал почти бесплотен. Однако по мере приближения к флигельку обнаруживалась и плоть. Особенно, когда ударил в ноздри запах его тонкой парфюмерии. Сразу натянулись все жилы, и я, как конь, был готов рыть землю копытами.

Где царевна, где колдун? Разгвозжу его, пеплом развею. Отлетает — вечно у вас так — грозно замкнутая дверь флигелька, только тени в стороны порскнули. Во все поры — душные запахи гарема. И розоватая полумгла вокруг, купаюсь в ней. Руки из нее тянутся к моему лицу, касаются так легко, что не уловить прикосновенья. Завораживают серебристые змейки. Каждый взмах моих рук месит полутьму, взбивает ее, как земляничный мусс.

А сам я уже корчусь и извиваюсь подобно змейке, исходя неведомыми золотистыми силами. И вся земля ходит подо мной ходуном. Не только в ушах, а во всем теле ходят золотистые звуки: арфа, рожки, колокольцы. Они разрывают мое тело, со звоном катятся по полу, как золотые монетки. Весь пол устелен золотом, как осенними листьями. Яичной скорлупой лопается домик, и еще и звездный дождь осыпает меня своим золотом. Все небо просыпалось наземь. Невыносим его блеск.

Рвется небесная холстина, и вот я уже там, где был прежде. И рядом летит царевна на раздутых ветром шелках. Лицо ее бледно, все в поту, глаза закрыты. Рядом вьется колдун, ее рука сжимает кончик его бороды. Вырываю царевну из рук колдуна. И вниз — в осень с царевной вместе. Приземляюсь в твоём же парке, прямо рядом с флигельком, который стоит невредим, только чуть подрагивает, давясь смехом.

Вот когда со всех сторон охватывает осенняя хмарь. Четки и жестки все линии. А от прежнего полета одно головокружение и тошнота. И я здоров, доктор, — никакого бреда. Только скудость мира и моя собственная скудость. Сколь его мало и сколь меня в нем мало. И царевна стала тяжела — оттягивает руки. Вовсе она не в траурных шелках, а в грубых погребальных пеленах. И наглый закатный луч шарит по ее лицу, не забывая ни одной морщинки. Хорошенькое приобретение с ложных высей. И мне ли ее оживить?

Целую ее много раз со всей силой поддельной страсти. Нет, доктор, не оживает. И мне отвращение к миру не дает сделать ни шагу. Знаю, меня нашли твои белохалатники, белого, замерзшего, самого

чуть навек не уснувшего. Не зря ты предостерегал меня от того флигелька. Но я ведь всегда буду к нему стремиться, как и к моим утерянными высям.

Ну, сам знаю, что все не то и не так. Все проще и сложнее, грубей и возвышенней. Меня и самого часто тошнит от своего неверного писанья, так же как от утренней царевны — тоже после всплеска чувств видна каждая морщинка. Но скажи, доктор, отчего ты вдруг заделался портным? Да, доктор, ты разоблачен, нечего прятать в рукав иголку с ниткой. Сколько раз мы с альтерэгой пробивали небесную холстину, а она все целехонькая. Даром, что ли, мы психи? Иногда нас так неудержимо тянет в небесную синь. И сколько гирь на ноги ни навешивай — не удержать психа.

Не помогал и твой шприц, впрыскивающий в нас расплавленное олово. Все равно мы легки — посмотри, как легко, кубарем катятся слова по бумаге: можно сдуть их одним дуновением. И все ж цела холстина. Только когда разгонит тучи, можно высмотреть грубый шов в синеве. Но откуда синь в неустойчивую осеннюю пору? Что ж, зашивай прорехи, держи нас в клетке, как небесных птиц. Все равно не удержишь, когда придет нам время сбросить плоть. Посмотрим, каким тогда ты будешь птицеловом.

Как она сейчас меня тяготит, вся обмякшая. Гляди, доктор, на меня, на немощь моей мысли и моего воображения. Я не стыжусь тебя — ты видел меня всяким. Гляди, как сквозь пальцы уходят песчинки моего времени. Бесцельно уходят. Рушатся возведенные с таким трудом песчаные башенки. В этом разрушении их тщета. Но как трудно, доктор, по сто раз на день оказываться у начала мирозданья. Может, не те башенки я строю, доктор? Лежать на твоей койке и высматривать до боли в глазах отсвет небесного луча. Но ты знаешь, небо меркнет, и нет уже луча. Тогда взгляд бессильно карябает пространство, стараясь хоть пунктиром провести линию там, где он должен быть. И тело наливается впрыснутым тобой свинцом. Тогда один путь — в сны, точнее, в сон. Он у меня один. Или окатить себя дождем звуков. Они обычно проникают до самого моего донца, как золотые иглы. Но в такие минуты и они с меня, как с гуся вода.

Так и лежу — гипнотизируя луч. Он уже появился вновь, но он не сияет в моих глазах, не загорается искрами, а неподвижен, хотя и чист. Он есть, и он — надежда. Тут какие уж потерянные миры? И на здешний мирок не наскребешь себя, и его чересчур.

Это сила моего безумия — вольная и непокорная, ушла в неведомо где открывшийся пролом. Дана мне эта великая сила, но как она тягостна, доктор, это ветер, поддувающий в мои крылья. Мне бы только ее и беречь, а я говорю тебе: заведи ее, лиши меня ее, если можешь. Избавь меня от этого тяжкого дара. Меня лишили высот, так накормите хотя бы вязким медом мира, но вдоволь. Собери, как пчела, золотистую пыльцу с его цветов и накорми нас медом. Иначе быть тебе только зрителем наших мук.

Там, в моем сне, мы все детишки, там текут млечные реки с кисельными берегами. И земные звери нам служат. Сделай, чтоб он длился вечно. Дана тебе сила оберегать нас от мира? Или только приберегать нас для мира? Ладно, доктор, просто заведи мое безумие. Гляди — драгоценная парча так и переливается на солнце, правда, с прорехами. Но ты на то и портной.

Я уйду отсюда в холодный мир. Все мы уйдем отсюда добросовестными работниками мира — а там есть чего подладить и подлатать. Мы ведь знаем много ремесел, а занимаемся одним — ткем покрывала из солнечных лучей. Да еще в корпусе для выздоравливающих плетут коробочки из лыка. Что, доктор, не хочешь ты лишиться своей коллекции бабочек, рассованных по спичечным коробкам, и хранящихся во флигельке ночных мотыльков? Или перед кем-то ты в ответе за эту коллекцию?

## ПИСЬМО

*Дорогой друг и хозяин, а тяжела все же стала дорога. Иду я налегке, но много грязи налипло на подошвы — с трудом перебираю ногами. Пастухи любезны — они-то как раз идут легко, но не покидают меня: не приближаются — не отдаляются. Оттого и мой шаг стал бестревожен — ушла боязнь их потерять. И я уже стал позволять себе отдых.*

*Хорош я, должно быть, был — чумазый, запыленный, в болотной жижице, среди этих шикарных долин, где так нежен и прозрачен воздух. Недаром от меня шарахались в сторону все встречные пейзажи. Я тут как сальное пятно на нежнейшей акварели. И все же я решил заговорить со здешним хлебопашцем, хорошеньким, как фарфоровый. Его плужок вблизи от дороги влекли две конфетные буренки. Из всех он был так равнодушен со своей бессмысленной неподвижной улыбкой, что способен проглядеть и мою вопиющую неуместность.*

*Язык его был скорее земной, хотя вряд ли существующий снаружи, прогретый именно этим ласковым солнцем. Я немного понимал его, тоже прогретый здешними лучами. Увы, фарфоровый человечек видел не дальше собственного носа, не дальше этих долин, окаймленных зелеными пригорками. Что он мог знать о тайнах нутра, грозных тайнах. Тут, как и у вас, — толки, сплетни, шепоток, и мало истинного знания.*

*Эта долина, — он говорил, — остров. Считал, что в нутре только и есть острова — остатки разломанного землетрясением материка, единой тверди. Но все острова, он говорил, плавающие. И вроде бы даже, — это он хорошо сказал, — тоскующие друг по другу, по прежней тверди. Но то тосковали сами острова, а жизнь, угнездившаяся на них, не знала об иной — слишком бурный и беспредельный тут океан. Повсюду рифы и скалы, он кишит морскими чудюищами, столь свирепыми, что жрут друг друга, — и вода всегда красна, как украинский борщ. Человечек задрожал, хотя никогда не видел того океана, — он был за горами, за недоступным хребтом, что только ветры перелетают. И те закручиваются в горных ущельях, режут там, как медведи. Жутко воют по редким тут ночам. Человечек задрожал, но бессмысленная улыбка не стерлась с его личика. Ветры и приносят сюда вести об иных мирах — они тут музыкальные, и дожди тоже музыкальные. Так и сыплются нотки из золотистых облаков — и грустные и веселые, — повествуют долине о другой жизни за морями. А после дождей здесь, бывает, застаиваются лужи, полные невыносимой тоски.*

*Даже глупому человечку случалось засматриваться в эти лужи. И он догадывался, что где-то жизнь еще светлей и четче, чем у них в долине, а где-то — голые скальные острова: там одни вулканы брызжут камнями и пламенем. А где-то жизнь уже зародилась, но слабенькая и темная, — ползают холодные мокрицы, губки крепятся к нависшим над морем скалам. И есть острова, где жизнь уже изошла, стала светом невыносимым. Это оттуда ветер наматает легкие грозы с золотым дождем, не долетающим до земли.*

*Немало знал милый фарфоровый человечек — ведь так бездонны небеса над его жильем. И еще — он это вслух произнести побоялся — зыбка почва под их долиной. Так и колеблется небольшими землетрясениями. Я видал разрывы здешних трав — ямы, клокочущие раскаленным асфальтом.*

*Я послал бы тебе этого человечка, завернув в папиросную бумагу, чтоб он украсил твою каминную полку, умилит, рассеял смертную тоску, но нельзя его вырывать из цветущих долин. Ведь только с мясом — и хлынет в пробой жаркий асфальт. Надо беречь их — небес ли,*

мира, но это дар тебе. Я уходил за пастухами — во власянице, суровый, одичавший. И, поверь, долго смотрел мне вслед фарфоровый человек. Прощай.

## ОТВЕТ

Дорогой друг, пора бы все-таки нам разобраться, кто из нас есть кто, окончательно размежеваться, а то, случается, мы только мешаем друг другу. Предположим, я — мысль, ты — душа. С удовольствием отдал бы тебе душу, а себе оставил только холодную мысль. Пускай она устремляется ввысь или вглубь, трепещет в псевдомуже или псевдорадости, сам же я буду холоден. Буду в вечном холоде, казалось бы, едино природном этому холодному миру. Но так ли он сам холоден, это застывшая лава, место встречи горизонтали с вертикалью. Да и выгодна ли мне сейчас одна только мысль? Ведь нет уже мира, нет для нее трамплинов. И не ей, немощной, подновить стены с осыпавшейся штукатуркой. В лучшем случае, она — краска, в которую обмакивают кисть. А что кисть, ты не знаешь, альтерэга? Я, как сдутый шарик, — мысль по-прежнему не слаба, но как бы не выдерживает собственного веса. Никуда не устремленная, лежит себе обузой на и так обремененной земле.

А ты знаешь, что не тебя одного, но и меня вечно тянет в полеты. Зато ты подчас рассудителен — от меня заразился. Во мне чуть больше мысли, в тебе — чувства, но не эта же малость наш раздел? А может быть, кто-то из нас — образ? Да нет, витая в бесплотностях, каждый из нас нет-нет, да и поймает картинку, зыбкую, как произвольная реальность снов. Легчайшее уплотнение нашего воздушного времени — совсем детский у него пока образовался хрящик. Стоит уцепить картинку, и на листе сразу видишь, что не то, не та. Но все же нелжива, как бывает и сон нелжив. Как ничего нет случайного в нашем времени. Ближнее разомкнулось, и мы избавлены от сладкого плена случайности. Мы целиком закономерны, только закономерность неведома.

Может, мы с тобой дух и душа? Мужество и робость? Сокровенное и верхнее? Оба мы вышли хоть и не совсем людьми, но почти. Да, ты стал не слишком глубоким, но человечком. Мы с тобой — два листика, вьющиеся над грудой уже павших, смирившихся. Сами бессильные, но избравшие ветер наших высей, а не земную тяжесть. Рядом вьются и другие, но больше — каждый сам по себе, а мы с тобой — пара бабочек, играющих в свои игры. И мы с тобой подобны, альтерэга. Такой

флюгер — две балды на длинном стержне. Он вертится по воле ветра: север — запад — юг — восток, восток — север — запад — юг. И все слышится перед глазами. Ты — я сам. Потому мне тебя не победить, не убедить ни в чем, как и тебе меня. И в наших диалогах мы будем виться, как вьюнок по нитке. Но свет высок, и коротка нитка. Будь кем хочешь — мной, собой. А кто кому слуга, кто хозяин? Ты знаешь это, альтерэга?

А у нас тут хоть природа определилась. Ночью пришла зима и не схлынула с утренним солнцем, а так и осталась. Белохалатники вставили стекло в оконный пробой. И наша келейка теперь синеватая и сиреневая. А за окном психи топчут ногами по свежей зиме. И зря — так она хрупка, не успела окрепнуть, как бы не вспугнули. Но не вспугнули. Проходят дни, а она все так и застыла, как картинка в оконной раме, — я ее вижу там сквозь листовые узоры. И сам я вроде стал спокойней. Только перед снегопадом подступает тоска. Но сходит после него, когда парк — белая равнина, белеет ничем не замаранным снегом. Под ним не виден даже обод погоревшего забора, стерло и эту мнимую грань.

Скажешь, незамысловатая моя жизнь? Снег да слякоть, небо да земля. Делает крестовина свои четверть оборота. А что поделат, если ничего больше не осталось в нынешнем мире? Или я просто потерял интерес к иному. Далеко видать с моего перекрестья, но во все стороны — одна голая степь с миражами. Ты, может быть, один знаешь, что временами меня захлестывает самое увлекательное бытие из всех возможных — белизна, сверкающая невероятными красками. Но найти ли тут краски для описания белизны? И найти ли в той белизне краски для описания мира? Вот и остается лишь медленно повторять: небо полнозвучное, небо сверкающее. И, глядишь, эти слова приобретут хоть частицу полнозвучия и блеска. Только теми непротяженными мигами мы и живы с тобой, альтерэга. Впрочем, бывают и радости. Доктор, поймав момент успокоения природы и не веря в его долговечность, послушался моего совета и тут же объявил новогодний праздник с буйством и карнавалом. Хоть я и потерял нужду считать дни, но, пока не заложили пробой, научился наблюдать движение светил. Они-то и говорили, что не пришла пора для Нового года — все старый. Но кто тут считает дни, коль и в заборье стерлись их разделы? Доктор тут вправе объявить не только новый год, но и новую эру, когда захочет. Толку-то.

Как-то под вечер прыснули в небо две разноцветные ракеты. И оконный орнамент стал сперва малиновым, потом зеленым. Карка-

дил продышал в стекле пару пяточков, и мы выглянули наружу. Вот она и была — та самая зимняя сказка, которой я в детстве был почти лишен и тосковал по ней. Она, проросшая в глубины, тянущаяся к высям, лишь краешком меня задела. Ничего я о ней не знаю, знаю, только, что есть такая сказка. Там камин, уютно мурлычет кот. И пастухи бредут в глубоком снегу. Наверное, вроде твоих, альтерэга. Все ели сверкали золотой канителью — сверкающим ливнем. И вершину каждой венчала маленькая звездочка — настоящая звезда. И на ветвях их висели игрушки — все дары фортуны, альтерэга. А перед самой большой елью, прямо у моего окна, сидел белый зимний заяц, завороченно глядя на эту красоту.

Как нас потянуло в эту нежную прелесть парка, знал бы ты, альтерэга. Даже каркадил наконец-то перестал каркать, и в его бессмысленно-сладоэротических глазах заиграли язычки каминного пламени. Но, увы, не удался наш побег. У праздника своя программа, разработанная серьезным доктором.

Сперва — выступление больничной самодеятельности, как будто я не наслушался их бездарных спевков. Но отказаться — для доктора обида, а он со мной мил. Пришлось преть в душном зале, но я не пожалел. Бездарность тут была столь вопиющей, что даже приобретала значимость, казалась непроста. В тупой добросовестности хористов начинало чувствоваться что-то бесовское.

Притом, что они, как психи, со своим лицом справиться не могли — гримасничали и подмигивали. Впрочем, может, и не столь они были просты — кто прочтет в темной душе психа? Был и, напротив, один, овладевший лицом в совершенстве, до восковой неподвижности, только тени от свечек по нему ходили, оживляли его. Концерт проходил как надо — при свечах. А репертуар хора был велик — народные песни, романсы, песни народов мира и много другого. Доктор, восседавший в первом ряду, среди белохалатников, сияющих крахмалом, был доволен. Он сентиментален, как выяснилось, альтерэга, — рыдал от пошлых романсов, как все психи.

Я же наслаждался наивной бесовщиной, угнездившейся в бездарности хора. Но и со злорадством наблюдал, как она постепенно разлагает его своеобразную, но безусловную слаженность. Хор, сначала незаметно, потом все более явно терял свою изоэротическую декадентскую форму — из него выпадал один голос за другим. Одна за другой падали подстреленными белые птицы его звучаний, больше всего похожие на драных петухов, до того бессильно, но не без изящества пытавшиеся взлететь. Хор рассыпался, как песочная куча. Скоро стало явно, что

новая какофония не равна прежней. Пара наглухо завернутых в зале уже бились в истерике, и вот-вот истерическое поветрие охватит всех нас. Даже во мне начинали повизгивать близнецы-ублюдки. Но спасибо опытному доктору — он единым взмахом руки согнал хор со сцены. И тут же распахнулись двери в соседнюю клетушку, где был вечно запертый музей.

Какая клетушка — шикарный зал. Хорошо поработали белохалатницы — ни следа от экспонатов и музейного распада. Тряпки, мел, воск — и ярко засиял навощенный пол. А в середине — рождественская елка. По сравнению с парковыми, ей не хватало таинственности, лунного света, стекающего с ветвей, но роскоши в ней было даже больше. Плоха была только ободранная крестовина, на которой она крепилась, возносилась к потолку. Это ж моя старая оконная крестовина. Какое применение нашел ей доктор.

Зато сколько блеска было в новогодних дарах. Они лежали под елкой, сваленные в кучу: дудочки, рожки, солдатики, домики, целые цитадели с башнями и подъемными мостами, куклы, разъемные матрешки, маски, хлопушки, погремушки. А сама елка была в сверкающей канители, с нее свисали грецкие орехи в золотой фольге, таинственные шарики. Мы оробели от восторга, альтерэга, толпились в дверях, не решаясь ступить на пол, скользкий, как лед. Но на то и доктор — он подхватил за руку белохалатницу, та — меня, я еще кого-то уцепил, и мы понеслись вокруг елки в детском восторге. Водили хоровод и пели: «В лесу родилась елочка». И я пел. Не вру, альтерэга.

А вокруг уже не было ни единого халата — ни белого, ни серого. Тяжелая парча, легчайшие блески, шелка, полумаски. И ни одного тревожного лица — на всех личины с улыбкой до ушей. И только на мне одном осталось лицо — я разглядел его в сияющем паркете, — но тоже с застывшей улыбкой, тоже личина. Танец, закружились пары. В середине сплелся хороводик обитателей флигелька — ни единой спящей царевны. Все — вакханки в развевающейся кисее, украшенные цветами. Но запах все равно парфюмерный — меня не обманешь.

А другие дети сразу бросились к игрушкам. Вот наполеончик палит хлопушками по цитадели, так что все окна дребезжат. Рыдает шут, облюбовавший эту цитадель. Но какой это наполеончик? Его маску чуть отвечает ветерок, взметенный сотней подолов, — это как раз философ. Ну и разыгрался же он. А наполеончик, может, та кисейная фея — царица бала. А доктор где? А он тут. Он-то ни в кого не преобразился — бродит в толпе в своем белом халате, но никем не замеченный, как бесплотный. А я кружусь в вальсе с парфюмерной вакханкой.

*Подносят шампанское на серебряном подносе. Пью пузырящийся сок — все усы в пене, альтерэга.*

*А вакханка все тянет в тот зальчик, где слушали пенье. Там уже все стулья на боку. Находим два стоячих. Шепчу ей на ухо мирскую чушь. Вот это-то музыка, сам от нее зажигаюсь. И неземная вакханка благосклонно подставляет ушко. Не моя ли это царевна? Так я ее вернее разбужу. Но уже и этот зал наполняется шепчущимися парочками. Они вырастают в каждом темном углу, как парные грибы из одного корня. И по затемненному зальцу скользят шепоток, хихиканье, взвизги.*

*И я опять там, где елка. Но там уже разлад. Вся елка разграблена, и детишки дерутся за игрушки, размазывая по лицу слезы напополам с соплями. Только всего и осталось на елке, что один золоченый орешек. Срываю его, а он сминается в руке — пустая бумажка. Фи, какая дурацкая, инфантильная шутка, доктор. Нечего мне тут теперь делать, и обидно. Еще миг — и сам вяжусь в потасовку: игрушки я тоже люблю. Человеческое ведь еще как нам не чуждо. Верно, альтерэга?*

*Но тут замечаю в углу малюсенькую дверку. Выползаю в нее, согнувшись в три погибели. Зато там — парк, а в парке ель, ничуть не разграбленная. Все при ней — и лунный свет, и драгоценные блескты, и звезда на верхушке. Только заяц уже сбежал. Но на том месте стоит каркадил и обсыпает себя легким снежком. Да нет, свет очень неверен, да еще меня все сбивают своими масками. Не обознался ли я? Это и не каркадил вовсе, а сам доктор. Нет, вроде не обознался — каркадил. Протягиваю руку к елочным дарам и получаю даров вдоволь: снег катится со всех ветвей. Вихрь новогодней пороши. На щеках тает иголочками. Мы с каркадилом ртом ловим серебряный вихрь. И окна дома сияют желтым светом.*

*Тут пробивает все двенадцать до единого. Доктор подносит мне бокал: с новым счастьем, доктор, и ты, альтерэга, и ты, каркадил. Чок. Вот и все, альтерэга, мы по ту сторону грани. Но и там тот же мир, альтерэга. Чок лбом в зеркальное стекло. Ну и расписался я тебе, альтерэга, рука отсохла. Ты извини, не даю я тебе уйти от дел здешнего мира. Но они столь же странны, как дела твоего. Ты прости — мне просто надоел доктор. Он — зануда. Мне надоело его глубокомысленное молчание. Я легкомысленный человек, альтерэга. Не могу удержаться в высях — вечно мне с них падать. Противный звездочет. Как пал с прежних за увлечение лукавыми бесенятами. Неуверенна моя рука в картинке — она уверенна в мысли. Но за нелепым детским рисунком я тянусь и с небес. И падаю. Так лучше буду подпрыгивать, как ля-*

гушка, чем вечно падать. Тебе же приличнее серьезность. Но пускай и тебя чуть мазанет моим легкомыслием. Иначе нужен ты мне — как собеседник. Как же? Пиши, альтерэга.

## ПИСЬМО

*Дорогой друг, спасибо тебе за эту картинку, легкую вспышку незамысловатой фантазии. Мысли мы оба налопались до отвала. И что, вывела она нас на дорогу? Может, и вывела, но посоха не дала. И вокруг по-прежнему невидимый лесок, что не разрядить мыслью. А этот осколочек мира, детства я вставляю в золотую оправу, и будет мне перстень, сверкающий стекляшками, — такие драгоценности из табачного ларька нам с детства были всего дороже. Наше легкомыслие спасет нас обоих.*

*А мы, хозяин, пока ты гулял на балу, уже миновали горы. Да какие горы — пригорки, пахнущие медвяными цветками. И новый остров простерся перед нашим взглядом с вершины. Он был упоителен — там жила каждая ветка и травинка. Так и тянуло скорей ступить на эту благословенную землю — кубарем скатиться с пригорка. На землю, всю в дымке спокойной мудрости, какой у вас нет и быть не может. Но почему-то приостановились пастухи — было видно, что им нет туда пути. В глазах старшего было такое презренье, что вот-вот плюнет на всю эту роскошь. В глазах младшего — сожаление, грусть, но и вдруг — затаенная радость. Может, и стоило мне пойти за пастухами, но в который уж раз меня увлекала эта долина. Что ж, пастухи терпеливы, хоть старик сурово сдвинул брови. Мы попрощались, и я смотрел, как, появляясь и исчезая, они уходили вдоль горной гряды, медленно — вверх-вниз по пригоркам, пока не пропали совсем.*

*И тут я, как хотел, кубарем покатился с возвышенности в низину, в живущие травы. А там рядом — лесок, священная рощица. Переполох тропинок, но веселый. И страхи прячутся за каждым кустиком, но тоже веселые. Мелькнут в прогалине рожки, копытце, и кто-то порскнет в глубину рощицы, ломая кусты. Весь лесок будто играет со мной в прятки.*

*Не знаю, населен ли мой лесок кем-нибудь, чем-нибудь, кроме радостных хохотков. Зато каждое дерево — живое, теплое. Стоит дотронуться до нежной коры, и чувствуешь, как оно пульсирует кровью и материнским молоком. Но, хозяин, я скоро натешился лесом. Видно, и он мной: вдруг разомкнул лабиринты, выпустил меня на поляну.*

*Начинало уже темнеть. Я разлегся на живых травах и глядел, как небо наполняется звездами. Видел небесную чашу как будто перевернутой. Я, раскинув руки, как бы падал в небо. И я увидел обратный звездопад, хозяин: звезды падали с земли, хозяин, натуго набивая небесный свод, располагаясь в изящные рисунки — созвездия. Небеса скоро были ими наполнены, как мера золотистыми зернами. Они вились прямо перед моим носом, как золотые мушки.*

*В небе была глубина и спокойствие. И оно было рядом — можно было рукой сорвать с него пригоршню блесков. В том были и покой, и радость, и мудрость. Но не доставало зуда души. Легкая музыка небес без громовых раскатов. Они были чисты и глубоки, но не бездонны. Вскоре мне надоел воображаемый полет, от которого дух не захватывало.*

*Я пошел прогуливаться по долине, которая от мириад звезд была светла. Путали, сбивали меня шорохи живых трав, сладострастные вздохи и смешки роицы. Я шлепнулся в яму, хозяин. Не только же тебе падать. Я вот уже ухитрился шлепнуться даже в низине. Лежал я в аккуратно подрубленной ямке, не в природной, а вроде могилы. Струйки сухой земли стекали мне в рот и в нос. Апчи! — и пыль столбом. Я поднялся и огляделся, хозяин. Это был раскоп. И там и сям стояли открытые статуи — нет прелестней и совершенней. Музей под открытым небом, под золотыми звездами. Нет ничего совершенней, дорогой друг, этой золотой долины. Если у какой-то статуи не хватало рук или носа, то оттого она была не менее роскошна, но и лукава.*

*Это было то совершенство, к которому мы с тобой стремились, и мы ухватили бы его за хвост, не обмани нас время. Раскоп был брошен — видно что-то вспугнуло археологов. Кроме открытых статуй, иные стояли по пояс в земле, некоторые — по шейку. В тех совершенства не было, напротив — что-то жестокое, дикарское, но все ж — росток будущего земного совершенства. Были они удивительно подобны открытым шедеврам. А посредине раскопа зияла дыра, черная, как ночь, и еще черней. Пыхала сухим дурманящим туманом. Он припорошил мне глаза, и я уснул.*

*Снились мне роскошнейшие травы, луг, поросший цветами невероятной роскоши и буйства. И в срок они ложились наземь и становились перегноем. И новое буйство вспенивалось над ними — казалось, роскошней и невозможно. Но — снова перегной, и новый взлет. А меня все затягивало земными слоями. И так меня сдавила земля, что невозможно вздохнуть. Тут был провал, смерть, хозяин. Я ее тебе не опишу, потом она сама себя опишет. Вольно проведет нашей рукой по незамаранным листам. А потом пришло спасенье. Я сплю, хозяин. Прощай.*

## ЗАПИСКА

*Говоришь, незамысловата моя фантазия? Это я сам себе могу сказать, не хватало, чтоб еще слуга меня поучал. А тебе картинка вовсе не удалась. Твою пошлую красотость я еще терпел, а это уж прямой самоплагат. Какая это вообще картинка? Это плоская мысль, прикрытая плохоньким образом. Да и как ты, уснув под землей, мог видеть, что происходит снаружи? Валяй так же и дальше, коль не можешь лучше, но меня не учи. Хозяин.*

Он заснул, а я как раз проснулся и зол спросонья. И ты снова передо мной, скучный доктор. Уже и новый год, и новая эра, а все равно набита понедельниками без единого зазора. Передо мной вечно твое лицо, серое, как будни. Это не упрек тебе, доктор. Это наш крестный путь — громоздить друг на друга понедельники в башню до небес. Не столько мне отпущено нутра, чтоб одухотворить каждый. Это страшный труд, доктор. Одолеть ли мне его?

Есть ли лучшая кара для привыкшего к праздникам, так что даже самый незамысловатый вспенивает, как бокал шампанского, горящий неземными искрами? Я, наверное, глупость сделал, что прямо с утра заглянул в праздничный зал. Там твои белохалатницы сметали щетками пожухшие елочные иглы, вчерашний серпантин, конфетти. Быстро же опала елка. Как в мольбе протягивала ко мне ошипанные цыплячьи лапки. И еще стояли захватанные бокалы с выдохшимся газом. Теперь там была сладковатая водичка будней.

Ты хотел нас порадовать — кинул нам горсть разноцветных стекляшек, но ведь от того, сам знаешь, дни еще серее. И сезоны как бы пошли вспять — зима снова размокла.

Серейшие будни — неясная сумеречная жизнь, никуда не устремленная. Письмо темное, странное, инфантильное, как время. Но ведь то затянувшееся равновесие в противоборстве дня и ночи. Нас лишили трагедии, доктор, но тем совершеннее будет наш подвиг. Для будущего мы будем гигантами на сумеречном горизонте. Мы — на том горизонте, где встанет солнце будущего. Пусть разметут, развеют нас солнечные лучи, мы ж сотворили самый совершенный подвиг. И это наша сила и слава.

А я, доктор, сбившись со счета своих понедельников, жду комету. Скоро она явится — небесная вестница, и принесет с собой землетрясения и мор. Растянется хвостом на все небо, распугав робкие звезды. Хороши будут наши ночи, освещенные светом кометы.

Оценят ли будущие времена наш бессильный лепет, как ты думаешь, доктор? Лепет на языке хаоса, так похожем на тысячи прошлых и будущих, но лишь похожий, но непереводаемый ни на один из них. Ведь до небес, до небес взлетают наши немощные слова, как бессильное слово ребенка. До небес? Как ты думаешь, доктор? Поди, не пожелают с нами знаться шикарные времена. У нас — только небо. И иди к нему, взбирайся по будням. Взбирайся и взбирайся, все сам, но небо тебе открыто. И на, бери все сокровища, они перед тобой, но без духа и без разгадки. То есть, куча хлама, те же будни.

Придумать бы жизнь, доктор, да фантазии не хватает. Все только — сладковатый медок, выдохшийся сиропчик. Картинки из детских книжек. Недели, месяцы шелестят страницами, но везде один и тот же текст. Наше безвремяе — эпоха всех сокровищ, но не приобретений. Вторения молитвы, но не новых молитв. Смело сыпь словами: хоть одно достигнет неба, и то хорошо. Именно, что надо.

Все психи еще спят, сопят носами, досматривая новогодние сны. Давай вместе покоить их сон, доктор, навевать им сны слаще меда. Сколько ведь нас, взрослых, в этих яслях? И то только чуть повзрослей других, потому что не стремимся казаться взрослыми. Но ты-то иногда стремишься. А, может, ты и есть взрослый? Каждому своя безысходная взрослость, неулыбающаяся маска.

Теперь и все позабыть нам открыто. Хмурое унылое позабыть. Давай покоить сон всего мира, а, доктор? Ведь сами позабыты, верно, и подожгли забор. Они уже готовы раскрыть клетки, где держали нас, как диких зверей. Но выдохся так хранимый ими бокал: живая-мертвая вода за семью печатями. Стоят прислушиваются, но ни звериного рыка, ни вдохновенных пророчеств. Тишина — как нектати все излечились. Выдохлись все эликсиры. Выходит, что ты их обманул, доктор. Говорил ведь, признайся, что хранишь их будущее, губительное для сегодня. Но вот сегодня прошло, а завтра все не наступает. Что ж оно не наступает, доктор? Сколько раз тебя спрашивал, а ты молчишь. А может, и впрямь нет никакого завтра. И вот она, перед ними, та мерзость запустения, которая — конец. Приближается комета, доктор. День и ночь жду ее, прильнув к оконному пробою.

Сколько раз в жизни я репетировал светопреставление. Рвалось мое время. А теперь мы все — в разрыве времен. Как большая история оказалась сходна с моей. Я становлюсь эпохой, доктор. Потому я и пришел к тебе. У тебя тут все кельи забиты эпохами. Ну и паноптикум здесь у тебя. Свалка. Я попал на свалку, доктор. Что гово-

ришь? Да, да — у меня уже вырывалось не один раз: вертикаль, верх-низ — и никакого завтра, то осталось на горизонтали. Грань двух вечностей. Многое у меня вырывалось, но разве слово — капитал? Если б так, то жить бы нам безбедно. А погляди, как оскудели.

Пора бы мне в зазаборье. В молчашее зазаборье. Сколько слов наворотил, а намного ли стал богаче? А луч везде есть, и там тоже. И ничуть не бледней. Он всем равно светит, сам знаешь. Все равно сгорел забор. Нет нам защиты ни тут, ни там. Начался наш диалог с небесами, без посредников, напрямую. Небесная защита — это и защита от небес. Благословенны великие миги, когда они обнажены. Сплетай новое из облачков или уйди в небеса и растворись в них. Есть еще один путь — в ночь, но давай не будем о нем.

Бывали такие миги, но они все позабыты. Какая может быть память о бескачественной белизне? Не копится опыт чистого, бескачественного бытия. Для него ничего не отыщешь во всемирной сокровищнице или помойке. Разве что заглянуть в еще только занимающийся рассвет детства, но какой глаз для этого нужен.

Да, мне дороги зазаборцы, доктор. Они, как кроты, роющиеся в землице. Думаешь, они не слышат неслышной поступи эпохи? Они интересней, чем твои психи — оранжерейные цветки. Найти ли сейчас что-то бесполезней этой экзотики? Они-то ничего не слышат, оглушенные собственным бредом. Бедняги, ложные пророки, освистанные фигляры. Но ведь и они, может быть, чего-то да слышат в твоих беспросветных ночах? И застывает фигляр прямо на сцене — смущенный, растерянный. Но лишь на мгновение, а потом снова начинает скороговоркой тараторить свою роль. А зал молчит, занятый своим, но смотрит, привычно смотрит.

Ну, вступай, альтерэга, подари мне картинку, дорасскажи свой сон. На кой они мне, и сам не знаю. Но ведь и привык к смотрению. Как в глазах слепого все еще живут былые образы: новых нет, но чего он только не насмотрелся прежде.

Хочу уснуть, доктор. И пускай небеса сами нашептывают мне видения. Так тягостен диалог с молчащими небесами, но нет ничего выше и чище его. Покидаю, доктор, твою слякотную зиму. Лечу в чужой сон, в собственные бескрылые видения. Но ведь какова их жажда полета, признай. А за это ведь простится кое-что, а, доктор? Ну молчи, молчи. Строй, молчальник, из себя небесного посланца. Я-то тебе цену знаю. И ты мне цену знаешь. И я знаю цену себе. Нищие всему знают цену получше, чем миллионер.

## ПИСЬМО

*Дорогой хозяин, ну что ты набросился на меня? Я ведь и так картин-ки проговариваю стыдливой скороговоркой, как, впрочем, и ты. Но ты позволяешь себе простенькие праздники, гуляешь на бутафорских ба-лах, позволь же и мне. Да и как бы ты мог не позволить. Я — твоё эхо. Аукнешь — отзовется.*

*А насчет того, что я рассказываю о неувиденном, то шулерство тут не при чем — может, и у меня есть в нутре свои соглядатаи. Слуга моего слуги — не мой слуга. Старый феодальный принцип — загляни в школьные учебники. Продолжаю.*

*Я пытался сбросить с себя землю, извивался, как могильный червь. Но слой за слоем на меня наваливались земные цветенья, так что уже грудь трещала. Сотни лет я провел, хозяин, в черном плену земли. Тут-то я имел возможность обо всем задуматься и перебрать все накоплен-ное. Но вдруг — пустота, хозяин. Мысль в силах, но смятенная. Ме-чется туда-сюда, вылавливая все писки и шорохи окружающей тьмы. Мысль клочковатая, кусочная, как тот же червь, разрубленный лопа-той: страстно и бессильно агонизирует.*

*И в нутре нет уже роскошных ландшафтов, нет и серых будней — крупная и страшная жизнь. Лишь первобытная степь, незнакомая, в становлении. Везде страх и ужас — проломы, ямы до преисподней, не-приступные скалы. И тропы, змеящиеся, извивающиеся, как смятен-ная мысль. Шаг в сторону — гибель. А дан ли мне точный шаг? Сколько раз мне приходилось погибать, хозяин. И вдруг земля раздалась сама, будто без моего усилия, прервал а мои подземные тяжкие виденья. Луч, легкий луч пал на мое лицо.*

*Передо мной было небо. Не небо — одна грозовая туча. И все же — луч. Который уже раз я прорастаю к свету? Какой же тут плагиат? Истина, хилая и корявая, как ей и положено быть. Стряхнув с глаз пе-сок и землю, я увидел, что нет уже никакого цветенья. Пока я лежал в земле, в мире уже наступила осень. И все поле было покрыто золотом полновесных колосьев. И стая черных птиц с писком и клекотом выкле-вывала из них золотистые зерна. А из соседнего леска на краю поля вы-шла, — или вышел, — жнец или жница, — не разобрать в осеннем ту-мане, с серпом, сверкающим, как полумесяц.*

*И валились один за другим колосья, и граяли черные птицы, и горел тончайший небесный луч. Я встал под него, как под струю воды, и те-ло мое начало лучиться — смыты с меня остатки могильной землицы.*

*Неторопливо приближается жнец. Колос пластами ложится под серпом. А зерно, павшее на землю, тут же склевывают птицы.*

*Первая это или последняя осень, хозяин? Конца или кануна? Комета пошла в небо, только еще невидимая при свете дня. Что мне луч, хозяин? Детская игрушка, чистый родничок среди отравленных вод. Нет у меня ничего дороже его. Он — моя сила, а есть ли сила у него? Как и ты, гляжу, гляжу, до ряби в глазах на небо. А он все так же тонок, прям и неподвижен — небесный шнурочек. Подтянуться бы на нем до небес, да боюсь, он оборвется или растает в руках.*

*Близится жнец, и теперь-то мне надо высмотреть тот шнурок насквозь и сверху донизу. Я так уже в него вглядываюсь, что радужные круги бегут перед глазами, как круги по воде, разбегаются все шире и шире эти радужные миры в моих глазах. Бесконечное количество миров. В них — все, что хочешь, и все равно истинно. И голова идет кругом от этого обилия истинного, как у тебя от обилия ложного.*

*И тут я чувствую запах горелого. Луч, казавшийся мне таким же холодным, как небесные айсберги облаков, подпалил осенний лист, и тот загорелся голубым светом. И из язычков голубого пламени сплелся средний пастух — не самый роскошный властитель сверкающих миров. Грубейшее преобразование небесного луча. Но я почувствовал, что не будет мне более точного его преобразования.*

*И пойми мое положение, хозяин. Я между близящимся жнецом и пастухом, который еще более непонятен и страшен. Он стоит ожидая. Не делая ни одного шага ко Мне, он ожидает моего шага, я это знаю. Лечь под серпом в мрак, уже вечный, или идти туда, куда вряд ли заведет нас наше куцее воображение? Легкий взмах или тяготы пути в неясных мирах, что бы ты выбрал, хозяин? Пастух взял меня за руку, а серп рубанул под моими ногами, там, где я только что стоял. И я, подрубленный, взлетел в небо вместе с пастухом. И вот опять полет — мы с ним, как пара ястребков, пыля туманом, врезались в синеву. Сияющий пастух в белоснежном халате из ягнячьей шерсти и я — лучащийся, просветленный. Вся земля открылась перед нами, хозяин. И я расскажу тебе об этом. Счастливо, хозяин.*

*P.S. Скажешь, опять банально, а придумай что-нибудь поновей. Отверни взгляд от пастуха и жницы. У кого получилось? Назови.*

Ничего не скажу, доктор. Пусть, как и я, упивается мишурной роскошью своей речи. Его право, не за это нам ответ держать. Я лучше скажу про слякоть. Как трудно, доктор, отличить слякоть от сля-

коти. Особенно при нашей тупости умных людей. Дураки умней нас, доктор. Ум ведь лишь определенный изгиб глупости.

И все ж каким-то нюхом я чую, что слякоть эта уже не осенняя, природа начала клониться к весне. Что ж, пора бы, сколько уже мы просидели друг напротив друга. А может, не весной веет, осенью, но уже новой. Нет, ты прав, пожалуй, весной. Она ведь щедра, природа. Она сильнее и нашей мысли, и воображения. Это счастье, что мы в вечном, не нами установленном круговороте. Замкнутые в зиме, мы уже не способны измыслить весну, но она сама сложится из неторопливой мысли природы. И будет тем неожиданней и роскошной. Разве я пессимист, доктор? Знаю, ты меня таким и не считаешь. Спасибо. Но что поделаешь, если во всем нутре нам с альтерэгой не наскрести будущей весны. Зато там много прежних весен, оттого и сильна надежда. Но будущее потеряло способность отражаться вперед — задышали мы зеркальное стекло. Оно запотело, и селятся там одни мутные призраки.

А может, я и не эпоха, доктор? Но ведь я впускал любой ветер в свою келью. До того, по крайней мере, как ты заложил пробой. Зачем ты это сделал? Чтоб хранилось, не вытекало мое? Чтоб вызрело зерно и в срок явилось. Не миновали б все сроки, доктор? Думаешь, я не чую, как безвременье меняет фактуру? Что жизнь уже выткала новую ткань, но не более видимую, чем платье короля. Мы уже в других водах, в другом воздухе. А прежнее — только тишина, беззвучность перемен. Все прежде застыло, а нынче куда-то клонится. Укрепляется хрящ. У кого спросить, если и тебя твои психи лишь окатывают ушатами бессильных слов? Ведь кто-то в тиши рождает и новое, не мы одни, доктор.

Не мыслью, так ручонками. Вот в том моем сне помню пару карапузов с серьезными хмурыми личиками. Они нашли в песке детонатор, уцелевший от прежних войн. И копаются в нем, сосредоточенно посапывая носиками. Дети, знаешь сам, любят страшные игрушки. А так шархнет, что и помина не останется от цветущего детством побережья.

Да нет, доктор, вряд ли они, саму смерть держащие в руках, знают больше нашего. Смерть они держат, а не жизнь. Впрочем, я подошел бы к ним побеседовать, а может, и поиграть в их игру. Только не примут — лица у них совсем не детские. Но вот гладят они смертоносные усики, как дети, — любовно, ласково, как котенка, жучка. Не примут, скажут — иди, строй свои песчаные башни. И пойду, и буду строить. Один ли, или с немногими еще песчаными архитек-

торами. И только изредка буду поглядывать на пухлые ручонки, глядящие смерть по усам. Пусть развлекаются, от этого только слаще все наши игры.

А время назовем уже не нолею, а временем бесшумных перемен. Так теперь будет вернее, доктор. Это время без слов, но с оголенной сутью. Да, повторю, повторю. Время, скрытое от себя самого. Да, да, лишенное дара ложного понимания себя, что дан и самим безнадежным временам. Все, что тут отыщешь, будет истиной. Как все, что мы находили на помойке, было нам истинно ценно.

Здешнее бесконечно. «Нет» земли отдается эхом бесконечным. «Да» небес. Никогда еще «нет» не было таким всеобъемлющим. Но ведь то — тень столь же всеобъемлющего «Да». Иначе и быть не может. Нам повезло, доктор. Кому еще доводилось ходить по уши в синеве? Кому еще доводилось уйти по колени во мрак, темней самой черноты?

Гляди — стаяло цветенье на застекленном тобой окне. Снова бегает по лужам мирная тощая собачонка. И психи бродят с пасмурными физиономиями. Будь я той собачонкой, я б сломя голову, пустился от этой компании. Вырвут кость из глотки.

Что они там ищут под подтаявшим снегом? Для подснежников вроде еще рано. Не ищут ли они потерянные еще осенью монетки? Как разрывают уже почерневшие, но не совсем потерявшие блеск драгоценности снега, обнажают осеннюю прель. Как, должно быть, сладко и мерзко она бьет им в ноздри своим запахом прошлого. Черный, мертвый снег, доктор. Но и по нему нет-нет, да и пробежит волшебная искорка. На фоне небес, таких ясных, почти весенних, — сальные пятна больничных халатов.

Гляди, доктор, какие странные прилетели птицы. Я их заметил еще третьего дня. По виду — ничего и нет — маленькие серые птички. Но прислушайся, какая золотистая необычная нота затесалась в их привычный щебет. Нет, мне кажется, доктор. Они ведь вторят, вторят ее в любом своем щебете. Не понимаем мы языка птиц. Иначе в этой ноте, быть может, нашли всему разгадку.

Не птенцы ли это того серого разбойника. Ведь не так прост альтерэга — и ему подчас удается зачерпнуть гущи со дна. И именно там, где ни мы, ни он того не чаем. Смотри, как перелетают, смешные, с карниза на почерневшую ель. Как смешно машут крылышками, плюхаясь в любую воздушную ямку. Как трогательны. Но гляди — бойкие, тягают друг у друга червячка неокрепшими клювиками. Они — весна, доктор. Перелетают стайками, совсем и не

стремятся в небо, только бы попорхать. Но ведь небо уже к самой земле подступило.

А серые халаты все роются в почве. Монетки они ищут или целебные корни? Да и то — ищешь одно, а сплошь да рядом находишь другое. Большое дело — ненаправленный поиск в нашем ненаправленном времени. Ну и толпа собралась — все твои психи высыпали наружу принюхаться к запаху весны. А среди них какие-то уже новые. Ты их от меня прятал, доктор? Восточный факир, смело ступающий по снегу босыми ногами. Звездочет в звездной мантии и остроконечной шапке. Нет, этот был. А вот этой точно не было — сама смерть с косой.

Оставь, доктор, свой шприц с казенным безумием. Я вижу то, что я вижу. Не предписывай мне виденья, доктор. И так взгляд застит пыльный задник, испещренный знаками и картинками. Только и радость, что над ним поработали детишки: не поленились каждой физиономии подрисовать усы. Но рвется задник с оглушительным треском плотной ткани. Ползет разрыв по картинкам и знакам. И что за ним? Высовывается в прореху рука. На ладони — солнце. Тогда — день. На ладони луна. Тогда — ночь.

Что хочу, то и вижу, доктор. Дай сплести мне мою, пусть самую неказистую картинку. Пусть самую незамысловатую. Но она натянется, как тетива, и свистнет, точная, как стрела, мысль, пробивая холстину. Дай мне виденье психа, в прорывы которого просачивается истина. Истинную небыль.

А то — тот же рисунок, но порванный в лоскуты, а составленный кое-как. Но он прежний, хотя и урод. А из небывальщины вдруг тоненько свистнет стрела, прямая, как луч. Или тогда уж разгони все виденья взмахом белой руки.

Гляди — грает, грает воронье над парком. Оно, говорят, обнагло. Гоняет орлов и соколов. Так мало стало птиц — одно воронье. Говорят, уже и в людей целит своими клювами. Почему, доктор, оскудели мои сны? Как тошно проживать каждый миг, все до единого. Вместо нежности и роскоши снов — соринки мигнов, которые я вытрясаю перед тобой из карманов вперемешку с золотыми крупинками. Но карманы все полны, как мешок фортуны.

Смотри за окно, доктор, — как черна и лишена снежной роскоши эта ель за окном. Но по-прежнему она горда и устремлена ввысь. Так же и наша жизнь лишилась роскоши и мишуры, но она — стройна, горда? Не гордый ствол, а червями переплетенные корни. Вывороченные корневища, кишасшие лесными ужасами.

Нет, доктор, только — в заборье, а тут и впрямь свихнешься, не вынесешь ужаса темных сфер, что надо преодолеть на пути к свету. Тянет меня, признаюсь тебе, доктор, в грубоватую колготню заборья, где люди полновесны — со своей органичной мешаниной добра и зла, таинственные и сокровенные в сумеречном свете «сейчас». Куда проще твои разладившиеся механизмы, твой теневой театр.

Пусть мне там и не будет счастья, но и хрупкой радости хватит мне на прожитье. Пока хватит, а там — кто ведает? Уж в который раз я собираюсь дезертировать. Я знаю — ты не держишь меня. И я б улетел, и не на ангельских крыльях, а на перистых, как облачка, — моего легкомыслия, если б хоть какое будущее можно было скроить из настоящего. Но его у нас нет. Только прошлое — роскошная парча, да она вся истлела. Может! ты чего выкроишь из нее, доктор-портной?

Слушай меня, доктор, слушай. Если я замолчу, тишина хлынет из каждой щели — и смочит и тебя, и меня, нас обоих. Я буду прокалывать, прокалывать черный бархат молчания своей тонкой иглой. Выкрою из него хотя бы черные траурные одежды. Благородные одежды, доктор.

Что, не сильно я здешний похож на того, что из костей и жил? Разворачиваюсь к тебе и той стороной, и этой, а нет все-таки цельного меня. Каждую сторону приходится расплющивать на бумаге. И выходит какой-то кубик — игральная кость. Даже чушь я не боюсь метать на листы. А этот страх был для меня всего сильнее. И все ж получается коктейль: немного того, немного этого — все правда, а истина — только горьковатый привкус.

Хватит, доктор, пора бы отыскать альтерэгу, где-то он затих, и нутряное обращается в хаос. Наверно, погребен слоями неведомых почв. И в очередной раз прорастает. Это я погребаю его распадом цветений, но, видно, они плодородны. Вечно прорастает альтерэга из смертельного страха. И еще яростней и дерзновенней тянется ввысь.

Я обшарил глазами всю эту келью тысячи раз. Знаю тут и уголки покоя, и области тревоги. Я тревожен в последние дни, доктор. Только и успокаивался мой взгляд на самом перекрестии крестовины. Но она была глазу так привычна, что я даже не заметил, как ее сняли белохалатники. Только вдруг лишился покоя, который лишь там. Да, тебе надо было застеклить окно, чтоб укрыть меня от зимы. И теперь она рассекает начетверо, четвертует законный мир. Нет

в келье холодных сквозняков, но я и не боюсь их, доктор. Но зато вот и покоя нет. И луч разбит зимним орнаментом, превратился в сиреневое свеченье. Я высажу это окно, доктор. Пусть сюда хлынет ветерок весны, и новые птенцы почирикают на своей ноте надежды. И луч пусть падет на мою постель.

Психи — вон погляди в окно — тоже не боятся простуды. Какую затеяли чехарду, как смеются, хохочут громко — звонко, по-детски. Наконец-то занялись делом. Пойду к ним, а то все тело затекло от твоей дистиллированной жизни. Счастливо, доктор. Теперь ты посиди-ка в моей келейке. А я, пожалуй, — наружу, в весну.

## ПИСЬМО

*Дорогой хозяин, когда я, взлетев до облаков, посмотрел вниз на землю, вся она была одинакова — золотой диск, поросший колосьями. Высота стерла межевые разделы. Отсюда не видно было ни жнеца, ни черных птиц. Только солнечные зайчики пробежали по чистому золоту жнивья. Как красив был тот диск, навеки запущенный неведомым дискоболом, — драгоценная сережка в ухе Вселенной. Я долго любовался ее переливами. А когда вспомнил о пастухе, то его уже не было, хозяин. Он растворился в синеве, едкой, как щелочь, весь без осадка. Но где-то рядом чувствовалось присутствие именно его. Он стал ветерком, по воле которого я мог перелетать по небесам.*

*Падение было невозможно, но и собственной воли у меня не было. Я был игрушкой различных ветров и дуновений. Они и переносили меня туда-сюда, осторожно, бережно. Я плавал в небе — вспомни свои детские сны, хозяин. Те, что ты принял за дожизненные выси. Те, в которых мы с тобой парили, пока все наше тело не налилось свинцом.*

*Но только и меня начало разъедать небесной кислотой. Мутнел мой контур, рвалась прежняя кожа. И я вылезал из нее обновленный, как змея в новом одеянье. Я расплзался на все небо, как кучевое облако. Моя мысль становилась зыбкой, как облако. Непознаваемой собой. Чистый блеск без предмета, сверкающие искорки. Я мыслил лучистыми облаками, хозяин. Вот оттуда, с этих чистых детских высот и навевались тебе музыкальные мысли. Я не призывал их, они сами текли через мое новое, ничего не удерживающее тело. Протекали, утекали в синеву вперемешку ноты и искры. Являлись со всех сторон и утекали во все стороны. И я сам уже был не я. И не ты, не твой помощник, слуга,*

альтерэга, а часть невероятной синевы. А вот и она — тихо парит в небе та перловица, исходящая внутренним светом. Медленно спускается с высот в каком-то непонятном, нерукотворном полете. Взять бы ее, схватить, овладеть — и все мое дело. Мы с тобой навеки богачи. И тут-то я обнаружил, что мои руки начисто сгладаны синевой. Я протянул их к витой раковине, но она уходит сквозь пальцы, проходит через все тело, медленно двигающееся уплотнение синевы. И идет вниз — не замедляя, но и не убыстряя полета. И лишь плеснула внизу золотая пшеница.

Я отыскал тебе ее, но, чтоб ухватить, нужна земная цепкость. А доступно ли ей тончайшее, сотканное из еще куда более тонкого, чем наши страхи и надежды. Как тут выполнить твоё задание? Я не оправдываюсь. Вот что я могу сказать. Ты велел поднести тебе ее на золотом подносе. Так вот тебе земля — золотой пшеничный поднос. Прими перловицу.

Что ты от меня хочешь? Каких подарков? Сам-то ты знаешь, какой ищешь клад? А может, все же блеск золота тебе застит глаза? Каких ты ждешь приобретений? Все тебе дано. Жди в своей келье или темнице, как хочешь назови, пока прорастет золотое зерно. Как я этого ждал. А мои темницы тягостней земных. Там тьма такая, что земная по сравнению с ней просто свет — серенький рассвет будней.

Жди срока, зерно лишь в сезон прорастает. Отринь свое время — тогда не быть и безвременью. А останется одно великое и тайное время прорастанья зерна. Бог с тобой, живи, хозяин, справляй свои невестельные карнавалы. Не пренебрегай и весельем. Перловица — не упрек земной радости. Она ничему не упрек. Она — легкая искорка, ничто и нечто. Тебе ею не овладеть, но она тобой овладеет.

Все, что я подношу, ты отбрасываешь со снисходительным презрением. Играешь со мной, как с котенком, несмышлынышем. Какой ты хочешь от меня небывальщины? Все уже свершилось — все прежнее, детское, бывшее — немощная расшифровка в корявых словах изначального света.

Если тебе нужна небывальщина, то я ж тебе советовал прислушаться к вереску братьев-ублюдков. Они тебе такое нащебечут. В отпущенное нам время небывальщина, еще не быв, уже до предела банальна. Это лишь новый орнамент, перебор прежних осколков, которые и так содержат в себе любой будущий узор. Поглядишь — да, мило. Можно и так, можно и сяк, и этак. Но они не играют в луче, утратил блеск скучный посудный бой. Не завораживают эти узоры, все изощ-

ренной, изошренной. Они ведь — бывшее. Незаслуженное наследство. Не любовно переданное, а презрительно сваленное в кучу. Нате и становитесь счастливой, если сможете, кладовискатели, графы Монте-Кристо. Счастливо, хозяин.

## ОТВЕТ

*Дорогой друг, мне уже поднадоела твоя назойливая добросовестность. Ну кто ждет от тебя небывальщины? Не жду от тебя даже и перловицы. Видишь, не упрекаю тебя, что ты ее упустил. Не упрекаю и за то, что ты пару раз фамильярно назвал меня альтерэгой. Высоко, видно, вознесся.*

*Сам талдычу, что мне не нужна небывальщина. Не мне ли ты вторишь, как эхо? Сам знаю, что у нас в нутре есть удивительные оригиналы. Настоящие психи, не здешние, выросшие из неземного тумана, впоенные неземными росами. Думаешь, хоть доктору нужна нутряная экзотика. Вряд ли. Он уже исследовал эту помойку лучами своих прожекторов.*

*Нам надо от тебя этих самых простых пересвистов. Теплового рассеянья лучика — ты ведь моя шуба, ватиновая подкладка, изнанка. Я не увлечен теми узорами, что выкладывают детишки, хотя даже иногда их и подбадриваю: давайте, так, еще изошренной, почуднее. Привычен к зрелищам, развлекаюсь. Иногда, возможно, когда ты кажешься мне чужим, и тебя так же по привычке подбадриваю.*

*А ведь и совсем ли ты мне свой? Свой, альтерэга, не обижайся. И мысли мои, и чувства — сто раз ты прав, повторяя за мной: не наследство, а свалка. Но есть и наследство — луч. Он заиграет на любом узоре, самом простеньком, если тот сложен благоговейно. Это ты помнишь? И поэтому любой узор — тайна и будущее.*

*Да, все они заданы еще до их рождения, но не нам хоть одним пренебрегать. Лучу принадлежит выбор. А нам — только их складывать. Да и не откажешься от этого. Дай ребенку в руки калейдоскоп, думаешь, он удержится, чтоб его не встряхивать? Не будет наслаждаться неожиданностью орнаментов? Не вообразит себя творцом? Не знаешь ты детишек, сразу видно, что родом ты не снаружи.*

*Тут позабыли, что не камень драгоценность, а играющий на них луч. Не надо мне от тебя самоцветов, но вот насчет перловицы... Говоришь, не ухватишь за хвост комету? А зачем же тогда они хвостатые? И зачем нам руки, не только же для того, чтоб копать по по-*

*мойкам? Кому-то ведь удавалось и комету схватить за хвост, собирать в горсть небесные звезды. Не твоя это была рука, не твоё овладение. Но учись овладевать, альтерэга, иначе не знать мне покоя. С приветом.*

Что, доктор, летит, летит рука по бумаге? Пора бы ей давно войти в заранее заданные каналы. Но ведь это ноль катится прямо, лишь подпрыгивая на кочках. А теперь — бесшумные перемены. И нет у меня другого инструмента, чем я сам. Улавливаю накопление тихих перемен. Наблюдаю, как мечется осциллограф вихляющей по бумаге руки, иногда залетающей в неведомое будущее. Не знаю уж, радоваться мне или печалиться неуспокоенности моей мысли. Прежде сетовал на каналы, а теперь не отказался бы наскрести чуток будущего, чтоб не впасть в отчаянье.

А ведь я специально выдумал двоих: себя и альтерэгу. Да еще и тебя: паузу, кивок, знак отрицанья, ладонь, поставленную перед куда-то спешащим муравьем. Помнишь, как мы в детстве любили ставить такие задачи перед деловитыми мурашами — запутывали их в лабиринте своих ладоней. Но чаще ты — ни да, ни нет: давай, давай, верши свой путь, летай на моей койке, как на воздушном корабле.

И мечется рука по этому треугольнику. Уж как она проворна, но не успевает. Она проворней мысли — та давно уже отстала, лишь разряжается редкими вспышками. И от воображения она тоже убегает. Гоняюсь я за самим собой. И, знаешь, иногда удается догнать хоть одну из своих ипостасей из великого множества. Эта, пусть секундная, достоверность оправдывает весь поиск. Получается достоверный поиск и блуждание, еще более достоверное, чем достоверные находки. Перелет между ипостасями, мыслями, образами. Перелеты через вакуум, столь абсолютный, что больше нет во Вселенной. Хрупкие мостки, переброшенные через бездны.

Сколь достоверен я сам, столь и моя речь. Сколь сам я недостоверен, столь и она. И высшая точность именно в этой мешанине правды, полуправды, лжи, догадок — сам ты это понимаешь не хуже меня. В том же и высшая достоверность нашего безвременья. Неплохой я ее сосуд — со всей его надеждой и мраком, полетом и бескрыльем. Оно проросло в меня, как дерево, — от пяток, по позвоночнику и в мозгу раскинуло ветви. Оно все — со своими детскими мечтами и бессильем изощренной мысли.

А понятно оно, только если мерить от луча — он ее ось. Вокруг нее и вращается наш мир: летят распластанные в воздухе тела, обломки

бывшего и небывшего. Все это вертится наподобие волчка или карусели, так что все сливается воедино — в нерасчлененность, в ту массу, из которой вылепишь все, что хочешь. И голова идет кругом. И укачивает, и тошнит, доктор, побольше, чем от твоих химикалий.

Я знаю, доктор, — не ухватить мне ни времени, ни себя, как альтерэге ту перловицу. Неухватно ни то, ни это. Так пускай же и это, и то останется в истинной своей неухватности, что истинней ухваченной лжи. Влекущей и возвышающей псевдоправды.

Посмотрим, много ли накупят на фальшивые монеты. Предрекаю, что ни шиша. Сколь бы ни была мала в золоте фальшивая добавка. Уж слишком придирчивый меняла правит нашим безвременьем. Подсказывает, нашептывает мне золотое зернышко, что скорей простится любая детская чушь, чем правдоподобный взрослый обман. Смотри — опять загорелся лучик. Горит с тех пор, как я вышиб оконное стекло. И ждет вопросов, чтоб ответить на них своим светлым молчаньем.

Никому не уступлю я, доктор, драгоценного опыта безвременья, не оторвусь от единственного родника, пока не высосу все подземные воды, пускай и сидеть мне всю жизнь в твоей келье. Я зову: подходите все, пейте серебристую водицу. Такой вовек не будет той ясности и чистоты, что бьет из этого кастальского ключа. Будут, как и бывали, бархатистые фалернские вина, золотисто пузырящая шипучка. Чище наших вод не будет, доктор. Они дают трезвость, что слаще пьяных образов. Тут у нас — трезвость. А за забором — не трезвость, похмелье. Пьют ли чистые воды? Пьют, доктор, нехотя, как твое горькое лекарство, но пьют.

Я оставляю портрет безвременья, но не мыслью или образом, а водами, вольно через меня текущими. Без задержки — ибо я пожертвовал своей оболочкой, — как сквозняки, проскваживающие мою келью. Будет портрет — круги по воде, но не расходящиеся, а сбегаящиеся. Вот в этом и моя тягость — им бы разбежаться, коль в оболочке пробой, а я их гоню вовнутрь, к единой неухватываемой точке, где сейчас все мы. Стремящейся внутрь себя улиткой завихрится моя рука.

Закончить бы мне портрет, мазануть последним мазком и тогда уж дать кругам разбежаться. Или обновить свою кожу, как змея. Сбросить твой домик, как бабочка — кокон, разбить, как цыпленок — скорлупу. И рассыплются игрушечные колонны — останется одна дыра в земле: ноздря, пыхающая легким зимним паром. То место, где я был, то, где меня уже нет. И ничего нет — только дырка до

самого чрева земли, курящаяся ввысь парком. Заповедное и тайное место, где родилась сила будущего.

А мне куда? То ли — выси, то ли — земля. Дар выбора дан мне на-  
век. На мой век, на сто дней. Я не знаю, что впереди. Может, это  
знает альтерэга, а, доктор?

## ПИСЬМО

*Дорогой хозяин, пока я читал твою раздраженную, но дружескую записку, жнец или жница славно поработали — полегли все колосья до единого, и земля топорицилась своими рыжими колючками. Тут стали заметны и межи. Разглядеть их с высоты, с того облака, на которое я присел, было трудно, но ведь к межам мы особенно внимательны.*

*Земля стала для меня шахматной доской, хотя клетки были не черно-белые, а различных тонких оттенков золотого. И на каждом квадратике зарождалась какая-то муравьиная жизнь. Крошечные человечки отбивали колосья цепями. Замахали крыльями игрушечные ветряки. Зерно шло в дело, хозяин. А я удивлялся, сколь сходна жизнь в каждой клеточке. Или это высота съедала различия. А человечки уже затеплили свои печурки. Самих печей не было видно — так они малы, но тихие дуновенья доносили до моих высей запах выпечки. Все небеса пропитались запахом свежего хлеба.*

*Тут, признаюсь, я почувствовал лютый голод, ощутил сжатие своего несуществующего желудка. И мне запаха хлеба слишком мало. А рядом — только облако — пушистое, холодное, снежное. Чистое, как снег моего детства. Я зачерпнул на пробу горсть небесной пены. И знаешь — ничего: тает во рту, оставляет одну сладковатую влагу. Похоже на клубничный мусс нашего детства. А насыщать — не насыщает.*

*Муравьиные человечки тем временем куда-то попрятались. Остались на убранной земле только стоячие связки соломы — соломенные бабы. И тут вся земля стала менять цвет, приобретать червонный отблеск. И я увидел сквозь почву, что вся она пылает подземным жаром. Там и сям разрывалась почва крошечными кратерами, выбрасывающими ввысь клубики пара, как закипающая манная каша. Один за другим загорались терриконами соломенные пучки. Начинался пожар — видно, отблеск помянутого тобой.*

*Запахи опять же тянулись сюда, вверх. Они не были благовонны. Просто мерзко воняли эти земные отрывки. Но из них привычно*

и нежно сплетались новые облачка. Еще недавно мое было единственным, а теперь все небо было в барашках. Правда, не так они были чисты, как мое, — с подмаранными подборюшками. Скорее, не облачка, а тучки. Иные истекали каплями, другие даже разряжались маленькими грозами.

Капли падали на землю, как на горячую сковородку, и с шипеньем превращались в дымки — а те снова тянулись вверх. Внизу опять засуетились невесть откуда взявшиеся муравьишки. Забегали туда-сюда. И среди них я, даже сверху, различил двух пастухов. Они были так же мелки, как другие, но они-то, как раз, были несуетливы. Брели, как всегда, на горизонте, не прибавляя, но и не замедляя шага. На самой кромке, но не уходя за горизонт.

Дорогой хозяин, увлеченный, я и не заметил, как синева выжала меня — вернула и руки, и ноги. На все небо простерся средний пастух — он был четок, как никогда. Как никогда весóm, со своим посохом, окруженный небесными барашками. И его голос грохотал на все небо небесными громами. Я не понимал его слов, но понял раскаты. Он велел мне слететь вниз и, как только проснусь, покинуть блаженную долину.

Был ли это его голос или твой? Рано еще мне растворяться в синеве — ты прав. Рано, пока не исчерпан смысл ненапрасного ведь данного тела. Растворясь в синеве, не отыщешь перловицы, а это — пропуск ко всем небесным жемчугам. Снова иду искать ее.

Выжала меня синева. Тело снова загорелось радужной оболочкой. Налилось силой и тяжестью. И пастух единым махом стряхнул меня с облака. Взвихрились, плеснули в танце шахматные клетки, я летел кубарем. И я проснулся. Ты забыл, хозяин, что все это был сон. Привет.

## ЗАПИСКА

Ну вот, я так и знал. Не залезай куда не надо, не придется и падать. Что это сон — не оправданье. Уж очень ты своевольно одно называешь явью, другое — сном. Говоришь — сон, а у меня опять все тело ломит. Поэтому, может, я так сварлив. Помнишь, как в детстве полезли куда не надо, да напоролись на ржавый гвоздь потом всю задницу искололи.

Что смотришь укоризненно, возвышенный доктор? Я вульгарен, я груб? Что ж — никогда не скрывал, что есть и то, и это. Повидав в небесных бесплотностях — а меня туда влечет, поверь, ты и сам зна-

ешь, — так тянет пасть в земную грязцу. Ты не такой. Боишься за свой незамаранно-белоснежный халат. А вот меня именно перед такими незамаранными так и тянет выкинуть фортель. Все это не цинизм, а удел среднего духа, вечно разрывающегося между тем и этим.

Зато своей срединностью я защищен от чего-то похуже — от такого мрака, что я и представить не могу. И ты не можешь. Хорошо, что земля меня держит, не дает опуститься в такие низины, куда уже не добывает луч.

Тебе не нравятся мои падения. Неизящно. Так ведь именно и падают. Не продуманно и грациозно, а как придется — голову себе отшибая или ломая ноги. Задуманные наперед — что это за падения? Выдумка, игра. Думаешь, мне нравится падать. Не нравится — я постарел, доктор: кости стали хрупкими, не такими гибкими, как были прежде. К тому же, и прежние падения даром не прошли: в такую вот сырость протяжно, волком воет каждый прежний перелом, ушиб. А неумный альтерэга — опять вверх, снова — вниз. А мне уж нельзя поворачать? Он не виноват, я знаю. Сам я послал его за пастухами. Сам не дал раствориться в небесной синеве. Любящий полет должен быть готов и к падениям. И я готов, только вставать с каждым разом тяжелее и тяжелее, хотя небесный пастух не забывает протянуть кончик своего посоха, помогает подняться.

Что может быть выше полета? Разве что подтягиваться ползком. Ползти по свешивающемуся сверху выюнку. Срываться и ползти снова. Негоже мне это, парящему духу, и непривычно. Но безвременье не одолеешь одним полетом — обязательно еще и ползком, как червь. И еще выше полета — падение. Тягостная необходимость встать. Но и о вставаньях живет память в каждой косточке, во всех мышцах. А рука помнит тепло небесного посоха.

И куда же снова подевалась твоя волшебная зима? Чуть блеснула надеждой, и опять с ней расправились теплые ветры. Куда клонится сезон? Сам он знает, повисший, как шарик на ребре, в немислимом равновесии? Как и мы застыли в запрещенном природой вычурном равновесии.

И птички куда-то попрятались. Оконный пробой не дарит мне ни одной картинки. То есть, одну-единственную. Не кинематограф, а одна застывшая картина на моей каменной стенке. Называется она Неопределенность, Межсезонье, Эхо или как-нибудь еще, застывшая, без движения и без исхода. Мне нужны картинки — устаешь от метания мысли, устаешь от сверкания духа, глаза рябит. Им надо от-

дохнуть на матовых картинках мира. А потом — опять внутрь, ввысь, куда угодно. Не бойся, доктор, я не залюбуюсь здешним.

Не знаю, что я хочу от природы, доктор. Отчего мне не мил ее тончайший изящный танец на краешке? Он так похож на наше время и на меня самого. Но я презираю ее саботаж. Хоть бы она нас увлекала своей сменой лет — зим — весен. Если уж и она недвижна, лишь чуть вибрирует, является чувство, что ты в капкане, в черном котле. Что говоришь, доктор? Да, может, именно эта нерешительность сезонов навеивает на меня и грусть, и свет. Отражение в сиюминутном беспредельнейших просторов безвременья. Сама природа помогает вольному полету руки. Это хорошо, но пускай и преодолает эти пространства вечное колесо — коловорот осеней и зим, лет и весен.

Может, и не так плохо, когда человек и мир ждут только дурного или ничего вообще. Тогда они не поднимают суеты, не поторапливают исподволь зреющее благо.

На поверхности, правда, много плеска — ощеренные морды, готовые друг другу вцепиться в глотку. Кажется — одна только суета, утверждение собственной ничтожности. А как же иначе в размытые времена, когда хаос уже подступил к самым губам? Когда рухнули все иерархии. Прежде, ну, накинут себе чин-другой — фельдфебель вообразит себя прапорщиком. Теперь же все золотопогонники: улицы кишат генералитетом — так и хочется перед каждым встать навтыжку. Ты, небось, воображаешь себя генералиссимусом, помнишь наши детские игры?

Каждому сейчас вольно думать: не гений ли я? А гений в глубине души думает: не дерьмо ли я последнее? Что, доктор? Да, ты прав — нет их. Не зародилось еще той могучей шквальной волны, на которой гений лишь барашек. Бескрайнее успокоенное море, засоренное обломками многих кораблекрушений. И грают, грают черные чайки, как то воронье.

Но я не о том, доктор. Суеты много, но она не опасна. Она вглубь не достигает того зернышка, не мешает ему вызреть. Именно суетой оно укрыто так, что и злодей до него не докопается, не погубит. Прорастает ли оно? Прорастает. В тиши зреет только добро. Холить его — значит загубить. Вспомни, как мы прежде суетились. Глубоко и истинно. Как мы поторапливали благо. Удобрjali почву и навозом, и химикалиями. Что взросло? Одна тоска. Но, может, именно тогда где-то в поджелудочной железе и угнездилося золотое зернышко. До поры никем неизвестное, а сейчас ему пришла пора явиться. И будет стержень у бесхребетного времени. И мне поддержка. Не при-

дется вечно падать. Так не бывает, чтобы вечно. Я не хочу. Ты прости, доктор, что я все про свое. Накаркал мне королевский астролог. Взгляни на его таблицы — все дни года по строчке, вся суть. Ничего случайного. Кому-то, может, он не попал в точку, а мне попал. Сам я даже не знаю, какие за меня борются выси и глубины. Я дал невеликий угол своему взгляду. Любые пускай борются, я же обшариваю взглядом середину. С невероятными низинами я не желаю знаться, пусть манят, пугают, — я накрепко заперт в твоих стенах. Ты меня, конечно, одобряешь, срединный доктор. Вся суть твоего лечения — лечение серединой. В большие выси ты тоже не даешь залететь. Для нас, почти земных, пространство искривлено — где-то там, вверху или внизу, точка смыкания верха и низа. Там — пламя, все сжигающее. Там — наш страх, пока путь наш еще не обрел необратимую прямизну.

Где же сейчас альтерэга, мой зеркальный образ? Ищущий пути, но до смешного повторяющий каждое мое движение. А я — его. Такая вот переключка зеркал. Как-то он проснулся? Как-то миновал границу одного сна, чтоб уйти в другой? У меня тоже, доктор, смыкающиеся сны, без яви. С явью на самой сонной грани одного и следующего. Мы снимся друг другу, доктор. И наши сны — трехгранная зеркальная призма. Та, что в калейдоскопе, что всегда и делает узором хаос разноцветных стекляшек. Как ни встряхни — все узор. Мы обречены этим узором. Они играют нами. Все встряхиваем, встряхиваем — ждем, пока они случайно сложатся в единственный.

Долго придется ждать, да у нас вечность впереди — вечность безвременья. Только бы не разбить стекло, а то выпадут стекляшки и останутся на земле стеклянным боем, дребезгами. Ничем не украсят белоснежную зиму. Да не упустить бы луч. Без него все мертво, а с ним — и стекло разгорится бриллиантом. Прощай, доктор, я буду спать.

## ПИСЬМО

*Дорогой хозяин, я проснулся в той же самой долине, но не в той же. Из ямы разило смрадом, как из сортира. В том сереньком рассвете, что был вокруг, как-то все пожухло и слиняла роскошь долины. Обломки мрамора — побитые воины. В мраморе погасли розовые прожилки и осталась безнадежно-холодная белизна трупа.*

*Я подошел к яме и заглянул в нее. Как из сортира же, из нее валил пар. Внутри что-то сипело, рокотало и хлюпало, взвизгивало и постанывало, а что там было, мешал разглядеть пар. И тут что-то рождалось, но ожидать, пока земля разродится, я не мог: ты ведь предписал мне путь. К тому же, раньше благословенная долина теперь была невыносимо тосклива. Как будто злой колдун ее заколдовал — размел золотистую дымку и нагнал в нее осеннего тумана. Но она все ж была заманчива, к ней влекло, как к остывающему телу дорогого человека — хоть поглядеть напоследок на ускользающую, на глазах меняющуюся оболочку.*

*Долина была мне дорога моим прошлым восторгом. Но она изгоняла меня, стряхивала со своей ладони, как надоевшую букашку. И она была чуждой, как то же тело человека, родней которого не было и не будет. А теперь он лежит — далек и чужд, весь в своих высях. Нет ему до тебя дела, как тому золотому лучу, не больше. Это и основа наших страхов лесных — потерянная нить: оголенные, зовущие, но и холодные небеса, на которых воображение способно сплести только лик старшего пастуха, но и он долго не удержится — развеется в замороженных высях.*

*Я покинул долину и шел по не менее безотрадным местам, все — в крошечных вулканчиках, земля тут повсюду — роженица. Но те места, по крайней мере, были лишены для меня светлого прошлого. Если и труп, то чуждого, страшный, но не неотвязный, как свой мертвец.*

*Скудную землю с пожухшими травами там и сям пробивала оголенная порода. Тяжело и больно ногам идти, но пастухи ждали меня где-то вблизи горизонта. Присели на корточки и склонили головы к земле.*

*Я приблизился к ним. Никто из двоих не обернул ко мне лица. Они играли в шахматы, расчертив на клетки дорожную пыль. Фигурки их были из жеваного хлеба, но хороши донельзя — ювелирная работа, со всеми подробностями и витиеватостями. Они играли церквами, костелами, пагодами, идолами, священными камнями. Легко двигались их руки. А в лицах не было суровой мысли, даже старший чуть отмяк. Их лица только лишь легкий ветерок духа овеивал изнутри. А на губах старшего пастуха — вот новость — сурового, как чистейший, неотличимый уже от тьмы, свет, вилась и ускользала улыбка. Отыгранные фигурки они смахивали в дорожную пыль. Шахматная доска клубилась катаклизмами, так что даже земля, на которой были расчерчены клетки, казалось, ежилась и ворочалась. Пастухи же были безмятежны. Даже в глазах младшего не было прежней грусти.*

*И мне, поверь, хозяйин, передалась их безмятежность. Сначала я неотрывно вперился в доску, не как даже самый страстный болельщик,*

*а как живой залог, душа, которую разыгрывают небесные игроки. Но доска была обща и суха, как здешняя почва. Общи были и фигуры, не смотря на их скрупулезную подробность.*

*Я потерял интерес к игре, хозяин, а ведь за такую партию многие душу отдадут. Я поднял с земли одну из фигур, самую простую и неказистую. В отличие от других, вылепленную грубо, как бы второпях. Но тем она и была отлична от других, тем меня и привлекла. Это была трехгранная пирамида — террикончик. Влажный, пропитанный слюной хлеб, окрашенный чем-то голубым, вроде синьки. От нее скоро обе мои ладони поголубели.*

*Вдруг третий пастух прервал партию, шлепнувшись с небес на обе ноги, так что вся земля загудела. Явился он, как всегда не вовремя, но ко времени. Босой пыльной ногой он сбил фигуры с доски — раскатились башенки, пагоды, мечети, мысли, устремленья. А старший и младший, казалось, этого и не заметили — по-прежнему легко летали над доской их руки. Как проворные ткачи, они плели нечто из чистейшего воздуха.*

*Средний, взяв меня за плечо, указал мне мой путь: протянул руку к откосу, где обрывалась, вильнув в сторону, дорога. Там был хаос, хозяин, ям, рытвин, корней, земля растрескалась. Там не было дороги, но пролегли пути, на что указывали следы, и звериные, и человечьи. Пастух увидел, что я боюсь пути. Он взял из моих рук террикончик, что-то поддел ногтем, и в нем со щелчком отлетела крохотная дверка. Внутри был свет, в котором, как в купели, пребывал тот младенец, что мы оставили в ветхой хибарке. Тот, что отдала пастухам суровая мать. Пастух вернул мне призмочку и подтолкнул в спину. Прощай, хозяин.*

Знаешь, доктор, а я ведь разгадал смысл моих игр во сне. Это ведь не метафора, ничего такого. Может, и метафора, но не моя, не измышленная, а истинная, кошмар, постоянный кошмар моих ночей. Играю в игры вроде тех шахмат, где сам и игрок, и фигура. А эта игра — и есть жизнь. Ну, наконец-то я и тебя рассмешил, серьезный доктор. Поздравляешь меня с этим открытием? Не надо иронии, небесный доктор. Признай, что я разгадал самую искусную загадку. Из тех, что заданы мне одному. Хитер же ты — ответ так прост, что не ухватишь. Так прозрачен, что невидим. Поздравь меня, что я овладел банальностью из банальностей — всеобщим местом шириной во всю мою жизнь.

Или еще возвращающийся сон — я один на вечернем катке. Скольжу робко, неумело, разъезжаются ноги. А потом все уверен-

ней, потом — еще уверенней, смелее, выкидываю антраша, решаюся на изощреннейшие пируэты. И радость клокочет в груди, какой сроду и не бывало. Это вживание в жизнь.

Знаю я таких, может, и ты из них, доктор, которых жизнь отторгает. Им надо вживаться в нее медленно и подробно. Для них торопливость — гибель. Зато именно их она одаряет небывалыми плодами, они любимы ею, так как выстраданы. Но мы-то с альтерэгой скороспелки, — витая в высях, мы измыслили всю жизнь. И правда оказалась удивительно похожа на нашу фантазию. Но одно дело — порханье мысли, другое — прорастивание в негостеприимный грунт. Тут жизнь — не мысль, а все вокруг. Соки, что гонят невидимые каналцы по нашим телесам. Мы привыкаем жить в жизни. Как гусеница, вольно кинув вперед голову, трудно подтягивает к себе хвост. Вот так вот: броском-ползком.

Как хочется уйти, оставить этот ползок, хоть на миг, прервать. Но жизнь ревнива. Не позволяет отвернуться от себя ни на секунду. Даже такая хлипкая, в безвременье, она сильна. Видишь — добралась даже до моих снов. Она и там задает свои шахматные задачки. Оторвешь взгляд от доски, вмиг обштопает невидимый партнер. А он — моя болезнь — ты ее лечишь, доктор, — зазор между жизнью и мной. Это пузырек воздуха, не дающийся в пальцы, скачущий, как живой. Я чувствую плавающую в теле пустоту — неравенство самому себе. Телесно, доктор, чувствую пустоту, гуляющую по всему телу. И пустота эта — есть душа, пузырек воздуха, всегда стремящийся вверх, чтоб лопнуть, раствориться в верхнем океане. Он и выводит вензеля на чистых листах. Сам — ничто, но сильный мною. Как я сам — ничто, но силен им. Вот и все, доктор.

## ПИСЬМО

*Дорогой доктор, прости за это письмо. Хозяин не дал мне права тебе писать, впрочем, не было и запрета. Многие строки моих писем были больше к тебе, чем к хозяину, но теперь у меня нужда обратиться к тебе без посредников и соглядатаев.*

*Сколько дней и ночей ты потратил, слушая бредок хозяина, но тебе не понять его, хоть раз не прислушавшись к моему лепету. Я не лгал хозяину, он прав — грош была бы мне цена. Но я и не говорил всей правды, ибо тогда я не был бы его защитником, шубой мехом внутрь, выворот-*

кой. Путь-то мой куда тяжелей и телесней, чем сказано в письмах. Он шел по снам, которые никому не дано припомнить: верхние сны — лишь слабая метафора глубинных.

Бывало, нутро мяло меня мясорубкой. Тогда хозяин тосковал и метался, только слабо догадываясь — отчего. Тогда его рука металась по бумаге, пытаясь вырваться из западни — оторваться от себя самого. Это ты понимаешь — так бывает у твоих пациентов. В твоём мире вокруг них покой, а в иных мирах прищемило какой-то хвостик, аппендикс.

Я пытался передать ему в простейших символах то, что не имеет названия нигде — ни у вас, но даже и у нас: неведомые трясины и радуги небывалых цветов. Я его успокаивал похожестью нутра на мир. А, ох, как непохоже, доктор. Если и похоже, то на боли тела — ломоту в невесть какой кости, плавающую пустоту под печенью. Я ему не врал, доктор, но вопреки тому, что он ждал, все там оказалось телесней, вовсе не размыто, а жестко, только без названия. И угрозы там определены и ужасны.

Слышал ли он шепоток моих угроз между строками? Слаб шепоток, но ничего на свете нет страшней. Непонятные, иные тела нутра я подменил пастухами. И так навек данные нам для таких подмен. При всей непохожести пастухи — точнейшая метафора. Хотя все не так, доктор.

Но пастухи уже даны. Если б не их посох, все было б хаос и внутри, и в мире. Они вечно есть, и есть посох. Прямой, но всегда готовый обратиться в змею. Я в который раз придумал то, что придумано давно, или вовсе никем не придумано, всегда было. Их островерхие шапки и верблюжьи плащи. А они ведь только солнечные зайчики, не дающиеся в руки.

Я метался за ними по всему нутру. И вот теперь я обращаюсь к тебе, доктор, потому что они померкли. Безотрадность тех далей, что я писал, такова, что еще слов таких не придумано. Мрак и гибель, не откос, ничего такого — все это бледные успокаивающие образы. Какой-то хаос неясных деталей, угроза, равной которой нет. Яма без прошлого и будущего, ночь без звезд и надежды. Самая трудная часть моего пути. Грань смерти, и за этой гранью никакого ответа. Нет ответа, что там за ней.

Побудь с ним, доктор. Ты же — доктор. Помоги его телу выдерживать черную ночь души. Помоги ему, доктор. А я наберу по карманам трухи на самокрутку и, перекурив, ступлю туда, куда нельзя ступить. Прощай.

Что загрустил, доктор? Я-то спокоен, как спокойна зима за пробоем. Вновь легла — белоснежная, матовая, не тревожащая глаз блеском. А я обрел страх, доктор. Слепил все страхи воедино. И утихло их тараканье шебаршенье. Я долго шарил в своем начале, но именно его-то и не нашел. Этот единый и великий страх небесный. Тот — что забыли вложить в нас любящие руки.

Они раскрошили его на мириады страхов. Но пришло ведь время собирать. Он скопился, как сталагмит, от небесных слов и все протягивается вверх. А в него вморожены, как мураши в смолу, мелкие упасающие страхи. Нечего нам бояться в этом опустевшем мире. Так же и в мире нутра, каких бы там страхов или успокоений ни искал альтерэга. У меня родился орган страха небесного.

Как мне было не набраться страхов, — они неискоренимы, как вши в кудрях младенца. Я родился на исходе чернейшей ночи и душ, и тел. А когда раскрыл глаза, уже брезжил рассвет. И попрятались страшки, и не было нужды в страхе небесном. Вот и вышел я в мир, вооруженный вихляющими горизонтальными страхами, но не страхом единым — прямым, как истина.

Да, доктор, а куда подевался каркадил, не знаешь? Я и не заметил пропажи, не заметил, как вдруг ушло навязчивое карканье. Я оставил его под новогодней елкой, и он потерян, как стертая копейка, завалившаяся за подкладку. Он вылечился, доктор? Выкатился в мир той же копейкой? Или он затерялся среди моих извилин, провалился в какой-то пролом и будет неведомо откуда навязчиво каркать? Или он цел и невредим, а просто поменял маску?

Прежде смена маски была редкость, а теперь сплошь да рядом. Я уже перестал узнавать твоих психов, доктор. Вчера вот подошел к пробою факир и позабавил меня представлением. Чего он только не доставал из своего пустого мешка. И он не мошенничал, — я пристально следил за его руками наметанным на мошенников взглядом. Его мешок и впрямь оказался набитым сокровищами, будто он разыскал заветную помойку или похитил его у пастухов.

Все, что он доставал, он раскладывал на белейшем снегу под моим окном. И он был щедр — отдал бы мне все, с самим мешком вместе. А взамен ожидал лишь аплодисментов, восторга. Но я не набрал его ни щепотки, хотя обшарил все сусеки. А я так прежде любил фокусников. Я постарел, доктор, в твоём капкане, где незаметны годы. Сколько я пробыл у тебя, доктор? Увы, я потерял интерес к мишуре и примирился с тем, чтоб сурово провлачиться по безотрадной до-

лине. Мой шарик миновал ребро, грань преходящего, за которой — уклон в вечное. Смертное ребро.

Сколько я, нерадивый ученик, простоял на нем коленями? Что мне блеск умелого фокуса? Нет уже ребячьего восторга перед ловкостью рук. Я отверг факира и его дары ради твоего молчания. Твое лицо, доктор, так же безотраднo, как та долина. И мой взгляд движется по твоим скулам, боязливо обходит пышущую жаром пасть, провалы ноздрей, переплывает озерца глаз, плутает в волосах. Твое лицо для меня — мир.

Почему я вспомнил каркадила? Дело в том, что разоблачитель-ветер на миг отогнул смуглую маску факира. Не каркадил ли был под ней? Нет, не мошенник, не мистификатор, а сам, не знающий о своем перевоплощении.

## ОТВЕТ

*Дорогой альтерэга. Позвольте называть вас именно так. Тот, кого вы назвали доктором, увы, и правда молчалив, а писать, наверно, и вовсе не умеет. Отвечаю вам я по его молчаливому приказу.*

*Если уж он доктор, то я пускай буду чуть упомянутым вашим альтерэгой пузатым завхозом. Он так сразу заявляет, что я вор. Не вор, просто у меня руки липкие — ничего не помогает, — сама по себе налипает какая-то мелочь. А брюшко, действительно, есть: говорят, я похож на брюхастого и веселого китайского божка.*

*Пара слов о нашем пациенте. Так вот — напрасно вы волнуетесь: он вовсе не псих. Хотя принять нас за лечебницу вроде бы способен лишь наглухо завернутый. В его бреде есть логика и система, внутри он связан тончайшими нитями, порвать которые ему и самому не под силу. Боюсь, для этого он подрядил вас, но и вам это не под силу — и вы не псих.*

*Иногда он пытается забредить, рассыпаться мыслишками, песчинками, искорками. Не выходит — он уныло нормален. Возможно, и есть в нем зазоры, разломы купола, сквозь которые видны небеса, но все они переплетены серебристыми нитями, паутиной, невероятно прочной на разрыв.*

*Вопрос еще, кто кому доктор? Кому кого врачевать? Конечно, он чуть свихнувшийся, но в соответствии со своим сбрендившим веком, и оттого еще нормальной. Он, и правда, очень похож на свое безвре-*

ные. Конечно, они не перехлестывают друг друга целиком, но одно из течений нашего застойного времени — почти его портрет.

Он искренен, это верно. Искренен и в своем наивном мошенничестве, когда, как неумелый шулер, пытается передернуть карту. Он не псих, поверьте мне, альтерэга, хотя язык у него, и верно, подчас слегка заплетается. Заплетаются и ноги — это он не врет. Нет такого порожка, об который бы он не споткнулся. Но упав, встает и тщательно отряхивается. Зато иные барьеры минует шутя, по рассеянности их и не заметив. Но при этом, любопытно, обладает свойством крениться, все не падая. Не тревожьтесь за него, альтерэга, — мы тут все перевешаемся, а он так и будет крениться пизанской башней. Коль время ему брат, там, или сестра, то вовеки ему крениться, тогда как прямостоящие давно уже раскатились, как кегли.

Помните, альтерэга, что он шулер. За него не тревожьтесь и не бойтесь за себя. Он не чужд риска, но какой же шулер поставит на карту все? Вас он послал в путь, когда уже миновала смертельная беда. Это он уже расправляет крылышки. Виной ваших трудов — неведомые ландшафты, понять все свойства которых не в состоянии бритвочка его прежнего ума. Но чутье, колыхание серебристой паутины подсказало ему, что гибели там нет. И все ж он затеял небезопасную игру. К счастью, окрепла его рука, вцепившаяся в небесный луч. Он его не отпустит, он цепкий.

Счастлив он вряд ли будет. Если верно, что ныне может быть счастлив либо дурак, либо подлец, то он все же ни то, ни другое. Хотя чуточку, как все, — подлец. Да не поставлю ему это лыко в строку. Но уж не дурак. Просто невероятно туп — сам признался, — как все, кто не дурак. От сочетания ума и тупости идут и все его падения. Это не я сказал, а тот самый звездочет, колпак которого он принимал за звездное небо. Это тоже наш пациент.

Кстати, о своих сотоварищах он лишь изредка поминал в письмах. Переписка здесь перлюстрируется — это не я выдумал. Не удивительно — все они тут копаются в собственном бреде без внимания к другому. Зато щедро обрушивают друг другу на головы собственные открытия. Не подумайте, что он не один из них. Такой же голос в нашем далеко не худшем хоре. В вертикали он один — тут он прав. А мы все разве не одиноки в вертикалях? Но я сам видел, как он пытался учить философа мудрости, а наполеончика — фортификации.

Притом, этот поборник трезвости и аскезы далеко не ангел. Не знаете вы наших ребят — чуть не оргии тут устраивают в котельной. Причем без изыска — портовешок, и пощипывают за

задницы белохалатниц. И ваш хозяин этим не брезгует. А я, поверьте, борюсь. Посмотрели бы вы на их бред, разбавленный земными винами: становятся как дикие звери, которых усмирить — только плеткой.

Кстати, не раз я его ловил у того самого бредового флигелька, который я велел обнести колючей проволокой, хотя вряд ли его отпугнет это терние. Всем им даже сладко изодрать об него себе руки в кровь — он и так весь в кровавых пятнах. Иные считают, что именно от флигелька весь наш разор. Вряд ли, хотя выстроен он на вулкане, на самом земном жерле, часто изливающимся магмой, а в остальное время курящемся сернистым туманом.

Сколько раз он трескался напополам, и тогда я замазывал все трещины цементом. Думаете, напрасно? Но недаром же все обживают Везувий, не боясь ни Помпей, ни Геркуланума. Ведь, не правда ли, хуже обнаженное жерло?

Между прочим, не знаете ли, что он понимает под спящей царевой? Сам-то он знает? Может, ему и не царевна нужна, а похититель Черномор, чтобы воспарить, ухватившись за конец его бороды. Я — не Черномор: выбрит наголо, как и положено китайскому божку.

Кого он может оживить, мечущийся между крайностями, а застывший посередке? Впрочем, он прав — ему оттуда видней во все концы.

Он многослоен, норовит натянуть на себя все наряды: от парчовых одежд богдыхана до власяницы. Его можно лущить, как луковицу. Но верно: рвется из нарядов в нагие степи, где он лишь варвар. И когда он там — воет, наг, как дикий зверь, он мне интересен. Он мне любопытен и в своем ерничестве, и в желании прикрыться хоть лоскутом. Он искренен, альтерэга, ибо не возводит преград: думает, что лучше прикрыт своими неизвестными степенями, собственной искренностью. Как иные от истины прикрываются правдой, так же он — истиной от правды. Какое изощренное жульничество.

И все равно — опасная игра. От меня он не скроется. Мне он понятен. Я ведь сам старый шулер — веселый китайский божок. Поверьте мне, альтерэга, — не тревожьтесь за него и за себя тоже. Он в порядке. Всего доброго.

Опять ты передо мной, доктор, — бухгалтер моих взлетов и падений. Все рвет, режет твой острый взгляд мой путь, который един, как бы я ни плутал, в какую бы сторону ни шел. Не суди меня, доктор, за неустойчивость в ногах, за падения носом в грязь, за слабость крыльев. Отступление может быть — разбегом, замахом. Чуждая по-

рода — и в самом полновесном самородке — время такое. Ты меня сковываешь своим: только вперед. Где зад — где перед, доктор? Ты знаешь, что небесная прямизна извивается земными петлями, скользкой змеей.

Почему мы прекратили наши прогулки, когда наконец пала долгожданная зима и так драгоценна каждая пядь земли: ни одной проталины. Чернота земли погребена под чистейшим белым. Нет нужды, что там роются черви, они разрыхляют чернозем. А воздух чист и свеж. И стужа разогнала черных воронов. Только нежные снегири с розовыми брюшками чирикают на каждом дереве. Отчего ты печален, доктор? Я знаю все твои секреты. Думаешь, ты знаешь обо мне больше меня самого?

Нет, меня не могут обмануть зимние хрустальные сны. Девственно-белые поля будущего, где нет мрака и осенней хмари. Я цепкий, доктор: не отпущу от себя зиму, не просыплю горсть драгоценного снега. Что ты можешь знать обо мне, доктор? Не больше, чем я сам. Сколько дней и ночей мы просидели друг против друга. Мы примелькались друг другу, доктор. Так близок час, когда мы растаем в хрусталиках и роговицах, изойдем друг для друга зимним парком и канем в синем небе. Мы теряем нужду друг в друге. Разомкнулась цепь, что сковывала нас с тобой. Мы почти уже свободны, доктор. Еще только пара штришков, шажков, утопая в свежем снегу.

## ОТВЕТ

*Дорогой друг и слуга, скажу тебе честно: я не люблю забот и опеки, вторжения в мои неизвестные равнины. Кто там отыщет для меня благо, кроме меня самого? Даже тебе не отыскать. Но твоя забота мне приятна. Однако чьей опеке ты хотел меня поручить? Да и чей голос ты хотел услышать? Иной? Но ведь на всех у нас единая глотка и единая рука.*

*Верно ли меня понял смешной человечек? Верно. Он добр ко мне и не слишком прозорлив — не дотянулся до болотных топей. Но поверхность этот прагматик рассчитал, а она тоже властна. По своему добродушию он не стал меня раздумывать. Оставил загадку загадкой. Сам знаешь — человек до тех пор человек, пока он явлен загадкой, неразрешимой, ускользающей, не имеющей решения.*

*А теперь, друг мой альтерэга, от безвременья рушатся незнанные структуры и все загадки подменяются — неясностью, хаосом, невнятицей. Еще более неразрешимым, но и не имеющим нужды в решении.*

*Загадка проста, альтерэга, но в нее не вломишься. Только лишь луч просверкнет по этим, единственным образом разложенным камешкам. А хаос тягостно непонятен, ибо не озарен.*

*Знавал я парящих духов, что были мне поддержкой, учили меня полету. Теперь они здешние же пациенты, и, как все, под маской. А маской у них — их прежнее лицо. Но прежде легкое несопаденье маски и нутра было их достоянием, загадкой. А теперь обмануло их время тихо копящихся перемен. И они ушли от собственного лица неслышными шагами, как по снегу, глотающему все звуки. И уже — не лицо, а ложь, личина, прикрывающая хаос, смердящий череп со сходящей пластинами гнилой кожей. Сколько я знал таких потерь, альтерэга. Раньше поднебесье кишело духами, и мир был полон загадок. А теперь в нем копится хаос. Но, верно, именно из того хаоса погибших структур родятся новые загадочные лица и новое слово.*

*Не бойся тягот пути. Я вымолил слова, и они легким декабрьским снежком припорошили землю. Я спокоен и тверд, альтерэга. И я, альтерэга, не шулер, так как слишком крупна наша с тобой корысть. Мы пойдем с тобой вместе по белоснежной степи, и ветры заметут каждый наш след. И увидим крошечные фигурки, так же медленно вползающие на завернутый вверх горизонт.*

*Пускай время раздалось, зато сколько простора вокруг. Желали ведь мы этого простора, последней свободы родиться или умереть. Нам она подстать и по плечу — свободным духам, способным так взмыть, что города земли цыплятами защебечут под ногами. И пасть так, чтоб с головой уйти в землю и прорасти неведомыми злаками. Пора расправить плечи всем — по обеим сторонам забора. Всем, в ком схоронен вольный победный дух. И этими плечами подпереть наш шарик, кругляшку, ноль. Или перекидывать с ладони на ладонь земную лепеху. Поверь, альтерэга, таких немало, в ком живет угнетенный землей дух.*

*Смелее ступай, альтерэга, на суровую неродную землю. Потеряешь тело, кости перемелют жернова, крепче каменных, душу разобьют цепи — не бойся. Вспенимся брагой — изготовим приворотное зелье для сухих будущих веков. В нашей пустоте тихих перемен — секрет того напитка. Нас забудут, альтерэга, ну и что? Окинь взглядом небесную чашу — все небеса полны забвеньем. Но зелье протечет по всем жилам будущих веков, и они зарядятся весельем от*

нашей тоски. Не прольем же ни капли водицы наших будней. И других призовем. В грязи и мраке не пропадут золотые зерна. Сохранится озимь под драгоценными снегами. Дождаться бы весны, альтерэга. Привет.

## ПИСЬМО

*Дорогой друг, я раскрыт. Но я и не собирался утаить от тебя путь по неизвестной жуткой равнине. Просто я не могу тебе его раскрыть. Сам знаешь — истинная неизвестность такова, что разорвет любое слово, развеет его в прах, обратит в кучку дребезг. Она-то несоразмерна никакому слову, ни самому тайному. Ибо стоит хаосу прорасти словами — и где оно, неизвестное? Фьють — и нет.*

*Ближайшее к нему приближение в словах обычных. В легком беспорядке обычной жизни. В жизни обычной, но переставшей быть самой собой. Вспомни свой сон времен нашей беды: ярчайшая, тончайшая до штриха обыденность. Сон — повторение жизни. Разница только в неподвижности, когда она становится западной. Когда жизнь, не меняясь на глаз, вдруг обретает неясную глубину, непросматриваемую темень. Становится символом злого, — не теряя при этом своей обыденности.*

*Так же смерть медленно, но настойчиво начинает искажать дорогое лицо. Искажение обычного — чем это можно описать, кроме простых слов? Но все они уже за гранью беды — символы темнейшего мрака. Это — безысходность, западня. Ты-то меня поймешь, друг и хозяин. Прости, но я не мог не заглянуть в яму нашей беды, где мы во второй раз родились. И это рождение не менее важно, чем первое: бедой должно быть удобрено золотое зернышко. И оно прорастет колосом, поверь, хозяин.*

*Ступил я на неизвестные почвы, и что, о чем ты хочешь от меня услышать? Держи простые слова. Колебания земли, жирными змеями ползущие разломы. Смертельный ужас: не потерять тело — это еще полбеды, а саму душу. В разломах и расселинах тоскливое верещание близнецов-ублюдков, трясение почвы. А еще страшнее — изменение лика земли, когда известное и дорогое становится неизвестным и жутким. А еще страшнее, что нет луча. А еще — что нет исхода. И что не остается следов.*

*Дикий хаос неопознанного, любой холм оседает в провал. Любая низина силится выгнуться холмом. Пузырится, пузырится холмами неяс-*

*ная степь. Но хрящи слабы и мягки, как у младенца. Ни одна форма не успевает обрести крепости. И ни в одной руке нет силы это описать, альтерэга, ты прости меня. Остается лишь повторять простейшие из слов, которые нам даны, чтоб говорить об упоительной роскоши рождения и гибели. Мы скопили их, отцедив весь сумбур нашей жизни, обычной, но пугающе разнообразной. Неправедно разнообразной.*

*Но не вымело их из моих дырявых карманов вместе с трухой и табачными крошками. И вылетел из моего рта, как из камина, легчайший благоуханный дымок и закурился к небесам. Легко вынула меня из долины рука среднего пастуха, и взмыл я в небеса. А долина ужасов канула вниз.*

*А сверху, как и прежде, земля была проста, вся поросшая золотым колосом, изрезанная, как мозг, извилинами дорог. А по дорогам — это было видно — старик и молодой вели вереницу слепцов. Старик — впереди, молодой — сзади. Старик — сам будто слепец — пробовал дорогу концом своего посоха. И овчарки с визгливым лаем пугались у слепцов под ногами.*

*И еще под нами были горы, сквозь камень просвечивали золотые жилы. Тайные пещеры сверкали самоцветами. А сама земля матово сияла, как жемчужина.*

*Не пытай меня больше, хозяин, я и так рассказал тебе больше, чем мог, не устыдившись бессилия слов. Они просты, но повторять их нужно миллионы раз — не хватит всей земной бумаги. Ведь и плен мой в заколдованной долине длился, длился миллионы лет. Не устыдившись в наш стыдливый век, где фиглярство — страж истины. Я благодарен тебе, что мои жалкие слова ты защищаешь всей мощью своего ненужного ума, собственным фиглярством.*

*Как прочна перловица, как неподатлива на разжим. И она хранит жемчужину, которая только всплеск свеченья. Будем хранить ее, укрывать завитками, и ее примет будущее, не зная, что там — слизь или жемчуг. Всего пару слов мне осталось тебе сказать. Пару слов больше всей жизни. Но это позже. А пока я лечу в тех высях, с которых невозможно падение. Счастливо.*

Что, доктор, перловица все так же не найдена, и неведомо, приблизились мы к ней хоть на шаг? А мое письмо уже клонится к закату. Или к рассвету. Как неведомо куда скатывается твоя снова влажная, слезная зима. Пробрезживает глухая ночь, но уйдет ли она в новый рассвет или примкнет к своему прежнему закату. Кончаются сто

дней, но в нынешней бесшумности их исход не прогремит Ватерлоо, а тихо погаснет, как звезда.

Надо же, под конец распрыгались, как блохи, непрошенные мыслишки. Прежде я вымалывал каждую, теперь могу их рассыпать ворохами. Но я не пес, чтоб гоняться за каждой блохой. Не желаю разменивать на мусор золото единой, пусть тишайшей, мысли. А она ведь скопилась, доктор? Что молчишь? Из междустрочий и междусловий, сочащихся тоской и надеждой.

Что я нашел, доктор, что открыл? Возможно, лишь то, что все выцветает — и радость, и тоска. И страх тоже. Только это и могут раскрыть нам бесцельно и длинно тянущиеся дни, наше проживание жизни, всей, без изъятия, хотя бы мига. Все остальное было дано нам в наших высях — все кубики и стекляшки, из которых можно выложить любой узор мира, самый изощренный.

Но мне надо было прожить каждый геологический слой моей жизни, пробиться сквозь них, как растению. Долго, длинно притираться к общим местам. Это чтобы понять, что все выцветает. Все стирает ритмичная рука; эхо, вторение лет — зим, дней — ночей. И понять, что не выцветает одно чистое золото — блеск луча. А понял простейшее: вот она и зрелость, которая приходит на витке возвращения к детству. Как у людей, так и у миров.

Прежде было владение, теперь — овладение. Все остальное — пробы, блуждания. Сумрак, то ли предвечерний, то ли предутренний, — он может стать и тем и другим, ибо он свободен, как свободен ты. Не забыли нас снабдить в высях и витиеватым шикарным стеклянным боем, и неказистой драгоценностью — алмазной крошкой, которая вдруг таинственно расцвечивала наши узоры. Все было равно для игр. А теперь у вас — выбор: застыли и мы, и сезон, и век на крутом ребре, куда покатымся? Или уже катимся, катимся без остановки.

Пора мне в дорогу, доктор. Я расплатился с тобой за приют чеканной монетой моих ста дней и ночей, моего неподвижного пути. Кое-где расплатился и фальшивыми. Если ты сам не разберешь, доктор, то тебе шепнет твой толстобрюхий завхоз. Он же твердо записал меня в шулера, возвышенный доктор. Но просто чистое золото не годится для монет — спроси у любого интенданта. Рано еще миру растворяться без остатка в невыносимом небесном свете. Я просто осторожен, доктор, и за тебя боюсь.

Выйди на рынок с талером из чистого золота — тебя же вздернут на дыбу, как фальшивомонетчика. Так что и ты за свое, как и я, рас-

плачивайся чуть фальшивоватым золотишком. Так и добрее, доктор, нам надо приучаться к земной доброте — наши выси были чисты, но и жестоки в своей чистоте. Ты ведь знаешь, что то поднебесье, которое выше нас и роскошнее в тысячу крат, то сияющее поднебесье, по сравнению с которым наше — лишь слегка просветленный сумрак, как оно бережет свой блеск. Как утаивает, боясь ослепить неосторожный глаз. Только лишь искорка дается, золотое зернышко, которое прорастет к сроку.

Будем же учиться земной доброте, которая и есть вышняя, матовому сиянию всевышних высей, которое только тепло, а не показной шик. И это до тех пор, пока не раздадутся небеса, и небо не явится во всей своей нестерпимости, за гранью всех вещей и слов. А тогда хватит ли нам накопленного? Копим, доктор.

## ПИСЬМО

*Дорогой друг, средний пастух, как мошку, потряхнул меня со своей ладони — и я был в широченном зале во всю Вселенную. Драгоценные столбы уходили в невероятную высь — свода не было видно, так он был высок. Не стану говорить, как роскошен был зал: собери все описанья роскоши земной и небесной — не будет и тысячной доли. Всех сокровищ мироздания не хватит и на пядь колонны. И все камни были столь чистой воды, что камень становился музыкой, чистой мыслью, не обремененной ни последствием, ни корыстью. Там каждый камешек был — и «ох», и нотка, и мысль. И вовсе ничего — так чиста вода тех камнейев.*

*И я корчился — крошечная пылинка на сияющем полу. И каждую колонну обвивали дикой роскоши вьюнки. И вились птицы, прекрасней ангелов. А посреди зала стоял трон, перед роскошью которого меркло все в невероятном зале. Он сиял светом невыносимым. На нем восседало существо — мужедева: слияние всех лиц земных и ликов небесных, но и больше всех лиц. Неземной красоты.*

*Гляди, шепнул пастух. И я отнял от глаз ненужную ладонь, которой все равно не удержать свет, пред которым бессилен и камень. И тут единое существо, покинув трон, пошло в танце. Оно не замечало в своем величье меня — ничтожную соринку, но для меня был его танец. Оно вращалось волчком — мелькали тысячи лиц, рук, и мириады глаз сияли*

звездным небом. И не было уже существа, а был вихрь, смерч, страх и покой. Все было. А вокруг вились небесные птицы.

И этот танец заново создавал роскошь этого зала, взметались ввысь колонны, прекрасней прежних. Но и нестерпимо огромный зал был узок для его танца. И начали падать колонны, рушиться стены. Вылущивались драгоценные камни и с цоканьем катились по полу, исциркали все пространство, как трассирующие пули, метеоры, звездопады. Драгоценные камни неисчислимо катились к нашим ногам. И пастух, оробевший пастух собирал их по всему залу и пригоршнями метал к моим ногам. И все было бесшумно — бесшумно валились стены и падала кровля. Только цокали, цокали драгоценные камни. И, наконец, распалось ожерелье на шее танцора, разорвалась нить, на которой жемчужинами были нанизаны матово сияющие миры. И волна жемчужин, драгоценных капель смысла меня и повергла наземь.

И истончился пляшущий смерч, и вот нет уже мужедевы. Только мы с пастухом в разрушенном зале, где пол усыпан драгоценностями, а стены пали — бескрайнее пространство во все стороны. Великий пастух, легко тронув меня за плечо, указал мне вверх, туда, где рухнувшая кровля открыла небо. Все звезды оттуда попадали и жемчужно мерцали под нашими ногами. Но горела единственная, легка, как вздох.

Пастух, в своей усыпанной блестками островерхой шапке, вдруг сделал жест, как фокусник, и достал из моего уха простейшую раковину. Не ту ли, что я нашел в грязноватом болотце и позабыл в кармане? Он протянул мне ее на ладони, и разлетелись створки, как у медальона. И что там было, альтерэга? Сам знаешь — спящий младенец. Вечно спящий младенец в коконе из перламутра. И я увидал, что весь зал усыпан такими раковинами. Тот зал, где прежде была роскошь, а теперь — разор, зато и свет звезды, истекающий на позлащенный трон.

И громовым смехом заржал в смущенье пастух. Он обнял меня, и мы взлетели выше звезд и всех высей, откуда мой голос уже до тебя не доносится.

Таков мой сон, хозяин. Не таков, но ты призвал меня к доброте небесной. И я дал тебе слабый отблеск, чтоб ты не ослеп. Не потрясающую новизну — а в том-то вся суть: детскую фантазию, издавна заплутавшую в нашем нутре. Не она ли перловица?

Это был мой сон, хозяин. Единый миг, прокол во всех снах дня и ночи. Неверен, как все сны. Как все — правдив. Наивен, как все сны. Как все сны — мечта, сочащаяся в полумрак будней оттуда, где смыкается начало и конец.

*Прощай и прости, хозяин, что я ничего для тебя не нашел. А если нашел, то и не спрятанное, а данное всем векам на все века. А если и нашел, так старый хлам, запыленную звезду с новогодней елки, рассыпь страхов и любовь, взлелеявшую наше младенчество. Мы как будто разворошили старую кладовку, и два здоровенных дяди всласть поиграл, и сломанными машинками, безголовыми солдатами. И обнаружили, что эта игра нам еще слаще, чем прежде. Не меньше и ставка в этой игре.*

*Мы поблуждали по той комнате, что обширней всего мира, той комнате, куда так щедро изливались солнечные лучи через единственное широченное окно. А она такова же, как прежде, так же таинственна и обширна. Только стала совсем маленькой. Зажмем же ее в ладони так же крепко, как спящий младенец заветную жемчужину. И да не отнимет ее у нас никто, сентиментальный хозяин. Прощай, мой друг.*

Как ты пристально смотришь на меня, доктор. Любуешься моей глупой улыбкой? Что ж, я получил не твой укол, а укол безумия, истинней которого не бывает. Острие слившихся небес и миров проколело мою задубевшую шкуру тончайшей ноткой. И я проснулся, не помня этого мига яви, а только со слезами счастья на глазах. И с этой вот дурацкой улыбкой, что — не бойся — еще ототрется земным свежим песочком.

Смотри, как я стал легок, доктор. Вот встану на край койки, взмахну полами халата и могу взлететь. Я улечу от тебя, доктор. Теперь я один — не только каркадил канул среди вороха шелестящих листьев, как и флигелек со спящими царевнами, но и альтерэга взмыл в такие выси, откуда может только слезами окропить мои сны. Я не отпускал его, доктор, он сам меня покинул, не выдержав труда грубыми словами раздирать тонкие проколы золотого луча.

Он стал искрой и канул в синеве. Бог с ним. Ты-то передо мной, доктор, — мое отражение в кривых зеркалах, как он — в истинном роднике. Боюсь, ты достоверней и естественней его, как я, настоящий, со всеми атрибутами мужчины за тридцать, верней и естественней растекающегося по этим листам.

Знаю, что ты — мой доктор, что мое лечение — именно эта беседа с собственной мутной тенью. Но и присосались ко мне эти листы, как жирные пиявки, сосут соки. Слишком уж много к ним прилипает — мало остается на прожитье. Говоришь, лечебные эти пиявки? Может быть, ты и прав — трудно успевать поворачиваться в простом мире обремененному слишком многим. Но глянь — при-

встань на цыпочки и выгляни в заборье. Слышишь грохот будто ломовых телег? Это носятся одичавшие псы, к хвостам которых привязана чуть не вся скобяная лавка. И я уйду в заборье к этим псам, которые все быстрее несутся, подхлестываемые постоянно догоняющим грохотом.

Не задерживай меня, доктор. Ты сделал все, что мог. Стоишь, как новогодняя елка — весь в моих печалях. Как вешалка в моих луковичных нарядах. А я свободен, доктор, и ухожу от тебя нагим. Поверь, доктор, в заборье я не буду подлецом. И не оттого, что хорошо, а так, из принципа. Противясь осенним ветеркам.

Ну, дверь настезь — и давай в последний раз выйдем в эту серую зиму. Глянь вокруг — как разорен твой парк. Все вновь и вновь сходящие снега обнажают прошлогоднее дерьмо и мусор. И выются птицы под серыми низкими тучами. И — гляди: разбрелись по всему парку твои пророки, одинокие, как эти птицы. Окликнуть бы их, попрощаться, но не вспугнуть бы их единственную мысль, которая вот только что затрепетала в их пальцах. Ту серенькую певунью, что склевала их мыслишки и страхи, как мошкарку, но теперь рвется взлететь и не дается в руки. На кой им, доктор, мой привет или прощанье? Кто я для них, доктор? В какой я им вижу маску? Зачем ты им, доктор? Они тебе зачем? Что ты делаешь, доктор, со всей нашей тоской, слитой в твои пробирки? Как небесный пастих, вылепишь новую землю и новые небеса? Эти-то, видишь, совсем прохудились. Изливаются либо размокшим снегом, либо смерзшимися дождинками.

Присядь сюда, на лавку, доктор. Гляди, как одинок и прекрасен отсюда твой дом. Как бы я описал его, как воспел, но что делать, если все хоть чуть мирское просыпается в мои прорехи. Остается лишь: осень — зима, снег — дождь, небо — земля. Вертится мельница горизонталей — вертикалей, множит четверть-обороты. Все мелеет, а наскрести бы муки хоть на пирожок с мясом.

А там вот стоит флигелек, исходящий сладострастием. Да где ж он, доктор? А может быть, и не было его — просто вздыбилась от внутреннего жара почва, и марево от разопретшей земли рождало миражи? Опять молчок? Неужели ты думаешь, что нам неизвестны твои детские секреты. Это нам-то, за кем тянется уходящий за горизонт шлейф всех эпох и времен, поддерживаемый пажами, красивыми, как ангелы, проворными, как бесенята.

Взгляни на пророков, рассыпанных по парку, как конфетти неведомого маскарада. Ведь простые их маски для того, чтобы скрыть

переизбыток всего — времен и мест, небес и низин. Да явись они во всем блеске, ты сам бы первый бежал в позабытье. А ты-то, глупый доктор, думаешь, что дергаешь нас за нитки, как марионеток. Но ты попросту отражение нас всех — душ и лиц, потому пресный, как вода. И улыбка у тебя выжалась такая же глупая, как моя — отражение, я вижу — отраженье. Погоди, не обижайся, доктор, я не договорил: и целебный, как чистая родниковая вода. Водичка нашего безумия и спасения.

А теперь, доктор, извини, но я погляжу вверх, вскину взгляд по тому черному дубу, который вечно в дурацком танце — руки в боки. Скользну вверх по лучу, едва видимому за пеленой мокрого снега. Обращу последние слова к альтерэге, который где-то там выше выси. Ох, доктор, может ли он сам знать, где он, если он там, где плотна завеса для знания? Может, он ниже низин. Но только вверх мы будем посылать свой взгляд, доктор. Запомни — только вверх.

## ОТВЕТ

*Дорогой друг, высоко ты вознесся, но и туда донесется мой голос. И еще много близких нам голосов. Иначе зачем же выси? Ты отпускаешь меня, но я отпустить тебя не в силах. Я не властен над крепко связанной нас с тобой паутиной. Не порваны еще цепи земли, и долго еще будут крепки.*

*В чем я тебя упрекну? Что ты был плохим бухгалтером, не учел, просыпал все золотые уколы? Не нашел достойного названия каждому? Неверной рукой, расплывающимися чернилами писал сигнатуры к склянкам с небесными соками? Но ведь мне надо было от тебя лишь добросовестного наивного поиска. И ты был добросовестен, ты был наивен — все, чего не хватало мне, когда я метался в тенетах осени, в западне, и один луч сиял мне надеждой. И внутри этого луча ты витал, как пылинка. И луч уже не был мертв в своем совершенстве. Это был мой луч, луч мне.*

*Посылал бы я тебя в нутро, вглубь, ввысь на поиски нового? Все там старо, как мир. Все там изначально — в звуках, в свете, в молитвах. Как все шарахнулось и попряталось в темные закоулки от потока твоих слов, может быть, и нежных, но куда грубей самого грубого в нутре. И все ж я узнал на ощупь, на грубую ощупь, когда миг истирается тонкое, что там мир и ярость, порыв и покой. Что*

там храм всех богов и единственного. Что там беззвучно прорастают колосья на кучках сопревшего хлама, что там нетронутой стоит комнатка, куда просторное окно изливает весенний свет. Запылилась она, эта комнатка. Так и вьется в рассекающем ее светлом столбе таинственная радужная пыль. А на постели там спит младенец, и ясен его сон. Ты прошел своим робким, но бестрепетным шагом по гулкому храму нутра. И шум твоих шагов разбивается с хрустальным звуком. И ты шел по хрустальным дребезгам, когда ноги в кровь.

А мне был покой от этих звуков. Жило нутро, а в нем — свой. А прежде и благодать оборачивалась тревогой. Мне бы тут, в зимнем мире, искать новизны, но то ли я плохой археолог, то ли она исчерпала себя, развеялась в пустоте, сама стала запустением. И остается только приколачивать вечно отдирающийся задник теми гвоздями, золотыми гвоздочками, которыми прежде был истыкан весь небесный свод.

И хороши, альтерэга, были твои картинки. Я почти видел золотой престол с протянутыми к нему сверкающими цепями. Но, может, лучше было бы и без них вовсе? Что-то у тебя вышло индусское. А какие мы индусы? Какой или какая мужедева? Мы как раз между створками раковины — создателем и разрушителем. И когда еще они сомкнутся. Признайся, друг, вовсе не было мужедевы просто блеск новогодней мишуры, ярких шариков нашей детской елки. Так и не увиденный нами бал.

Но я благодарен тебе, что хоть одно ты оставил тайной, не раскрыл наш детский секретик, как последний ябеда. Ты деликатен и мудр, альтерэга. Я не равняюсь с тобой, мой слуга. Ты не стал разжимать руку младенца, чтоб отнять у него жемчужину, и прав: жемчуг умрет без детского тепла. А так его свет просочится сквозь детский крепко сжатый кулачок.

Теперь для тебя невозможны падения. Я же буду падать раз за разом — вопрос, перед чем пасть, — пока не паду перед ногами исполина, что выше всех небес. Не падай, альтерэга. Спустишь сам, сойди ко мне, оберегай, как прежде, мои сны. Снова стань моей шубой, согревай, упасай меня от стужи мира. Гляди с вершин, как я продрог, сидя рядом с доктором в одичавшем парке, где пляшут витиеватый танец корявые деревья. Где бродят одинокие обломки маскарада. И вот черный песик робко жметя к моим ногам. Упаси всех нас, альтерэга, хлебнув глоток света в своих высях. Я освобождаю тебя, вырываю твой язык единым махом — будь же, как прежде, нотой и запахом и будь всегда со мной. Прощай, альтерэга.

Гляди, доктор, как плавно падает с небес розовато-жемчужное облако. Как просиял весь парк. Ничего уже вокруг нет — ни красоты, ни разора. Одна дымка — розоватая с голубым. Нечто пало с небес, и грош была бы цена небесам, если б они не признавали таких падений. А наша беседа иссыкает, доктор, именно тогда, когда я готов высыпать перед тобой целые россыпи золотого песка, только горсти подставь. Пророс только самый хилый колосок, мне удалось его прорастить. Но уже не мое дело вылушивать из него золотые зерна.

Необычайно окрепла за эти сто мучительных дней моя рука. Скользит по бумаге, выписывает кренделя, вжившаяся в жизнь настолько, что остается почти одно упоение своими ловкими антраша. Небеса почти перестали одарять меня бессилием. Значит — конец пути.

А посмотри, какая широкая дорога простерлась перед нами, только неизвестно, куда она вильнет на туманном горизонте — вверх или вниз. Я не пойду по этой дороге — брошусь под откос, где вольная снежная целина, где бездорожье, страх и надежда. Где луч — смерть и возрождение. Я чуть ли не овладел своей рукой, чуть ли не наступило губительное равенство самому себе. Именно то, что убивает, марает чистоту письма. Я чуть ли не вообразил уже себя творцом. А ведь чистый лист безвременья и бегущая рука — только лишь для творенья. Для творцов же — незаренный хлам: то, что я имел в избытке при зарождении моих ста дней.

Теперь я чуть ли не совпадаю сам с собой, лишенный зазоров, куда вливается мрак и свет. Тягостно, тягостно было бродить во мраке, как я вымаливал себе предвиденье. И я его вымолил. Я уже не слепец, блуждающий ощупью. Я — зрячий, со свежестью взгляда только что прозревшего. Я все хорошо вижу. Взгляни и ты, доктор, как ясна округа и четок каждый силуэт. Гляди, пока не померкла эта четкость, оплетенная паутиной познанных связей.

Я не слепец, потому и пропало мое исключительное чутье к запахам и звукам. Гляди — простерлось вокруг будущее моего письма. Достойно ли меня обводить уже написанное наперед? Я не шулер, доктор, — брешет твой завхоз. Пусть весь мир исстрадается по фальшивке, я своей рукой не испорчу ни крупички небесного золота. Да и не верю я в пошлость мира. Не верю, доктор. Не верю. Он желает фальшивок, а жаждет света. Мир размотал свои фальшивки и сейчас за чистое золото душу отдаст. И он прозреет, ототрет свои глаза от ненастоящего блеска, который всегда золотей золотого. А я пока подожду, у меня есть время, доктор. Подожду еще сто дней,

и еще сто, и тьму дней. Проживу их все, до единого мига, пока не капнет в часах последняя песчинка. А тогда уж смогу ждать без ожидания эпохи и несчетное количество времен.

Я опорожнил перед тобой, доктор, одну из своих кладовых все скопленное за десятилетия валил у твоих ног на рыхлый снег. Я не устыдился подлинного, не скрыл и фальши, и безвкусицы. Или ты думаешь, что за века моего проживания не налипло на меня, как на детский снежок, земной грязи? Грош была бы цена такому ненастоящему проживанию. Вся моя фальшь и мура — гарантия верности и истинности. А если чего и утаил, то лишь боясь за крепость твоих стен. И я при этом шулер? Врете.

Гляди, окрепла рука. Как не мечись, из этой-то западни уже не вырвешься. Перо так и искрит от трения легковесными парадоксами. А я не в силах допустить фальши, искусственной слабости. Пора уйти, смести единым махом мой путь, размести легкие облачка, замести следы, уйти туда, где целина невозделанных снегов и таится озимь.

Тут и спасет меня время — мой брат и моя сестра. Хрящевеет невидимый хрящ. Невидимо, бесшумно и тайно изменяется время, пульсируют тайные соки в невидимых подземных канальцах. И я изменяюсь невидимо и постоянно. Сам же не увижу своих прошлых следов.

Снова слепцом побреду по снежным долинам. А слепцу в руки даются те самые перловицы, которые узнаются только на ошупь. Ты прости, но ты мне уже не нужен, доктор. Сидишь неподвижно, как кукла, как манекен. Подставил воронку уха, чтоб в него вливались мои речи, и молчишь — не даешь ответа. А нутро-то твое пустое. Поверь, доктор, я уйду от тебя в нетронутые снега. Не избавлю себя от ноши, от труда, которым искуплю своеволие своего порханья в прежних высях. Чего о них плакать? Мы за теми присуждены к земле, чтобы заслужить выси выше прежних. Вот каким изгибом, петелькой обернулась небесная прямизна. Нам надо вживаться в жизнь, а не в проживание. Есть ли смысл привыкать к такой недолгой для нас земле? Поверишь ли, что откажусь от дерьмовой уверенности письма? Поверишь ли, что откажусь от дерьмовейшей уверенности в жизни ради просторов белоснежного поля? Самому-то не верится.

Вставай, доктор, хочу последний раз поглядеть на ту келейку, где, несмотря на выбитое окно и спаленный забор, я хлебнул чуть покоя. Что поделать, доктор, не в твоих силах нас совсем оградить

от хмарной мелочности жизни. Она лезет в каждую щель, которые не замажет твой завхоз. Все было в этих суетливых и мелочных днях, полновесной сотне: помои прям-таки ведрами опрокидывались на мою не склоненную голову. Но ты дал мне зеркало небес, пусть крохотный корявый осколочек. И ничтожное перемололось в небесную муку.

Мелкое отразилось в вышнем зеркальном осколке. Ничего, доктор, ответеся шелуха этих дней и останется только эта вот келейка. Гляди, как чиста — пустая и гулкая, как опустевший храм. И оконная крестовина по-прежнему прибита над дверью. И горит луч на золотом гвозде, который на перекрестии. И пол устлан листьями — запах прели, как в детском лесу. И змеятся, перекрещиваются на стенах легкие трещинки, как морщины на любимом лице. Временный приют, доктор. Фата-моргана — дунь, и нет ничего. Она будет жить, доктор, в глубинах нутра. Будет еще один зыбкий мираж моей белой степи. И те миражи будут жить, доктор, когда и плотное развется в прах.

Пойдем, отойдем от пробоя. Все — конец келейке. Я не перечитываю своих старых листов. Ах, ох, сны, страхи, неизвестно откуда взявшаяся слеза — вот их удел. А мы будем глядеть вперед, вперимся в бескрайние пустые горизонты, будем слушать прорастанье трав.

Красно я говорю, доктор? Слушай, доктор, слушай, может, я впервые не устыдился красивого слова. А, впрочем, можешь уже и не слушать. Просто разогналась моя рука — брызжет снопами искр на чистые листы. Смотри — бумага в подпалинах, рыжих пятнах — курится, тлеет. Сгорели б листы, чтоб рука только месила пепел. Смотри — разогналась, не скоро ее уймешь. Иссякнет ее бег, только когда грянет последний сотый день. И тогда только по воздуху она будет вычерчивать вензеля. Воздушное письмо, стирающиеся следы — вот что нам надо, доктор, это и есть жизнь.

Я дал себе сто дней, но не в ожидании Ватерлоо, — оно для меня, сам знаешь: крупинка в каждом миге. А просто, доктор, потому, что я слаб в счете. А есть ли чего неопределенной сотни? 0, 100 — такой мой счет. Был один ноль, а теперь целых два зияющих пробоя, ока. И вертикальная палочка вначале, палочка вверх. Вот и разгадка. Хорошая разгадка, только что придумал, не вру. Среди некоторых заготовленных экспромтов это-то подлинный.

Тебе она не нравится? Ты, небось, ждал Ватерлоо. Или ты ничего не ждал, доктор? Если ждал бойню, то не дождешься, если же ничего — не буду больше тебя обременять ненужными разгадками. Утаю

остаток карт под манжетами, как шулер. Оставляю тебе лишь голое пространство и воздушные вензеля. Ты усвой мои пассы, доктор, и ты всех излечишь, хоть памятью об одном излечившемся. Но вот, и это после всех моих слов. А может, ты просто дурак, доктор, твое молчание, твой таинственный и значительный вид — а под всем этим вагон тупости. Не обижайся — собственной же моей тупости. Собственного же моего мошенничества. Что ты мне тычешь, доктор? Зачем суешь эту шуршащую кипу? Фу, какие каракули — корявый след моих лягушечьих полетов. Или это упрек, доктор? Или деликатность, доктор? Или тоже проклятое недоверие к моему слову, к слову вообще, слову написанному? В этом я тебя не упрекну: загубили себя написанные слова — когда рука скользит по бумаге, ее так и тянет ко лжи. Но я же ясно сказал, что не перечитываю своих старых листов. Не исправлю ни слова, ни знака. Пусть каждый из ста будет именно тем днем — днем тоски или радости: именно той тоски, той радости. Пусть листы эти цветут теми невозвратными днями. А иные дни — иной смысл. Неужели я буду правей сейчас, чем в миг вспышки или отчаянья? Ты предлагаешь мне стереть лепет первых страниц, заменить его зрелостью. Но ведь это все равно, что отказаться от детства, волшебной кладовой.

Говоришь, лепет? Ну что ж — я не самолет вертикального взлета. Легко взмывающее легче и падает — мой опыт тому порукой. Все и начинается с лепета — зуда души и десен: зубы прорезаются. С болот, где только и водятся заветные перловицы. А потом — зрелость: уверенная рука, изошренные курбеты на льду, целый ворох истин. А перловицы — ни одной. Оттого мне милей лепет. А когда лепет изошел — укрепилось слово, тогда-то и оборвать путь. Тут-то фигуристу, взмывшему в замысловатом прыжке, не возвращаться на лед, чтоб дальше вычерчивать узоры, вдруг взлететь чайкой и больше уже не вернуться.

Пускай путь остается путем. Снизу вверх — так не наоборот же. Впрочем, кто разберет? Я уйду, покину твой парк, а мой путь останется тебе на память. Давай сюда листы, все до единого. Я порву их. Так вот, вот так, поперек и вдоль. Распушу их метелью бумажного сора, размечу, как снег, по парку. Гляди-ка, доктор, что это с ними? Не рвутся листы. Крепки, неотвязны, корявые вензеля прикипели к бумаге. Но ты ж знаешь, доктор, я упорный. Все равно изорву листы, располосую их на самокрутки. Чтoб они воскурились благовоным дымком.

Сожгу, пережгу, как осенние листья, весь бред. Всю мерзость безвременья. Поймаю лупой своего глаза небесный луч и направлю на осеннюю прель твоего парка. И мы с тобой вдвоем, нет, не вдвоем, — кликнем по палатам всех твоих психов и гениев, весь дурдом соберем и будем плясать, бесноватые, вокруг этого костра. Мы устроим настоящий карнавал, карнавал без масок. Карнавал подлинных страстей и радостей, смертельных угроз.

Я пришел в твой дом за безумием, но небо мне в нем отказало. Вернуло один лишь детский лепет — то безумие, в котором никому не отказано. И всяк может себе его вернуть. Как раздалось предавшее нас время, каким отдаленным стало ближайшее, но прежде отдаленное прояснилось — ибо хорошо видать с этого нашего лобка, развернутой ладони. Даже звезды мушками выются перед носом. И во все стороны виден раскрытый мир. Ямы с серными испарениями тоже раскрыты и воняют на всю Вселенную. И полно перловиц — лишь покопайся в жидкой слякотной грязи. Не брезгуй — ее замесила чистота зимнего снега. Он растаял, чтоб, став водой, оросить поля.

Да, буду повторять десяток найденных слов, бомбардировать ими и небо, и землю. И ты слушай, слушай, доктор, ближе подставь раковину своего уха. Слушай, доктор, эти слова победят: небо, земля, луч, колос, зерно, снег, сокровище, хлам, золото, тоска, надежда, безвременье, перловица, полет, паденье, ноль, сотня. И еще мелочь — от сокровенного прокола, называемого 0, до полновесных 100. Да, я позабыл еще потерянные выси. У каждого ребенка своя сказка — у меня такая.

Потеряны небесные слова, забыт прежний санскрит. Очистим же теперь хоть десяток, сотню простейших слов и пустим их в небо белыми ласточками. Это слова моих молитв. Легкокрылые «ах» и «ох», пусть огрубленные шероховатостью бумаги, неверностью моей руки. Пускай, пускай — грубей, жальче: тем легкокрылей они взлетят с листов, которые истлеют же когда-нибудь, как истлеем и мы, как поблекнет даже эта блеклая осень. Мы грубым абразивом отшлифуем зеркало небес. И мы уйдем в эти просветленные зеркала. Мы разведемся легким парком, а его влага оросит землю.

Как ты истончился, доктор. Таешь прямо на глазах, вот-вот взлетишь. Где твой насмешливый взгляд? Как ты серьезен. Уж не поверил ли ты мне, старому шулеру? Готов довериться моему слову. Прежде ты был не так внимателен, а теперь развесил уши. А ведь слабое слово было истинней, пока его не повлекла родившаяся

форма. Она убедительней, я знаю, чем тонкая игра на самом ребрышке. Но не верь моему окрепшему слову, тленному и лживому, как все слова. Ведь все это шутка, доктор. Длинная тяжеловесная шутка, как вся жизнь. Детская игра, как вся жизнь, из полупустого в почти порожнее. Игра на той песчаной косе, куда воды вынесли ворох хлама и игрушек. Не было ста дней. Как бы я их сосчитал, если для меня давно срослись дни и ночи? Сколько я у тебя провел — месяцы, годы, века? Ты-то их способен сосчитать, доктор?

Не верь ни единому моему слову, не верь взгляду, заплывавшему в неведомых равнинах, не верь руке, тщетно пытающейся запечатлеть ускользящие миражи. Какой-то умник наверняка скажет, что я — это я. А похож ли я, взгляни, на эти листы. Сколько их еще во мне. Сколько еще лжи и чуши, сколько робких видений, мяса, жил, костей. Я — не я, доктор, разве что робкий шажок к себе. А иногда — от себя, в белоснежные неведомые степи. Неверный портрет с еще более неверного оригинала и времени, которое еще более неверно. Так не верь же ни моей глупости, ни пошлости, ни бездарности, ни таланту, ни робости, ни мастерству, ни уму, ни шепотам, ни крикам. Молитве моей верь, странный доктор. Верь в ответ небес. Нет — в ожидание ответа. Тоске и надежде верь. Верь скуке и томленью, верь радости. Верь, что я существую, как я верю, что существуешь ты.

Давай в последний раз, теперь уже действительно в последний раз, пройдемся по парку, мне его уже вовек не видать. Будут иные времена, иные парки, вехи, страницы, другие доктора, а ты уж останься тут. До тех пор, когда все «я» сольются воедино. И предстанем мы — и ты, и я, и альтерэга, гении, психи, наполеончики, звездочеты, философы, убийцы, верещащие ублюдки-близнецы, каркардилы, невинные младенцы пред чистотой небес. Сальными пятнами заляпаем небесную синь. И будет среди нас один, спящий, с маленькой жемчужинкой, зажатой в детском кулачке. И он спасет нас, будем верить, спасет.

А пока же повторяй, доктор: небеса полнзвучные, небеса чистые. Мильон, мильон раз. И психов своих научи, собери по парку обломки маскарада, возроди флигелек, таинственный флигелек, где так много гибели и жизни. Выйдите в этот холодный парк, вот так вот сложите руки. Всей толпой в разнообразных нелепых нарядах. И вторьте, вторьте. Не громко, но четко. Как угодно, но легкокрыло. И ваш шепот озарит мои темные ночи. И буду я ближе к небу

и себе, изгону лжеца, и потеплеет хмарное время. Ведь единственная крохотная свечечка, лампадка — уже не один мрак.

Ты сделаешь так, доктор? Скажи да или нет. Что ты как язык проглотил, доктор? Да не бойся же ты слов, как я убил страх перед ними. Есть мир, и нам проживать его, корчиться, как червям, стараясь не просыпать ни единого зернышка из данной нам щедрой рукой золотой пригоршни.

Уже след сгоревшего забора. Как прост шаг через него. Как труден был шаг в него. Нет оград — есть только парк, где природа так и не решила, осень она или весна. Где и мы ничего не решили, доктор, пока я метался по парку и по келейке, пока бредил альтерэга, цепляясь за золотые вешки. Ничего не решило и время, лишь наливался неведомый хрящ. И мне прошупывать его, доктор.

Ну, скажи что-нибудь, хоть напоследок. Молчишь, только твои белые чистые ладони взмывают вверх наподобие белых ласточек. Осеня, отпуская, призывая. Что, доктор? Ни звука. Прощай.

Вот так-то вот.

*Октябрь 1984 — январь 1986*

*НОЧКА*

Как начинал ты, так пребудешь.  
*Гёльдерлин*

Вот ты уснул, сынок. А я присяду рядом и расскажу тебе сказку. Длинную запутанную сказку, которая и есть жизнь. Гляди — ночь вокруг, нежная летняя ночка. Я расскажу тебе про эту ночку, а ты спи, не надо меня слушать. Долгой она будет, и мой рассказ будет долгим. Он сам проникнет в твои сны, мой сынок, мой мальчик. Это будет сказка для маленьких детей и для новорожденных эпох, сказка про тебя и про меня, про тот мир, что за темным окном, и про тот, что существует в этой спальне. Великий сонный мир детства, бурлящий могучими силами. Сказка о тайной смене времен, которые выковываются в ночи золотыми молоточками. Сказка о тоске и счастье, без конца и без начала. Без героев, без сюжета, как бессюжетна ночка, но вся она — сюжет, — без окончания, мой сынок, мой мальчик.

Тем ночные сказки отличаются от дневных. Там только шорохи и тени, страхи: маленькие, легкие, и величайшие угрозы жизни. Там надежда и счастье. Многого ты не поймешь, да и не надо, — каждое мое слово тебе потом разъяснят твои сны. Да поможет тебе мое слово. Спи, и тебе приснится моя сказка, которую я называл «ночка». Ночка, ночка... Ты, сынок, сосчитай — сколько раз я произнесу это слово. Это я призываю, заклинаю ночку, вечную ночку мира. Единую и розную, как сон без сновидений.

Отыскиваю будущее своего письма. Темны небеса и чист белый лист, простершийся предо мной. Так он чист, будто и не жил я в своей жизни, не отсидел со своим странным героем в застенке, охваченный плёвой, но невыносимой оболочкой нуля. Не бредил с другим в дурдоме, украшенном гербами. Сколько раз я сжигал свое

прошлое, всего себя, фьють, — сдувал собственный пепел с ладони, и — снова младенец, все заново, мой сынок, мой мальчик.

В двух колодцах я обновился дважды. Ныряю и в третий колодец неясных времен. И пока — снежная степь, ветер заметает все следы. И я — заплутавший ребенок в этой степи. И то хорошо, что я достиг истинного незнания этой степи, где начали прорастать робкие подснежники, готовые тут же поникнуть под холодными ветрами. Я задаю вопросы гулкой степи, и ответы приходят легкими ветрами и зудом души, на том языке, мне истинно незнакомом. Разлетается моя рука от горизонта до горизонта и заплетает невнятный узор, — это мое письмо.

Несправедливо: неужели я, случилось, приходивший от самой незамысловатой жизни в восторг до поросычьего визга, всю жизнь свою должен коротать в невнятном времени, выпить его до дна, и даже последние капли вылизать с песчаного ложа? А, казалось, я рожден для восторга и ужаса. И что же, сумел найти в хмарных, слякотных временах, себя, потерявшегося ребенка. Или они и есть времена восторга и ужаса, только в единстве и невысказанные? Слитые до сероватой телесной жизни? А раздели их, так та же эпоха заржет и взвояет. Изобильна эпоха перемен, — все тут крупно, размахнулось на вселенную. Да, это крупные времена смены эпох, мой сынок. Великие времена всевластной воли небес, — ибо мы сами бессильны.

Я младенческим криком орал славу глухим и немым временам. Роскошными громами отвечала мне степь. Поверь, мой мальчик, что были времена чистой музыки, и я был одним из самых добросовестных ее слушателей. Сошлись два незнания — себя самого и эпохи, две темных ночи, освещенных лишь двумя неведомыми лампадками. Из двух незнаний родилось знание. Именно на хлипкой грани двух затиший, в вечерне-рассветном сумраке, на тонюсенькой оболочке всех цветов радуги живет мое письмо — и там останется. А когда иссякнут туманные времена, сметут его с ладони, как пепел сгоревшего листа.

Пришлось мне стать ходатаем за все потерянные эпохи. Что мы сумеем понять, если пол-истории просыпалось у нас сквозь пальцы? Смыслим ли мы в громах, если позабыли о затишьях? Надо, надо взглядеться в хилые времена, поймать потерянную нить. Хоть бы взглядимся вот в это, еще не ушедшее, теплое, как не остывший труп. Все мы вышли из него, все мы его дети.

Я благодарен, что дано мне пожить в неясное время. Благодарен, что есть у меня рука, способная ухватить пустоту, применить то, что один только пшик и душевная мука. С восторгом я предвкушал наступление своих времен, а получил свое безвременье, — но щедрый его кусок отпустила мне щедрая рука. Я один в пустыне, я там потерявшийся ребенок. И нет мамы, и никого нет вокруг. Но, поверь, я веселый человек, мой сынок, мой мальчик, — только ночка отбросила тень заботы на мое лицо. А у меня-то всегда есть за душой на ломаный грош надежды.

Эпоха уже почти родилась, почти кануло безвременье. Родилась, конечно, но какова она новорожденная? Действительно ли она будет радостью? Или потому нам и глаза заволокло пеленой, что ждет ужас несусветный? Храню свой грош в подкладке рядом с сердцем и охотно поделюсь с тем, у кого вовсе ничего нет. Подходите, берите. Я тут пока присяду на перекрестке всех путей, паучьих нитей, поджав ноги. Буду глядеть, как паром уходит ввысь безвременье. И небеса его принимают без звука и шороха в свою пустоту необъятную, как принимают любую эпоху.

Ну, посижу, а куда идти дальше? Нет проложенной колеи — остается только вихлять по этой степи, стараясь собрать остатки смысла уходящих времен. А потом все — тихо иссякнет мое письмо, кончится мое затишье. Развеюсь я сам и в миллионный раз обновлюсь. Скрою себе рубашку, которая защитит от вселенских ветров, а то — выкую латы из стали, крепче нет. И кончится мое затишье, великое и тяжкое для меня. И продолжится моя жизнь, мелка и нетороплива, — та, о которой я мечтал, которую я удержал бы в своих цепких пальцах, если бы не волшебное зернышко, ни деревце, разрывающее мне пуп, чтоб ходить кишками наружу. Да нет, пожалуй, и не хочу уже мелкой жизни, — привык к другому, готов расстаться со своей мечтой.

Куда я иду? Мой взгляд — только в небо, путь — к горизонту. За его кромкой обитают великие силы мира. Шагаю я по своим сновидениям, так как нет пока еще только завязывающейся яви. Но вот беда — в последнее время ко мне уж не приходят сны. Когда царила глухая ночь, мои сновиденья были нежны и прекрасны, — отчетливый, чеканный мир в них властвовал. Когда двинулось к рассвету, мои сны обернулись кошмарами. Вот скажи, почему, сынок, мой мальчик? А теперь и вовсе нет сновидений — одни черные провалы, после которых не остается ни слезы, ни радости.

Не пускают меня в царство снов. Может, потому, что сам я отказался от предвиденья, пригасил пронзительность взгляда. Не надо мне сегодня завтрашнего. Да завтрашний свет я все равно почую, залучится он на моем медном грошике, — а завтрашняя мгла, к чему мне? Только своей руке я оставил право забегать за горизонт. Будущее пускай живет во всем теле, нитях его пронизывающих, по которым токи бегут цветными искрами в грубом волокне наших радостей и печалей.

Пока присяду прямо тут, в диком поле, на перекрестке путей. Сюда-то и слетаются голубками живые души темных времен. Снег хлещет в рожу, забивает глаза. Зато птицы садятся на голову и на плечи. Я, как огородное пугало, весь в щебечущих птахих. Серенькие они, неказистые, — проворные клювики, привыкшие выклевывать зернышки, цапать червячков. Но — робкий всплеск крылышек, провидческий щебет. Давайте, птицы, вглядывайтесь своими бусинками в пустую степь. Вы и есть птенцы этого запустения, научившего вас робкому полету. — Смотрим, смотрим, — щебечут птицы, — все видим. Но нет тому названия на их птичьем языке. Видятся ли им музыкальные бури, огненные столбы до небес, разрушение миров, матовые жемчужины раскатившегося ожерелья? Или одна лишь голая степь — бездонные провалы спокойных глаз, что, как пара солнц, пара лун поднимаются сейчас над горизонтом? — Все видим, все.

Я один в холодной степи, облепленный серыми птахами, которые меня согревают чуть тепленькими телами. Но я знаю, что рядом где-то, — только затаились до поры — души тех, кто понял безвременье, не упустил разора; кто теперь богат, как цари. Я наклоняюсь к степи, разгребаю снег, чтобы разглядеть поближе крошечные городки, прорастающие теми же блеклыми подснежниками. Обдираю руки об игольчатый, как еж, городок-сталагмит. Он хрупкий. Растираю его ладонями, которые становятся в темном налете. Нюхаю руки: пахнут они страстным, отчаянным неземным запахом тех высей, где мне приходилось витать, и который на земле так редок. Втягиваю каждой ноздрей этот душок, чуть смахивающий на ладанный.

Мне, всю жизнь проплутавшему в грубых и ненужных словах, даны звуки, запахи и цвет, какие-то мерцанья. Это и были короткие миги яви среди моего вечного сна. Может быть, потому и опустели

мои сны, что сновиденья вышли наружу, чтобы заселить пустую степь. Долго не выдержать пустоты, мой сынок, мой мальчик. Населили широкую степь бессвязные образы, а сон расчищен для настоящей жизни. Может, и так.

Увы, что поделать, если просмотрена до дыр вся горизонталь, и она вся уже истлела, — расплзлась, как ветхая материя. Все в мире замусолено взглядами, пристальными нашими глазками. Нет уже мира, и жизни нет, одни мерцания там и сям. Печальное небо повсюду: и вверху небо, и во все стороны, и под моими ногами опять небо. Выгнулась горбом степь — низина стала Тянь-Шанем. Месим небо запыленными ногами, пыхают паром круглые облачка, как пересохшие дождевики.

Когда подрастет новое, скажи, сынок? Ты сам еще новенький, ты знаешь. Как ему помочь? Я готов последний свой грошик бросить в общую копилку. Благословлю любого, кто выйдет на бой с хаосом существования, кто б он ни был. Я ль не с теми, ощутивший земное запустение всем телом, до кончика мизинцев? Так, что моя ненависть к нему чуть ли не сравнялась с любовью, едва не достигла страсти. Могу ль я, рожденный для радости, для любовного разглядыванья мира, полюбить разор?

Как я желаю победы тому, кто мечется по этой суровой Ламанче, разнообразной, как мозаика, потрясая заржавленным копьем. Правды мы захотели? Но не встанет ли поперек горла правдивый мир? Не повалятся ли фанерные стены? Как может быть страшна правда погрязшего в хаосе мира, сейчас чуть смягченного дымком нашей дремоты. Как жаждем мы правдивых слов, но слово-то и есть слово, не больше — не меньше. Только б не принять за правдивые слова замусоленные истины, — нет нужды, что их замусолили втуне. Они и так тихо воссияли над миром, а может, уже и погасли, как вечернее солнце, мой сынок, мой мальчик. Дадим созреть правде будущего дня, — созрев, она явится сама собой, небеса спустятся на землю. Но я с тобой, одинокий боец, — ты такое ж, как мы все, порождение странных времен, не смирившийся, избыточный и напрасный. И все равно мы победим, мой мальчик.

Я ишу подснежники. Обжигаюсь о пылающий золотыми луковками городок. А потом осторожно, по одной, снимаю птиц с головы и плеч, и сдуваю их, — опять же по одной, — с обожженной левой ладони. Утихает метель, — не настоящая, а как в стеклянном яйце.

Не защищает от холода моя мешковина — накрепко сплетенная сеть. Очистился горизонт и так теперь близок, что, кажется, ухватишь рукой. Тянусь, а он ускользает, как стыдливая девушка. Но и рука вслед за ним, — по локоть уходит в нависшие тучи. Тут загораются пять солнц разом: четыре по концам света и одно на небесном куполе — ярчайшее из всех. Как изящно была окрашена степь всеми пятью. Одно стелило по земле зеленоватый легкий свет, другое накладывало поверху чуть розовый, два других — голубой и сиреневый, а верхнее — сияло блеском неземным. И неказистая земная подстилка стала жемчугами, — я ходил по жемчужинам. Тут я начал расти, и вскоре небесный купол подпер головой, а моя земная кожурка, лопнув, как барсова шкура, повисла у меня чрез плечо. Тогда, вместо резвых птах, ко мне с небесной вышины слетела другая птица — гриф, невероятный по величине и дерзости. Как мать-ночь он мог раскинуть крылья из конца в конец вселенной. Железные когти были у грифа, обожженные крылья, клюв — золотой, глаз — рубиновый, а другой — подернут пленкой. И отчаянно трудно было вынести его рубиновый взгляд. Поверь, мой сынок, мой мальчик. — Присядем, мой мальчик, мой сынок, — сказал мне гриф, — долга ночь, скоротаем ее вместе.

Я, с трудом согнув свои глиняные ноги, присел на соседний Тянь-Шань. А гриф — у подножья, прижавшись к моей ноге. И оба мы отразились в разлитой внизу голубоватой водице.

— Помнишь, мой сынок, мой мальчик, — спросил гриф, — как в городе вдруг появились белые голуби? Стаями, как в Венеции, сажались они на площади. Все твоё детство было осыпано белыми перьями, как хлопьями снега. А я все помню, мой мальчик, помню голубятню, ту, на заднем двореке. Она стояла на вершине горы повыше этой, — тонкие солнечные волокна секли ту вершину и так, и сяк, и сикось-накось. Все яйца были белы и только одно — черно, как уголь. Один за другим проклевывались мои братья из белых яицек. Только мое росло и зрело, стало больше всех. Мне одному некуда было торопиться, мой сынок.

Не буду врать, гриф, трудно мне отыскать в сокровищнице моих сновидений даже и твою сверкающую голубятню. Зато и я храню черное яйцо. Оно было треугольным, гриф, не смейся. Я вырос там, где родился великий творец, зародился огромный тоскующий дух — отец нашей эпохи и будущих времен. Соседняя с моим домом улица была названа его именем, звучащим, как достоянье иль стон. — Ах,

мальчик, он лишь одно маленькое перышко, черное перышко из моего хвоста. Гляди, вон — с мясом вырвано, там, где сочится кровь.

Но ничего я не смог разглядеть в черном подшерстке грифа. Много чего я помню, мой гриф. Помню мостовую, еще булыжную, — по утрам меня будили тяжеловозы, развозившие утреннее молоко в звонких бидонах. Три булыжных улицы отсекали треугольник от мира. Одна была тиха, как мой тогдашний вздох, вся загаженная голубями. Вот и вспомнил — да, именно там и стояли рядом голубятни. Белые голуби садились на мой подоконник, и я просыпался под голубиное курлы-курлы. По двум другим улицам звякали трамваи. Там, в этом треугольнике, двумя углами упирающемся в наш суровый ложноклассический дом, зародился дух из духов, перевернувший вселенную. А я только чуть пригубил чашу, исполненную его силой. — Но ведь я, мой мальчик, свистел с каждой ветки в том отрубленном со всех сторон пространстве тоски и надежды.

Ну, помню, гриф, помню твои черные крылья, опущенные на ту частичку города. Но я боюсь своей памяти, не бери ее понапрасну. Твои черные перья сыпались мне на голову, пеплом, черным снежком припорошили мою раннюю явь. Проклятый черный гриф, ну что ты ко мне привязался? Он откинул свою голую шею, какдохлый петух, — голова его упала мне на колено. — Ты жаждал обрести день, но легкая фея-ночка стояла у твоего изголовья. Я стоял — птенец, черный, как уголь. Я храню те давние места, мой сынок, мой мальчик, под своим крылом. Я несу тебя туда, где иссякли все сны — видения города и мира.

Трепыхнул крыльями гриф, и дыбом встали его перья, испуская разноцветные искры. Я пригладил рукой вздыбившиеся перышки, и снова черен стал гриф. Я верю тебе, темная птаха. Мне ли не мила та пядь землицы — моя колыбель? Она так мала и уютна, что я готов спать улечься прямо на булыжной мостовой, на каменистом скверике, на этом детском местечке, теплой ночью, под твоими простертыми крыльями. Я знаю тебя, гриф, ты — теплая ночь моего детства.

Гриф дремал, только рубиновый глаз посверкивал. Ты просто ночь, гриф, даже не ночь, а теплая детская ночь — гадкий утенок, черный цыпленочек, — дающая бархатную глубину вселенной. Эта маленькая ночь задела меня своим перышком. Я ведь почти понял тебя, великая ночь мира. — Ну и возомнил ты о себе, человек, мой сынок, мой мальчик, — и гриф на миг взмыл в небо и застыл на высокой туче, распластав крылья, словно прибитый к ней золотыми гвоздями. А потом осыпался и зазвенел у моих ног блестящими мо-

нетками. — Тебе ли раскрыть смысл хоть одной ночи, хотя б одного рассвета? Гляди на этот мир, — и он крылом обвел все вокруг, — он даже не перышко, а кончик мельчайшего из моих перьев. В детской ночке дремлют тайны всех миров, мой сынок, мой человечек. В ней великих мгновений что песчинок в стеклянных часах. Все ваши эпохи роскоши и запустения, лишь беззвучный их перебор. Приглядишься ко мне, мальчик, послушай, как бьется мое сердце.

Я посадил грифа к себе на ладонь, от него несло сладким потерянным запахом детства и трупной вонью. Тихо и неровно билось его сердечко. Я распушил его перья, все в павлиньих неподвижных глазах, а кроме этого ничего не увидел. — Ничего не видишь, дурень, а там, в моих перьях живут крошечные кузнецы, кузнечики твоих ночей. Они выковывают золотую цепочку времен и эпох, все миги летней ночки куют шикарно и единственно. Снизу его крылья были нежны и белы, как лебединый пух. — Гляди — там темные точки кишат, как блохи. Это переломы времен и эпох. Тогда-то ночь делается густой, как никогда. Взгляни на этот светящийся в ночи треугольник. Там я даровал вечную ночь смятенному духу. Как он метался, как сбивал и пахтал мой мрак, но я неотвязен, мой сынок, мой мальчик. Теперь уже в прах обратилось его тело, — только темная роса выпадает в том закоулке города. И на самой его окраине родился ты, мой дурачок, мой мальчик. И от тебя я не отвязусь, прости меня.

Как две тайны, две темных ночи, сидели мы с грифом рядом. Искры, сиреневые искры пробегали между нами. Я сел грифу на спину, и ты садись рядом, мой сынок, мой мальчик. Крепче держись за меня, сынок. Могуч и бестрепетен гриф — летняя ночка. Покрепче надо уцепиться за его скользкий хвост. Письмо еще в самом начале, — первые бороздки проводит рука по чистому листу. Может сбросить, скинуть в тартарары резвый бег своей же руки, — и тогда костей не соберешь. Вечно ей убежать от меня, но держаться мысли.

Спустись пониже, гриф, я еще не привык к горным высотам, еще ниже. Давай вновь разглядим этот клочок земли, присосавшийся к моим снам, как пивавка. Гляди, вон та улочка, по которой я гнался за уходящим солнцем, — думал, оно подождет меня на углу, где вечно трепыхалась драная афиша. Но, не дождавшись меня, румяное яблоко детства уходило в перистые облачка, — там, на углу, где как-то оно прощально сверкнуло на куске белого мрамора. Двое несли носилки, прикрытые простыней, белой, как чистый лист бумаги.

В этом маленьком домике — конец всем путям, вечный для всех приют. То был морг соседней больницы. И тогда, возле него, и начался я. Почему ты не пощадил меня, мой ночной гриф, не избавил от раннего кошмара?

— Прости, сынок, но ведь отчаяннее стали твои ночи, глубже и сокровенней. Я безжалостен был к твоим дням, однако ночи для тебя сберег до единой. Да, я подбросил тебе кусок холодного мрамора, плитой придавивший твое детство. То был великий миг, мой мальчик, проросший в будущее. Ведь той самой начальной детской тоской выписан больничный сад, где метался твой альтер эго. Он как две капли воды похож на этот — сад больницы, посвященной нежнейшей Деве. Вспомни, сколько раз ты смотрел на него из загаженного голубями окошка. Ты был мал, но и сад с высоты казался крошечным лоскутком: малое местечко, где зародился грозный дух, чуть коснувшийся тебя своей болью и радостью.

И этот дощатый забор, тянувшийся вдоль улицы, где тренькал и переваливался с боку на бок невероятный трамвай; где битюги неторопливо цокали по булыжнику своими подкованными деревяшками. Тот глухой зеленый забор — прообраз всех заборов твоей жизни, мой мальчик. Упирался он в тишайший цветущий переулок, по которому ты уходил поутру, навстречу выкатывающемуся из-за бульваров солнцу. По другому ты вечером возвращался к ложно-классическому дому — вслед за солнцем, убегающим в тучи. А я был везде и был всем, сынок, — и цоканьем подков, и солнцем восходящим, и солнцем закатным. — Да, я это знаю, мой гриф, карманный сгусток тьмы, величайшая ночь моего детства.

Я выковал ему из звезд золотое колечко на шею и цепочку, тонкую, как солнечный луч. Теперь прикован ко мне мой черный гриф, а я — к нему. Теперь надолго со мной моя ночь, крошечная ночь, прояснившая округу. Спи, гриф, размахивай во сне крылами. Прежде ты мне нашептывал сны, теперь мне баюкать мою темную ночьку.

Я восседал на своем Тянь-Шане, внизу подо мной расстелилась ночь, а вокруг — невероятная синь. В нее впаян черный гриф, распростерший крылья, как руки.

— Я отпечатан на этой светлой синеве, — бормотал сонный гриф, — оттиснут на ней до последнего перышка! Возьми меня за крылья, мальчик, осторожно, как пересохшую бабочку, вылуци меня из небес, и останется светлый и подробный пробел в этих высях —

след твоей нежной ночки. Отпусти меня, я устал, мальчик, — прежде я уносил тебя в выси несусветные, откуда ты падал, кувыркаясь, до последних низин. Это означало рост, мой сынок, мой мальчик. Теперь отпусти меня туда, где меня ждут, утопая по шею в облаке, мои хищные птенцы со свирепыми желтыми клювами. — Гриф дернулся на золотом колечке, звякнула цепочка. — А ты распрями свои глиняные ноги и три шага сделай к горизонту. Отыщи великие ночные силы, которыми мир спасется, мой сынок, мой мальчик.

Хрустнуло под моими пальцами золотое колечко. Свободен гриф, свободен я, но мы неразлучны. — Пора в путь, тебе ровно тридцать три, мой мальчик. Грянуло тридцать три — засветился в глубинах таинственный треугольник, неотвязный треугольник, который с тобой навсегда. А в его середине посверкивает мое рубиновое око.

Так вот — торжественно и высокопарно говорили мы с грифом, мой сынок, мой мальчик. На удивленье, сынок. Ведь я робею в жизни красивого слова — словесная труха, песок скрипит на зубах. Сколько раз я предавал тебя, таинственный треугольник, миллионы раз исхоженный мною по всем сторонам. — Не плачь, мальчик, — сказал мне гриф, — что тебе тридцать три, а нет ни подвига, ни ученья. Зато я у тебя есть — темная ночь, ночь всех ночей. Дитя запустенья, ты высветил его лучиком своей неробкой, в общем-то, мысли. Встань же и иди, ищи опор в безопорном времени. Оно хрупко, как младенец, И, как младенец не знает себя. Дитя может стать и голубем, и мраком несусветным. Спокоен и тверд вышел ты из сумеречной хмари. Неужто растеряешься в теплой ночке, ночке своего детства?

Развеялся в небесах темный гриф и обернулся летней ночью. Черный гриф, терзающий мою печень. Мы с тобой вдвоем в этой спаленке, мой сынок, мой мальчик. Чую здесь воздух высей, почти не пригодный для дыханья. А ведь одной их искорки хватит для нестерпимого счастья. Тягостны выси для непривычных. Помню, как вступил я в освещенный солнцем мирок. Кишки разрывал визг восторга, — я отогревался в солнечных лучах, продрогший в своих высях. Ласковым казалось небо, если глядеть с земли. И где-то высоко парило неведомое семечко. Теперь мне тридцать три, мой сынок, а все еще предгрозовой покой — ни сумы, ни тюрьмы. Словно берегут меня черный, будто ночь, гриф и светлый как день голубок. Зачем, для чего берегут, ты не знаешь? Так тщательно они своими перышками расчищают наружный мир, все сгоняют вглубь. И там клу-

бятся могучие облака. Все разнообразие и дикость внутреннего бытия упирается в однозначную наружу, как вершина треугольника, основание которого размыто и нигде.

Я слоист, как блинный пирог, мой мальчик — эпохи и эпохи, мой сынок. Я не в обиде на этих двух птиц, — ловко закручена моя жизнь, как любая, наверно. Светлейшим и нежным было детство, с раскиданными там и сям ночками, но это, чтобы дни были слаще. Нет, не омрачил его дух, живущий в поваленной набок горе под моим окном. Только глубже сделал и тревожней. Потом, и тоска безысходная, и вновь свет, и тоска такая, что не чаял от нее спастись. А на границе отчаянья, неуловимой, как склон горы переходит в долину, и родилось мое странное письмо. Там, в долине, — взглядишь в темноту ночки, — уже какая-то жизнь копошится. Припала к земле, но открыта небу.

Сынок, как страстно переживал я любую эпоху. А теперь смотри — ночка размахнула крыла. Нежная ночка над необычайной страной, раскинувшейся на полсвета. Я ли не ее сын, так яростно переживавший все ее времена? Ее дитя не в меньшей мере, чем дальних небес, музыки — голоса души и духа, великих сил мира и родных душ, теперь ставших погребальными свечками.

Как я страшился всего, что меня породило, как отворачивал взгляд. Но, приглядевшись, понял, что нет отчаянья, тоски и разора ни в том, ни в другом, ни в третьем. Одна только тихая грусть, тихой грустью полна вселенная. Ночь настала, мой сынок, мой мальчик. Все картинки сплетаются из звезд, остальное спит иль тьмою укрыто. Что есть вокруг, все высокое, сынок, — не дотронешься, не станешь.

Мое письмо обращено к тебе, — твое рождение стало его истоком. В тот миг я уже знал, каким ты будешь на земле. Я все знаю о тебе наперед, и ты обо мне много знаешь. Я отвергал чистые листы, пока не пришла пора, хотя тоска разрывала меня в клочья. Теперь есть для кого писать, мой сынок. Любое письмо — это детские сказки. Ему должно быть нежным и многоцветным, как дачный садик, заросший одичавшим шиповником. Но облетел сад, всю жизнь разметли суровые ветры. Моей руке только и осталось, что гнаться за призраками. Разве этого я хотел, мой мальчик, если все в мире мне нашептывало, что я рожден для счастья и света? Да, видно, никак нельзя, мой сынок. Пусть же водит рукой тоска несусветная. Но движенья руки укротят ее, обещаю тебе.

Тридцать два листа слетело с дерева. Последний трепещет на слабом черенке. И юность ушла, и молодость почти уже просыпалась сквозь пальцы. Скоро предстану я пред миром с задубевшей шкуркой, сменю кожу, как змея, — пришло время. И предстанет передо мной задубевший мир, — ведь я побратался с эпохами. Но пока — нежная младенческая ночка, которая, наверно, отпущена каждому на исходе молодости, — и эпохам, и людям. Не для нее ль сберегла меня пара птиц, — не для этого ли младенчества, удел которого — быть забытым. И все величье которого в этом забвении.

Будущее подернуто туманной пленкой, как глаз грифа. Мой Тянь-Шань, наша спаленка — на самой грани времен. Я уже новый, но сам не знающий, каков именно. И эпоха лежит передо мной в колыбели, — бодрость и свежесть исходят от нее, как от младенца. Слушай меня, сынок, я вовсе не утверждал, что та не способна обернуться черным ужасом, но я люблю ее, как младенца, как сына.

Все будет лучше, чем время глухих темных трагедий иль единой трагедии. Когда добро и зло смешалось в пресную водицу. Тихо засасывало болото: по пояс, по грудь, по шею, рот заливало вонючей жижей. Зла уже почти не было, но добра не было совсем. То, в чем не отказано и свирепейшим временам, отказано безвременью. Злом может стать рождающийся день, он ведь открыт всем ветрам мира. Но тогда и добро будет бескрайним. Это две стороны выпавшей карты. Как хочется добра, мой сынок, мой мальчик, — для тебя, и для себя, для нас обоих.

Покачивается подо мной земля, гуляет туда-сюда, как огромная колыбель, лелея родившееся время. Вверх-вниз ходит затемненный горизонт. А во мне, чувствую, уже трепещет восторг существования. В темной ночи он вызрел, мой сынок. И смехом пучит брюхо, вечным смехом небес. Суетимся мы, суетимся, человечки, будто нам жить вечно. Не прислушиваемся к шороху великих сил мира, обитающих там, за горизонтом. Они днем беззвучны, — на то нам отпущена ночь, чтоб собрать в горсти все живущие в нас блестящие и нотки, дуновения великих сил.

Блаженный, чуть тревожный покой в ожидании, пока жизнь созреет, окрепнет обновленное бытие. Трепещет, готовый сорваться, последний, тридцать третий листок с моего древа. Извивается: мысль, как и положено в туманные времена, будто змея, которая тщится ухватить свой же хвост, мазнуть его раздвоенным жалом.

Да куда же подевалась прямизна и однозначность мира, где я думал навсегда обжиться, где каждую птицу я бил бы влет, как умелый охотник? Мысль была бы пряма, как полет пули. А пришлось дражный невод забрасывать в мутные воды, вот отсюда, с крутой скалы, на которой сiju. Тяжел невод от сладкоголосых сирен, золотых рыбок и морских чудовищ. Тяну его изо всех сил, но так страшно взглянуть за спину. Боюсь, что тянется за мной ночной кошмар, сладкий, дивный и плодотворный. Но хватит про ночь кошмаров, лучше про ночь жемчужин. Сколько их разбросано в темных глубинах сна. Не жемчужины ль и сами сновиденья, насущные в глухие эпохи, эти игры мыслей и образов. Эти легкие эскизы будущего, с восходом солнца не обращающиеся в камень, а уходящие ввысь, как ночная роса.

Не стану глядеть за спину, мой сынок, мой мальчик, только вперед, — туда, где чуть проступает нежный контур новых взгорий. Пока он зыбок, но потом замрет, станет точен, как японский рисунок. Да, меня тянет назад тяжелый невод, — покамест, уходящее важнее и живей того, что только рождается. Ушедшее молчит, но эта тишина полнозвучней чуть слышного уа-уа новых времен. Да слышится ль оно, или просто в ушах звенит от долгого затишья? Пока еще прошлое ведет моей рукой, — и новые времена от него не свободны. Но скоро и я, и они станем вольны, как ветер.

Поднимаюсь со своего Тянь-Шаня, мой сынок, мой мальчик, и три шага делаю к горизонту, где живут великие силы мира. Я не желал их знать, а как же иначе? Они ведь ветры, дующие в наши рваные паруса; они клубятся, как туманы, в самых глубоких пропастях наших снов, куда не дотянуться памяти, — там обитает забвенье. Ничто не тревожит их покой, оттого они — великие силы. И они спасут мир, поверь, сынок.

В три шага достиг я горизонта, где стояло одинокое дерево. Описать его, значит понять всю жизнь от глубокого корня до раскинувшейся в небе кроны, украшенной всеми созвездиями, как золотыми побрякушками, как сверкающей канителью украшена новогодняя елка. Сколько я видел деревьев, и все они провалились в ущелья памяти, все они слились в одно единственное. Всю жизнь я обитал меж деревьев, в великолепном лесу. Дивны были сосны моего детства, — помню две — высочайшие, корабельные, они возносились над низким ельником. Взгляд скользил по ровным стволам. Какой был восторг и счастье, когда он достигал облачной, раскинувшейся в не-

бе кроны. Я бывал в тот миг счастлив, — и понимал, что счастлив. Радости в моей жизни было немало, а счастьем я неизбалован, мой мальчик. Я его и не представляю себе без сухого смоляного запаха сосны, — я узнаю его по запаху.

Это была первая в моей жизни вертикаль. Вверх мне указала со-сна, там для меня счастье, мой мальчик. И сейчас стоят они там же, мое прежнее счастье не вылиняло, но не влечет меня вернуться к сонсам, — еще рано, пока еще рано. Ответшала, вся сгнила, наверно, та облупившаяся терраска, — все источил неторопливый древоточеч. Прах и смерть там, где бурлило счастье.

И этот треугольник, притаившийся в каком-то закоулке, изгибе лабиринта моей души, он тоже — счастье, чуть подкрашенное смертной тоской, — оттого сладкое и отчаянное. Стерегут его черный гриф и белый голубь. Немногословен гриф, но голубь молчит всегда. Пыхает темным туманом этот клочок земли, порождает ночь, детскую ночку мира. Он ведет мою руку по чистому листу, — это счастье с поволокой грусти, — он разматывается, как золотая кудель. Бездонна ночь, без конца и без края. Счастье же — мельчайший проблеск, оно как вздох, короче слова, потому и не дается словам. Это музыкальная нотка, золотистый пузырек, стремящийся вверх, чтобы лопнуть в вышине, обернувшись небесным сияньем.

Редко пузырится радостью душа, мой сынок, мой мальчик. Не так уж мы легкокрылы, чтоб надолго остаться в небесах, а припасть к земле — не хватает тяжести. Но, может быть, хоть крупница музыки затерялась в моих словах, — хотя бы потому, что нет в них последнего отчаянья. Древесной должна быть речь — овеществленной высотой. Древесной корой, где отпечатались все земные бури, и кроной, что раскинулась в небесах. Еще одно дерево помню, мой сынок, мой мальчик, — то, кажется, была елка. Мы двое называли его Олимпом. Того, второго уже нет, пропал, истаял на подходе к жизни. А я живу, наращиваю годовые кольца, нарастает кора, спасающая от земных ветров.

То дерево стояло на самом горизонте, подпирая небеса. Деревомать, трусь о твою кору щекой в жесткой щетине. Мне тридцать три, и за спиной выются черный гриф и белый голубь. Оба желанны, но только вперед устремлены мой путь и мой взгляд. За горизонт ухожу с земной лепешки, где еще только робкое предвремье. Я верю этому младенческому, нежному лепету, но сейчас мне нужней и важней громовые раскаты великих сил мира.

Я — в нашей спальне, мой сынок, — она тоже на самом горизонте. В ней живут великие силы мира, в ней мы досматриваем свой последний сон. Отходит в вечность безвременье — странная жизнь без жизни, одарившая нас плодами небывальными. Мудрыми и свежими должны мы встретить свирепое и ясное «сейчас». А пока прислушаемся к живущим в ночи силам, что обитают на горизонте, где небо сходится с землей, на самой кромке. Они разные, не поглощены однотонной небесной синевой, но их немного, куда меньше, чем земных вещей. Они бурлят в небесах земными страстями, а на земле они — осколки небес, голубые озерца. Они, как земная музыка, — устремлены лишь ввысь, но не равная чуть слышной музыке небесных сфер, которая — чуть заметное дрожанье синевы. И легкой дрожью ей отвечает душа. Они огромные, сынок, во всю вселенную и больше. Каждая из них способна сотворить множество миров. Они огромные, как деревья: змеистые корни рвутся вглубь земли, могут ствол, а крона облаком раскинулась в небесах.

Спи, мой сынок, ты еще не привык к сновиденьям, — все тебе лев какой-то снится. Что за лев? Мне вот снился серый волк, тоже неотвязный. С этим зверьем нам и прожить всю жизнь, видеть их в тысячах преобразений. Да к чему тебе сны? Твоя жизнь волшебна, словно окутана нежной дымкой, — тебе еще не мешает горизонт, одни сияющие дали тебе видятся. Я сам навею тебе сны, выжму последние капли моей молодости. Ты вздохнул во сне, мой мальчик, не бойся — много тьмы я скопил за долгую свою жизнь, но, поверь, и на самом доньшке нет у меня отчаянья. Отчаянная и отчаявшаяся жизнь задубила мою кожу. Я готов по лоскуту ее содрать, чтобы защитить тебя от грозного мира. Не бойся, мой мальчик — во вред тебе не пойдет ни одно мое слово; каждое — к тебе. Потому я и молчал до сих пор, что не к кому было обратиться, — а теперь есть ты, мой сынок, мой мальчик.

Проживай свою жизнь, свою светлую и яростную пору, великое время преджизни. С последней каплей моей молодости закончусь я, и начнешься ты. Я стану звонким и жестким, как бронзовая статуя, всегда готовый защитить тебя своим прочным щитом. Я знаю, тебе трудно будет со мной, слишком глубоко мы проникли друг в друга. Ты вздрогнул от жесткого звука, не пугайся — это я кую свой бронзовый щит для себя и для тебя, мой мальчик.

Я иду к горизонту, сынок, по своим глубочайшим снам без образа и мысли, по твоим немым еще сновиденьям. Иду припасть к вели-

ким силам, которые стояли у нашей колыбели. Нет, они не оставили нас в туманные времена, разве что немного устали. Устают ведь и величайшие силы мира; отдохнуть им надо, чтобы вновь воспрянуть. Им, как и нам, насущны серые клочки будней, чтоб слаще разгулялся праздник великих сил. Как они похожи на нас, мой сынок, перепорхнувший смутные времена на крыльях младенчества.

Ты спи, а я пойду. Важно ли, куда идти и по чему ступать — по снам или по яви. Необходимо движение, коль уж нельзя застыть статуей. Слышишь, тикают, вдруг пошли наши старые часы с тяжелыми медными гириями и бархатисто отбивают каждые полчаса? То — тихий ли ход новых времен? Прочную цепь тянет вниз пудовая гирия.

Прости меня, сынок, за красоту моих слов. Все так торжественно и многозначительно в этой ночи, — легкие виденья без связи, но с неуклонно вызревающим смыслом. Таков ночной закон, — я не утаю от тебя ночь, расскажу о каждом шорохе, который услышу. Все расскажу о ночи, после которой мне — уйти, а тебе — родиться. Ты опять вздрогнул, сынок. Нет, уйду я от тебя позже, неслышными шагами. Тогда ты будешь силен, светел и полон сил, — я не нужен тебе буду, мой сынок, мой мальчик. Не нужна будет моя броня, а только тихий свет ночной свечки. Много ночей мы еще проведем вместе. Просто самые последние капли молодости мне осталось допить, потому мне чуть грустно. Всего лишь молодость кончается, сынок.

Взглянул бы ты в окно — шевелится, живет в темноте парк, обнесенный забором. Часы отбивают время точно и равномерно. Так это странно, ведь безвременно — вечность, и теплая летняя ночь — тоже вечность. И то и другое мне отсчитывают до последнего гроша.

А вот и горизонт, куда надо втиснуться, — в самую узкую щель из всех возможных, — с муками, которым равных нет. Трудно вернуться в свою детскую спальню. Ты мне в этом помог, мой мальчик. Ты мне сможешь различить великие силы, — не так это просто, они ведь свились, как змеи, в узлы, которые не распутать. Это простейшие-то, детские силы мира.

Но меня влечет к ним, уставшего от мелочей мира. Впрочем, мелочь ли пересечь вязкие маслянистые воды безвременья, вынести мелкую канитель изо дня в день и не скурвиться? Это дало нам мудрость и умение проживать жизнь. Мал ли дар, мой сынок, мой мальчик, — именно тот, что нам не был вручен с рожденья. Все было дано, феи осыпали нас дарами, и только один подарок принесла печальная фея на исходе молодости: умение подробно и неторопливо проживать

жизнь, наблюдая медленное рождение одного из другого. Не пугаться, когда ясное порождает смутное и наоборот, когда хаос рождает гармонию, когда рождающее и рожденное противоположны по смыслу. Все это детские игры жизни, ее ночные сны. Все блекнет и расцветает вновь, прямой путь свивается в петли, возвращаясь и возвращаясь к прошлому, которое вдруг становится важнее нынешнего. Умирает эпоха, и скоро засветится, заиграет всеми красками маета пустых дней, — и она не затеряется среди бурно расцветшей жизни. Останется то местечко, куда нам возвращаться и возвращаться. Я пророс за тебя, сынок, сквозь мертвые пласты жизни и сам еще не знаю, на какой оказался планете, в каком воздухе.

Дождик пошел, — шелестит, нежный, по деревьям невидимого парка, проводит по стеклу длинные смыкающиеся борозды. Глухо шумит парк больницы нежной Девы, будто грифы заплескали там своими крылами. Скоро осень, мальчик, уже нет-нет, да проглянет желтый лист, как седой волос. В моих руках — тайна молодости, в твоих — тайна детства. Но мы еще проникнем в прохладные тайны поздних времен, в тайну умиранья. Мы не отвернем от нее лица, допьем чашу до последней капли, которая полнится винами всех миров.

Я уже за горизонтом, сынок. Что там, ты знаешь — та самая детская спальня. Истекает светом луна, млечная речка, ручеек, струит по полу, твои губы в лунном молоке. Истекает луна светом смерти и памяти. В полумраке все пятна оживают на стенах. Помнишь, в детстве они умели делаться, чем угодно, — хоть бы и великими силами мира. Они были покорны нашим вымыслам — так зарождалось мое письмо. Эта игра сальных пятен была упоительней, сынок, чем выводить каракули на чистых листах, марать их белизну корявыми смыслами. Лучше бы, изощрив глаз, просто глядяваться в игры жизни, улавливая ее все новые облики. Сказки, детские сказки нашептывает нам ночь, — мы их должны поведать своим детям, мой сынок, мой мальчик.

Страшными бывают сказки ночи, и всех страшней сказка о безвременье. Не буду тебя пугать этой сказкой, тревожить твой сон сказкой о сладостнейшем безвременье, по сравнению с которым вся другая жизнь — один пшик. Все в сравнении с ним нереально — и прошлое, и будущее, все — сон. И ты спишь, мой мальчик. Что весь мир перед счастьем неторопливой гибели? Потом ты это поймешь, мой сынок.

Медленно из пятен на стенах сплетаются великие силы, делаются все плотней и ярче. Великие силы рождаются на стенах моей спальни — единственной яви моей жизни. Могучи великие силы: одним движеньем мизинца творят они тайные миры наших снов, — и нашей яви они полновластные владыки. Познать бы их, и сразу ясен стал бы мир. Но нет — как огромные сомищи живут они в донном мраке, а являются только искорками и нотками — на миг. Ужасны эти прорывы вселенской яви в наш вечный полусон. Страшна для мира обнаженная явь, хотя весь он — символ великих ночных сил. Может, и нет в нем другого смысла, кроме этой драгоценной залежи, клокочущей магмы, вечно готовой излиться.

Неясным томленьем являют себя великие силы. Но как понять, которая из них рвется наружу. Слабы лучи мира — ни единый не достигает темных глубин — а в безвремяе и вовсе стелятся поверху. Тогда казалось, что иссякли могучие силы, — застыли мир и небеса в безысходном равновесии, безысходном противоборстве, как те борцы — патриарх и ангел. Они обновились в глубинах туманной жизни, мой мальчик, уже пышут огнем вулканы, шаткой стала земля под ногами. Скоро уже на горизонте воссияет одна из великих сил, она будет солнцем нашего дня. Остальные до поры затаятся в глубинах, всегда готовые спасти мир.

Как неясен их облик, мой мальчик, притом, что подробен и четок. Полнокровны силы, полны жизни, но их смысла не угадать. Спи сынок, только в прохладе сна, в его неведомых водах живет смысл того, что правит тобой, и чего никогда не познаешь. Позабытые детские сны правят нами, мой мальчик.

И вот первое, что попадает в мою сеть, закинутую в глубины сна. Господи, да какая же это великая сила? Это так, лягушечка, клуша, юродивая. А может быть, таинственная царевна-лягушка, призвавшая в мой начальный сон величайшую силу моей жизни, белого голубя. То случилось в этой самой спальне: она перевязала мое одеяльце нелепым красным бантом и затянула тоненьким голоском песню про ангелочка, потерянную свою песню. Но откуда знать, что прорастет из небрежно разбросанных зерен, — от скольких бед меня упас слабый ангелочек со стрекозиными крылышками? Я не помню этого, сынок, и лягушечки не помню. Она сочиняла детски наивные стишки, потом умерла. Помню, как я рыдал, когда пришла ей пора развеяться голубым дымком, задушенной той

же великой болезнью, что страдал могучий дух, и сейчас бушующий в темном треугольнике за моим окном.

Где она теперь, та лягушечка, царевна-лягушка, с которой мы связаны невидимой нитью, неужто рядом с великими силами мира? Недаром, видно, она чуяла в себе царскую кровь, кровь заморской царевны, смешавшаяся с кровью темной — лесной и озерной, с мужицкой жутковатой и тревожной силой, клокотавшей перед концом великой эпохи. Канула в небо лягушечка, оставив несколько песенок без склада и лада, и единственную подарила мне одному. Видно, дорог был неказистый гостинец, если душа ее для меня среди тех родных душ, что даровали мне золотые россыпи.

Станный тот ангелочек, кажется, вовсе и не с ясных высей, а из дебрей лесных. Как наступит ночь, засвищет нечисть в темном лесу, потянутся лапы из чащи. И все — к этой светлой капельке. Испугается ангелок диких чудищ, спрячется от них в дупло дуба и затаится до поры, — только зеленым огоньком будет посверкивать, как светлячок. Такая сказка, мой сынок, мой мальчик. Не тревожься за ангелочка, не доберутся до него чудища лесные, он тебе еще не одну песенку споет, мой мальчик.

Спасибо тебе, лягушечка, и прощай, скачи опять в свой сон, найди там счастье. Мало ль ты в жизни настрадалась? А нам, сынок, еще тут существовать, на этой земле, нам — пришельцам ниоткуда. Спи, мальчик, и соберутся вокруг тебя на светлой лужайке души, тебя хранящие. И среди них — лягушечка, царевна-лягушка, а во рту у нее — золотая стрела, сверкающая, как солнечный луч.

Снова забрасываю свой рваный невод, который может ли чего поймать, кроме лягушонка. Много я уже позабыл, мой сынок, притупился взгляд. Это тебе великие силы являются живыми, свежими, видятся в любом пятне на стенке твоей спальни. Лови сейчас, сынок, пока ты умелый, рыболов, лови рыбку в темных омутах, — что поймаешь, то твое навек. Пока ты маленький, и самое мельчайшее для тебя огромно. А потом будут изящные ларцы, да все без ключиков. Найди и никогда не выпускай из рук золотого ключика, ключика своего детства, который — разгадка всему.

Да что я говорю? Не слушай меня, сынок, мой мальчик. Неужели я хочу лишить тебя жизни, которая — отчаянный поиск потерянного ключика? Неужто хочу лишить тебя отчаянья, которое и есть жизнь? Нет, сынок, теряй, теряй смело, и страстно ищи потерянное. Разбрасывай свои золотые зерна, — кто знает, которое прорастет?

Глупости говорит твой отец, молодость упустивший сквозь пальцы. Ты не понимаешь меня, сынок? Поймешь, увы, поймешь, когда придет время.

Сгустилась ночь, — может, оттого, что я вижу ее твоими глазами — не нежной легкой ночью, а ночью великой и непроглядной. Как нежна и мала моя последняя ночка, как бездонна твоя первая ночь, словно великая и загадочная мысль, распростершая над миром свои крыла. Великая и отчаянная ночь — мать всех мыслей и надежд, всех великих сил до единой. Ее созвездья еще плодовитей, чем пятна нашей спальни. Ночь порождает все великие образы и душевные взлеты, — ведь нет границы меж землей и небесами. Все великое зарождается ночью.

Лишь тогда есть смысл выписывать узоры на бумажных листах, когда рука залетает во мрак, вспахивает чернейший чернозем; когда не видно дальнего и потеряна цель. Когда мрак одну за другой поглощает написанные буквы и лишь остается ждать, пока они вспыхнут на стенах сиреневым пламенем и возвестят будущее.

Нет легче, чем нанизывать на ровные строки корявые буквы, как бусины, но нет трудней, чем примириться с собственной небывалостью. Перед испещренными собственной рукой листами ты так же наивен и прост, как любой. Надо преодолеть смертную тоску письма, как то удавалось великим.

Да возможна ль небывалость, если все та же ночка была щедро отпущена всякому, — всем равно сияли одинаковые звезды. Все мы робкими молитвами пытались разогнать духов тьмы, призывали рассвет. В смутные времена все мы были без оболочек, а холоден мир для лишнего покровы. Все мы тогда были тихими и тайными творцами. Скоро явится, явится сотворенное нами совместно во всем своем величье и могуществе. Тогда мы и узнаем, каково то, что мы создали. И поздно будет предписывать ему закон. Кто властен над рассветом? Разве что ночка, правящая нашими днями, — полная наших страхов и надежд, наших снов, мой мальчик. В ней мы и завязали своими немелкими суетливыми пальцами узлы будущих эпох. Все узлы уже затянуты накрепко, все предписано на века, мой сынок, мой мальчик. Бесконечно длится ночка, и день будет бескрайним.

Просветляется ночь за окном, луна взошла — крошечный новорожденный серпик, готовый косить налитые золотым зерном созвездья. Таинственной становится вся округа. А разве бывала она для

меня иной? Я могу говорить о ней только тайными ночными словами, — всегда она была светлой и томительной тайной жизни. Так вот, мой сынок, мой мальчик, — страх залегал под булыжником мостовой, а каждое деревце трепетало надеждой.

Вот он лежит за окном, голубоватый от лунного света треугольник, — в чуть просветленный мрак упирается острым углом. А там — стена из каменных глыб: таинственная цитадель, крепость, заколдованный замок, гордо возносящийся ввысь среди мелких деревянных домишек. Говорят, сверху он — пентаграмма, — но то возможно разглядеть лишь с вражеских бомбардировщиков.

В моих снах он — все грозные цитадели и волшебные замки. Был у меня детский сон: мне померещились возле него отсеченные головы стрельцов. Этот-то кошмар, как прилепился к моим снам, ты не знаешь, мой мальчик? Вся жизнь — толкованье снов одной только летней ночи, — но как мало разгадок я нашел и каждая — драгоценность. Пентаграммой запечатан мой треугольник, сосуд, где хранится ночь. Отпугивает ночных чудищ многоугольный знак.

В моем сне, наивном сновиденье, грозной цитаделью мне видится обитель великих сил. Трезвонят колокола на башне басовыми дон-дон и мелкими трелями. И она парит в воздухе, тяжелая цитадель. Отсеченные головы воздеты на пики, и белый голубь вьется над ней. Черный гриф смежил над ней свои крылья. Она парит в воздухе, сверкает белизной, как голубиное перышко, и спархивает на мою ладонь.

Я рассматриваю ее, как в детстве — картонные раскладухи со слюдяными окошками. Те, я помню, были яркие, красoty неописуемой. Но оказались нестойкими: сходили, мазали пальцы. Вот что привило мне вкус к красоте, мой сынок, так что не удивляйся моим высокопарным словам. Может, в цирковых блестках для меня больше прелести, чем в величайших творениях. Впрочем, вся красота произрастает из одного корня, запущенного в самый темный уголок спальни. Вся жизнь овеея тайной, живущей в нашей детской спальне, все пропитано ее смыслами.

Эта цитадель была прекрасна, как картонная раскладуха нашего детства, — и тот же запах я почувял. Я редко чувствую запахи, мой сынок, потому знаю — раз повеяло чем-то в ноздри, значит рядом тайна. На грани тайны мне чудятся запахи и сразу бледнеют картинки мира, теряются земные пути, и только запах меня ведет куда-то, как одинокого волка. Запахи сами сплетаются в картины. Ты не знаешь

как, мой сынок, мой мальчик? В детские наивные картинки, в яркие и безвкусные, отчаянно красивые, как детская раскладуха.

Я заглянул внутрь замка, в слюдяное оконце: дубовый стол простерся на всю комнату, сводчатую, из сурового камня. По стенам стояли огромные бочки с невесть какими винами. И за столом сидели великие силы мира. А по нему вышагивал белый голубь и склеывал зернышки, золотые, как звезды. Множество образов, и как они разнообразны: и многорукие, и многоголовые, и человекоподобные, огромные и маленькие, — да они, к тому ж, постоянно росли и уменьшались. Как дерево, как слезинка, как лучик, как погребальная свечка, — вот на что они похожи, великие силы, мой сынок, мой мальчик. И еще — как тучки, как елочные звездочки, и ничему на свете не подобные. Одна из сил была сурова, хотя тиха, как запустевшие пространства. Это был дух разора, облаченный в замаранные шелка, — самый страшный из всех духов ночи. Один его глаз был подернут пленкой, как у моего грифа; другой — ярко-синий, бездонной глубины. Иногда он бывал холоден, как льдинка, — и тогда будто стужей подмораживало все силы мира. Одному только голубку было на все начхать, — он склеывал и склеывал свои зернышки. Иногда нежен становился глаз, — тогда, казалось, рождались в нем нежные облачка, да нет — синь необъятная и глубокая, до самого донца.

Я проник на пир великих сил сквозь чистейшее слюдяное оконце и хлебной крошкой затерялся на столе, широком, как земля. — Человечек, сынок, — сквозь сон шелестел дух разора, — погляди мне в глаза, да не в голубой, а в мутный. Ничего в голубом не вымотришь, кроме будущего; оно и так — твое, мой мальчик. В мутной слюнявой мгле вымотри самое начало, что ускользает от тебя, как солнечный зайчик. Разгляди завязку твоего мира, мой сынок. Я помню те темные глубины, много там было зерен, — даже и в чистые я был подмешан крошечной мутной крупинкой. Только в самых чистейших меня не было. Думаешь, поднялась бы опара, если б не была заквашена благотворнейшим хаосом, чернейшим разором. Не бойся хаоса мой мальчик, он залегал в изначале. Он сейчас утрамбован булыжником мира, он его мостовая, — а меж камнями пробивается свежая травка. Не хаос ли самая мать-земля, питающая полновесные колосья?

Я — не зло, мой мальчик, я — легкая путаница, неожиданный изгиб твоей души. Я всегда готов смешать ловко раскинутые карты.

Тысячи, больше раз, ты будешь возвращаться к истоку. Не бойся, я позабочусь об этом, мой сынок. Карбкайся ввысь, мой мальчик, кати на кручу свой камень. Кати добросовестно и кропотливо — не тревожься, я не дам тебе закончить своего труда, утвердиться на никчемной вершине.

— Ты уже не мальчик, мой сынок, — шелестел дух разора, — окрепла рука и глаз пристальный, но вьющуюся, скользящую основу мира ты все равно не ухватишь. Скажут ли, что я — дух путаницы и недоразумений — не заботлив к своим детям? Я ведь всю жизнь готов играть с ними в детские игры. Седовласый старец для меня — прежний младенец, — мой сынок, мой мальчик.

— Гляди, — он шуганул со стола голубка, тот взвился и лениво пересел на балку, — тут зерна; есть светлые, а есть — черней ночи. Сгребаю одни в одну горсть, другие — в другую. Растираю, как жерновами, кроплю своей слюной. Вон какой колобок получился, и столь же проворный. Крупица ночи — в любом свете, в любой ночи — россыпь звезд. Смеешься надо мной, мой мальчик, для тебя это ясно, как школьные прописи, ты прав — отстал я, сынок, от твоей суетливой мысли. Так и сижу возле начальных истин, жду, когда они воссияют, как ночные звезды.

А то вовсе не я смеялся, разве чуть хохотнул голубок, присевший на балку. — Я смешал добро и зло, мой мальчик, — шептал дух разора, — чтобы вышел мир, где все спутано. Колеблется мировой маятник. Воссияет свет — конец миру, или же ночь его сгложет. Ночку это я выдумал, медленно, неторопливо растолок темень в медном чане. Вот какая она у меня вышла — роскошная моя дочь. В чан стекал свет звезд, — она получилась просветленная, мой мальчик. Оттуда выполз туман, черный туман, припорошивший глаза младенцев, — всю жизнь сделавший мукой выбора, весь мир обративший в тайну добра и зла. — Ты веришь мне? — обратился он к голубю, — тот вспорхнул, как бумажный, и вновь опустился на балку. — Ночь, ночь, — шептал дух, — бездонная тишина вверху и внизу, а ты паришь, как облачко с размытыми краями, и все ветра тебя треплют, как флаг на древке.

Тут заговорила другая великая сила, или душа, исполненная великой силы и равная силам мира. — Послушай, свирепый дух, я родился, когда мир был точен и ясен, — даже ночи были ясней, чем нынче дни. Помнишь мой домик? Как прям был там каждый угол, светел воздух, теплы деревянные предметы. А во дворе стояли два тополя, помнишь, дух? Ветвями они плескали, как крыльями, а вер-

шины — в синеве. Как зелены были поля вокруг, как спело-желты они бывали осенью. А прямо от крыльца вдаль устремлялась дорога, — пряма, как луч, врезалась в самую середку горизонта так, что светлые брызги летели во все стороны. — Я была той дорогой, — чуть слышно шепнула одна из сил.

По утрам пар поднимался от трав, в полдень — марево вздымалось над разопревшей почвой. Я исполнялся силами земли; всходил, как на дрожжах. Стал силен, могуч, огромен, — готов был шагать прямой дорогой до самого заката. — Это я была той дорогой, — пролепетала великая сила. — А я — травинкой, я — земной силой, я — топором, я — домом, — шелестели силы, как затихающий ураган поигрывает листвой.

Убаюкивал тот шепот, сном припорашивал глаза. Я заснул, мой сынок, мой мальчик, и проснулся опять в нашей спальне. Далеко до рассвета, тишина все так же бездонна. Нежные руки — не забытые — поправляют одеяло, чуть взбивают подушку. Спи, мой мальчик, вокруг глухая ночь, только луна мерцает, — многозначительно, ох многозначно. Спи, сынок, нелепы наши сны, путаница, мальчик, перепутались, переплелись меж собой великие силы, наши сны — встреча разлученного днем. Они смягчают тоску разлуки, потому сладки сны, в которых явлен избыток жизни — все не вместившееся в день.

Безвременье было просторным, но странным образом, оно вмещало все и ничего не вмещало: смахнуло все излишнее в сон из яви, потому и обернулось сновиденьем. Хочется все же проснуться, мой мальчик. Хватит спать — жизнь уже в пути, кажется, почти на пороге, — но где она сейчас, не заплуталась ли в нежнейшей ночке, детской ночке мира?

Луна светит, и ночка распадается на тени — те же самые, что тонконого вытягивается к закату, когда солнце восходит, а к вечеру — плетутся за тобой, наступая на пятки. Когда солнце в зените — нет теней, нет двойников, ни прошлого, ни будущего, только день вокруг. Днем они покорны солнцу, а при луне словно шалеют — живут сами по себе, бушуют на стенах неумные тени, мой сынок, мой мальчик.

Ты прости меня за сновиденье, что я тебе наваял, — знаю, слишком много в нем клекота, плеска крыльев, — всего в нем чересчур. Что поделать, сынок? Я ведь отцедил для тебя все детские ночи мира, выжал каждую до последней капли. И много ли в этой ночке но-

чей тьмы, это в июньской-то ночке? Часок какой-то от заката до восхода, — не пугайся, мальчик, быстро она пролетит, незаметно, и затеряется в памяти, крошечный клочок тьмы — черная жемчужина. Редко, на мгновенье, будет она тебе являться, тебе, добросовестному работнику дня. Вдруг плеснут над головой черные крылья, не омрачит она твой день. Так пусть же, пока она царствует в мире, будет она таинственной, щедрей и великолепней. Пусть она будет странной, определенность пожертвовав дню.

Всхлипнула в тоске великая душа — великая сила, и я ринулся в собственную явь; вновь очнулся на пиру великих сил хлебной крошкой. — Послушайте, силы, и ты, мальчик, послушай, — заговорила одна из них. — Пришло время, и я вышел на прямую, как луч, дорогу. Сияли небеса ярче невозможно, шелестел листьями мой посох. Был ровен и точен мой шаг; я шел туда, где небеса сходят на землю, где земля упирается в небо. Меня не печалило, что ускользает горизонт, шаг за шагом он отступает. Я направлялся в небеса, — и чист был воздух, и ясен мир.

— Хватит, — крикнул, вдруг пробудившийся дух разора, дух путаницы и недоразумений. — Смертной скукой от твоих слов веет. Шаг твой скучен, как тиканье стрелки; грош цена твоему миру, прямому, как углы твоего домика. — Грош, — согласилась одна из великих сил, — начищенный грошик, сияющий, как маленькое солнце. Ты еще не родился в те времена, а я их помню. Так светел был мир, что и горизонта-то не было, люди уходили в небеса, не ускоряя, не замедляя шага.

— Это я стала горизонтом, — сказала востроносая сила. Она трудилась над каким-то вязаньем, ловко орудовала спицами, сверкающими, как солнечные лучи. — Сперва я была крошечным червячком, маленьким минусом, а потом обернулась границей меж всяким и остальным. Я разделил миры, сверкающие вселенные превратил в золотые медали, которые сияют в сумрачных глубинах, как клады затонувших кораблей. Мы с тобой — братья-близнецы, дух разора, одна колыбель нас выкачала. Я была всего лишь границей, межой, ты заставил меня извиваться змейкой, хитроумно изощриться, стать вечной вязальщицей, распутывающей узлы, затягивающим новые. Я — от тебя спасенье. Тебя б ненавидет миру, но он возненавидел и меня в добавок, как твоего близнеца-брата. Где грозит разор, там неуступчивей должна быть межа, но тяжко существовать располосованному миру.

Отпрянул великий дух от упрека великой силы. Пламенем полыхнула его рубаха, обнажила грудь, всю в африканской татуировке. Он колыхался, как почва при землетрясении, — и сукровица сочилась из контуров выведенных по живому рисунков.

Я носом уткнулся в пахнувший сосной стол, мой сынок, мой мальчик, чтобы не видеть сочащуюся кровью красоту. Побледнели и великие силы, превратились в блеклые пятна на стенах. Только любопытный голубок спорхнул к нему на колени. То одним, то другим глазом он рассматривал кровавые картинки. Кровь капала на белое оперенье голубка, но ни пятнышка не осталось.

Вязальщица нанизывала петлю за петлей. Когда-то шагавшая к горизонту сила не дрогнула, она привыкла к крови, алой сукровице солнечного заката. — Я родилась, — продолжала она рассказ, — до всяческих времен, пред всеми временами. Грозно и ясно стояло время, простершееся во все стороны.

Я взглянул на великую силу, мой мальчик: она стояла в сверкающей броне, и остроконечный шлем упирался в балку. Неподвижен был взгляд, не различавший ни ближнего, ни дальнего, оттого невыносимый.

— Широка была наша равнина, — повествовала она, — со всю вселенную, и не было за ее пределами других миров. И небеса были все тут. Их единым взглядом окинешь — видны с любой ее точки, и равнина вся тут, пред небесами. Она была беззащитна, открытая всему, но от кого защищать, коль не существовало других миров. Разве что от здешней мелкой обреченной нечисти. Я и гнал ее своим тяжким копьём на окраины равнины, и та становилась еще светлей и чище. Нет, не скучен был тот мир, поверь, мой мальчик, великий начальный мир, потом ставший крошечной замысловатой бляшкой. Не величественная ль судьба, мой сынок, мой мальчик? Горделиво ступал мой конь, — мы были едины — конь и всадник. Цокот его шагов был единственным ритмом мироздания.

Не бойся, мой сынок, мой мальчик, твердого цокота копыт. Так по утрам цокали битюги по булыжнику маленькой площади. То был первый утренний звук; еще не началась моя жизнь, — то было прежде всех времен и эпох. И позвякивали фляги, в которых пенилось молоко, белое, как туманный рассвет.

— Потом родился ты, дух разора, — продолжала говорить великая сила, — сначала — маленький клубочек тумана, не знающий сам себя, и мир тебя не ведал. Каким безвредным ты казался по сравне-

ню с облачными чудищами. Забавляясь, я сдувал тебя, как легкий парок, на окраину сверкающего мира. Но ты был неуловим, будто предутренный туманчик. Он собирался на самой окраине, где прилег твой брат-близнец. Единой осталась сверкающая равнина, но воспарила в воздух, как облачный град. Вокруг только синева и небо, и нет пути с зачарованной равнины.

Парили в синеве другие грады — золотые монетки, разноцветные стекляшки. Ты смешал их в кучу, и жизнь стала тоской — вот чего на нашей равнине прежде не было, так это томленья. Ты, щедрый брат, высыпал в горсть своему близнецу кучку ярких стекляшек, чтобы тот выкладывал из них узор за узором. Эту бездельную игру он называл миром и жизнью.

Понурил голову дух разора, ничего не ответил, — отлетел от него белый голубок и снова примостился на балке. Что-то бормотала лукавая вязальщица, словно считала петли. — Великая сила, солнечный всадник, — бормотала она, — думаешь, я не тоскую о былых временах? Говорят, я бездушна, — если так, значит вы меня напитали своей тоской и радостью. Вы тянетесь за мной, как нитка за иголкой, а игла куда угодно проникнет. Могу и туда, где не было меня, где я невозможна; где только золотое донце сияло, как золотой дукат, брошенный в болото.

Тогда не было жизни — одна судьба. Тогда не проливалась кровь, разве что — кровь заката и восхода, чистая, невинная. И чудища там были не страшней облачных нагромождений, которые развеет любой порыв ветра. Я все это знаю, я остер, как спица, могу проникнуть в жизнь и таких болот, перед хаосом которых даже дух разора — бессильная мелочь. Вечно я тянусь за каждой из вас, великие силы, как ниточка за иголкой. Все я вижу и слышу, как, например, в самых темных глубинах журчит чистый ручей, журчит, курлычет, как этот голубь. Что там, в темнейших глубинах? Чаше мне видится болото, но, бывает, и скала: дробит суровую породу слабый ручеек, намывает чистое золото.

— Вверх взгляните, — воскликнула одна из великих сил. Я поглядел: кровля была истыкана крошечными голубыми точками, словно прожжена кипящими небесными дождями, — и соединяли их змеящиеся трещины. — Поберегись! — крикнула великая сила, — вот-вот обвалится потолок, и небо сюда нагрянет. — Перепугались, прижались к стенам силы земли, вновь превратились в пятна плесени.

— Что за недостойная суета, великие силы, что за переполох, то-варищи? — промолвила терпеливая сила, подпиравшая кровлю на-перекрест. Она была так тиха, что я принимал ее за скрещенье дере-вянных балок. — Я еще крепка, хоть и подгнила немного. Века еще буду охранять ваш несчастливый уют, мой сынок, мой мальчик, — пообещала немногословная сила и больше уже до конца не произ-несла ни слова.

— Так вот, — продолжала вязальщица, умнейшая из всех сил, — намыл ручеек золотые россыпи. Отлиты были из того песочка золо-тые бляхи, солнечные ордена. Увешались ими человечки, как свих-нувшиеся фельдмаршалы. Стала сказка достоверней всякой были, великая быль навевала им сказку их жизни. Ты помнишь, мой сы-нок, мой мальчик, проблески яви, миги озарений? Тогда парили в воздухе светлые пятна, каждое из которых — нотка. Каждое пят-нышко — великий небесный град, каждое — сказка, затаившаяся в самой основе бытия. Они — чистота, несмешанность и неслиян-ность. На любом — капелька крови, но то кровь заката и восхода. Они — порожденье изначального хаоса, которому нигде в мире не осталось места, разве что в сумраке лукавой ночи, в нашей детской спальенке. Он и навевает нам сказки наших снов.

Так темно говорила великая сила, — а ведь умнейшая и точней-шая из всех. Думаешь, сам я много понял, мой сынок, мой мальчик? Хотя свои произнесенные прежде слова угадывал в лепете ночной силы. Темна ее речь, так ведь и ночь темна. Беда не в том, что мои сны иссякли, а твои пока еще впереди. Иссякли мои сказки, века и века перелетавшие на своих стрекозиных крыльях из спальни в спальню, — а тебе только лев снится. И все же нами властно правят уже позабытые и еще не рожденные сказки, а не будет их — раз-вееется и ночь, тогда и дни наши раскатятся бусинками.

Притихли великие силы. Суровая смуглая девушка в звенящих монистах расставила на столе пивные кружки. Кучевая пена перла из-под серебряных крышек; досталась и мне капелька. А на круж-ках — изображения человеческих битв. Великие души омочили усы в облачной пене, — чуть не беззаботность низошла в эту комнатку вне миров и пространств.

Нам ли не знать, как нежны и беззаботны бывают силы мира, — как пушистые котята ластиятся к младенцам. Есть среди них могучие и обширные, как облачные грады, бывают и такие, кому недосуг гля-деть в небеса: играют, потупив взор, на своей свирельке, а робкие

и нежные звуки сами собой устремляются ввысь или наземь ложатся осенними листьями, — как пожелают. Благочестива в своей беспечности великая сила. Не высшая ли вера в небеса — не обращать к ним взор? Да к чему ей это, если свирелька ее — обломок, кончик небесного луча? Как же не довериться небесам и своей дудочке?

Разнообразны великие силы, — все, как одна, неожиданны и различны. И нежные силы не казались ни странными, ни лишними среди сумрачных и свирепых, с глазами, истомленными вековой бессонницей. А та была хороша, как всхлип скрипочки, в то же время — роскошна и витиевата, как церковное здание. Как это объяснить? Словно собор, посвященный неведомому богу, богу ласковых небес, богу детства, мой сынок, мой мальчик. Плясала на столе нежная сила, и вилс вокруг нее голубок, покинувший балочное перекрестие. Как учитель танцев, обучала она легким взлетам, изящной беспечности.

Разгулялись великие силы громоподобным весельем. Оно казалось еще страшней их унынья. Утробно реготала пузатая сила, с брюхом, как барабан. Только сверкающего всадника не коснулись ни нежность, ни смех, — ведь он был рожден, когда мир был суров. Он не поселился и не грустил, со взглядом невесть куда обращенным.

— Ну, развеселись, — подначивал его пузан, — я такой же, как ты, воин. А гляди, какое отъел брюхо. Прямы были твои пути, а мои, вон тот, остроносый, перепутал, как свою кудель. Был и у меня конь, огромный, будто слон. Куда ему было вилать по тропинкам? Потому я сколотил из полешек конька деревянного. Скажешь, деревянный тоже неловок, — еще как — прет напрямик. Но кто спросит с деревянного чурбана? Да я еще и схитрил: нацепил шапочку, гляди, с тремя погремущками. Пер конек по бездорожью, а у меня только бубенчики позвякивали. Погляди, какой он у меня проворный.

Пузан соскочил с огромного деревянного коня из необструганных полешек. «Алле!» — и конек встал на дыбы. «Алле!» — и конек преклонил колени перед девушкой в монистах. Тут заржали, как кони, все великие силы, только сверкающий всадник оставался мрачен. Конек оказался ловок, как цирковой. Пузан давал погарцевать на нем любому. Даже свирепый дух разора взгромоздился на конька — и тот ничего, не рухнул, только уперся в пол всеми своими поленьями и заржал, как скрипит деревянная дверь.

Что за дурацкая сценка, ты спросишь, мой сынок, мой мальчик, она-то как просочилась, сквозь какую щель, в нашу заколдованную ночку? Но та всему открыта — много в ней щелей, о которых мы знать не знаем. На высотах своей мудрости, умудренный серьезностью своих игр, ты думаешь, что все на свете зачем-то и к чему-то. Дай же просто порезвиться своему ребячливому отцу, которому всю ночь коротать в этой спаленке, дай порезвиться ребячливым силам мира. Да и недолго наше веселье.

Вот уж и нет его. Как-то незаметно переменялся лик беспечной души: та же беззаботность вилась белым голубем, но что-то иное мерцало на донце. То было сплетено, затянуто накрепко, как веревочный узел. И словно б золотые блески осыпались с бесконечно-го вязанья востроносого духа. Такой была новая музыка, звучавшая в трапезной сил. Тоже беспечность, но тревожная и мужественная, только и возможная в глухие времена, в путаном мире, который закован в чужие латы, как солнечный всадник. Ясней не скажешь, мой мальчик, увы.

Накрепко затянуты узелки детских ночей, не развязать, не распутать. Но разве мрачна ночь? Нет, беспечна, как мы с тобой, мой сынок, мой мальчик. Вон, в уголке, серебристый паучок плетет паутину, — прежний мой паучок, лунный, опутавший меня серебряной нитью. Каплями лунный свет стекает с паутинного узора, будто роса. В хитросплетенье мы проникнем — чего проще? А паутинка, та навек будет застит нам взгляд, — и не распутать ни единую петельку.

Но, представь, мы познаем простейшее, но грань меж простым и сложным — вот она тайна, вот загвоздка. Переплетение многих узлов и однозначность жизни. В узелке, где сплелось то и это, как раз и таится, возможно, величайшая из сил мира, сынок.

Не верь великим силам, сынок, не верь нелепице моих снов, — одной только ночке поверь, во тьме которой парят нерукотворные грады, сверкающие бляхи — блуждающие сны человечества. Скажешь, чушь мололи великие силы, дурачились, себя восхваляли? А чего и ждать от сил-младенцев да от младенческих моих снов? Вылущи силу из великой и слитной ночки, как жалко она залепечет, не привычная к слову. Поиграй с великой силой, как с пушистым котенком, и она выгнет спину, потрется тебе о ноги, но помни, что ты — песчинка на ее ладони, просторной, как мир, мой сынок, мой мальчик. Вся наша жизнь — в родинках, сынок. Безобидное пятнышко, но кто знает, где его корень. Вся наша жизнь — опасная

и ласковая ночь, мой мальчик. А я не отвечаю за свои сны, и так за слишком многое я в ответе.

Сны повторяются, повторяются, мальчик, оттуда их музыкальность. Ко мне возвращаются и возвращаются прежние, и к тебе они будут возвращаться. Они сочиняют симфонию летней ночи, суть которой — возврат, память, начальная, мелодия, мерцающая сквозь иные звуки. Музыка ностальгична, а ностальгия — музыкальна. Отсюда — печаль музыки; отсюда — ее небезнадежность и грозная сила.

Ах, прекрасная ночь, она — вся мысль, но пока сотканная из вздохов и видений, пока еще нежная, сама — клочок тьмы, свернувшийся в колыбели. Никому она неподвластна — немая, не знающая себя мысль. Ни добра, ни зла не угадать в безмятежном детском личике, там все нераздельно.

Рождается новая сказка, но старинная сила крепко стиснула ее в своем детском кулачке, как жемчужину. Я сижу в полутьме и все пытаюсь углядеть солнечные бляхи, парящие в воздухе грады, которые правят нами и в самой густой суете мира. Какой из них будет править тобой, новорожденная эпоха, какой будет твоим, сынок? Какой простотой обернется невероятная многозначительность ночи?

А пока сколько в ней гуляет теней, сколько таится призраков. Мы пугаемся ночных теней, чтобы маленьким страхом прикрыться от ужаса ночного, бездонного ужаса ласковой летней ночи. Ну что ж, мой сынок, мой мальчик, вступим в бой с призраками; взгромоздимся на костлявых одров, возьмем наперевес заржавленные копыя, будем гонять их по земной равнине. Эти смехотворные бойцы — преобразования сверкающего солнечного всадника. Все-таки сошел он сюда со своей обращенной в себя равнины. Как? Да сквозь наши сны, которые — разрыв любой границы. Тогда засыпает разум — лукавый вязальщик, рвется бесконечное ожерелье, называемое мыслью.

Только как все искажает сон: блещущий броней всадник на коне белом, как утренний туман, становится нелепым бойцом, взгромоздившимся на унылую клячу, но подвиг его так же велик. Одни призраки мельгешат перед глазами, мальчик, истинное же залегает глубоко. Выело смыслы едкое безвременье, гулко звенят пустые латы. Только замахнешься на исполина своим ржавым копьем, как он ехидным дымком развеивается. Но я с вами, нелепые всадники, ринемся за призраками в погоню. Какая, в конце концов, разница, куда направлено усилие — внутрь, наружу, вверх ли, вниз или в любую

сторону? Куда ни направь, беды не будет, зато покажется нам, что наши усилия приблизят солнечный восход, что истина жизни — на кончике нашего копья. Кто скажет, что мы неправы, мой сынок, мой мальчик? Разве победитель призраков может быть слаб для устройства мира, дневного косного мира? Это победитель-то ночки, мой сынок, мой мальчик? Ах, на самый неказистый день я готов променять свою неразменную, полную призраков ночку.

Как хороша ночка. Крошечный серпик запутался в ее черных волосах. Она мне — мать, и надоела мне, как мать надоедает настыр-ной опекой повзрослевшему сыну. Моя-то мама не успела, мой сынок, мой мальчик, — канула в ночь, оставив мне на всю жизнь тоску. Поэтому, может быть, так нежны, близки и печальны для меня ночи. Но тяжело, сынок, таскать за собой повсюду ночную тишину, поглаживать рукой ее черные волосы, смотреть, как пробегают по ним — по руке, то есть — разноцветные электрические искры.

Все мне нашептывало с детства, что я дитя дня, самого сладкого дня, который объят ночами. Тем слаще день, что рожден ночью и в ночь уходит. Нужен день, чтоб растрагить ночную силу. Может отяжелеть плоть, налитая чрезмерной силой, и потянуть тебя вниз, в нижайшие низины полные ужаса. Или разорвут тебя в клочки осатаневшие силы мира, разметут, как облачко, по безбрежным небесам.

С какой радостью я рассказал бы тебе истории дня вместо сказок ночи, но, увы, мой сынок, все они наперед рассказаны. Всё это скучные бородатые анекдоты, населенные призраками, — лишь ночка таит их прелесть и разгадку. Мой день растворился в ночи без остатка, мой мальчик. Ночь без усталости нашептывает мне свои сказки, странные, как сны, — будто сновидения без конца и начала, как сны — правдивые до конца.

Да отвяжись от меня, ночка! Фиг-то, не соскребешь с паркета лунный ромбик. Тридцать три года — всегда возврат к началу, снова ночка заматает все пути. И эпоха — предвремье, теплое, как последняя вспышка лета. Одна за другой кубарем катятся на землю звезды августовским звездопадом. Слово пролитым молоком залит булыжник маленькой площади. Таинственный треугольник жемчужно мерцает.

Ты спи, сынок, еще впереди твои бессонные ночи. Набирайся сновидений наперед, да и утром не спеши стряхнуть их с ресниц: только поволока сна сделает явью твою явь. Тебе самому прожить

свои ночи, но я буду рядом всегда, мой мальчик. И рядом будут великие силы мира, сынок.

Надо глянуть, как там они, не смешал ли все вновь свирепый дух разора? Как дикие звери, кровожадны великие силы, наши ласковые няньки. И нет на них укротителя, не смирить их хлыстом, — нам остается, как перышко, осторожно парить в их дуновеньях. Бестрепетно глядеть им в глаза, но с опаской, мой мальчик, — ведь свет и тьма в них нераздельны. Даже в нежнейшей — черная капелька, и вокруг сияющего всадника — темный ободок, как вокруг солнца, еще не стряхнувшего ночные кошмары. Оно не вечно сияет — где-то там, за горизонтом, набирается сил в ночных грезах. Уходит в тучи, гибнет в крови заката и восходит, опять истекая кровью.

Что стоили б дни без ночей, что — ночи без дня? Что они вместе, без туманной поры безвременья, предутреннего и предночного? Когда изошла уж дневная ясность, но не зародилась ночная тайна, — нет сновидений, только облачные драконы вьются на горизонте. Из оконца видно, как люди спуют по извилистым улицам, — размыт, нечеток их контур; они тревожны в предощущень будущей ночи ли, дня, все едино. Сила дня — грядущая ночь, сила ночи — день, который следом наступит, а могущественней всего — смутное время смены времен, когда рождаются новые сказки. Вот в какие сети мы угодили, мой мальчик. И не вырвемся из них, пока не сочиним новую сказку, которая, как солнце, воссияет над миром дневным и заструится лунным светом наших ночей.

Пора, пора, сынок, вновь обратить взгляд к великим силам. Я уже чувствую, какой переполох учинил дух разора. Бурлят в темных глубинах великие силы, а я спокоен, — только лишь занудно ноет под ложечкой. Всматриваюсь в темень детской ночки — что там можно разглядеть? Суровую цитадель, сложенную из неровных каменных глыб — там заключены великие силы мира. Сидят за простым деревянным столом великие силы. Они просты, мой мальчик, символы страстей, могучих, как вулканы. Нет, еще более могучих — как медленное образование земных пластов. И неотвратимых, как восход и закат солнца. Но как внятны их преображенья — смех, тоска, суета, слеза. Тем они похожи на нас, тем же и мы равны великим силам, — простодушны, как и они.

Гляжу, а трапезная уже ходит ходуном. Успели они перепиться своей облачной браги. Сломали деревянного конька — он сложен в углу поленницей. Громоподобно рыдал над ним веселый пузан, но поверишь ли в искренность шутовских слез? Может, все он не

плакал, а смеялся. Другие же силы гомонили все разом, не слушая друг к другу. Но в этом гомоне я угадывал соотнесенность их речей. Сколько ж тут развелось этих сил — в воздухе жили воздушные, в камине — огненные. Вроде, и не могло меж ними быть хоть какого-то склада и лада. Но, видно, существует еще одна сила, великая, невидимая глазу и единая — там, вверху, где зияет отверстие в куполе, где виднеется голубая бляшка небес. И была она могущественней, чем дух разора.

Я-то знаю, как могут разбушеваться силы, напившись своей браги. Тогда душа человеческая мечется, как хилый голубок в ледяных вихрях, курлычет смятенно. Раздалась узкая келья для карнавала великих сил; стала, как вселенная, неохватна. Чисты были краски многоцветного карнавала, цвета его были яркими невыносимо. Глаза ломило, и в голове сумятица от многоцветного вихря. Ничего не осталось на столе от скудной трапезы. Раньше-то угошеньем для каждого была лишь кружка с прозрачайшей водой и ломоть ржаного хлеба с капелькой росы. Теперь стол, широченный как земля, ломился от яств: исходящие слезами сыры с мельничной жернов, свиные туши, нашпигованные куропатками, черные лебеди плавали в расплавленном масле, семга и севрюга, сервелат, тресковая печень, конечно, — почти партийно-правительственный распределитель. Конечно, икра — у меня, проголодавшегося ночью, даже слюнки текут.

Древнеримский пир великих душ. Великолепная их брага пенилась в кружках, каждая — с бочонок. Размахнулась вширь великая трапезная. Интересно, какой она увидится, если голубком взмыть ввысь, поглядеть на нее с вражеского бомбардировщика? С высоты она будет похожа на человечка, лежащего ниц, на крошечного человечка, сложенного из замшелых кирпичей.

Только вот нет высоты, пространства нет за горизонтом — потому и лег, уткнувшись в землю, исполненный великих сил человек. Не может он встать во весь рост — небо и земля его стиснули. Вся высь тут — паренье того голубка, что присел на балку. Он распушил перья клювом, слизал с них кровавые пятна — и теперь, то одним глазом, то другим наблюдает разгул великих сил. Безмятежный голубь — где он порхает, там и есть поднебесье. Все небо — только лишь его полет. Его небеса предназначены лишь для полета.

Ты понял хоть что-нибудь, мой сынок, мой мальчик? Мысли ведь мои разлетелись, как птицы, от бушующего цветом пира великих душ. Знаешь, когда они начинают бурлить под сердцем, где-то

в брюхе, разлетаются с чириканьем мыслишки испуганной стайкой. Иные падают подстреленными, некоторые — канут в синеве. Каждая из них — живая, трепещущая. Как еще может биться и трепетать бездушная, кажется, мысль? Да и что может быть бездушным в этой ласковой ночке? Своей бездонной, необъятной душой она поделится со всем и со всеми.

Рука мечется по бумажному листу, перелетает от птички к птичке, чтобы донести от одной к другой их легкий щебет. Вот он — великий разор души, когда та не едина, но и могуча своей разностью, трещиной, сквозь которую ринется в душу вся вселенная и будет принята ею. Напрасно хохочет смятенный дух разора. Неужто синева разлучает? А, может, душа как раз и склеена синевой, пробивающейся сквозь трещины, иль живущей в потолочном проеме тьмой летней ночки? Слитна душа и ночь едина, мой сынок, мой мальчик.

Ты-то меня поймешь, мой сынок, нелепые твои сны наделят смыслом мои нелепые слова, — мое письмо еще не столь безумно, как сон. Так и должно — оно рождается, повторю, мой мальчик, на границе яви и сновиденья. Двумя своими ликами обращено разом и к сновиденью, и к миру. Нет, не замазает оно мир ночными призраками, наоборот — испещрит явью, наделит истинной связью меж явлениями. Так и ночка не туманит, а проясняет мир. Сны — символы яви, и та — символ снов. Ночка ж их странное сплетенье. Кажется, я повторяюсь, мой мальчик, но дай еще разок насладиться крупинкой истины, сынок.

Я вспахиваю плодородный чернозем ночи: испещрил знаками все стены детской спаленки, вспахиваю мрак во мраке. И лишь исподволь, темно и туманно рождается цель. Я жду, когда вспыхнут буквы на стенах. Что они посулят: конец, будущее или надежду?

Я все еще на пиру великих сил, пораженный его вселенской суматохой. Мелькают в глазах его цветастые пятна, парю в музыкальных блестяшках. Все чрезмерно на этом пиру: если радость, то она раздирает все нутро — кишки выплескивались наружу. Рассыпаешься искрами в небе, как праздничная шутиха: ночь светла, — с гулким звуком разрывались многоцветные петарды.

Тревожной была та радость, — радость чрезмерная, на самой грани великого горя. Чистейший свет столь же непрогляден, как черным мраком, мой сынок, мой мальчик. Оттого-то временами нисходили на меня видения ужаса, — все, что хочешь, узришь на великом пиру. Что не хочешь, — тоже. Вот, сбросив на пол всю роскошь пи-

ра, так, чтобы ноги превращали в гадкое месиво пищу, уложили на стол всадника, сверкающего доспехами, как солнце.

За голову держал его лукавый вязальщик, веселый пузан — за ноги. И некто, изображавший смерть стоял рядом с песочными часами в руке. Воссиял золотой топор, занесенный духом разора, — он молнией сверкнул и застрял в плотном дереве. На части он рубил солнечного всадника, чья кровь текла на пол; благоуханные цветы вырастали из ее капель: каменный пол становился цветущей поляной. Великие силы ладони подставляли под кровавые струи и лики омывали кровью.

Смуглая девушка украсила свою цыганскую прическу красными цветами. Лежал на столе всадник, как рассеченная туша, кости торчали из кровавых окоровок.

— Это, кровь заката, мой мальчик, — прошептал голубок, — ее не бойся. Ты же знаешь, сынок, что в крови рождается солнце; окровавленным оно уходит в ночь. Сколько небесных катастроф ты наблюдал из окна своей спальни. Чиста эта кровь; вновь восстанет небесный всадник, — это чистейшая из всей пролитой крови, она — мать ярких цветов, чем поросла ваша земля.

— Не верь ему, — крикнул вязальщик, — мой сынок, мой мальчик, — меня послушай, гонителя тьмы. Гляди, как чиста кровь, легка, золотиста. Это, и верно, кровь заката, но посмотри, как густеет она, пав на землю, становится черной, как запекающаяся на виске капелька. Тебе нравится выросший из нее цветок, благоуханный цветок. Тебе сладок его терпкий тревожный, неземной его запах. Это запах твоих ночей, — но цветок ядовит. Кровь — всегда кровь, мой сынок, мой мальчик. Чиста была кровь заката прежде времен и странств, но та переплеснула в наступившие времена и обернулась живой человеческой кровью.

Изгонял зло со своей равнины сверкающий всадник на своем белом коне, но куда? Не за горизонт ли, не туда ль, где исток ваших путей, не туда ли, куда уходит кровавое солнце? Не из крупниц ли зла слеплена ваша жизнь? Не из того ли сора я и сам вылеплен?

— Да не слушай ты этого дурня, — курлыкал мне голубь, — он умней всех, оттого всех дурней. Ничего не опасно в мире, мой сынок, мой мальчик, нет отчаянья и гибели в мире — вашей детской спальни. — И он смело совал свой клювик в бледно-красные чашечки цветов и доставал его чуть припорошенным розовой пылью.

Я устал, сынок, от многоцветного бала — уходящими громами погромывивали речи великих сил. Как просты их речи, как путаны, как

похожи на человеческие. А я уходил в сон. Это лучший из всех даров ночи, мой сынок, мой мальчик. Как сходны реченья великих сил с моими собственными, но только они облетают с их черных плащей, как сверкающие блестки, — и черен, будто ночь, остается плащ.

Помню, мальчик, как мне случалось просыпаться, громко разговаривая вслух. Я забывал произнесенные слова, — тут же они растворялись в ночи. Что это были за слова, не эхо ль речений великих сил мироздания? Я не отвечаю, сынок, ни за сумбур своего сна, ни за нехватку безумия: все ведь сны уловлены в сети ехидным вязальщиком. Те рвутся из них, трепеща легкими видениями, не хуже пойманных птиц. Но бывают глубочайшие сны, которые уже не ухватит драный невод иль сеточка для ловли птиц, — но тогда, кажется, и великие силы оставляют спящего. Остаются, разве что, какие-то свирепые, донные, — и никто не поможет в битве с ними, кроме белого голубка. Такие сны невозможно запомнить, остается от них лишь свинцовая тяжесть. Сгусток смерти — вот что такое эти сны, безысходные сны — черные алмазы в короне царицы-ночи.

И все же запомнил один: я воевал с тремя ведьмами. Что это были за ведьмы, что за силы зла: проникшие в сон из дневной яви или прямо во тьме зародившиеся и рвущиеся наружу сквозь меня и мою ночь — дверь, занавешенную черным пологом.

Ну, полно, мальчик, мне распугивать своими грозными виденьями твои легкокрылые сновиденья, где наибольшая угроза — лев, на хвосте которого голубой бантик. Говорю тебе, это тот же серый волк моего детства, который меня преследовал в моих детских снах; серый волк из книжки — человек в песьей маске, ласковый серенький волчок.

Нежна твоя ночь, сынок, не запеклась еще кровь заката на жесткой земле черной капелькой. И моя ночь нежна: в ней растворены не одни великие силы, но и родные души. Мало их у тебя, а у меня их много — тех, что стали погребальными свечками. Оба мы в преддверии жизни, мой сынок, мой мальчик.

Сынок, ты, наверно, пожалел сверкающего всадника? Прости своего отца, власть пожившего в жизни, так, что ему везде кровь мерещится, — никогда не видевшему ее вытекающей из жил. Рассеченный всадник в твоем сне тебе показался б лишь облачком, развеванным ветрами.

Не грусти, сынок, я вновь в келье великих сил. Вижу, как голубь, испустив слюну, ею склеил всадника, так, что и шрама не осталось.

Ответь, без чего нет сказки, сынок? Та невозможна без короля и королевы. Королева у нас есть — ночь в золотой короне, а король — теперь сверкающий всадник, пусть увенчанный и не настоящей короной — картонной. Да еще веселый пузан тайком прицепил к ее отрогам свои шутовские бубенчики. Стоит лишь всаднику головой повести, как они затеяли б отчаянный шутовской перезвон, но покоем всадник, будто кучевое облако. Зачем, спросишь, нашалил зловредный пузан? Все тебе зачем да почему, сынок, мой мальчик, — так просто. Ведь и тебе так случается.

Восседал всадник на деревянном коньке, которого вновь сколотили из поленьев, — да еще переднее расщепили, так что оно стало вроде забавной конской морды. В правой руке он сжимал тыковку, как державу, а в левой — палку колбасы-салями, как скипетр. — Не грусти, старик, что корона картонная, — утешал его пузан, сдувая с пальцев сусальное золото. — Зато голову не давит, мысли в ней легкие, как воздушные пузыри. По мне лучше нет, чем картон и крашенная холстина. А я ведь тоже царской крови — родился в островерхом балагане, заостренным кончиком упиравшемся в кучевое облако. Папаша в нем играл королей, а матушка — корольев, сверкая стеклярусом. В тот-то миг я и родился, прямо на подмостках, — шквал аплодисментов меня приветствовал. Сколько сладких закоулков и таинственных вещей было в нашем балаганчике — вся бутафорская роскошь мира жила в нашем заколдованном замке. Вот только я уродился чересчур уж велик и силен для картонно-фанерной роскоши. Да еще и рос не по дням, а по часам. Вместо волов я впрягался в тележку и возил наш балаганчик с места на место, — балаганчик, легкий, как облачный град. Сам я играл наследных принцев, — публика рыдала, да только от смеха. Сколько раз хотелось похоронить этих зубоскалов-филистимлян под холщевой кровлей.

Всхлипнула от смеха одна из великих сил. — Потом в пыльной примерной я гляделся в зеркало, — говорил дальше пузан, — и кроме своей опухшей рожи видел то, что для всех скрыто: маленьких светлячков, запутавшихся в моих волосах. Они, как крошечные звезды, сверкали остатками того блеска, что чудом уцелел с прежних времен, когда я был солнечным всадником. Так-то, мой сынок, мой мальчик.

Вот так я жил изо дня в день, и в конце концов сам стал весел, — все бубнил пузан. — Вон какое брюхо отъел, гуляя в корчмах с поклонниками моего актерского таланта. И силу набрал невероятную, так что рассыпался в моих руках непрочный реквизит, — да балаган-

чику моему приходил конец: протерлись до дыр матерчатые стены, рвались туда все мировые ветра.

И вот как-то ночью постучал голубок в слюдяное оконце, — вон, вроде того, что сидит на балке. Тогда я проснулся пред самым рассветом. Знаешь, бывает, когда браги напьешься, — жажда такая, что, кажется, море выпьешь. Я как-то во сне и выпил все море, даже последние капли слизал, как пес, с донной глины. И тоска — такая, ну вот такая тоска — как весь мир огромная, как у тебя бывает, мой сынок, мой мальчик. Которая будто заполняет собой пространство, — куда от нее денешься, разве что отыскать норку, чтобы туда юркнуть мышонком.

Смолк пузан и отбросил легкую тень на лицо солнечного всадника, не знающего ни тоски, ни радости. Как меловым кругом был обведен великий всадник — целен и одинок. А на самой границе мелового кружка, коряво, неровно выведенного, как детские классики, — темные страшные слова: огонь, вода, — клубилась тоска смертная.

С чем она схожа, мой сынок, мой мальчик, — как тебе сказать? Ну, вроде тоски заборной. Ты ее, наверно, уже знаешь, сынок, получше меня. Я-то почти ее позабыл — только иногда блестящей промелькнет прообраз любой моей тоски, страшной, как предсмертная. Представь себе: бежишь вдоль забора и поигрываешь на его пиках, как на ксилофоне, деревянной палочкой трык-дык-дык. И вот — конец, обрыв забора, последнее «ток», — прощальная нота виснет в воздухе, больше звуков нет и не будет. Суровая тишина — кончился забор, и на самом его кончике повисла нота отчаянья.

Бывало, он заканчивался закруглением — четверть-солнцем с железными лучиками, — закатным солнцем, нисходящим в землю. А дальше — буйство зелени, райские кущи; казалось бы, конец разделенью, но радости нет, мой сынок, мой мальчик. Остается только повернуть назад, но тик-ток теперь звенит ушедшими временами, перезвоном погребальных колоколов.

Такова великая зеленая заборная тоска, которую оставляют по себе канувшие эпохи. Забор ностальгичен, мой сынок, мой мальчик. Где-то я видал его, сынок, — не помню, может быть, на картинке. А вот балаган, случилось, видел наяву: дурацкий балаганчик угодил в мой теперешний сон из ранней яви, которая сама была, как сон, туманна. Было так: асфальтовая площадка в парке моего детства; крепкие парни натягивают холст на деревянные опоры. Один из них был карлик, но не горбун, сильный и ловкий, но все равно заманчи-

вый и страшный. Помню, как из холщового балагана вырвался разъяренный бык. Я не успел испугаться, как он уже был скручен сильными руками, повержен на колени. Честное слово, не вру, мой мальчик. Столько ярких безделок подарило мне детство, что их достанет не на одну вселенную. Одного цирка, представлявшего в том балагане, его блесток и мишуры, мне хватит на века, мой мальчик.

— Голубок постучал носиком в мое мутноватое окно, — бормотал пузан. — Я вышел наружу — трепался на ветру холщевый балаган, как флаг на древке. Цирковые кони ржали в конюшне, метались, разрывая цепи. Буря и разор, — весь мир обернулся хаосом в моей ночи. Тут предстал предо мной конек деревянный, — вышел из темного леса и стал у крыльца. Золотые гвоздочки, как звезды, сверкали в его суставах. Вырвал я махом, с корнями, великое дерево, подпиравшее холстяную кровлю. И тут же унесла буря балаганчик к горизонту, где он стал серой тучей. Взобрался я на конька, взвалил дерево на плечо корневищем, и — в путь, мой сынок, мой мальчик.

Повел головой блистающий всадник, и тренькнули бубенчики на его короне. Безмятежно взирал с балки белый голубок на разгромленный пир великих сил.

Что, сынок, двойка мне за сон? Мысль — не мысль, картина — не картина. А сновиденье что такое, мой мальчик? Оно и есть: и мысль — не мысль, и картина — не картина. Ночной карнавал, тайно правящий миром. Да, сынок, десяток простых образов им и правит. Каждый — сверкающая бляшка, золотая медаль.

Ночка правит миром, мой мальчик, единый мысльобраз, распростерший над миром свои могучие крылья — черный гриф, — а в клюве он держит золотое колечко, золотой ключик. Единым мысльобразом становится мир, не успевающий за день отряхнуть с ресниц свои ночные грезы. Тихо-тихо трудится в ночи маленький паук — лукавый вязальщик: сплетает роскошный ковер из пятерни простейших чувств, выплетает из них эпоху. Вдруг рвется нить, — тогда бездонной и непроглядной становится ночь, где только белый голубь сулит наступленье рассвета.

Застыла в оконце ночь, как на картине, колышутся вольные тени. Мы все бдим у колыбели новорожденной эпохи — рассвета мы ожидаем, сынок. Какую-то ткань выткет нам ночной вязальщик, какую-то новую сеть он нам сплетет? А пока мы смотрим сны, где прошлое с будущим едино, — как их разделить?

Ночь — драгоценный клад, мой мальчик, все ее сокровища я дарю тебе, но рад ли ты будешь? Не слишком ли их много, не слишком ли те яркие? Да, ночь чрезмерна, мой сынок, чрезмерны сны. Только они и способны даровать величие неяркому и ласковому миру дня. Какой из снов воссияет дневной эпохой, мой сынок, мой мальчик? Кто знает, — только лишь рокот великих сил может подсказать.

Не надо искать в сновиденье ни образа, ни мысли, — доверять ему надо. Пусть будет, какое есть, ведь только в нем ты можешь, хоть зернышком маковым, явиться на пиру великих сил. Я засыпаю во сне, мой мальчик, — и снова, и снова, — так сквозь все сны достигну последнего донца, где таится зернышко, что породит эпоху. Оно, пронизывая слой за слоем, напитается буйством и великолепием каждого, чтобы явится пред пораженным миром великим неведомым цветком. Нужно ль мне отыскивать зернышко, если оно, придет срок, само объявится в мире? Нет, наверно, однако в поисках скоротаю ночь.

Не нужно, пожалуй, мой сынок, мой мальчик. Тем более, что я знаю, какое оно, — обычное маковое зернышко, как зерно любой эпохи, — даже и не представишь, сколь неожиданное, странное может из него родиться. И все же, хочу я высмотреть, углядеть будущее. Я был сыном любой из прежних эпох, а будущее — мое дитя. Каждый отец стремится опередить время, мой сынок, мой мальчик.

Трудно уловить ночь, мой сынок, не дается она в руки, целомудренная, бежит, робкая, от написанного слова. Куда ни взгляни — тьма без знаков и эмблем, — даже звезды сейчас куда-то девались. Только тени пляшут на стенах, тени прошлого дня. Что мне до них — я ищу вечные силы мира.

Нет, сынок, не сделал еще четверть-оборота всемирный винт, вертикаль укладывающий в горизонталь, а ту — возносящий в небо. Нет горизонтали в ночи, а вертикаль — до самых звезд. Всемирный винт, всемирная крестовина, — она, небось, и швырнула на землю отощавшего небесного всадника. Лопасты у нее черные и белые: одна — надежда, другая — отчаянье, третья — будущее, четвертая — прошлое. Лишь повеет дух разора, как весело тот завертится. Трещат верткие лопасти мелкими смешками. Нелепо повис на одной из них солнечный всадник, вздетый, как на пику. В зените — он сверкает броней; на горизонтали — он то веселый пузан, то он тощ и уныл; внизу — темный ночной дух. А все вместе — смех один, — скрежещут жернова, перемальывающие летнюю ночь, — это мельница наших снов, в которых предвиденье жизни.

А пока ее нет, одна только ночка, сынок. Пока еще вздыблена горизонталь, которую нам предстоит проживать подробно и скучно. С ночкой надо бы поосторожней — не встревожить бы великие силы; легкими пассами надо ее заговаривать. Каждый неясный ее шорох как еще может прогреметь днем, каким еще громом. Помнишь, сынок, — во сне гонишься за кем-то упорно и долго, а протянул руку, дотронулся, и — нет ничего, то рассеялось, как дым, как предутренний туман, как призрак.

Ночка протяжна, сынок, — так, может, и не ждать рассвета, начинать дневные труды, гатить болотные хляби? Ночное небо не отвергнет ни одного благого усилия, как и небо дневное. И воссияют наши ночные труды дневным солнцем. Только бы ночку не потревожить, нежную ночку мира. Не так уж туманны мои слова, сынок. Разве что эхо ночной спальни придает им чуть странности и тайны. В лунном свете все мы странны и небывалы, дети дня. Он течет по губам, серебристый сок ночи, твоей — первой, моей — последней пред концом молодости. Должна бы в рот попасть, хоть капля, мой сынок, мой мальчик.

Сгущается ночь, бархатной занавеской прикрыла оконце. На ней вышиты луна и звезды. Бушуют на стенах спальни, как в кинозале, пиры великих сил. Позабавимся великие силами, мой сынок, мой мальчик. Они не будут против, великие силы, великие насмешники, ласковые котята. Сами ребячливые, они как раз годятся для детских игр: их голоса рассыпаются по бумажным листам разноцветными крошками, как искры фейерверка. Стоит хоть мизинцем задеть великую силу, как тень на стене сразу делается крылата. Летим на черном грифе, сынок, — не бойся, ведь ты со мной, познавшим, не пережить, сколько взлетов и падений, мой сынок, мой мальчик.

— Осторожно ступал мой конек, — продолжил рассказ пузан, — и по колено уходили в землю сосновые полешки. Голова моя туч касалась, колпак с тремя бубенчиками парил в небесах. Я дрался с великанами, мой мальчик, не трудное это дело. На сверкающей равнине, откуда их вымел солнечный всадник, они были, скорей, похожи на карликов, на кротов, с бархатной, как ночь, шкуркой, с цепкими коготками, привыкшими рыть землю. Только тут, на земной лепехе, а не за горизонтом — чертой, проведенной лукавым вязальщиком, куда уходит солнце на ночь, — они раздулись мыльными пузырями. Но тут они еще безвредней, чем на своей равнине, которая, — пришло время, — стала змеиться легкой сеточкой

разломов. Потом повеял дух разора, и треснула равнина, разлетелась вдребезги, — пали на землю звенящие золотые осколки. Думаешь, трагичным был конец монолитных равнин? Какое там! Где там трагедия, где патетика? Осколочки смеха, брызги карнавного фейерверка — смех один — от земли до неба.

Но не смеялись, оставались серьезны великие силы, мой сынок, мой мальчик. И тогда мрак из черного зернышка разросся мировым деревом — столбом вздыбился до небес, в вышине раскинул свои ветви. Прям его ствол, как путь солнечного всадника. Скоро ли то выросло, и не скажешь, когда время и есть только рост сумрачного дерева. Замерли великая трапезная и пламя в камине с пылавшей там саламандрой, и духи воды в глиняных кувшинах. Только лишь голубок порхал по комнате, разглядывал, любопытный, этот музей восковых фигур.

Я нырнул в самый омут ночи, в необъятное ее молчание, в самый глубокий сон. Что я увидел там, мальчик? Увидел, как разламывается тихо, беззвучно, золотая бляха, но напрасно в страхе мечется по ней великий всадник. Нет, не огненная жижа хлынет в проломы, — в них просочится ночь, нежная наша ночка, мысль наша раскинет темные крыла и до звезд вознесет спящий мир.

Что талдычат своими возвратами сны, которые музыкальны? Они творят все новые миры из набора в пять ноток, нанизывают петлю за петлей, мой сынок, мой мальчик.

Затишье оглушает, мой мальчик, — и нет ничего оглушительней молчанья великих сил. Хочется, зажав уши руками, беситься, по полу кататься от бессилья, но ведь не навяжешь свою волю великим силам, ты, крошечное зернышко на их пиру. Бывает, в клочья разрывают мир такие паузы, но эта была не из тех — просто шутка летней ночи. Невидимый дух вселенской паузы, затерявшийся среди великих сил, вывел мизинцем по воздуху свой таинственный вензель, зачаровал великие силы. И замерло все, пока тайный знак не растаял в воздухе, как утренний туман, мой сынок, мой мальчик. А понять тот знак никому не под силу, сынок. Иначе бы прояснились дали, — может быть, ночка б иссякла. Только б ясный мир простирался на все четыре стороны.

Замерцав, замигав, рассеялся в воздухе вензель, и снова заговорил пузан, даже не заметив, что прервалась его речь, прямой его путь, который теперь безвозвратно канул в ночь. Зашевелились великие силы, затренькали своими бубенцами, вновь полыхнул ка-

мин. Только теперь белый голубь замер на своей балке. — Да, — говорил пузан, — поверьте, плевое дело было побивать великанов. Они были одноглазы: одно око посередь лба, зато уж велико, с мой щит. Но слепы были великаны — кроты с бархатной шкуркой. И людам от них был не страх, а вроде сладкого ночного упоения страхом, мой мальчик. Ох, какие битвы развертывались под холщевыми небесами: деревья мы выворачивали с корнем, пулялись друг в друга звездами небесными, ржал мой конек, как летний гром, и хохотом отвечали ему небеса.

Я ловко орудовал корневищем, расшвыривал великанов, как котят; те только потирали отшибленные бока. Веселились, глядя на нас, человечки, с моих высот казавшиеся лилипутами. Чрезмерна была наша битва, мой сынок, мой мальчик, избыточна. Тут оставалось иль замереть в ужасе или потешаться до упаду. И замирали они, и потешались, — кровь наша была им не страшна, как багрянец заката, а сукровица заката — страшна, как пролитая кровь.

Не так было много великанов, мой мальчик, — мне ли не знать, пересчитавшему их своей палицей. Они личины меняли, потому и казалось, что имя им — легион. Всех великанов я побил, одни лилипутики на земле остались. И не было уже им великих зрелищ: корчились человечки в собственной тоске, в собственной радости, не задирая вверх головы.

Я уходил от них, победитель, гордо выступал мой деревянный конек. Уходил я от их селений — муравьиных куч: слишком хрупка для меня жизнь человеческих селений. В пустые местности я уходил, чтоб там дать волю своей силе и радости. Тут замолчал рассказчик.

Я же говорил, сынок, что в ночь устремлен его путь, в легкую ночь, куда простираются все наши пути, — тех, кто сборол великанов. Уж там другой будет у нас враг — тьма кромешная, великое затишье.

И надо ж, тут прыснул великий всадник — поистине непредсказуема ночка, — звякнул он бубенчиками на своей короне. Сказал мне: — Слушай ты его больше, сынок. Он всего только моя тень, пускай странная, которая полнокровней хозяина. Нередко мне случалось, когда скакал я по своей равнине, видеть в дали, в той вечной, которая даль всегда, — там, где играет марево от разопревшей почвы, — зеркальце, сынок, мой мальчик. Кривое зеркальце горизонта, битое зеркальное стекло, искажающее великое, его дробящее на осколки.

Оно выгнутое, — поглядишься в то зеркало — сразу вырастет брюхо, сомкнутый рот растянется до ушей. В этом странном зерка-

ле изображение живей живого — верней, телеснее. Этот пузан — мое отражение в том зеркале, сынок, мой мальчик. Такой же значок, эмблема, как и я, — даром, что брюхо отрастил, обитая среди человечков. Может быть, только чуть он живее, чем я сам. Он — мое посланье миру, ибо на мою-то равнину не ступала нога человеческая. Те могли только на ладонь ее положить, рассматривать, как древнюю медальку, изучать завитки полустертой печати — простую и общую ее жизнь, которую им не дано разгадать.

Спросишь, почему, сынок? Потому что ночь, темная ночь окружает каждую звезду. Ничто звезда без ночи, созвездия — вещей картинки. Чтобы познать мою равнину, надо так развернуть мысль, чтоб она мыслила о мыслящей мысли. Тьфу, пропасть, востроносый, запутался я в твоей сеточке. Мальчик, мой мальчик, сынок, зачем ты вынудил заговорить летнюю ночку, трепать по ветру пламенным ее языком, похожим на свечное пламя? Человечек, неужто и впрямь хочешь ты разгадать секрет ночи, сокровенную ночи мира. — Мечи, мечи петельки, мальчик, — шептал мне на ухо веселый вязальщик, — разменивай на грошики сокровенную ночку, не слушай этих олухов, простаков. Она ведь твое сокровище — черная мантия с цирковыми блестками.

Он швырял на стол горстями заплесневелые монеты всех времен — не золото, а грошовую медь, на которой кровь запекалась. Кровь ли заката, мой сынок, мой мальчик? — Из ночи ты вышел, в ночь вернешься, — шептал вязальщик, — живи днем, мальчик, а ночи тебе хватит, скопить сокровище, которого хватит на все твои дни, хоть век проживи.

— Проясни свою мысль, — так шептал он, — ночью она рождена, но сама разгоняет тьму, как солнце, родившееся во мраке, сияет над миром. Да, я плету свою сеточку, что видится завесой тумана, затуманенным горизонтом, задником, отделяющим сцену от кулис. Со скрипом поворачивается деревянная сцена: то подмостки становятся кулисой, то кулиса — подмостками. Как вот эту монетку подбрасываешь щелчком: орел-решка, решка-орел. А что, если я вовсе другую сплетаю сеточку — из солнечных лучей, куда лишь призраки сна могут попасться, ни единая щебечущая птаха. Одного не могу я уцепить своей сетью: сладко и тошно ноющую где-то в брюхе ностальгию по всему, что было, мой сынок, мой мальчик. Видно вы уже и родились с нею, странные дети ночи.

Тих был шелест вязальщика, даже — до великих сил он не донесся. Так ведь слепы и глухи великие силы мира, — до них не долета-

ют ни грома, ни шорохи, ни слова, конечно, сынок. Только лишь едва слышный лепет прорастающих колосьев. Речи их нелепы, сынок, не удивляйся. Смысл их — только легкая тень, отбрасываемая каждым словом туда, где парят белые голуби, сбившиеся стайкой, — или же в темную ночь, вечную ночку мира.

Вряд ли ты понял меня, сынок, — я и сам-то лишь малость. Но, все-таки, кое-что, — недаром ведь я прожил тридцать три года, да еще сотню дней, мой мальчик. Ничего, ночь длинна, мы еще успеем разгадать все загадки, а если и не успеем, то нам их нашепчет рассвет.

Стояли друг перед другом два всадника, и впрямь, — как я сразу не заметил? — похожие, как братья-близнецы, неразлучные, как вещь и ее тень, как две стороны бумажного листа. Как похоже на тебя зеркальное отражение — только стороны между собой перепутаны. Друг для друга они смешны, а для других — смех, их чуть перепутанное сходство. Они как двойной ванька-встанька. Никогда, признаться, не видел такой игрушки, но потешный получился б человек: деревянный уголок: две фигурки, а ступня одна на двоих. Один вскакивает — другой ложится тенью; вскакивает другой, первый — валится наземь. Веселая была б игрушка для детей, стойкая и надежная. Если падет одно, другое восстанет: тело падет — душа воспарит, а иного лучше не надо.

Да нет, тут немного не то: ведь и пузан силен духом, а его непомерные тела — насмешка над миром, позабывшим о великих всадниках. И телесность его, и смешливость — только пропуск в мир. Осторожно ступает его конек деревянный, — по нашим снам пролегал его путь, по нашей детской ночке, мой мальчик.

Только верхом на сосновом коньке может проникнуть в мир сверкающий всадник, и то через черный ход — нашу ночку. Огромному белому коню в любых временах и повернуться негде, а деревянный — процокает по всем, как по рояльным клавишам, если только не сгниет в пути, как деревянный храм.

Хочет всадник, ржет конек, и эхом отвечает ему повеселевший мир. Но стихает смех, грустен становится всадник, потом полиняет и грусть, — и от нее ничего не останется. Померкнет и будущее, и прошлое — его отражение в неведомом зеркале. Серенький туман стелется по земле, укрывает смешливого всадника, а потом опустится ночка, — и уже не виден всадник, только его колпак с бубенцами маячит среди звезд, чуть позвякивает. Но утром, которое все ж наступит, он явится из-за горизонта в солнечном блеске, — мы узнаем

его в любом обличье, — и тогда воссияет над миром одна из золотых бляшек, сбереженной нашими снами, начальными сновиденьями мира. А то — выкуют гномы в ночи новую бляшку своими молоточками. Но что нового может быть в этой уставшей вселенной, мой сынок, мой мальчик?

Так и остается терпеливо ждать рассвета, — шептать, шептать в ночи свои скудные реченья. Но беда, мой мальчик, что развеяла, поглотила ночка их и так хрупкую связь с лежащим вне их смыслом. Получаются заклинания, которые всегда мертвы. Но, все-таки, надо верить в силу слов, ничего не остается, мальчик; верить, что в нашем шепоте зародится молитва, — мольба верующих и неверующих, обращенная к великим силам мира. Ведь слово — единственный манок для затерянных смыслов: они восстанут из черных ночных глубин иль сойдут с высочайших небес и нежно обоймут каждое произнесенное слово; в него вдохнут мерцающую глубину, и делами нашими тоже будут править. А оболочки слов их защитят от грубых рук и нескромных взглядов. На каждом слове будет серебриться отблеск сверкающего всадника, провозвестника нового дня.

Медленно зарождается смысл в ночи. Все мы его призываем и так, и сяк, любыми сочетаньями звуков. Они взлетают ввысь золотистыми мыльными пузырями нашего детства, они падают вниз, устилают землю золотыми листьями. Любые слова, сынок, — политики, истории, искусства, науки, гибели, небес — в ночи становятся легкокрылой молитвой, призывающей солнце вернуться в зенит, призывающей смысл к словам, которые ему не подобны, и его же — к нашим трудам, потугам наших тел. А каковы наши труды, мой мальчик? Труды ли это или мы просто руки простираем в мольбе, ночной смысл пытаемся ухватить кончиками наших пальцев? Пусть же он зародится на скрещении всех наших жестов и слов, — будет, как детское солнце с корявыми лучиками.

И пусть письмо наше не упивается новизной найденных слов, — речь прямолинейна, но смыслы извилисты, да и слова успели уже обветшать, еще не произнесенными. Каждое измусолено тысячами языков. Величайший грех любого письма — правдивость, уводящая от истины. Нет, не тем мир спасется. Взовут великие силы, повеет дух разора вдвое крепче, чем было, сметет бумажный сор с земной глади. Только бубенчики затренькают на шапках прилежных писцов.

Спустился пониже мой гриф, — что же, и так бывает в своевольной ночке. Прости, сынок, мой мальчик, что я посвящаю тебя

в скучные и глупые взрослые дела, тебя, живущего на заколдованной равнине. Ты-то вовсе не закорючками письма вычерчиваешь смысл, — зачем, если он крепко зажат в твоём кулачке, сынок? Зачем тебе молитвы, если молитва — каждое твоё слово, — все они устремляются в небо.

А я, сынок, только страстно жажду не потерять в себе того мальчика, который в сжатом кулачке держал все ветры земные, — не выронить жемчужинку, роясь в пахучем земном дерьме. Поверь, сынок, для меня тоже все пусто, кроме высей и глубин, ночного простора во все концы вселенной, но мир меня сжал своих объёмах, вязкий мир, который я полюбил до боли. Как тут не задремать — не плодотворным ночным сном, а дневным, сладким, но непророческим, бездельным, когда дремлют и душа, и разум.

Вязальщик, — или, уж не знаю, вязальщица, ибо бесполы земные силы, — тем временем оттирал свои монетки уксусом и полировал бархоткой. Грудой они лежат на столе, на черной бархатной скатерти. — Бери, бери, сынок, — шелестел вязальщик, — все здесь твоё. — И он тощим пальцем указывал на сверкающие созвездья. Гляди, сколько золота, — я готов купить твою ночь. Спросишь, сынок, мне-то она на кой? Вот, что я с ней сотворю, — да ты не тревожься сынок, беды для нее не будет. Возьму ее вот так, двумя пальцами, осторожно, как ватку, распушу, буду отщипывать черные клочки и по одному, осторожно, буду сдувать их со своей ладони. Как черные хлопья, как пепел, полетят они по миру, весь его запорошат, — и листья деревьев, и снег будет черен. Потом я взмахну руками — вот так, вот так, как птица. Взовьется пепел до небес, померкнут светлые дали, тьма наступит средь прежде белого дня.

Странные, ведь верно, речи, мой сынок, мой мальчик? Духу разора б их нашептывать, а не вязальщику, со спицами, сверкающими, как солнечные лучи. Я вконец запутался, мальчик, в своей ночи, которая неделима. Прорастают одна в другую великие силы, не отличить шепот от шепота.

— А потом я вот, что сделаю, — шептала сила, — я там вон присяду, в уголке, поджав под себя ноги; продолжу свое вязанье, буду ждать, пока осядет пепел. Сначала он очистит самые высокие выси; потом контуры облаков проступят в небесах; потом только лишь у ног будет бурлить чернильное море; потом на землю ляжет пепел, и земля будет черна. Не бойся, мальчик, мне нужна твоя ночь, не чтобы спутать кудель, а чтобы смысл воссиял. Я рождаюсь на са-

мой кромке горизонта, там, где гибнет последний луч, этот миг — миг моего рождения. Ночь мне дарует силу, но я и зерно ее гибели. Я вырастаю за ночь в могучее дерево, колеблются мои ветви, разгоняя мрак, как елочные игрушки, горят в моих ветвях ночные звезды — росинки, предвестники утра. Я — гонитель ночей, мой сынок, мой мальчик. — Ты чего-нибудь понял? — спросил вязальщик меня, — крошечное зернышко на пиру великих сил.

То я понял, моя ночная сила, что все ваши пиры — лишь неуловимая игра теней на кромке великого поля, бескрайнего поля нашего детства. Так-то, мой сынок, мой мальчик. Я бы сгреб то золото, сынок, только вот беда — карманы у меня дырявые, даже медь растеряю. Только лишь пару ночек сберег: ту, первоначальную, и эту — грянувшую на излете моей молодости. Существовую в объятьях двух этих сладких ночек. А что ж вереница дней между ними? Все их я растерял, как последний ротозей. Что я такое, мой сынок, не прозрачное ли зеркальце, где отразилось начало, став завершением?

Один гриф и ночь одна. Я узнал: это она, та самая, первоначальная, ко мне возвратилась? Выросла из черного зернышка, того, где дремлет свет непомерный. Могучим деревом обернулось зернышко и свет сберегло. Вернулась ко мне моя ночка — видно, снова задел мою жизнь голубь своим крылышком. Сладка последняя темная капля истекающей молодости. Зачем мне начищенные бляшки, если я могу руками срывать звезды с небес, зачем мне монетки, на которых запеклась кровь заката?

Вязальщик все махал руками, как крыльями, взметал невидимый пепел. Прижались к стенам великие силы, они боялись вязальщика, как птицы сеточки птицелова. Тут спорхнул со своей балки голубок, пропорхал по комнате и, неловкий, опрокинул дубовый стол, задев крылышком, — рассыпались блестящие монетки. Притихший, было, дух разора вдруг овладел трапезной; смешались великие силы в кучу-малу, — смехотворное и безобразное зрелище. Изрядно они помяли ловкого вязальщика. Ты спишь, мой сынок, мой мальчик? И правильно делаешь — зрелище не для детских глаз.

Дух разора один остался за столом, — подперев руками лохматую голову, он сипел какую-то дикую песню. Ни мотива, ни слов даже и не разобрать, — клочковатую, как туман. Пред ним простирался стол, занявший прежнее место, широченный, как вечерюющая степь, — два его буркала сияли в зените, как пара лун.

Таков мой страх степной, сынок, мой мальчик, страх открытого невнятного пространства. Я привык плутать по закоулкам, забиваться в келейки, в комнатки, — по лабиринтам своего излившегося наружу нутра. Непривычна для меня степь, где простор во все стороны, где ветер посипывает разудалые песни.

Я — крошечное маковое зернышко, затерялся в бескрайней степи, мой сынок, мой мальчик, где пара черных коней, вороных коней, вросли в горизонт. Еще черней мрака вороные кони, они ржут, перебирают копытами нетерпеливо. Мне страшно, мальчик.

Не удерживаемая больше стенами, истекает из меня моя мысль. И что делается со степью, сынок? Она становится подобна мне: стены, закоулки, руины. Хрустальным прозрачным лесом порастает степь, в его стволах переливается лунный свет, чуть мутятся стволы, теперь это драгоценные дымчатые опалы. Раскинули деревья свои ветви в небесах, и чуть шелестит в них, тренькает хрустальными подвесками дух разора. Позванивают хрустальные шишечки.

Один морок этот лес: дунь покрепче дух разора — уйдет он ввысь, как подкрашенный лунным светом туман. И опять будет оголенная степь. Распирает меня моя мысль, мои силы — уже я не хлебная крошечка, а великан, улегшийся поперек степи, — от горизонта до горизонта. Гуляют по степи из конца в конец, вырвавшиеся из меня ветры. Я сам, как дух разора, мой сынок, мой мальчик.

Вновь пересекла трапезную смуглая девушка, позвякивая монистами. В лунном свете она казалась колдуньей-цыганкой, волшебной и ускользящей, как сам лунный свет. Протянешь руку и — раз, нет ее, только клочок тьмы сожмешь в кулаке, да еще пару звездочек — золотых монеток.

Смерклось в трапезной, даже отверстие на самом куполе чуть замутилось. Голубок там вился, простер крылышки — стал крошечным крестиком, самолетиком в голубом небе нашего детства. Темна стала трапезная — только брызгами праздничных шутих рассыпались искорки в самом темном углу, где силы проникали друг в друга и буйствовали. А робкие из них стекали светлыми слезинками со стен на пол, образовав мерцавшие лужицы.

Да, сынок, все перемешалось в моем сне! Слишком много шума, гама, грохота, и все — великое, мой мальчик. Да, сынок, все значительно в детской ночке. А чем изобразить великое, как не нашими нелепыми, бессильными словами величия. Да еще робкими нашими словами умаления. Ты уж прости меня, мой сынок, мой мальчик.

А впрочем, все это ерунда, сынок. — Что, собственно, произошло? Да ничего, — звякнула подвеска нашей хрустальной люстры, блеснул на ней лунный отсвет, — вот и все. Что еще? Ну, плеснул в памяти подол цветастого платья неумытой цыганки. Вот из какой чепуховины творится наш мир, великий мир нашего детства, великий мир детства мира, который потом правит нашей зрелостью.

Все изначально, все сильно и грозно в нашей ночи: любое сальное пятно на стенке может стать видением ужаса, светлый блик — надеждой. На то и ночь, сынок, чтобы видеть чрезмерные, сладкие и грозные сновидения. Мы не в ответе за собственные сны — единственное богатство мира.

Гляди, сынок, померкла вся округа, беспросветное чернильное море. Будущего не видеть, и прошлое запропало. Сфинксом прилегла ночь у твоего изголовья, — в сновиденьях мы разрешаем загадки ночи. Небезопасна эта игра в угадайку, повторю тебе, мальчик. Увы, все сны становятся явью, — вдруг стиснет нас дневной мир ночным кошмаром, тогда только мощью, скопленной в ночах, возможно его победить. Только изощрившийся в ночных побоищах способен сбороить дневные кошмары. Так солнечный всадник разгоняет небесные тучи.

Не пугайся ночных видений, сынок, это всего лишь избыток жизни: все, что не вмещается в дневную явь, по ночам воет и верещит, запугивает нас, мой мальчик. Все ночные шелестения не громче попискивания новорожденного, — но мать его чувствует. Чем полнится ночь? Погибающим прошлым и новорожденным будущим, да россыпью созвездий, да избытком жизни, мой сынок, мой мальчик.

И сам я прост, несложен, сынок, мы с ночью оба простодушны. Я был слепком дневного мира, пока он не ушел сквозь мои пальцы, — а потом я обернулся к ночи. Поверь, сынок, мои правила были просты, как мысль, куда проще жизни, — вот и ушел я в ночь, которая проста и неделима. Вспомни, как сросся вновь, без следа и шрама рассеченный всадник.

Я словно бы и не жил, сынок, а мыслил жизнью. Как бы тебе объяснить: словно бы жил не я сам, а какой-то измышленный мой фантом. Неплохо он был придуман — довольно гибко и точно. Он был похож на меня, как близнец, но это был не я. Я был схемой себя, мой сынок, мой мальчик. Крепка была моя сеточка, в которой бились разом и белый голубь, и черный гриф. Но порвалась хитроумная сеточка, разлетелись птички во все стороны, а мысль моя

трепетала последним перышком на хвосте. Тебе предстоит еще понять ночку, — пусть, когда от нее останется только одна черная капелька. Так вот, она ни городу, ни миру — тебе одному, сокровенная последняя капля.

Густеет ночка, как черносмородинное желе нашего детства. Даже в отдаленье не слышно цокота предутренних битюгов. Ты спишь, тихонько посапывая, и тебе снится лев, — какая-то заплутавшая великая сила. Увы, не могу я рассказать тебе сказку, какую все отцы рассказывают детям, — про мальчика, который я сам. Ведь я — дитя ночи, только она одна у меня перед глазами, а мир — рассыпался брызгами, как праздничный фейерверк.

Он у меня внутри залег — все у меня с ног на голову, мой сынок, мой мальчик. Вечно во мне работает мельничный винт, пропеллер, — крутятся веселой каруселью образы духа и мира. Ловко мои пальцы ухватывают хрупкую ночь, а дни все в тартарары провалились. Что помню я из своей жизни? Только запахи времен, только цвета эпох, плещущих, как флаги.

Только о темных и смутных временах могу я рассказать, где одни запахи и перебежки света, а жизни нет, мой сынок, мой мальчик. Запомнил я безвременье — невиданную, духовнейшую из эпох. Там вольный дух гремел оковами обыденности, сдерживающими его невероятную новизну. А пали бы те оковы, ох, что было бы, мой мальчик, — зря мы их так ненавидим.

Не скажу, что безвременье было мне в радость. Кому может быть в радость его грозная, ломающая кости новизна. Падали и те, кто прежде вытерпел ужас эпох-убийц. На самой кромке тягчайшей из них я родился, мой мальчик, — потому я навек побратался с темными временами. Но как тогда была грозна и могуча истекшая эпоха. Тревожным было безвременье, — и сквозь него будто искры просверкивали, не давая распасться временам. Тогда еще надежна и сильна была горизонталь. Это не теперешняя равнина, по которой — бреди в любую сторону, или вверх взмывая к единственной звезде, мерцающей на куполе. Или сигай вниз, в бездонную яму.

Из жестокости может родиться добро, — кто знает, бывает. Может быть, и равной ему силы. А что может родиться из хлипкой слякоти? Разве что, ночка нас спасет, ее плодородный чернозем, возвращающий великие зерна. Тридцать три года прошло с тех пор, как рассеялась беспросветная тьма, как родился нынешний мир, — мы с ним

ровесники. Теперь и он на пороге кончины. А что дальше: смердящая тьма или полет к звездам?

Кто знает? Вокруг темная ночка, сынок. Как же я ухитрился, скажи, все свои дни упустить сквозь пальцы? Да нет, сынок, не верь, сотня их все же осталось, полновесная сотня! Мало, что ли? Все я перепутал, сынок, — для меня сон ясен, а явь странна и символична, как сон. И мир тоже перепутал дни с ночами. Обоим нам по тридцать три, — тот самый срок, когда уходит вглубь дневная явь, а сны сияют в небесах, как созвездья. Созрели, вызрели сны, как осенний плод; распахнулись ворота за горизонт. А там, на горизонте, жизнь крупна, как жизнь миров, которые гибнут в закатной крови и рождаются в сукровице восхода. Там стоит единственное древо, вознесшее в небеса крону.

В эти роковые тридцать три года, если уж нет другого дела, как марать чистые листы, то уж торжественными должны быть слова, должны быть гимнами рождающемуся миру, псалмами, заупокойными молитвами по миру погибшему. Должны быть четкими и точными слова, но они должны быть странными, — ведь не вызрел еще новый их смысл. А тот рождается во всех детских спальнях нашего спящего мира, сынок. Только там рождаются эпохи.

Ты спи, сынок, копи в ночи великие смыслы, ты их явишь миру, когда придет срок. Это будет тогда, когда я улечу на небо, на черном ли грифе или на белом голубе, или наоборот — тяжкими цепями прикован буду к земле. Когда я вновь обрету свое детство во всей полноте, во всем блеске, или наоборот — растрочу его до последнего грошика. Тогда ты и породишь новый мир.

Не торопись, спи, сынок, на твой век еще достанет эпох. Вновь и вновь будет оскудевать земля, снова и снова припадать к своим ночам, прислушиваться к голосам великих сил. Впитывай, сынок, впитывай всеми порами эту последнюю ночь, сладкую ночь, ночь всех ночей, которая все дни исполнит светом.

Спи, сынок, день следующий, грядущий, уже истомившийся за горизонтом, породить предстоит нам, никому другому. Нам, растратившим все и вся, — и корыстью, и суетой, и суетным стремлением к благу. Мы украли у вас день, но мы вернем его вам, отожмем, отцедим наши души, соберем в горсть по капельке залегающие на донце силы. Гляди, вон там, над парком, вьется блеклое пятнышко, то — белый голубок, он не оставил нас. И звучит, затихая и мерцающая, устремленная ввысь музыка великих сил мира, значит

миру еще не конец. Я отвечаю перед тобой за грядущий день, я, свергнувший тебя в этот грозный мир. Верь, я спасу тебя, как ты спас меня, мой мальчик.

Все мы, в наших детских спальнях, протянув правую руку для великой клятвы, попытаемся вернуть вам день. Только ради тебя я мечтаю о дне, мой мальчик. Мне б и ночи хватило, с туманно и нежно вьющимся голубком. Растерял я свои дни, облетели они с меня, как осенние листья, но мне вовсе не жаль потери. Все сумрачней делалась бы моя ночка, пока не стала бы непроглядна, как свет невозможный. Наплевать мне было б на холодный и жесткий мир, — но нет, ради вас, мой сынок, мой мальчик, мы породим мир яркий и свежий, в котором мы с тобой проживем еще не одну жизнь. Но ты ведь не забудешь о ночке, драгоценной, осыпанной золотыми звездами?

Как сплести тебе сказку, сынок, яркий коврик из солнечных нитей мира? Нити все перепутались, — где найдешь концы? Растерял мир свои сказки, все уже рассказаны. Прежде они горели над мирами, как дневное светило. Их ровный и мягкий свет дотягивался до каждой былинки, ласкал ее, согревал. Теперь же время сказок лунных — таинственных, путаных и противоречивых.

Взгляни, сынок, на жемчужный диск — там гуляют, перетекают тени. Это родные души, мой мальчик. Ты еще не видал, как они белым паром уходят ввысь, — один за другим все, кого я любил, покидают землю, чтоб поселиться на лунном диске. Разомкнулся круг любви, охватывавший мое детство. Я один, сынок, холодна, выстужена моя спальня. Зато я чувствую, обоняю сладкий, с отчаянной горечью, аромат цветка, называемого жизнью, — подслащенную горечь жизни, мой сынок, мой мальчик.

Это запах твоих снов, пока еще та горечь не горче грусти по зашедшему солнцу. Увы, все сны сбываются, мой сынок. Вдруг и среди дня ударит тебе в ноздри запах ночной фиалки — запах смерти, последнего отчаянья и робкой надежды. Самый сладкий и горький из всех запахов земли.

Повсюду он рассеян, мы ищем его и подвластны ему, — в нем — переживание гибели тех, кто нас любил. А каков запах собственной нашей смерти? Ведь и он где-то живет в наших легких и светлых детских снах, где таится все, что потом будет в жизни. Не бойся, мальчик, этих страшных слов, повторяю — будь доверчив к своим снам. Все там есть, что будет в жизни, но обшарь каждый их закоулок, и нигде ведь не найдешь безысходного отчаянья — разве что нежную и светлую

грусть. Может, и не в ней таится тот запах, и даже не в легкой тоске по ушедшему за горизонт солнцу, а так благоухает самый ласковый и прозрачный сон, самый простодушный из всех.

Спи, сынок, не будем о гибели. Тебе еще жизнь проживать, в которой ты сотни раз будешь погибать, не дай тебе этого Бог, мой мальчик, но зато она отгадает верно и точно все загадки твоих детских сновидений, даст ответ на все загадки ночи. Ты пока спи, сынок. Зачем тебе разгадки, когда ты видишь въяве восходы и закаты. Мне, разве что, нужны, разменявшему их на земные медяки, — не так уж их много в моей горсти.

Но, сынок, не гордись перед отцом высотой своей начальной мудрости. Может быть, вовсе не стою я перед влекущим вниз уклоном, — нет, не склон я вижу, а истончающуюся к вершине гору. Все они истончаются на пути к вершине, но эта как-то особо — стремительно и ясно устремилась к неосязаемому кончику. Вон там, на этом кончике, невидимом, нерукотворном, вновь сойдется все раздробленное миром. А дальше — все, пустота, синь непроглядная. Детский наш сон прилег на ее вершине жемчужным облаком.

Но хватит о гибели, — ведь я жизнь пришел искать в свою детскую спальню. Просто чуть загрустил я перед концом моей молодости, перед одним из множества завершений в моей жизни. Просто холодно мне, сынок, стало в мире, откуда один за другим ушли все, кто меня любил, и в чьих теплых ладонях я лежал, как жемчужинка. Оскудел мой день, зато окрепли ночи, куда те ушли, став их шорохами и силами.

Что остается делать, мой сынок, мой мальчик? Только одно — научиться любить самому, — знаешь, как это тяжело с непривычки? Но ведь не может пропасть любовь, так щедро изливавшаяся на меня, — я передам ее тебе и она пребудет в веках. Вырвется она на чистый лист, ибо нет ей другого исхода.

Бушует, пенится полнолуние, бурлит родными душами. Светлеет оконный квадратик, становится, как чистый лист. Трудно говорить о родных душах, еще трудней, чем о великих силах мира. Хоть бледный отблеск их любви донести бы до тебя, мой сынок, мой мальчик.

Не могу тебе рассказать о моих днях, сынок, о чем же тебе рассказать, о моей душе? Интересно ль тебе это? Нет, наверно, да и как расскажешь? Она непряма, хоть и струится во времени; она, как музыка — пространственна, многомерна. Вот так о ней только и скажешь, туманно блуждая: мое письмо и есть портрет моей души, — может

быть, не в прямом ракурсе, а как как-то сбоку, а, возможно, и с затылка. Душа, как луна, сынок. Одной стороной вечно обращена к земле, другой, невидимой — звездам. Она, как музыка, — гляди: играют в спальне разноцветные струи, словно бьет фонтан. Струи трех цветов — красная, голубая и зеленая. Одна взмывает ввысь и рассыпается брызгами, потом другая и третья, — переплетаются нити, самый изощренный вязальщик в них ногу сломит. А ведь это простейшая данность. Неподсудна разноцветная музыка души, как дожди неподсудны, как неподсудны весны и осени, солнечные закаты.

И в душе, и в музыке — ближайшее отдаленно, а отдаленное — рядом. Потому музыкально наше время: обнаженная душа, — без преград, без границ, беззащитная перед злом мира. Тяжко, тяжело ей быть чистой музыкой, переливаться разноцветными струями, плутать в ночи, где не разглядеть ни прошлого, ни будущего. Тяжко ждать и ждать, пока из хаоса звуков родится единственный мотив и подхватит ее, увлечет, — властно, так, что не задумается она, куда и зачем.

А пока только и остается ждать и ждать, прислушиваться и в ночах, и среди дневных дел к звукам мира, ждать зарождения великого мотива, который — простейшая данность, потому он всегда прав. И вплетется в него белый голубок, — я верю в это, мой сынок, мой мальчик.

Душа моя, сынок, не знала препонов и преград, она нехронологична, мой мальчик. Все, что было не привязано ни к возрастам, ни к временам, как мелодия не привязана к смычку. Там все — без времен и эпох, одни возвраты, — когда угодно и куда угодно. Там — одно эхо, отзывающееся вдали, там все сбывается, мой сынок.

Может быть, тебе о моих снах рассказать, мой сынок, мой мальчик? В годы тоски они были, как цветущие поляны. Почему же стали они тяжелы, когда схлынула дневная тоска? Не в сны ли стекла она? Вздрыгнулась горизонталь, а вертикаль опустилась на землю. Стали ночами дни, днями стали ночи, — уходит за горизонт солнце, чтоб набраться сил, а днем отдыхает луна.

Но теперь-то мои сны и вовсе опустели, ничего в них нет — ни мыслей, ни предметов; они только невидимый, неуловимый разрыв меж вечером и утром, сбивающий обманчивую ясность и последовательность жизни. Жизнь ничто без этих прогалов.

Да нужны ли тебе мои сказки, если все твои дни и ночи — сплошная сказка. Ты спишь с улыбкой, сосредоточенно нахмурив лобик.

Внимательно ты спишь. От меня ты требуешь только сказок про рыб, волшебных, способных превратиться во что угодно. Где я тебе выловлю столько, в каких глубинах, мой мальчик?

Густеет ночь, мой сынок, гаснут одна за другой звезды небесные. Я зажигаю восковые свечи, повязанные черными лентами, и расставляю в углу кружком. Вот оно, мое звездное небо, там, в углу моей детской спальни. Там обитают, живут родные души, — прямо внутри огненного колечка. Легкие сквозняки просачиваются в щели нашей спальни, трещат свечи, робко и отчаянно трепещет их пламя. Источилось, тянется оно вверх, вьется вокруг змейка копоты. Может погаснуть любая звезда, но ни единая из этих свечек не угаснет.

Велика моя вина пред каждой этой свечкой, что я смею жить, когда родные души покинули землю. Разве не были мы едины, не были связаны самыми наиважнейшими нитями? Видишь: живу, хотя сам не знаю, как, сам не ведаю каков. Ведь я сам для себя существовал только отражением в их зрачках. Как прежде они оберегали меня, так и будут, став робкими мерцающими свечками. Я-то их не берег, думал, они вечны, — существовали до меня и будут после, как восходы и закаты. Вот и превратились они в трепещущие огоньки. Не надо и меня беречь, мальчик, — пусть и я стану свечкой, искоркой в твоей ночи, пребуду вместе с ними.

Я покинул трапезную, испугавшись дикого разгула великих сил. Они беспощадны, сынок, равнодушны, как вечные звезды ночей. Любой из нас сильнее их, да, мальчик, мы, крошечные зернышки на их пирах, могучи своим несовершенством. Сильны единым мигом, мгновенным проблеском, называемым «сейчас», к которому устремлены и прошлое, и будущее, мой сынок, мой мальчик.

Величественной, однако, неживой была и мука, и радость великих сил мира. Вылушенные из миров, времен и пространств, становятся они бесполезными, излишними схемами силы. За горизонтом вкушают они вечный покой, привычно бушуя в страстях, которые лишь видимость — игра ночных теней. На самом деле они спокойны и суровы, четки их контуры, как выбиты на медалях. Может быть, единственное, что вдыхает в них жизнь, это скользящий, легкий отблеск — отсвет наших погребальных свечек. Да еще лунный свет нашей детской ночки, сынок.

Я проснулся в трапезной великих сил. Не осталось там ни следа прежнего разора. Суровы и неподвижны, восседают за столом вели-

кие силы в старинных одеждах. Убраны со стола остатки пиршества, — золото, и оно исчезло, — остался только бархат, черный, как ночь. Три окна было в трапезной, заостренные кверху, как язычки пламени, — все разных цветов. Три окна выходили на маленькую булыжную площадь.

По маленькой площади прошел звонарь, цокая по булыжнику деревянными башмаками, а за ним вереницей тянулись великие силы. В голубом оконце они виделись ястребами, взмывшими в небесную синеву; в красном окне казалось, что кровь запекалась на их одеждах; в черном они предстали облаченные в ночной бархат, смиренно понурившими головы с веревочными петлями на шее.

И все же, как просты великие силы мира, — а какими им быть? Они даруют нам простейшие схемы бытия — золотые медальки, без которых мир — одно томленье. Но таковы они за горизонтом, а в бурливой и капризной жизни они текучи — ускользают от самых изощренных умов, разрывают наши сеточки для уловленья птиц, ускользают в ночь и восходят поутру, невесть с какой стороны света.

Существует зазор, шелка между образом великой силы, сплетенным из нашей надежды, нашего знания, нашей мечты, и самой силой, таинственной и грозной. И выются в этой щелочке, в просвете, сквозь который видны небеса, черный гриф и белейший голубь. Четко выбит лик на медали. Это, когда день, а настанут сумерки — живет, играет, перетекает и зыбким становится контур, неуловимым, как вечная улыбка.

Простыми предстали мне великие силы мира. А стоит ли изощрять схему, гуще делать сеточку птицелова? Все равно из нее ускользнет птичка. В черном окне они были просты, как эпохи, — и не вереница даже, а толпа. Все силы вдруг обрели плоть, даже те, что легки, будто вздох.

На врезавшуюся в небеса колокольню поднимается великий звонарь. Опять взлетела ввысь колокольня, но труден подъем по каменным ступеням, туда ведущим, сынок. Помню захарканную лестницу в нашем ложноклассическом доме, всю выщербленную, с остатками дубовых перил.

Потянул разом за все веревки звонарь — хилый дед с клочковатой бородой. Звоны, звоны раскатились по небесам: тяжелые, басовые, тревожные и грозные, как голос набата; мелкие, сладкие, словно мед; снова гулкие и тревожные; светлые, одиночные звуки, заплутавшие в сумбуре колокольного боя; маленькие звонкие нотки, кувыркающиеся по булыжнику площади. Колокольчики цветущего луга,

бубенчики лихой тройки, шутовские бубенцы. И снова бухал набатный колокол, на боках которого полыхал небесный пожар.

Мерно бил царственный колокол, равнодушный ко всем другим звукам. А слаще всех были неслышные звуки, которые только угадывались, — легкие, как вздох. Шмякались колокольные звоны на бульжник, металась по замкнутой площади, пока не находили единственный путь — вверх, в небеса. Ошалели наглые и чистые звуки, мой сынок, мой мальчик, эхо разбушевало. Как безумный, метался наверху колокольной глухой звонарь, кидался от одного колокола к другому, — а к мелким звонам тянулись нити, привязанные к пальцам звонаря. Метался он по колокольне, запутавшийся в своей паутине, — и он отбрасывал тень на ближайшее светлое облако. Бесновалась в небесах огромная бородастая тень.

Ни одна из великих сил не отвела взгляд от бульжной площади, — не глядели на великого звонаря, только вслушивались внимательно и углубленно в звон-перезвон колокольной. Сами они были ясны и суровы, под стать колокольному звону.

Качалась колокольная, кренилась, выгибалась, как струна; отлетали завитушки и башенки; сыпалась штукатурка, устилая площадь голубой крошкой. Пала колокольная — медленно, беззвучно, будто в киносъемке. Не коснувшись земли, рассыпалась в прах, в мельчайшие осколки. Удалялись звоны, как уходит летняя гроза, — только еще недолго жила в небесах тень звонаря, но и ее разогнали здешние ветры.

Беда, сынок, что все в гаем мире непрочно и зыбко, ни за что нельзя поручиться. Все гибнет по сотне раз на день, по тысяче — за ночь, столько же раз и возрождается. Все образы тут, мой сынок, мой мальчик, как облачные замки, — а живучи и постоянны только запахи и звуки. Напрасная, конечно, затея вочеловечить великие силы. Звучит в тебе хор — пусть звучит, распевает песни на непонятном языке, а вырви из него один-единственный голос — как хил и жалок будет он без поддержки других. Но разве я выдумал себе занятие, мой мальчик, разве не сами собой ожили, зашевелились пятна на стенах нашей детской спальни? Кто знает, что они еще отчебучат?

Ночь, мой сынок, ночь, усыпанная золотыми звездами, последняя ночь — другой не будет. Разумно ли отвергнуть сокровище? Нет, дотянемся ж до небес, все звездочки соберем в кошелку из тончайшего волоса. Будет тихо мерцать драгоценная кошелка, — мы повесим ее в углу нашей детской спальни. Будет, как ночник, светить

нам сеточка, полная великими силами, даже мельчайшая из которых способна породить эпоху. Вьются, вьются перышки в ажурной голубятне, вправленной в небеса, осенним золотом рассыпаны в ней золотые яйца.

Колокольня пала, затихли ее звоны, позвякивали только бубенцы на колпаке пузатой силы. Да никакой это теперь был не пузан. Куда подевалось его брюхо? Он стал высок, тощ, костист, — три отрога его колпачка врезались в звезды; каждый бубенчик бухал, чуть не подобно колоколу. С тем же, что и прежде, вниманием и спокойствием слушали великие силы новый перезвон, обнажив головы.

Снял отощавший теперь пузан свой колпак, и с размаху забросил его в небо. Повис там шутовской колпак на кончике месяца, поигрывали ночные ветры его бубенчиками. Тогда, как ото сна, очнулись великие силы. Они разбрелись по залитой лунной площади — почти неразличимые в затененном колпачком лунном свете. Тихо шелестел шепот их речей, мой сынок, мой мальчик.

— Посмотри, как хороша ночь, мой мальчик, — мне шептала из полутьмы одна из сил мира, — гляди, как резвится, играет луна на паркете вашей спальни, — лунные эльфы живут в каждом ее луче, — там рождаются и погибают. Глупый мальчик, дерзкий шалун, какой переполох устроил ты в нежной ночи, сам, как дух разора, — а ведь нет среди нас такой силы. Ты сам же ее придумал, мой сынок, мой мальчик. Мы тихи и нежны, мы — для вас, ибо нет во всей вселенной ничего вам чуждого и враждебного. Ты нас, покладистых и робких, заставил, как шутов, выламываться, устраивать нелепые побоища. Глупо, хитрый наш мальчик, — ты украшаешь небогатое свое воображение цирковыми блестками, заставляешь шутовской колпак взмывать до звезд. Дурацкая затея. Станет ли от того роскошней и заманчивей неиссякаемая ночь твоего детства?

— Пожалей его, великая сила, — шелестнула милосерднейшая из всех земных сил, — представь, каково ему томиться в ночном каземате. Ждать, когда его медлительная мысль, раскинувшая темные крыла от горизонта до горизонта, вознесет его в небо. Ему страшно и одиноко в этой ночи ночей. Наш шепот — ему поддержка, но тот ведь так тих, что мы и сами не всегда его различаем.

Прежде ясны были наши речи, а теперь все вымел из них суровый ветер, — остался только шелест опавших листьев. Все, что хочешь, расслышишь в этом шелесте. Пусть же наш мальчик, чем пожелает, расцвечивает свою ночь, любым дурацким вымыслом. Пускай раз-

влечет любой сказкой спящего человечка. Они оба вождеуют ужа-са и восторга, а ночь дарит им только свою молчаливую благодсть. Тоскует и мечется наш сынок, наш мальчик, — и шарахается в не-бе-сах его крылатая тень.

Пускай остается собой наш дурашливый мальчик, — мы сильные его несовершенство, господа великие силы мира. Придет время, и станет он совершен и бессилен, как статуя, но подрастет эта капелька, лежащая сейчас в колыбели, и сядет у изголовья своего сына, чтобы рассказать ему все дурашливые и нелепые сказки, что на-шепчет ему ночка.

Разными голосами, голосами отцовскими, поем мы, великие си-лы мира, колыбельные младенцам. Перепархивают из спальни в спальню блуждающие сны мира. Только на то мы и годны, чтоб развлекать детишек. Кто знает, из какой глупости может родиться новый мир, господа великие силы. Пусть наш сынок, наш мальчик, блуждает в ночи; истинно живет в ночи, а не играет в ночь, не измышляет ночку. Способна ли даже чистая, сильная и богатая мысль со-творить вселенную? Может быть, творится она обычной жиз-нью, суетливой, со взлетами и падениями.

Так, мой мальчик, говорила великая сила мира. Туманно говори-ла: «жизнь творится жизнью». Странно звучит, мой мальчик. Где тут она, жизнь, в нашей ночке? Начисто она вымела округу, замела все следы, все пути спутала. Глупость и страх, тоску и вдохновенье, как и все предметы мира, поглотила ночка. Только одно осталось — предстояние звездам, тягость этого предстояния.

Вон оно, гляди, нависло небо — драгоценная чаша, усыпанная ал-мазами, легкие парки змейками уходят ввысь, — сплетаясь, как воз-любленные, наши сновиденья возносятся в небо. Какая тишь, — только шепоты великих сил гуляют по маленькой площади. Ни мысль, ни образ не заслоняют звездных небес, — только легкий пар от наших снов накинуд на него таинственную вуалетку. Спокой-но спи, мой мальчик, предоставь своему отцу взглядываться в небес-ные картинки, угадывать по ним будущее, — придет и твое время.

Не страдай, что несовершенны твои сны, мальчик, наш сынок. Они — тень совершенного дня. Ясный ли день порождает новые эпо-хи, а не глупенькая ли ночка, полная заблуждений и младенческих грез? Запускай в звездное небо, сынок, свои немудреные фейервер-ки — этим не потревожишь великую ночь. Терпеливо жди или сует-

тись, — как хочешь, — плети или не плети сеточку, все равно вырвется из нее птичка, все равно взойдет солнце, когда придет срок.

Не бойся вязальщика, наш сынок, но и не обольщайся ловкостью его спиц. Он силен днем, а какой от него толк в этой детской ночке? Беспомощен он в ночи, где все разъято мраком для небывалых сли-яний. Россыпь звезд он увязывает в созвездья, однако неодолим мрак, разделяющий звезды.

— Ну, ну, великие души, — заговорил невидимый в сумраке вязальщик. — Не собираетесь ли вы пинком изринуть меня из круга великих сил. Я и так весь в синяках, граждане великие силы, после вашего самосуда. Поглядите на сплетенные мною ковры, — сколько счастья и отчаянья в каждом узелке. А изнанка их из черного бархата, темна и непроглядна, как общая наша ночка, — так-то, великие силы.

Я натянул для вас струны, на которых вы наигрываете, как ветры на эоловой арфе. Тщитесь порвать их, но тогда темным хаосом обернется любая ночь — просыплется наземь все звездное небо. Взвоят одичавший дух разора — моя тень, мой брат-близнец. Вон он стоит, в глубине двора, невидимый в темноте, наклонив голову, как могучий бык, — и силы зла паром вырываются из его ноздрей.

Сейчас он опутан, связан моей нитью, крепчайшей, но тонкой, как волос, — а в каждом узелке сколько муки и счастья. Стоит порвать ему волосяную нитку, и разлетитесь вы по небесам легкими хлопьями, потом слезинками падете на землю. Что пред его мощью ваша нежность?

Пудовым молотом размолот я в песок золотые бляхи, но золотая пыль стала ночными небом. Червячком я зашевелился во чреве солнечного всадника, разболелось его брюхо. Куда уж там ему гарцевать на бодом коне? Разве что на тощем одре, либо на коньке деревянном.

Вы жалеете великого всадника, — еще бы, он был монолитом, сложенным из всех великих сил мира, — слившись в нем, нашли вы успокоенье. Но добром ли был солнечный всадник, вечно свершавший один и тот же путь — от восхода к закату? Не добро ли хлынуло в разломы золотых блях? И зло устремилось в проемы, — но от зла голубок спасет.

Наделите меня капелькой добра — пусть поддует нежный ветерок в мои черные крылья, — как великолепен будет мой полет. Вы знаете лишь мой дневной лик. Вы ненавидите его, но ведь одной стороной я, как луна, вечно обращен к ночи, великие силы мира. Многолик мой дневной образ, но монолитна затененная сторона.

— Будет тебе оправдываться, — буркнула одна из сил. Но самая нежная из сил мира, — мне было видно в полумраке, — своей призрачной, полупрозрачной рукой провела по всклоченным волосам ставшего грустным вязальщика.

Может быть, и дальше что-то молот обиженный вязальщик, в чем-то оправдывался, но я заснул, мой сынок, мой мальчик. Бывает так, что бессильно опускаются крылья ночи, и уже не доносится ниоткуда ни шороха, ни шепота. А может, слишком высоко вознес меня гриф? Рано мне еще растворяться в звездах, — ты у меня на земле. Чушь городят великие силы, это лишь ночное эхо моих собственных слов. Бывает, эхо цепляется за кончик месяца, как шутовской колпак. Ты меня понял, сынок? Я и сам, признаться, не очень.

Непроста ночка, — так и хочется уснуть безмятежным сном жизни, в дневную явь укрыться от ночи. Веселыми бубенчиками звезд хихикает ночка, неуловимая, как цыганка. Что делать, сынок, если мало у нас ночных слов, — одни только смыслы живут в ночи. Клони в сон, — так и сползу незаметно со спины грифа, тогда будет не за что уцепиться, только за звезды, которые — золотые гвоздочки. А падения во сне означают рост.

Все возвращаются и возвращаются ко мне прежние сны. Это хорошо, упорство снов, — значит, они настоящие, неслучайные. Значит, и ночь настоящая, — прорывается черный бархат кулисы, с намалеванными на нем сусальными звездами, но в прореху видна та же ночка, только она еще глубже, простирается далеко-далеко, ни конца у нее, ни края.

Потому гениальна ночка — в ней есть протяженность, доступная только гению. Там, где даже у талантливейшего — стоп машина, тут-то и начинается гений — нечаянный поворот. Таланты — дети дня, который никогда не беспределен, — ведь небесной чашей накрыта земля. Заберись на самую высокую гору, взмой в любую высь — отпрянет в испуге горизонт, разбежится круг, казалось, до беспредельности. Но где-то, в самом далеком отдалении, останется черта, навек отделившая землю от небес, небеса от земли, мой сынок, мой мальчик.

Нет горизонта в ночи, земля и небо едины. Когда иссякли таланты, надежда остается только лишь на ночной гений, различающий все шепоты ночи. Родился ли он уже, мой мальчик? Или все мы причастны ночному гению, поплутавшие в изначальной ночке? Помнишь, птаха присела на наш загаженный карниз — и мы увидели

голубка; взлетел голубь — и мы узнали полет. Заалело закатным светом наше оконце — и мы познали гибель; порозовело восходом — мы узнали, что такое рождение. А между тем и этим пролегла ночка — ночь после гибели и перед рождением. Судьбу мира прочли мы на небесах, украшенных письменами созвездий. Ночные ветерки поддували в наши чуть отрастающие крылья, мой сынок, мой мальчик. Не растворится в дневной синеве наша ласковая ночка, — в нашей речи будут всегда чуть звенеть отголоски великих сил мира, мы всегда будем обширней, продленней, чем день, мой мальчик.

Темно за окном, сынок, только от таинственного треугольника исходит свеченье. Поворачивается то одним боком, то другим могучий и смятенный дух. Бока его, как грани алмаза, и каждая по-своему преломляет лунный свет. Не верили мы в предвиденье духа, в точность каждой его грани, но все на века прозрел великий дух. Он великий из величайших, — но ведь и нам светят те же звезды, и любовью из нас, как алмаз огранен, — единственным образом отражает свет ночи. Каждый из нас гениален, каждый наедине с загадками звездной ночи, мой мальчик.

У каждого есть набор простейших кубиков, из которых он может сотворить вселенную. Мы ничто без игр звездными знаками; начальными глубинами, — самим собой тоже, мой мальчик. Только один голубок нам не для игры. Вселенную творим мы из детских кубиков, — сотни раз совпадает с нашей игрой единственный путь мира — тоже след чьей-то великой игры. Сотни раз теряется он в ночке. Коль совпадут игры, наши и мироздания, — вдруг да блеснет явь, а все остальное — ночка, дремота жизни.

Оседлав свою память — черного грифа, взмываю я над больничным парком, чтоб вновь глянуть сверху на кубики, из которых я сложил свою вселенную. Два дома стоят на бугре, две таинственных шкатулки. Один — красный, а мой — серый. На моем — грубая лепнина, забытая, не видимая в ночной тьме картинка. Что там было? Не припоминаю, а ведь это из важнейших начальных образов моего детства. Не суд ли Париса? Нечто в этом роде. Скажи, сынок, отчего родной дом является мне в ночных кошмарах; отчего задыхаюсь я в узкой лифтовой шахте, почему не вижу я во сне светлой комнатки, где пара солнечных ромбов навсегда припаяны к полу? Она живет во мне, но где-то еще глубже, чем глубочайший из снов. Просто жизнь сдавила меня, мой сынок, мой мальчик, обременяет необходимостью сотворить вселенную. Осторожной-осторожной должна быть

наша игра, — не перепутать бы нитей, которые все в наших руках. Первый камень мы еще младенцами заложили, когда такой неверной, но и незамазанной была наша рука. Может, и причина вселенской нелепицы — неверность руки, ее сотворившей, — не потому ль она сопротивляется перетворению уверенной взрослой рукой, мой сынок, мой мальчик?

Творение всегда изначально, сынок, потому и гуляют по миру детские мечты. Проросло зернышко, зароненное в комок податливой глины. То была единая детская мечта — замысел творенья. Какова она? Да простейшая, сынок: мир, как зеленый луг, где живут в согласье люди и звери, где нет взрослых роковых страстей, — мир, как цветущий сад, где невозможны взрослые тяготы. Не суровый закон довлеет над этим садом, будто грозные небеса, а смешной детский запретик. Однако нарушь его и, о Господи, мой сынок, мой мальчик, — погибнет сад, погибнет детство мира. Да, несовершенен мир, сотворенный детской рукой.

Прост замысел мира, сынок, — мы, должно быть, сложнее; вот и запутались в легкой паутинке, сплетенной великим вязальщиком. Но ведь нам с миром уже тридцать три, сынок, — последний шанс нам дается возвратить себе детство, другого не будет.

Как новый кирпич каждый год; строит жизнь нам склеп, — только три легкокрылы: первый, тридцать третий и для всякого свой, неизвестный до поры, будто карточный прикуп. Первый — год рождения; тридцать третий год — год гибели, когда можешь распластаться, раскинув руки подобно крылам, на звездных небесах, или в землю уйти, — какую хочешь выбирай гибель. И еще один, — о нем не будем, мой сынок, мой мальчик. Пусть он мерцает, как самая дальняя звезда, последняя грань видимых с земли небес.

Мне надо торопиться, сынок, — на исходе мои тридцать три. Прости мне мою сбивчивую речь, бессвязную, — ведь я чувствую, как иссыхают последние капли моей молодости. Окостеневаает мое письмо, и сам я костенею. Зрелость может быть роскошна, как великолепный храм, своим шпилем ввергшийся в небо, как застывшая музыка. Но спасет ли нас музыка, которая застыла, мой сынок, мой мальчик? Странности в ней нет, раскрытости ночным глубинам, — лучше уж лепет свирельки.

Да, странен этот ночной мир, и он бессюжетен — ибо всему открыт. Таится благополучие в самом печальном сюжете, в самом страшном конце, потому что это все-таки завершенья. Добры те, кто

заплетает сюжеты, вяжет нам теплый свитер, чтобы спасти от ночных ветров. А мы, дети, жестоки. Разве ласков этот мир, созданный нашими нежными руками?

Наивными детскими руками вылеплен этот мир из податливой глины. Белый голубь вился вокруг творца, погруженного, как и ты, в сонные глубины. Ничем не была просветлена та ночка, даже звезд тогда не существовало. Только единая мысль, как черный гриф, распластала свои крылья над вселенной. В крепком своем клюве держала она невесть откуда взявшееся светлое зернышко. Кто знает, откуда, — ведь сколько существует вселенных — и до, и после, и за гранью граней. Рядом с грифом голубок вился — тоска и надежда ночи.

Да, сынок, мой мальчик, дремлет волшебная ночка у истока любого творения. Она всегда затаена в мире, готовая взрастить новый день из своего несотворенного зернышка. Ты устал от ночки, которая не просто длинна, а бесконечна. И вся — тяжкий труд творения. Тиха комнатка, бурлит на полу лунная пена, семя высот пало на землю.

Хрупок сотворенный ребенком мир. Как я берег его — осторожно переступал через трещинки, паутинкой расплзшиеся по площади, где мне мерещились головы стрельцов. Ты боишься трещинок в штукатурке, мой мальчик, боишься разора? Не бойся, не так уж хрупок этот мир. И он любит силу, только надо с ним осторожней, мой мальчик. Помнишь сказку: то lupишь по нему без толку, как по золотому яичку, то хвостиком махнешь — и он вдребезги. А верна рука, когда совпадет она в своем размахе хотя бы с мельчайшей силой мира, когда хоть слабенький ночной ветерок поддует в наши крылья.

Но ты точен всегда, сынок. Ты ведь не шагнул за черту, проведенную лукавым вязальщиком; ты однозначен и безгрешен, как солнечный всадник. А в том нет даже мелкой трещины, чтоб просочиться злу. Да, это монолит, сложенный из великих сил мира, — не то, чтобы он безгрешен, нет, он просто неподсуден, как неподсудны закат и восход.

Таинственна наша спальня, мечутся по стенам крылатые тени от погребальных свечек. Много в ней закоулков и лабиринтов. Понять бы ее — всю жизнь поймешь, мой сынок, мой мальчик.

Погляди, что отчебучила ночка, сынок. Лунный свет распался на хлопья, пахнула холодом ночь, взмел ветер опавшие перышки, снежная буря поднялась за окном. Вот откуда взялась моя тревога,

мое смятение? Так у меня всегда бывает перед снегом. А снег пошел, и сразу — легкая безмятежность. Так в детстве со мной бывало, так бывало в юности, мой мальчик.

Не знал я, что посетит мою ночку нежданная гостья — безмятежность, которой нет места в туманных временах. Что за нечаянный изгиб ночки? К добру ли он? Или это уже зрелость приближается чуть слышными шагами, замыкая круг. Загорелась пока туманная звездочка на дальнем, дальнем краю небес, на последнем их пределе, — будет она разгораться все ярче и затмит все звезды небесные. Безмятежным будет наш путь к той звезде. Каким же ему еще быть? Падает, падает снег с небес на землю. А затем и небо, чтоб с него наземь падать. А земля — затем, чтоб глядеть с нее на небеса; а скользящая, торопливая земная явь, чтобы дарить мгновенные разнообразные ракурсы обращенному в небо взгляду. А вместе они и есть все небеса целиком, мой мальчик. А, может, и все не так, мой сынок.

Устремлены наши взгляды в небеса, как два прожектора, нашаривающие бомбардировщик. Явь, возможно, ни там, ни на земле, а как раз в пересеченьях наших взглядов — двух лучей. Может быть, и так, мой мальчик. Но уж точно, что разделены небо и земля для того, чтобы дать простор полету и падению.

Каждому взглянувшему в небо оно задает свои вопросы, — у каждого свой разговор с небесами, который только их двоих дело. Тебя-то пока оно не вопрошает, сынок, пока еще ты весь — в небесах, купаешься в синеве, — тебе пока еще от них одни подарки, потом будет спрос.

Я в неоплатном долгу перед тобой, мальчик, — ты позволил мне заглянуть туда, где когда-то зародился я сам, туда, где завязаны все узелки моей жизни. Родился ты, и вдруг куда-то рванулось мое замершее было время — назад ли, вперед, мне все равно, мой мальчик. Ты вспомни, сынок, как я тебя, еще слепого котенка с красным дряблым тельцем приветствовал в этом мире. И ты понял меня, потянулся ко мне, слепая и глупая личинка, — нам не надо слов, чтобы понять друг друга, сынок. Да будет вечной эта связь, да не порвется ниточка, будет крепка, как солнечный луч.

Как я хотел бы тебе передать того белого голубка, что когда-то и мне передали нежные руки самой родной из всех родных душ, — чтоб и ты передал его дальше, в поколения, в века и века. Увы, сынок, тот человек не стоит у твоей колыбели, как бдил у моей. Только крошечную капельку его любви могу я тебе передать по наследству.

Он канул в синеву, равнодушную синеву, которой, возможно, и нет дела до наших мук и бед. Зато он обратил мой взгляд к небесам, — до боли в глазах гляжу я в небо, куда он канул. Оно стало для меня не просто хрустальным чистейшим куполом, оно теперь мое небо, — ведь там обитает любившая меня душа. То была первая потеря в моей жизни, страшнейшая из потерь. Но достаточно одной капли такой любви — беззаветной и бескрайней, — чтоб навеки тепла для меня стала вселенная.

Светила мне крошечная жемчужинка, слезинка, в любые смутные времена, когда иссякали все силы мира и небес, когда падали могучие. Огонек этой маленькой свечки привел меня в эту нашу спальню. Вот стою перед тобой со всей своей путаницей, всем разором, и крошечную слезинку протягиваю тебе на ладони. Всю вселенную может осветить эта неяркая капелька. Все отвергни сынок, а ее прими от меня, небесного летуна с подрезанными крыльями.

Скопилась эта капелька добра в тяжкие черные времена, когда и небес-то не было, — одна копоть вонючая стелилась поверху от тысяч труб, направленных в небо, как пушечные жерла. Но все же тайно копилось добро, медленно скапливалось, день зарождался в ночи. Ведь оставалась музыка, были ночки, было младенчество, чистое, как слеза. Вот и скопилась неразменная золотая монетка, крошечная капелька пота.

Прости, сынок, но ни от чего не буду я тебя упасать, только эту жемчужинку подарю. Вкуси и ты отчаянья мира, — нельзя от всего спасти, и не надо. Вкуси мрака, поплутай в ночи, разгадай хоть мельчайшую загадку, и вся вселенная будет твоя, мой сынок, мой мальчик. Напитайся же гениальностью ночки, мой сынок.

Я на цыпочках хожу по твоей спальне, чтоб не потревожить твой сон. Тихо вокруг, очень тихо, только чуть потрескивают свечки, ввысь рвутся огоньки. Живут в язычках пламени легкие виденья твоих снов. Это для меня сейчас тиха ночь, для тебя она вся в праздничных фейерверках. Грозен шаг начальных истин, — они грохочут, как горный обвал, гром которого отдастся и в отдаленнейших временах. Все живительно и смертельно в изначальном вешем сне.

Я все повторяю, повторяю несколько благих слов, — но какая в том беда? Сколько ведь чепухи мы намолоти, и не казалось мало. А чего действительно мало, так это благих слов, достойных нежной ночки. Вот я и повторяю десяток, жду, когда к ним приникнет благой смысл. Я заклинаю глухую ночь, повторяю простые слова, как

молитву. Виноваты ль мы, что их всего горстка, мой мальчик? Должно быть, виноваты, сынок.

Сейчас разнежен сонный мир, восприимчив к любому слову, сейчас, как никогда, он беззащитен и перед злом, и пред благом, которого он жаждет, которое ненавидит. Суров дневной мир, — отвергает он все негодное для дневных трудов, отмахивается от ночных смыслов. В ночи самое, кажется, бессильное сильнее всего. Высоко воспарит над миром любой всадник, оседлавший черного грифа, собирающий золотые звезды с небес, щедрой пригоршней развеивающий их по ветру. Падут на землю золотые зерна, и они прорастут, мой сынок, мой мальчик.

У меня было намеренье перебрать все сокровища моего изначала, но вбок увильнула лукавая ночка, — вдруг снег пошел и запорошил мою память. Только и вспоминаю который уж раз глухой деревянный забор; вся моя ночь — коловращенье вокруг того забора. Хожу кругами, кругами — не выпускает он мою мысль на волю.

Я знавал множество вещей и явлений, глубоко проросших в мое прошлое, и даже запустивших корень в те времена, когда меня вовсе не было. Все они — воплощенная память, со своими запахами, которые паутинками парили в комнаты, переплетались. Они творили симфонии из тревожных и сладких запахов прошлого. С тех пор я эпохи нюхом чую, потому прерывисто мое время. Редко, но нет-нет, да и почую какой-нибудь детский запах-лейтмотив. Пространственно мое время, мой сынок, мой мальчик.

Одушевлена была каждая вещь в моей спальне, потому что глубже моей была память каждой. В этих детских старинных ароматах было предощущение музыки. Потому запах для меня ностальгичен и ностальгична музыка, которую долго не умел почувствовать, — только глаза слезились пустой луковой слезой. А стоило проникнуться духом музыка, тут и началось мое письмо, ибо само время было музыкальным, бесплотной жизнью, — только лейтмотивы прошлого перекликались в гулком мире. Вечные ветры нечто чуть слышно наигрывали на ослабших струнах, протянувшихся из конца в конец мира.

Прошло то время, мой сынок, мой мальчик, однако неявленной, так и не прозвучавшей осталась его великая музыка, — ушло оно у нас сквозь пальцы, но, может быть, когда-нибудь тренькнет едва слышной ногой, предостережет от ошибки. Уже новая эпоха лежит в нашей колыбели. Думал ли я, что буду жалеть о смутном времени. Да, при-

знаю, что жалею о нем, с грустью слежу, как иссыкают песчинки в песочных часах. Уже знаю, что издали ушедшая эпоха покажется великолепным болотным цветком, пугающим, но дивной красоты.

Нет, не в гремящих победах величие мира, сынок, в ночках оно тaitся, в предутреннем тумане. Так-то, мой сынок, мой мальчик. Чем я буду в дневных временах? Не увлекусь ли блеском побед? Ведь только и запечатлены уроки времен туманных, что моими закорючками. Смогу ли я хоть чуть понять дневные времена, привыкший к нежной и отчаявшейся ночке?

Крошечной стала, съежилась неохватная эпоха. Как букашку, мы можем разглядеть ее на ладони. Разожми кулачок, — что видишь ты на своей ладошке? Крошечная черная бусинка, — вот все, что осталось от времени, где родилась наша гордость и погибла гордыня.

Впрочем, что я знаю о своем будущем, точнее, о будущем себе? Себя теперешнего я помещаю в грядущее, — а мне ведь пришло время менять шкуру, мой мальчик. Лучи солнца, вознесшегося в зенит, заиграют на нежной мякоти, — красивая будет кожа, мой сынок. Треть века исполняется и мне, и этому миру, — значит, грядут гибель и рождение.

Много раз менял я кожу, и в любой чувствовал себя почти как дома, но все они были чужими. Всегда я неравен был себе самому, гонялся за собой, как за солнечным зайчиком. И только в темную, лишённую плоти пору оставил погоню за зеркальным бликом, — зернышко начал искать, золотое зерно эпохи. Три шага я сделал к себе, а сколько еще осталось? Когда совершу я последний, иссыкнет мое суетливое письмо, и я растворюсь в синеве. Ты ведь умница — не станешь обо мне плакать, мой сынок, мой мальчик?

Одно дело я совершил из тех, для которых рожден. Много это, сынок, или мало? Много или мало — капелька правоты, которой и жить-то почти не осталось: скоро капнет в часах последняя песчинка. Я принес тебя в жертву этому грозному миру, и не могу вооружить тебя даже своей правотой — только жестом руки, вознесенной в небо. Вот единственный тебе от меня подарок. Ты сам познаешь собственную правоту, мой сынок. А потом присядешь когда-нибудь у изголовья этой кровати, где будет вызревать уже не твоя правота, правота будущего. Она ведь долго созревает в ночи, но лишь на миг является миру дневному.

Тогда я новой свечкой загорюсь в углу спальни, — станет мой голос звучать в хоре родных душ. А тебе придет время блуждать в мире, опутанному, как паутиной, своими детскими запахами. И сту-

пишь ты на эту маленькую площадь, такую нежную и нелепую, потому что сложена из вещей предметов твоего детства.

Пали великие силы мира на колени; на коленях стояли на жестком бульжнике площади; в небо устремлены их взгляды. А там — одна звездочка, меняющая цвет. Наконец, она стала прозрачна, как алмаз, — можно было разглядеть ее грани. Холодные голубые искры мерцали внутри звезды. Была она больше и ярче всех звезд небесных.

Витал белый голубок над павшими на колени силами. Он был человекоподобен, как все в нашем детстве. Развевались его белые одежды, но будто б застыли, — и весь он был, как застывший вихрь. Изменилась площадь: сдули ветры шутовской колпак, зацепившийся за кончик месяца, и унесли куда-то; воссоздан был храм на том же месте, где пал. Но то был новый храм, храм новых времен, почти пока еще не видный в сумраке.

Суровый и чистый дух реял над площадью — сильный и простой. Время, уже не текучее, словно клином врезалось в небеса — ни прошлого, ни будущего не осталось. Отвеяла ночь всю шелуху, подлинными стали великие силы, — большая или малая, но каждая была чиста и сурова; каждая сияла неземным светом, потому проясненной была ночь.

Как я понимал жизнь, мой мальчик? Представлялась она летним лугом, поросшим медвяными цветами. Я думал, всю жизнь буду слизывать сладкий мед с красивых цветов. Ты еще не знаешь, как приедаются сладости. Все чаще, сынок, у меня озаренья и высью, и миром, все чаще оказываюсь я на маленькой площади, суровой и ясной. Сжался мой мирок, сливаются одна с другой великие силы, — уже их осталось немного.

Да, не так уже многолик и туманен мой мир, не так обширна поляна, — одним взглядом ее можно окинуть. Сжался мой мир, сделались ближе прошлое и будущее, — и до начала, и до окончания можно кончиками пальцев дотянуться. Жизнь для меня не луг, не поле, а предзакатная степь. Но впереди еще много эпох и тайн, пока не осушишь чашу до последней, сладчайше-горчайшей капли, мой сынок, мой мальчик.

Хочется отдохнуть, сном забыться, хочется, чтобы мысль отлетела от меня черным грифом, — но ведь я знаю, что сновиденья — не хаос. Та же мысль, только не нынешняя — прошлая и будущая. Да, до мерзости продуманы мои сны, — как паучки, они оплетают вольную ночь, пронизывают ее сверху донизу. Трепещет занавеска,

не дает ворваться в комнату неведомым ветрам, задуть свечное пламя. Сны — не хаос, запомни, мой мальчик, они — защита миру.

И снова — ночная площадь — полновесный, крупнейший алмаз моей ночи. Парит над ней голубок — застывший вихрь. Я вижу нежнейшую из сил, душу сил мира. Это нежный мальчик с золотыми локонами. Когда-то и я был таким вот мальчиком, мой сынок, поверь. Он держит лань на поводке, — трет нежную белую шею грубый ошейник, пара слезинок стынет в ее глазах. Безмятежно разглядывает мальчик сцены битв и крови, украшавшие стены храма. И он сам недвижим, и вперившиеся в небеса великие силы мира. Застыла картинка — без начала и без исхода. Притихли великие силы, которые были так беспечно и глуповато болтливы. Они выстроились гуськом, — действительно, их теперь мало, крошечная горстка, шепот. У каждой в руке — хрупкая свечечка, будто они разобрали тот их рядок, что воспылал в нашей спальне. В небеса устремлялись огненные язычки, связуя мир с небесами.

Великие силы будто б разобрали на мелкие огоньки весь свет небесный — стали темны небеса. Пало на площадь почерневшее небо, утонули во тьме великие силы. Только цепочка огоньков — маленьких флагов, трепещущих на восковых древках, обнаруживала путь великих сил. Вдаль уходили свечки, но огонь каждой словно поддерживал пламя другой, — потому казался неугасим, вечен их свет.

К храму тянулась вереница робких огней. Теперь, во мраке, не осталось в нем ничего лишнего, никаких различий, — это был темный клин, стела, врезавшаяся в небо. Меркли одна за другой трепетавшие свечки, потому что вереницей скрывались в храме великие силы мира. Когда же последняя смерклась, стало пусто и темно на площади, — мрачен и тяжел каждый ее булыжник.

Гулкими стали мои шаги. Смолк шепот и мира, и великих сил, — только возвращалось и возвращалось ко мне эхо моих же слов. Тут наступает какое-то упоение дерзостью, страхом, мой сынок, мой мальчик. Жутковатым и диким восторгом веет с опустевших небес. Кажется, он возносит тебя еще выше белых голубиных крыльев. Отлетел голубок, но ты не жалеешь о нем.

Кажется, можешь, раскинув руки, обнять вселенную, а потом всю ее перевероршить, переустроить, — не важно ради ль зла или блага. Взгляни, сынок, так вот — не раскрывая глаз, зрением лишь одной души, — как мечется, тоскует за окном могучий дух, заключенный в волшебный треугольник. Небо его пригнетает, белые голуби шара-

хаются от его страстной агонии. Беззвездно его небо, только светлячки вьются у него над головой чуть видным зеленоватым нимбом. Не дай тебе Бог, мой мальчик, той лютой решимости, того упоения, того страха несусветного, решимости на все.

Не тщишь вминать в небеса новые звезды — золотые монетки, они там не удержатся. Жемчужину свою береги, свой детский мотивчик, погребальные свечки, — от них и зажгутся новые звезды. Как огромен мечущийся за окном дух, — но и его спасет детская мелодийка, которая вдруг ворвалась в какофонию нечеловеческих звуков. Не из его своевольства родился свет, а из его отчаянья, которое, как все у него, было чрезмерным, неохватным, как мир, как все отчаянье мира. Из этой громады и родился свет, что нам и сейчас освещает путь, — и еще надолго.

Мечется за окном величайшая из великих душ, — как от пламени огромного костра разбегаются сполохи по стенам нашей спальни. А ведь даже он притих в глухие времена, — а теперь проснулся, как вулкан, высвечивает новые грани мира. Он велик, как великая сила, — где ему место, как не среди сил, уходящих в храм новой эпохи? Я видел его: всклокоченная борода, смятенные глаза, свечечка в тонких нервных пальцах.

Мне приснился тот храм, мой сынок, мой мальчик. Он был тих и темен, как наша спальня. Так же не высвечены углы и закоулки, те же свечки его освещали. Рвалось ввысь пламя свечек — любовь к родным душам, любовь родных душ. Копился свет в куполе, как в чаше, ярчайшее пятно сияло в зените. В нем жил тот, кто весь — любовь и страдание. Сверкал скорбный и пристальный глаз, заключенный в треугольник, — единственное око. Сверкающий алмаз был вправлен вместо зрачка.

Чистая мелодия зарождалась в гулком храме, пели невидимые струны великих сил мира. Как они просты и внятны безо всех покровов, — пересечение, мерцание немногих лейтмотивов, — и ни одного среди них отчаянного. Только легкая тревога рождается, когда вдруг пропадает мотивчик, легкая грусть по затерявшейся мелодии, хотя другие звучат. Отыскивается одна, другая теряется.

Это музыка нечаянных потерь, из которых ни одна не вечна. Затенен был простой и строгий храм, оттого казался немного таинственным. По сути, он понятен и прост, но пока еще неясно каков он, — что за мелодия тут будет властвовать. Сколько ведь всего ноток? Даже тебе уже под силу пересчитать их все на пальцах, сынок.

Слагай из них мелодию, как из квадратиков детской головоломки, и сколько вселенных ты сотворишь, мой мальчик.

Будет длиться этот мир, пока мы, детишки, не построим все возможные башенки из нескольких наших кубиков. Будем творить новые храмы, — даже странно, сколь великие усилия затрачены на эти простые игры, — замысловата детская игра для взрослого мира. И мировой разор будет простодушен, как рассыпанные кубики. Но с какой мощью душа изливается на простейшее, — а избыток ее сил клокочет в ночных сновидениях. Вьются в этом радужном избытке, вьются белейший голубь и черный гриф. Как скуден дневной мир для великих сил души, сколь многозначен каждый его кубик.

Даже и во сне ты устал от моих повторов, мой сынок, мой мальчик. Привыкай к повторениям, к немногим лейтмотивам, — *c'est la vie*, мой сынок. Ты еще свеж, бродят в тебе нерастроченные силы, моя-то душа давно устала. Надоело мне строить все новые и новые башенки, закапризничать хочется, как младенцу, пхнуть их ножкой, чтоб с сухим треском раскатились по комнате кубики. Но я знаю, что тут же послышится нарастающий грозный гул. И не спрятаться от него, уткнув лицо в подушку.

Разом погаснут свечи в углу спальни, тут же погаснут и звезды — их отражение в зеркале небес. Такая тьма навалится, мой мальчик. Вся тьма вселенной ниспадет в нашу спальню, все силы мира к нам заявятся. А потом улетят они из опустевшей холодной спаленки — отправятся в путь по темным небесам искать другие миры, мой сынок, мой мальчик. Яви и нет вовсе, только мгновенный просверк, мгновенное усилие — гибель прошлого, созидание будущего. Тогда в башенках ли дело?

Нельзя нам капризничать, сынок, — судьба вселенной в наших детски неверных руках. Я повторяю это, мой мальчик, чтобы ты запомнил. Отлетает от нас иногда голубок, и начинает тюрьмой казаться наша детская спальня, безнадежной твердью — нежной голубизны потолок. Надо осторожней прикасаться к башенкам, они хрупкие, непрочные, но нет другой колонны, чтоб удержать от падения потолков нашей спальни, — нет другой плоти для небесных символов. Не в них дело, а в благоговейном чувстве творения этих башен, в устремлении каждой к небесам. И хорошо, что они убоги, — небу милы убогие, сырые, как мы. Овеваемы те хрупкие башни могучими ветрами — избытком сил земных и небесных. Кренятся башенки, — как бы сами собой не пали, мой сынок, мой мальчик.

Новеньким был храм великих сил, благоухал еще непросохшей краской. Неизвестно, какому богу был он посвящен. Воздвигся он там, где еще недавно пыхало темным паром разверстое земное жерло. В сумраке тонула стенная роспись, — высвечен был только один лик, сладчайший из ликов, без которого храм невозможен. Навевал он покой, — и покойны стали великие силы мира, благоговейны. В отблесках свечек жил глаз на вершине купола, без которого тоже храм невозможен. Притихли великие силы, только их тени томились в трепещущем пламени свечек. Под куполом парил голубок, а рядом — черный гриф: его тень, преувеличенная кривизной купола.

Только бы не опрокинул наши башенки темный гриф, задев крылом. Станет беспросветна наступившая ночь души, — и продлится она вовеки. А голубь-то, оказалось, и не отлетел, мой мальчик. Он рядом, присел на балку, — замер голубок, как, помнишь, вдруг замирали голуби на нашем балконе.

Мы вздымаем ветер, поддувающий в его крылья. Утих ветер, чтобы потом породить бурю. Рождалось невероятное усилие, способное породить эпоху. Все тогда стихло, — лишились смысла слова, обернувшись бессмысленными звучаньями, с чуть налипшей на них земной грязью.

Что ж это творилось, мой сынок, мой мальчик? Преступники глумились над словом, преступники, сами ставшие жертвами, опутанные серпантином бумажных слов. Иль не они виноваты, — устало само слово от вечного дня. Может быть, в плодородной ночи, в чистой ее влаге надо омыть звучания, чтобы те обогатились новыми смыслами.

Во всей своей новизне явится мир, но я уверен, сынок, что он будет похож на прежний. Еще неизвестно, какие смыслы родятся в ночи. Ввысь вознесутся слова, но поймешь ли сразу, кто их возносит: белый голубок или черный гриф?

Может быть, обречено на гибель слово, когда меркнет на нем отблеск Слова изначального? Все ведь они его дребезги, осколки, — тяжел труд сложить их верно. А неверно сложишь — хлынет тьма в зазоры, мой мальчик. Да еще стираются слова — разменная монета мира, — может, уже и не сложишь из них изначального Слова. Но ведь не только тьма, но и синь непроглядная может хлынуть в прогалы.

Небывалого узора мы жаждем, нового смысла, — но что может быть нового, мой мальчик? Нового мира хотим, нового слова, но всего лишь повернется мир другой своей гранью, — даже такой новизны будет нам чересчур, сынок. Погибли слова в мутное вре-

мя, — но музыка-то никогда не отлетит от мира, как и тот голубок. Она и спасет мир, заполнив собой все прогалы, неведомая музыка, мелодию которой можно верно расслышать, только пребывая на лу-не или звездах. Я буду это повторять и повторять, мой мальчик.

Что-то шептали великие силы, шелестели звуки в затененном храме. Видно, то были молитвы невероятной красоты и благодати. Но до моих ушей доносился только шелест простейших слов: помилуй меня, небо, вразуми, прости за вольное и невольное. Неясной и грозной жизнью трепетал купол храма, освещенный порывистыми огоньками: то легкие крылатые тени по нему пролетали, то вдруг делились там зубастые химеры.

Но прозрачен был купол; сквозь него мерцали высочайшие выси, где любовь разлита вместо воздуха, — та самая, что бурлила в любой детской спальне, а потом взошла на небеса, куда одна за другой уходили родные души.

Сынок, у любого из нас всего вдоволь, чтобы стать величайшим. Гляди, как бездонно высоки небеса, вырастай гигантом. Но и распростершийся на все пространство, будешь ты шептать одну и ту же молитву: спаси, помоги, вразуми меня, одинокого, заплутавшего в летней ночи мира, мой сынок, мой мальчик.

Одна из свечей, тоже маленькая, трепещущая, двинулась в сторону, покинув сверкающее созвездие, — но не как падающая звезда, нет, она двинулась вверх торопливыми скачками, как взбираясь по ступеням. Потом замер огонек, затем разгорелся с шипением, расплескался искрами, как бенгальский, — и он выхватил из мрака маленькую кафедру.

Хитрый и скорбный вязальщик, капнув расплавленный воск, укрепил свечу на ее темном дереве. Слезами стекал раскаленный воск по белой свече, медленно оплывала свечка. Кружок образовали огоньки в руках великих сил, окружили кафедру, мой сынок, мой мальчик. Ярче всех горела свечка вязальщика. Ей не под силу было осветить храм целиком, но ярко высвечена оставалась стенка за его спиной, испещренная письменами, — от выбитых на века до глупых словечек, выскобленных перочинным ножиком. Встречались и надписи, в свечном свете казавшиеся черными, — те выписаны человеческой кровью. Плавными были движения вязальщика, но металась и тосковала его тень, павшая на письмена.

— Братья, великие силы, — произнес вязальщик, — силы вселенной, собравшиеся в ночном храме. Все мы — только маленькие

огоньки, робко освещавшие этот мир и еще множество миров. Сияли они в ночных мирах, придавали им глубину и тайну. Но и самый робкий мог вспылать солнцем. Одна из свечек возносилась в зенит, это и звалось эпохой.

Было время, и моя свеча горела ровным дневным светом, в котором мир предстал величавым. Теперь в ней почти иссяк воск, почти она догорела. Смотрите: трещит и трепещет огонек последними порывами жизни. Вот смотрите, как она сияла, воздетая в зенит. Он взял свечку и вознес ее вверх — прынула тьма по углам храма, когда воссияла поднятая под купол свеча. Залучилось суровое лицо вязальщика, словно выбитое на золотой медали. Но то был миг один, — дико вскрикнул вязальщик, когда обжег пальцы раскаленным воском.

Заметалась его тень на стене, содрогнулся храм, заиграл тенями, замерцали свечки, окружившие маленькую кафедру. Вязальщик вновь опустил свечу и заговорил вновь: — Смотрите, друзья и коллеги, великие силы мира, какой всего-то огарок остался от прежнего солнца, — он опасный, руки жжет. Но плоха ль была высвеченная им эпоха? Мельчайшей щели достигал мой свет. Прочны были бульжные мостовые, — только грусть иногда пробивалась между камнями зеленой былинкой. Но она ведь и бульжник, и асфальт пробьет, мой сын, мой мальчик, грусть по утраченной некогда мелодии.

Зато смыкалось прошлое с будущим, — любая даль была нетуманна. Не стоит ли это потерянных мелодий, рассыпавшихся ноток? Они и есть ночка, не менее упоительная, чем день мною сотворенной эпохи. Я отделил день от ночи, оставив день для хлопот, а томление духа оставил ночке. Зря вы на меня ополчились, господа великие силы. Своей метлой я смел все туманы с плоских равнин в никуда и нигде. Много узлов я затянул, но завязанное и распутать можно; много я задал загадок, но все их доступно разгадать. Это вроде головоломки для взрослых — средство скоротать так длинно тянущиеся дни и ночи. Правда, ставка в тех играх была великовата, — ведь сплетал я тонкие, как нити, корешки великого древа жизни.

Вязальщик то почти кричал, то шептал неслышно. От звука его голоса вновь заметалось пламя свечки, казалось, ровно и печально угасавшее. Казалось, мается в пламени крошечная фигурка в тонком кисейном платьице, — она смешно вытягивается, устремляясь ввысь, как гороховый стручок становится его головка. Почти расплылась свеча — только крошечный цилиндрок остался, но та сияла страстно и упорно.

— Ах, как вы меня ненавидите, души сил. Еще бы, это я вас отправил за горизонт, — все вы уместились, вылущенные из пространств, в одной детской слезинке, крохотной капельке, — но, как алмаз, она воссияла. Почти так же ярко, как устремленный с неба зрачок. Не светом ли той слезинки он наполнился? Что, разве некрасива, неизящна была ночка с единственным алмазом, воздетым в зенит? И загадки дня поверил я людям, и ночные тайны, запомни, мой мальчик.

За что ж вы меня возненавидели, скажите? Что вы-то им подарите, господа, спихнув меня с этой кафедры? Вас-то они поблагодарят, их стяхнувших с земли, так что канут они в чернильно-черный омут, где живут золотые рыбки — вечные звезды вселенной?

В мои времена вы были истинно сильны. Я лишил вас дня, однако ночами вы могли резвиться, как хотели. Во тьме вы таились, а теперь сплетут вам сеточку попрочнее моей, — и не ускользнет из нее ни одна птица. За ночь вы успевали перепутать мои нити, как свою кудель Пенелопа. Я ли в том виноват? Все мои изящные загадки вы превращали в темную муку.

Невесело хохотнул вязальщик. Все тише и тише становился гулос, доносившейся с кафедры, но мне, сынок, не приходилось напугать слух, — ни единый звук не теряется в нашем гулком храме.

Тут зазвучал из темноты негромкий нежный голос: — Усилье твое велико и велика твоя мука. Кровавый отблеск лег на каждый заплетенный тобой узелок, окроплены все кровавым потом. Ты один из нас, брат наш, вязальщик, — сурова и подлинна твоя сила, как восходы и закаты, и страсть твоя подлинна, величайшая сила мира. Ты устал от своего вечного дня, тебе самому пора в ночь, сил набраться в ночных сновиденьях, брат наш, вязальщик. Закрой глаза, гордая сила, заплети, спутай, наши ночи, как волшебную кудель. Расплетай свои крылья от звезды до звезды, гордая ночная мысль.

— Иди к нам, — шептали силы, — усни под нашу колыбельную, слаще которой нет на свете. Ты не враг нам, вязальщик, в тебе больше страсти, чем в любой из нас. Ты исполнился всей нашей силой, ты проникнут любой из нас и всеми нами. Ты припал к тому же ночному колодцу, что и мы, наш сынок, наш мальчик. Ты изгонял нас из своего дня, — так ведь и любая сила мира тщится воссиять единственным солнцем. Не бывает двух солнц на небе. Как любая из нас, отбрасывал ты двойную тень — витали вокруг тебя и черный гриф, и белый голубь.

Порыв ветра ворвался в храм, погасил догоравшую свечку вязальщика. Темен стал храм, разом охнули великие силы мира, испуган-

но и тоскливо. О, какая тоска, какая невероятная мука сдавила мне горло, мой сынок, мой мальчик, не дай тебе Бог. Зато, как ярко разгорелись остальные свечки храма. Вот самая робкая из всех выпала из круга и скачками, по ступеням, стала подниматься ввысь. Кровью налилось всевидящее око на куполе храма.

Взобралась на кафедру новая сила мира, — она зажгла от своей погасшую свечку вязальщика, но и в двойном свете был неразличим ее облик. Только рука высвечивалась из мрака — сильная и нежная рука, тонкая, с нежной сетью голубых жилок.

Две свечи теперь горели на кафедре; два огня — прошлое и будущее. Две тени пали на письмена и обе — крылаты. Какие, ты сам знаешь, мой мальчик: белый голубь и черный гриф — неотвязные, мой сынок. Пал вниз августовской звездой и занял место в великом созвездии невидимый во мраке вязальщик.

Вновь грянула музыка, — новой красотой обернулись немногие нотки. Неведомая сюита зазвучала, мой мальчик, словно взбирающаяся вверх по уступам, по уходящей в бесконечную высь лестнице. В бездонную, бездонную высь, мой мальчик. Она не удалялась, сынок, — сама вела к тому пределу, где все мелодии растворены в сплошной музыке.

Как нетрагичен был ее переход на каждую ступень, мой мальчик, только восторг восхождения. О, Господи, да в чьей же душе это возможно? Наш-то путь — по лестницам с выщербленными ступенями. Вспомни, сынок, рояль в нашей комнате с половиной выломанных нот. Если возможна такая музыка, где лишь восторг восхождения, это ль не доказательство, что жизнь вечна? На стареньком нашем пианино, вон там, приткнутом в углу, что сыграешь? Оно разеивается, как старушечья пасть, где сгнили многие зубы, — зато четок на нем резной барельеф величайшего из людей, для которого прошлые и будущие времена были только нотки, из которых творил он музыку. Значит, она простейшая, мой сынок, мой мальчик. Он был глух, мой мальчик, потому умел слышать затишья, которые сберег все до единого.

Чего только нет в нашей ночке, которая время и великих, и дурных дел, — ведь скрадывает темень краску стыда, мой мальчик. Сколько бесстыдных сновидений в ней таится. Это ночь всех ночей, потому прихотлива и капризна, как все вместе взятые. В ней виденья всех эпох, — поди, выбери из них нужнейшую. Увы, не оттис-

нуть всю ночь на чистом листе, — надо прожить ее миг за мигом. Только тогда прояснится ее неторопливый смысл.

Отпустить бы надо поводья ее черных, как уголь, коней, пусть несутся, как захотят. Но все ведь мы дети вязальщика — в любом хаосе ищем концы его порванной в клочки паутины.

Стараюсь и я, добросовестно, мой сынок, мой мальчик, связать разорванные нити, — но даже и самый странный образ несоразмерен ночной странности. Ее самый точный образ — неведомый затемненный храм, который воздвигнут сейчас в любой ночи, в любом сновидении. Но в сновидении того, кто спит истинно, — глубоко и тревожно.

Брезжит в наших ночах предчувствие храма, но не окрепла еще связь меж ночами и днями. Когда окрепнет — это и будет эпоха. Я, кажется, вновь стал повторяться, мой мальчик, — видно, завершил очередной виток вокруг моего треугольника. Снова я в нашей спальне, вновь накатывает сон, мысль засыпает, смежает крылья черный гриф.

Ох, ты и хулиганка, ночь, — словно леший нас по ней водит — кругами, кругами. Но и мы ее подчас морочим. Сейчас время истинной философии, той, которая всегда напополам со смехом. От ее отцов осталось больше анекдотов, чем мудрости. Но те анекдоты — это метафора, смех, угаданный земным чутьем. Куда его больше в их добросовестных и глубокомысленных трудах. Каждый разрыв мысли искрится смешком, каждый прыжок, перескок с места на место, заслуживает аплодисментов.

Все целиком — цирковое ревю: комические танцы, веселое искусство петляющей мысли, стремящейся вокруг самой себя обвить себя, как женщина-змея, укусить кончик собственного хвоста, — и, конечно, фокусы-покусы, самые разнообразные. Все это интересно и возвышенно: по мне больше мудрости в нелепых и трагических перескоках, чем в плавном, изощренном движении мысли. Беда, сынок, что у нас всего одна голова, надо бы побольше, — вот и изгибай одномерную мысль, мечи петли. Оттого мы всегда наивны, что мир раскрыт нам на все четыре стороны, а мысль наша — тонюсенькая и ловкая змейка. Потому что нет у нас зеркал, — разве что натереть до блеска небесное блюдечко. Было бы всем зеркалам зеркало, но тучки, легкие облачка его застыт.

И все же, сынок, мой мальчик, следует нам понять, что за сила приняла свечку от вязальщика. Тягостным будет незнание, — нам

ведь и смерть так видится: затемненная фигура, держащая оплывающую свечу. Будем верить, что это не она, мой мальчик.

Мы, как запутались в парковом лабиринте, обставленном ложными зеркалами. В конце любой аллейки мечется темная тень, — это наш образ, сынок, не больше. Кругом зеркала — и внизу, и вверх. В каждом — мы сами, со всех сторон, но в любом вдруг могут воссиять небеса.

Все ищу я во тьме свои начальные истины. Всю нашу вселенную можно разъять на смешные детские штуковины. Почему ж она так путана и тревожна? Ты не знаешь, мой мальчик? Как они были приветливы, все эти деревянные шкатулочки, стеклянные шарики, — еще какие-то мелочи: звезды в небе, голубки на загаженном карнизе. Прелестные, они хранили запах эпох, — душу готов заложить, что ни в одной не таилось тоски несусветной. Может быть, только легкая тревога сочилась из прошлого и будущего в наш всегда безоблачный день.

Я разучился читать по звездам, мой мальчик, я разучился понимать ночь, но как-то чую, что миновала она зенит, тихо-тихо двинулась к рассвету. Но горизонт по-прежнему темен, — я теряю нить и снова ее нахожу, не в силах отказаться от своей уже надоевшей игры. Не сердись на меня, сыночек, что я рассказываю тебе сказку без конца и начала. Спасибо тебе, что нашлось мне, где присесть на исходе моей растянувшейся на века молодости. Гляди — ночные птицы летят по небу, распластав крылья, — черные кресты парят, застыт созвездия.

Все истинные сказки мира одинаковы, сынок. Не отыщешь концов, — так сумбурна и бессильна даже и могучая мысль. В ночи теряются концы любой сказки, ускользает она от сюжета, сынок. Мечется в свечке крошечной фигуркой ее пламя. Так в каждой из свечек, зажженных в детских спальнях. Это родные души — бессильные и могучие. Это ставка в нашей вечной игре. Не мы ее затеяли, это жизнь играет нами, — и ночь, и мысль, и великие силы мира.

Приходит время, когда, как монетки, стираются сюжеты, что сияли в веках, будто золотые бляхи, неразменные золотые монетки мира. Сколько их? Раз, два, три — на пальцах можно перечесать. Вот, дожди, придет день, и, наверно, засверкают они новым светом. Лучше они или хуже, но куда нам деваться от изначального? Да хороши они, хороши, великолепны, но даже и наилучшее приедается, мой мальчик. Все выцветает, сынок. Все живущее гибнет, все погибшее возрождается. Вот единственная мудрость, которую открыл я для се-

бя в жизни. Давно открыл, когда еще младенцем любовался закатами и восходами. Вся моя долгая жизнь мне ее подтвердила, мой мальчик.

В последнее время я стал просыпаться среди ночи и, проснувшись, никак не мог вспомнить вот-вот иссякшего сновидения. Пока не открою глаза, мне чудится, что я все еще в своей детской спальне, а открою — все та же ночь за окном, нежная ночка мира. Мне чудится, что я попал в какое-то случайное место и время, сюда заброшенный сновидением. Мне только снится, что я вырос. Нет, сон не тяжелый, не ночной кошмар, но как-то странно и малореально все вокруг.

Это и справедливо — мы живем только там, где обитают родные, души. Мы ведь познавали себя лишь отраженными в их зрачках. Наше рождение, — то был взрыв невероятный по яркости и мощи, а потом пошли расходиться волны, — все затухая. Укачивают они, навевают сон.

Да, сынок, на сон похожа моя жизнь, не слишком радостный, но увлекательный, — особенно теперь, когда меньше стала земля — ее на ладони можно рассмотреть. Конечно, уменьшилась, я ведь — там, в прошлом. Сам я не расту, только уменьшается все вокруг. Много, казалось, сил мира, теперь их все меньше становится, сливаются они одна с другой. Сколько их? Сейчас пересчитаю: одна, еще одна, третья, еще десяток, а, может, и поменьше.

Знаешь, сынок, меня в детстве тревожил какой-то кошмар. Мне чудилось, что я сплю, — заснул года в два или три, а остальная жизнь мне приснилась. Может, и правда — проснусь как-нибудь, а я — снова маленький. Я прежде этого боялся, стремился как можно скорей избавиться от предрассветной слабости, не ведая, что лишь в ней моя сила. Сколь пророческое это было чувство, мой сынок, мой мальчик.

Вот что со мной бывает: вырастешь, казалось бы, в жизнь без зазора; но вдруг отпрянет от тебя все, что рядом, и земля качнется под ногами. Тут же мысли: что я? где я? зачем? куда меня занесло, мой сынок, мой мальчик?

Сбылась моя тревога: проснулся я на самом излете молодости там же, где и был, в той же спальне. Топчу я в светлые ромбы на паркетe, отбрасываемые окнами. Сливаются все мысли моей жизни детски вопросы: что, где, зачем, куда? Отвечали мне звезды — первые мои картинки, первые письма. Теперь я позабыл их язык, — может, еще вспомню, мой мальчик.

Петляет, петляет жизнь, — я знаю, что вновь предстоит покинуть спальню, оторваться от груди матери-ночи. В день придется уйти, — но сколько еще раз буду я просыпаться в моей спальне детской моей ночью. И наступит последний — явью станет моя спальенка, все остальное — сном. Навек останусь я в своей спальенке, вновь свернусь кубком под розовым, как рассвет, одеяльцем. В спальне, куда все небеса нахлынут сквозь распахнутые настежь окна.

Вон туда, в угол все я брошу — золотые медальки, мечты, чаянья, победы. Вытряхну из карманов драгоценный песок моих мгновений. Души, родные души, живущие в погребальных свечках, все мне простят, ни за что не осудят. Разгорятся свечки, — еще одна среди них зажжется. И вновь будет сон, вещий сон с яркими сновидениями.

Все это будет нескоро, мой мальчик. А пока надо еще допить последние горько-сладкие капли ночи, еще день просуществовать, неожиданный, как и любой. Снова предстоит отправляться в путь, — следует мне добросовестно и внимательно, аккуратно уложить свою котомку, ничего не забыть, — а тут все под рукой.

За окном простерлась пред нами таинственная страна, мерцающая всеми цветами радуги. Родная страна, куда случайно или нет, занесло меня каким-то ветром, как крылатое семечко. Хочешь, не хочешь, прорастай сквозь эту жесткую почву, никуда нам с ней друг от друга не деться.

Да неужели опыт ее эпох одна только мука? Неужели он канет в никуда, пройдет даром для мира? Как ярко сиял ее день, умноженный миллионом прожекторов, — но тем более сильной и властной была ее ночь. День-то ее не забудется — его было видать со всех концов мира. А вот запомнится ли ее ночка — страстная и отчаянная, — в которой сияли все звезды мироздания, вечные звезды, но в единственном, небывалом их ракурсе.

Известны суетливые дети ее ярких дней, — а с нами как же быть, возросшими в ее плодородных ночах? Что же мы — худшие, неверные ее сыны, на своей шкуре ощутившие каждый изгиб ее пути? Да, каждый изгиб ее дневного ясного пути отбрасывал в ночь свою легкую тень, мой сынок, мой мальчик. И вот, наконец-то, пришла нам пора явиться пред всеми — вызревший смысл протянуть стране на ладони. Тот, что утаивали мы во мраке от ревнивого света дня. Совершила четверть оборота могучая крестовина, — ночное входит в день, дневному — пора в ночь. Но мы ль станем добросовестными дневными работниками?

Немало знаю ночных накопителей, — чуть не каждый сберег по крупинке, песчинке золотой. Те, кто слыл богачом, оказался нищим. Бедняк из бедняков оказался богат. Рухнули, сынок, все препоны, они для дня. Разделенные, казалось, навек, теперь слиты воедино, наподобие сиамских близнецов. Трудно разглядеть в нынешнем сумраке, кто враг, кто друг. Обнищали бывшие пророки, — все до единого, мой сынок, мой мальчик.

Все прежние мечты потеряли цену. Слов мы хотели, — еще бы, распирало, в глотке стояло комом невысказанное слово. Но слова произнесены, — и что же, полегчало? Не так-то уж, мой мальчик. Может быть, не в том счастье?

Впрочем, когда-то слова были нераздельны со смыслом, — неровня нынешним, которые только лишь к нему устремляются. Казалось, на разрыв взведена тетива; только отпусти — стрела свистнет. Что же с ней случилось, неужто ослабла, отсырела в нашей влажной ночке? Может, ослабла от тугого взвода, мой мальчик, ты не знаешь?

Не восстала ль дыбом вертикаль, потому нет пути вперед и никогда не будет? Не стоит поторапливать благо, мой мальчик, — душа сама найдет путь, как вода, неторопливо, но неуклонно пробивает себе дорогу. Широкая степь перед нами простерлась — шагай в любую сторону: вперед, назад, и влево, и вправо, ввысь взлетай, вниз падай. Куда нас влечет, мой сынок, мой мальчик? Неужели ж никуда? Неужели ненужный нам дар наша свобода?

Неужели лишь затем нам она, чтобы рассыпать вороха пустых истин, которые замусолены, еще не сделавшись словом? Стоит ли драть глотки ради этой словесной шелухи? Это что же, все, что мы накопили в сладостной нашей ночке? Неужто ночка — лишь бледный негатив дневного мира? Какая скука, мой сынок, мой мальчик.

Существует он, существует, таинственный негатив нашей дневной души, ее подкладка — сожаление по несвершенному. Но дай ему волю и силу, прежний сумрачный денек воцарится — все «да» станут «нет». Только и всего, мой мальчик. Помнишь придуманного мной ваньку-встаньку: человек на ногах — тень лежит у ног, вскочит тень — человек ляжет тенью? Нет, сынок, ночка не перевертыш дня, бездонна ее тьма, где сумрачная мысль простирает крылья от звезды к звезде.

И все же, сынок, по неточным пока словам мы шагаем к новому смыслу. Прежние словеса выворачиваем подкладкой наружу, — не в том наша правота, только в поиске нужных слов, в нашем усилии,

мой мальчик. Забавляются с тенями прошлого ложные пророки, преступники, которым прощения нет и не будет. Любого прошлого палача простим, а этих как простишь? В темноте, как слепцы, шарим мы руками, чтоб нащупать руки тех, кто ищет новый смысл, чтоб образовать с ними цепь, протянувшуюся через всю земную равнину. Непривычной, шершавой может оказаться рука, — все перемешалось в предрассветном сумраке, — но с любимым, кто отыскал хотя б крупицу будущего дня, мы теперь вместе. Это ли не последняя шутка проказницы-ночки?

Как странно здесь течет время. Чем его можно измерить? Наверно, тем, как быстро копится бумажная стопка. Но ведь исписанные листы уходят в ночь, а тот, что перед тобой, — всегда чист. Да, да, сынок, повторю: смешала ночь прошлое с будущим. Да и прошлого-то нет. Кажется, его сила дневная, но дневное прошлое как раз податливо, — его можно избрать. В мизерной точке, называемой «сейчас», установлен прожектор, высвечивающий в минувшем всегда разное, — это понятно и банально, мой мальчик. Но в этой тьме кромешной, как ухватишь скользкий нолик, мгновение яви?

Наше «сейчас» цепляется за предметы, — а их нет в ночи. Слитна ночь, не разделенная на «прежде», «теперь» и «потом». Казалось бы, вся она единый путь, потому лишена муки выбора. Путь-то, может, и единственный, но муки через край, мой мальчик, — тоже и тревоги.

Да, сынок, ночь не обильна путями, — душа, слившись со тьмой, не вопросы задает звездам, а только молитвы к ним возносит. Нельзя задавать ночи дневных вопросов: попробовал одинокий вязальщик, и тут же померкли золотые бляхи. Настала мука мысли, — не легче, чем душевная. С тех пор мы и приучились вопрошать ночку, вместо того, чтобы упиваться ее тьмой и видениями, — наивно ожидаем ответов, мой мальчик.

Не отыщешь в ночи дневного времени. Посмотри: горит рядок свечек, и ни одна не оплывает, не мерцает ни одна, ровен огонь. Но ты знаешь, что могут они погаснуть, — и одна за одной, и разом, все вдруг. Так порывисты ночные ветры, что могут задуть и звезды небесные. Как боюсь я порывов ночных ветров, мой сынок, мой мальчик.

Не тщись отыскать днем ночного времени, мой мальчик. Оттого-то идет слух о его странности, о петельках ночи. А попробуй-ка не петлять среди дневного мира, полного предметов и дел. То время ца-

рит, когда затихают все звуки, все речи, — и даже ритмичный маятник, отсчитывающий дневные мгновенья. Несовместны время дневное и ночное время душевных перемен, — вот она, еще одна улыбка ночи. Днем не свершается горнее, — день для трудов и забот, мой сынок, мой мальчик.

Нет ничего прямей, сынок, чем ночное время души, не ведающее просвета меж мыслью и свершением, — выела его лукавая ночная тьма. Вот единицы ночного времени: обещанье-свершенье. А что в промежутке натикает стрелка, все это чувь, мой мальчик.

Одна из тягостей жизни — вот эта несводимость времени дневного и ночного. Навязчивы ночью образы дня, но ведь и днем вдруг привяжется ночной — не отлипнет. Потому отчасти рассудочны наши ночи и мистичны дни. Не разберешь, чего больше в наших днях — символов горизонтальных или вертикальных: метафор или метонимий? Потом ты выучишь такие слова, мой мальчик. Да и ночка-то бывает хороша: вместо великих и дальних пророчеств — тусклое предвиденье ближайших дней. На фиг мне оно, сынок? А то я не знаю, куда приведет меня череда дней? Слиться бы до конца, без остатка, с мелодией ночи, тогда — муке конец, тогда пророчицей станет душа.

Какая робость охватывает, когда встречаешься с вышним при свете дня. Как грубы дневные приемы овладения вышним, — кажется, будто творится какая-то непристойная волшба. Неужели простейшей манипуляцией им овладеешь? Неужто наши слова и свершенья так заманчивы для великих сил, что призовут их из высочайших высей, из глубочайших глубин?

А почему б, собственно, и нет, почему бы не вовлечь в детскую игру ребячливые силы мира? Они бегут от многомудрых дум, зато притекают к простому слову и жесту, изначальные силы мира, на которых, как на всем младенческом, лежит отблеск святости.

Густую сеть сплел вязальщик, — только простейшее, мельчайшее, детское может выскользнуть сквозь частую сетку. Это мелкое, младенческое вырвется из сети, как серая птаха, и сразу защебечет в синеве. И тут же откликнутся на ее призыв родные ей великие силы мира, тоже детские, тоже легкокрылые, тоже простые и беззащитные. Ведь, как любящая мать, устремляются они к любой колыбели, заслышав первое «уа-уа» младенца.

Прости мне, сынок, мой мальчик, мудреные, дурацкие слова, ненужные тебе соображения. Даже и не мысли, а так, обрывки, сор.

Суетливо выскребаю все свои клетки, все кладовые, все до последней мыслишки разбрасываю перед тобой. Всё очистит, все хитросплетенья распутает твой вещий сон.

Все перед тобой: негаданные жемчуга и случайный сор вперемешку. Самого сокровенного я еще не добыл, мой мальчик, — его мы потом вместе с тобой доищемся. Я пытаюсь перевести — я ведь переводчик, ты знаешь, — твои изначальные сны на язык повзрослевшего мира. Трудно это, мальчик: сколько приходится блуждать путаными лабиринтами, чтобы вернуться к простейшему «уа-уа», обращенному к матери-вселенной, — как хочешь ее назови, мой сынок, мой мальчик, много у нее названий. Труден, конечно, этот возврат, — непросто распутать каждый узелок, но нет другого выхода на излете молодости, будь то человека или мира.

Сейчас ты мне помогаешь, сынок, но придет время, и мои сумбурные речи помогут тебе. Не хочу пророчить, но, увы, мой мальчик, спугаются и твои пути. Не твоими ошибками, как тебе почудится, и не по дурной случайности, нет. Это свойство мира, это отчаянье и есть мир. Сейчас ты любишь его, ты, припавший к его изначальным живительным истокам, — потом разлюбишь, тогда-то и начнется жизнь, мой сынок, мой мальчик. И ты всю ее потратишь на то, чтобы полюбить его вновь.

Пусть стоит мир, каков он есть, мой мальчик, не надо нам другого. Мы будем строить все новые и новые башенки, умиляясь их красоте. А когда все кубики переберем, все башенки выстроим, тогда иссякнет сожаление по несвершенному и отвергнутому. Иссякнет тоска по упущенному, — развеются ночи, останется сплошной день, — мир тихо и незаметно растворится в его яркой синеве, не оставив даже темного дымка сожаленья. Только бы не пропал он раньше в мгновенной вспышке. Она-то, если произойдет, то неслучайно — мгновенным оскудением духа, разором души. Спаси мир, сынок, очень тебя прошу, накопи для того силы в своей изначальной ночке.

К чему тебе мои бессильные слова, мой сынок? Пригодятся, ничего не отвергай, все на что-нибудь сгодится. Мы нужны друг другу: я сверяю по тебе свое прошлое, ты по мне сверяй свое будущее. Слушай меня сейчас, — на излете твоей молодости. Где я буду потом, каким, и буду ли вообще? Если и буду существовать, то в сверкающей броне.

Пока все ж податлива моя оболочка, мы с тобой нераздельны: я — твое будущее, ты — мое прошлое. Придет время, и ты отыщешь где-

нибудь в глубинах своей души забытую кладовку с моими запылившимися сокровищами. Тогда и выберешь из них все, что пригодится, а ненужное отбросишь.

А теперь привыкай к звучанию моих слов, мой сынок, мой мальчик, напитайся их невнятными смыслами. Помнишь, как тебе читали книжки, когда ты был, как котенок — слеп, глух, и нем; блуждал в своем начальном тумане. С каким вниманием ты слушал странные и, вроде б, ненужные слова, — ты верил в их значение, учуял будущее своим безошибочным младенческим чутьем. Пусть неделимой на слова остается для тебя моя речь, — ведь такова и молитва. Да поможет тебе на каждой твоим перепутье, если не слова мои, не мысль, так хоть усилие. Оно-то не выцветает, мой мальчик:

Сейчас я могу обращаться только к сыну. К кому ж еще, к чему же еще, если не к своему прошлому или будущему? А в нем они пребывают слиянны. К кому еще воззвать, если не к младенцу; что там еще осталось на опустевших небесах? К троице я обращал свое письмо — к тюремщику, к доктору, самое проникновенное — к сыну.

Тюремщики готовы распахнуть свои камеры, доктора — выпустить из клеток безумцев, — стосковался мир по преступному и безумному; в свежих ветрах нуждается закосневший мир. Не родилась еще эпоха, но веет уже робкой надеждой. Всех благ тому, кто ею нас наделил, но, может, мы себе вообразили наши тенета? Может, и не было их вовсе; может быть, и не чинился над нами произвол? Не мы ли сами вытолкнули вверх эти угрюмые лица, как образ собственной нашей грязи, нашей бескрылости? Так редко мне приходила эта простейшая мысль.

Уже нет их почти, рассеялся морок, — ты уже и не поймешь, сынок, на кой кому они были нужны, откуда их сила. А мы-то понимаем? Нет, не нашли мы единственную сваю, на которой держится странная держава, построенная на болотах, с которой нам жить, в которой проживать свое время. Да могли ли мы отыскать ее, если вдаль простирался наш взгляд, а сваи устремлены вверх.

Да, тяжело было существовать один на один с собственной бескрылостью, — ты этого не поймешь, сынок, ты еще покамест крылат. Мы же приписывали ее кому угодно — будь-то кровавому тирану или немощному старцу. Ну а вот сброшена сеточка, и что, взлетает птица? Нет, ковыляет на кургузых ножках, прищурился глаз, тревожно осматривается. Отвыкли от полета крылья, — а, может, вообще не для полета эти бессмысленные культы за плечами?

Может быть, это ночная птица, — привыкла порхать по ночам, а теперь ослепла от дневного света? Пусть еще предутреннего, робкого. Когда вовсе прояснится, она еще не так ошалеет, эта усталая нахохленная птица. Даже и не птица, а целая стайка, — иные птицы сидят, робея или не умея взлететь, некоторые начинают осторожно вспархивать.

Распалось единство, но разве стали мы счастливее, скажи, мой мальчик? Было оно ложным? Кто теперь ему судья, — ведь нет его теперь, никакого не осталось. Многообразье — да, но не многообразие ли душевной муки? Это и есть взрослость, мой сынок, мой мальчик. Непривычна она для нас, детишек.

Кто из нас, вечных птенцов, сумеет взлететь в небеса? Неизвестно, сынок, — может быть, самые безнадежные. Вся надежда на вас, мой мальчик. Хорошо бы, чтоб ваш полет был волен, — вы и нас увлечете и неведомым вершинам. Я верю в вас, мой сынок.

Неторопливо и скрупулезно я проживаю ночь, не торопи меня, сынок, — медленно вызревают колосья. Раздваивается жизнь, — тени гуляют по спальне. Помню, как-то меня поразила в книжке зрительная иллюзия: черное и белое, фон и картинка. Если долго смотреть, фон выступает вперед, становясь картинкой, а потом все наоборот. Так и меняются местами: фон-картинка, картинка-фон. Двигается, живет мертвый оттиск на листе единственно доступной ему жизнью.

Ночь за окном, все ночь да ночь. Наша спальня, как ночной поезд, летит; бежит, неритмично грохочет на стыках, качается, позвякивает, как тот нелепый двухвагонный трамвай, что дребезжал вдоль дощатого забора по маленькой площади. Вечно недоумевающим был взгляд его фар, а звякающий звоночек — слаще соловьиного пения.

Летит поезд, а за окном темень непроглядная, подобная любой темени. Иногда кажется, что накренилась земля, образовав уклон вниз, небольшой, не до самых глубин — обычную, унылую земную покатошь, не крутую, почти незаметную. По ней медленно и неуклонно съезжаешь вниз на ночном ли поезде или на собственной заднице, все равно — ни ужаса, ни упоения, — лишь обволакивающая безнадежность. Даже и надежда смерклась, которая таится в самой отчаянной муке. А коль и ее не осталось, то на ее месте, таком тревожном, где-то под селезенкой, — там затаилось предвиденье, — рождается липкий страх, зудящий по-комариному.

Его заглушила бы и крошечная надежда, но ее не осталось, — и комариный зуд стрекочет все громче, могучим делается, как рев горного обвала. Какая уж там селезенка, — все тело начинает гудеть страхом, как стопудовый колокол. Ни одна смертельная опасность не породила и не способна породить подобного ужаса, мой мальчик. Тогда грозит одна лишь телесная кончина, а тут вся судьба склонилась к медленной гибели.

Тут уж не вцепиться во вражеский закрик, — нет никакого врага, — сама земля сделалась поката: ты устремлен вперед, но твоя плоскость наклонна. Она тебя устремляет вниз, лишь потому, что таково ее свойство. А сам ты вроде комара или мухи.

Я не пугаю тебя, сынок, но готовься этому зудящему комариному страху, неотвязному, как зубная боль, из-за которой, как известно, можно проворонить даже и Распятие. Нет ничего в мире хуже таких мгновений, но ты их не бойся, сынок. Покатая плоскость — один только морок, — вселенная не наклонна, добровольно каждый нисходит вниз. Попросту зацепился за некую мысль или чувство притаившийся где-то на дне маленький детский страшок, как подцепляешь ложкой капустные волокна. Даже и не сам он, а легкий его отблеск: стал прозрачным густой лес нашего детства. Лунный свет играет в хрустальных стволах.

Не бойся: как только сообразил, что ведет под уклон земная равнина, тут же нет уклона. Только тогда она коварна, когда притворяется ведущей вверх. На самом же деле, она простодушна, плоская земная равнина: чуть вверх склонится, потом чуть вниз, раскачивается как весы.

А в общем-то, темное дело, куда мы идем, мой сынок, мой мальчик, — вниз ли, вверх; темное, как ночь темна. Главное, сынок, не стоит в землю упираться взглядом; надо хотя бы взгляд возносить к ночным звездам, мой мальчик. Наше усилие, вот что последняя достоверность лукавой ночки, — все остальное игра неодоушевленной картинки: фон-контур, контур-фон. Да, усилие, мой мальчик, — все тут силой берется, в этом мире, сложенном из суровых камней.

Тихо в нашей спальне, сынок. Застыли в окне звездные картинки, — силы мира, капризные и непокорные шепчутся в каждом углу, бормочут, мой мальчик. Ты не слышишь? По-моему, кто-то плачет в нашей спальне? Кого оплакивает, — ошалевший мир или нас, обитающих в нем? Или это попросту дождь шуршит за окном: приводит длинные борозды на оконных стеклах.

Я любил дождь, особенно сидя в крошечной сырой комнатке, на даче, — летний ночной дождик, который лепетал-шелестел по деревьям, глухо тюкал по жестяной крыше. В этих звуках, сумбурных и сокровенных, я пытался найти мелодию. Долго я не мог понять музыки, созданной человеком; зато я переживал музыку мира. Любые мелодии наигрывал мне летний дождь — великий композитор. Так-то, сынок.

За окном спальни шевелился, существовал жутковатый ночной мир. Обрамленные окном, чуть виднелись сырые темные деревья, — к их корням жались вострепанные страхи лесные, страхи ночные, еще какие-то страхи, — и бледным пятнышком реял в вышине голубь. Потому был уютен мирок за окном, почти как моя собственная постель. Я бы улегся в поросшем шиповником садике, натянув на себя ночную тьму как одеяло.

Все это родные пространства — и маленькая булыжная площадь, и нелепый каменистый скверик, и таинственный дачный сад. Завалились они куда-то за подкладку, мои неразменные пятаки. Все ж не хочу я возвратиться к прежнему, — раньше там царили родные души, которые уже покинули землю. Только моя память туда иногда возвращается, мой сынок, мой мальчик.

Там вечно пируют великие силы мира, когда-то стоявшие у моей колыбели. Теперь нащупала их моя память в хаосе ушедших времен. Я вернулся к ним, их сынок, их мальчик, подросший младенец с седым волосом на виске.

Какими вы маленькими стали, великие силы, мои старцы, мои великаны. Сами-то вы превратились в младенцев с по-младенчески сморщенными личиками. Ваша трапезная — крошечная шкатулочка, затерявшаяся в бабушкином буфете, — та шкатулка, где хранятся все ветры земные. Пока она замкнута на серебряный ключик, они спят, и тих мир. Помнишь, и ты играл с той шкатулкой, сынок. Она похожа на сахарницу, но только с виду. Казалось, что там отыщешь, кроме приторных детских сладостей? А меня убеждали, что там должен храниться лимон, желтый, как солнце. Плод иных земель, кислый плод, помещенный в зелень.

И все-таки, кажется, в ней хранили сахар. Приторно-сладкой была слюнка, когда насосеешься рафинаду, — почти невыносим отчаянно-сладкий сиропчик. Теперь потерян к той шкатулке ключ, можно только гадать, что ж там хранится — рафинад нашего детства или солнечный плод, сладкий, горький, упоительный, как детская обида?

Кого же оплакивают небеса, мой сынок, не каждый ли затерявшийся миг? Сколько капель пало с неба, столько и мигов потеряно. Упруго бьют в стекло ночные капли. Я не любил, когда они висли на стекле, — всегда прочерчивал им бороздки, чтоб они сбегали вниз ручейками. Стремительно сбегала капля, но долго еще оставалось ее русло, как слезная бороздка на немолодом женском лице, мой мальчик.

Все ходит и ходит ночь по кругу, — кажется, и она заплутала, позабыла дорогу к рассвету. Подчас она скучна, как жизнь, скучна, как день. Но уснуть не дает ни свет дня, ни взведенный, как тетива, ночной мрак.

Гляди, сынок, перестал дождь, затихли его всхлипывания, небо просветлело. Там просияли прежние звезды, звездные письма. Я не астролог, сынок, не понять мне звездных коллизий. Козерог, Водолей, Кентавр, Дева, Крест северный и южный, — знаю наименования, но не различаю вечных картинок. Угрозы для меня и мои собственные надежды ищет мой взгляд, плутова среди звезд, и никак не находит, как в переплясе капель различал я любой мотив.

Угрозы и надежды, мой мальчик. Надежда — тень угрозы, угроза — тень надежды, по-другому не бывает. Сколько их, этих угроз, — вспомни, страх таится в любом изгибе, в любом изломе, за каждым углом, а наш мир извилист, изломан. Но не пугайся, сынок, по большей части жизнь светла, — ночь только в ночи таится, а угрозы дня не больше, чем кочки, каких полно на гладкой земной равнине. Ну, споткнешься, нос расквасишь, — днем получше гляди под ноги, сынок, и все дела. Ночью ж гляди только вверх, наблюдай звездное небо. Когда ночью взмоешь ввысь, голова кружится: может паденьем почудится взлет. Тогда тебе — все угрозы разом, — но каковы радость и упоение.

Я желаю тебе, сынок, бесконечного страха и беспредельной радости. Той смеси тупости с пронзительной зоркостью, которая зовется талантом. Если суждено тебе получить этот нелегкий, нелепый и сладкий дар, много будет угроз и страха и в днях твоих, и ночах, но много и радости.

Пока ты лежишь в своей постельке, я могу как угодно представлять твое будущее. Но оно уже зародилось в тебе, в тебе затаились уже все смыслы твоей жизни. Могучим взрывом ты ворвался в этот мир, а теперь круги, круги разбегаются, все шире и шире. Увы, сынок, уже расписана вся твоя жизнь наперед, все зерна заложены

в плодородный чернозем, — под рукой у тебя все предметы, из которых ты будешь творить миры.

Упас ли я твое младенчество? Все ли дал тебе, что нужно для жизни? Не знаю, сынок. Прорастет семечко, окрепнет дерево, явится миру, роскошно раскинет ветви, зашелестят в нем земные ветра. Тогда выяснится, каков я садовник. Простишь ли ты старого садовника, мальчик?

Ах, мой мальчик, вроде притихшие, великие силы вновь заерзали под ложечкой. Все, что угодно, может затеряться в ночи, кроме великих сил мира. Ночные ветры, дуновения великих сил, разогнали небесные тучи. Вновь просияли звезды, омытые ночным дождем, слезинками неба. Кое-что мне все же удалось вычитать на этом черном листе, испещренном блестящими буквами. Тщусь я прозреть будущее, в вечное проникнуть, мой сынок, мой мальчик. Трудно это — шрифт непривычен. Рябит в глазах, все расплывается, мушками пляшут в глазах веселые звезды. Вдруг, бывает, картинка выплывает из звездной мешанины.

Вот она, настойчивая, упорная: гриф, прибитый к небесам золотыми гвоздиками, уносит младенца в своих когтях, в нежных своих лапах. Спит мальчик и не знает, что возносится в сверкающую бездну, потому его сон бестревожен, — но странны его сновидения: все из цветных пятен, из цветных ноток. Рядом с ним парит голубок, всего из трех золотых гвоздиков: один — клюв, два других — самые кончики его крыльев. Ты по ночам улетаешь от меня в небо, мой мальчик. Ты уже не со мной, а во власти сил мира. Что тебе мои советы, — дневные ли, ночные, — если ты ничейный, во власти земли и небес?

Ночью каждый затаился в своей спальне, но все мы вместе — лишённые тел, земных оболочек. Разнообразны наши сновиденья, но одинаковые золотые бляхи залегают на их дне, на самом донце, мой мальчик.

Странна моя речь, я знаю, но не хочу распутывать узелки. Все мои мысли перепутала ночь. А, может, и расплела, как умела, — ты ведь знаешь, у ночи своя прямизна. Распрями ночь по дневному закону, она и превратится в день.

Лети, сынок, мой мальчик, в когтях нежного грифа. Я готов вернуть тебя в чистую тряпицу, в носовой платочек, чтобы уберечь от всего. Но что поделать: приносим мы вас в жертву грозному миру, — одна надежда, что голубь в последний миг отведет занесенный нож.

Я вижу, с каким младенческим доверием взлетаешь ты к высям, и сам верю, что минут тебя все угрозы, — упасут тебя мерцающие свечки родных душ. Пожалеют тебя великие силы мира, мой сынок, мой мальчик. Смотри, как нежны картинки, среди которых ты паришь. Развеют их ветры, — полощутся они, как флаги на своих яриках гвоздиках.

Ты не одинок в небесах, — нежная Дева склоняется к твоей колыбели, чтобы поправить одеяльце. И все великие силы рядом с тобой, — все они тут, среди звезд. Вон нелепый дух разора — наугад заброшенная в небеса горстка звезд. Вон вязальщик запутался в спиральной молочной россыпи. Великий всадник простерся на полнеба. Где-то тут и новая сила, овладевающая теперь миром, мой сынок.

Как уловить взглядом хоть бы контур рождающейся эпохи? Как высмотреть его среди рассыпанных золотых зерен? Что за детские секреты у такой откровенной до конца ночки? Или так, сынок, — замерли в небе только лишь пройденные пути, ложные, бывшие контуры великих сил мира, которые отдохнуть взобрались на небеса. А стоит подуть истинным ветрам мира, как заколеблются звездные рисунки, расплывутся привычные контуры; станет золотая брошка на черном бархате ночи вновь силой, таинственной силой жизни.

Просыпается наземь созвездие, пробивает каждая звезда земную твердь, залегают они подземным кладом, золотыми зернами. Глубоко-глубоко они таятся. Наше время не пора привычных картинок, а непредсказуемых перемен. То, говорят, вселенский закон или вселенское беззаконие: бывает, охватывает дух невиданного творчества, даже и неживое. Тогда уже нет никому и ничему ни закона, ни указа. Бывает, устают и законы вселенной, мой мальчик, размыкается стальная цепь времен. Не это ль нам выпало? Ни ближнего не видеть, ни дальнего, — один разгул вольных сил. Тревожная, тяжкая, сладостная свобода, мой мальчик. Время как раз подходящее для нас, безумцев, для всех, кто скопил в ночи новый смысл мироздания. Во что они, нормальные-то превратили нашу землю? От нас шел разор, но только у нас может хватить сил обуздать ночных коней. Да, мы подчас бывали туповаты, — нам принюхиваться надо, чтоб различить дух перемен. Другим-то не надо: мир и меняется ими. Мы — ошибки вселенной, потому и сами способны ошибаться, мой сынок, мальчик. Но любая наша ошибка предпишет путь уставшему миру. Ты ведь тоже один из нас, так ведь, мой мальчик?

Прости, сынок, что мыслю кругами, повторяюсь, уточняю свои мысли и чувства, — погляди на небесные спирали. Что может быть

точнее звездных небес? Если собрать воедино все взлеты и падения, всю тупость, все прозрения летней нашей ночки, может быть, и явится великая свежая мысль во всей полноте. Трудно ее поймать ненадежной сетью из корявых закорючек, еще несуществующую, — не то что даже непредсказанную, но непредсказуемую, не ведающую себя и своего пути.

Взгляни на небо, сынок, — из всей мешанины созвездий вот что можно явственно разглядеть с любой точки земной равнины: крестик, плюс, пересечение горизонтали и вертикали. Вот что неизменно в небесах, — остальное непрочно. Сейчас ведь время августовских звездопадов, мой мальчик, — осыпает небесное зерно нашу землю, чтобы потом взойти колосом.

Я рад, сынок, что ты именно сейчасходишь в мир, когда может прогнать на все мироздание и слабейшее наше усилие. Как все шатко, мой мальчик. Повсюду — замершие грома. Благословенно будь наше время, как бы ни был грозен его лик. Страшнее прежних времен оно не будет, — то был, будто крик ужаса и тоски, застрявший в глотке.

Мой сынок, мой мальчик, затерялись среди вороха страниц великие силы мира, пустословием заполнял я свои листы. Но вот я вновь засыпаю, и в который уж раз я на маленькой площади, пред островерхим храмом. Слышен цокот копыт о булыжник, отмеряющий время. Но нет коня, — просто звук моего детского утра врывается в сон. Заперт храм на две скрещенные балки. Кажется, что уже чуть занимается рассвет, — кровавая полоска изогнулась полукругом, но не понять, вблизи или далеко. Ведь нет предметов в обители великих сил — нечем измерять расстоянья.

В сером фартуке неведомая сила метет булыжную площадь. Цокает по мостовой своими деревянными сабо. Бжик-бжик, — скрипит метла, тоже полузабытым утренним звуком. В углу площади присели на мраморные ступени силы земные. Осторожно я подходил к ним, мой мальчик, пугаясь эха своих же гулких шагов.

Я смотрю в небеса с еще не погасшими звездами: нежнейшая из великих сил там сияет, склонившись над чуть поскрипывающей небесной люлькой. Вот чьей любовью полнятся наши души. Но ты знаешь, сынок, уже знаешь, сколь свирепые водятся силы, вроде льва твоих снов. Никогда не быть столь жестоким миру кристаллических форм, как то доступно своевольным силам.

Потому страшны детские сказки, мой сынок, мой мальчик, потому кровавые пятна не отчистишь с золотых блях. Страшны людские сказки, мой мальчик, — вряд ли додумались бы до того ужаса звери лесные. Как и деревья, пересказывающие свои легенды легким шепотом ветвей одно другому. Нет, не окрашены кровью сказки лесные, а для человека даже закат кровав.

Увы, сынок, даже отладь мир до совершенства, отшлифуй до блеска, победи все напасти, — но куда деться избытку великих сил мира, которые куда обширней нашего представленья о благе? Это я тебя спрашиваю, мой сынок, мой мальчик, — как бы я хотел оказаться неправым.

Ну, представь: ясен будет мир до последней извилины, но куда ж подеваются излишние силы? Ни одну ведь не вытряхнуть из мироздания. Опять в ночь им уходить, которая станет еще темней. Мстительны силы — страшные ночные устройства они могут создать. Сынок, ублажить надо каждую, — а каков будет мир, совпавший со всеми силами до единой, мы того и представить не можем.

Как злоумышленники сговариваются великие силы мира, присели на ступени древнего храма, от которого только и остались ступени. В темном глухом углу маленькой площади собрались великие силы, — почти неразличим их шепот.

Скажешь, много я хочу, мой сынок, мой мальчик, — подслушать беседу величайших сил. Кому ж это удавалось? Но есть ли другое занятие у марающих бумажные листы? Проложены уже на чистом листе легкие каналы, — как вздох легки, мой мальчик. Спешит, бежит рука, опережая мысль, торопится запечатлеть любой шорох мира.

Много наболтано лишних слов, но тем больше междусловий, куда устремляются силы мира. Словом ли отличается человек от зверей лесных, от деревьев, или только своими «ах» и «ох», — мусором своих междусловий? Там, меж словами и пролегла великая ночка мира, мой сынок, мой мальчик. Это одухотворенная, вочеловеченная ночка, сотворенная величайшей человекоподобной силой, что бы там селились родные души.

Тих шелест великих сил, мой мальчик, как шорох осенних листьев. Может, они и вовсе потеряли слова, когда отошел от них лукавый вязальщик, задувший свечу. Мы его возненавидели, но возможен ли был при свете его свечи, сиявшей как солнце, этот ночной разбойный сговор? А может быть, благо миру сулит этот тайный разговор, — кто знает, мой мальчик, мой сынок?

Я подошел к ним близко, но великие силы не увидали меня — крошку хлебную на их пиру. Станным было ночное пространство,

непонятные его закон: чем ближе я подходил, тем глуше становился шепот, туманней контур. Зато разглядел я скорбного вязальщика: он стоял в стороне от великих сил, уткнувшись головой в каменную ограду. Он был облачен в траурный плащ, на голове — шутовская шапочка с тремя отрогами.

Уж не тайный ли суд творили над великим вязальщиком? Да, тяжким было бремя его власти. Когда-то и я пытался вырваться из его пут, мой сынок, мой мальчик. Тогда и сам я выступил бы ему прокурором. Теперь совсем уж надо быть беспощадным, чтоб осудить немощного, отошедшего в тень, задувшего свечку, прежде ярко сиявшую миру.

Милосердия, милосердия, великие силы! Слышите, что курлычет порхающий над вами голубок? Как торжественно и величаво свершилась тайная смена эпох в затемненном храме. С каким достоинством приняла свечу царственная сила мира. Зачем же попирать павшего, — лишний ли он на нашей земной равнине? Придет время, он восстанет из праха, воссияет вновь, а пока он в ночь уйдет сам собой, разумом обогатит наши сны, — так-то, граждане великие силы.

Здесь же и новая сила, в этой темной кучке, — затенила лик черным капюшоном. Откинуть бы его, чтоб разглядеть ее лик. Вот чего бы я никогда не сделал, мой сынок, мой мальчик. Многое в ночке лишь виденье, но эта сила — явь из яви, которая способна продлиться века.

Что там еще обнаружишь, под черным капюшоном? Не слушай меня, сынок, поглубже нырни в свой сон, чтобы стал он таким глубоким, что было бы невозможно его припомнить наутро. Я боюсь даже робких, недалгих предсказаний, что дарует любое сновидения, — отказываюсь от этих даров щедрой нашей ночки. Потому, наверно, и отошли от меня ночные виденья, — не видно будущего и не слышны его шаги.

Так усни ж еще глубже, не слушай меня, сынок. Мало ли, что выглянет из-под капюшона. Если страх несусветный, как нам жить с ним века и века, мой мальчик? Вдруг, да лик смерти, костлявой старухи, — ведь все они смертельны, ночные силы, — любая может привести к гибели.

Неужто и новая сила изгонит остальные в ночь, где они станут ночными ветрами, задувающими звезды. Почему нет равновесия в силах, как ни квохчет примиритель-голубок? Почему не прекрасна, не хрустальна наша жизнь? Почему не выстроен дивный храм из равновесных сил, чтоб ни одна не оказалась в небреженье, не мсти-

ла по ночам, навевая преступные сны? Неужели не могут силы ужиться друг с другом при свете дня? Почему в ночах, в сновидениях должны таиться? Почему сиянье одной затеняет другую?

Ну, пускай так, пусть это их свойство, но тогда вот какой нам храм нужен: освещена одна половина, темна другая. Только, чем затемненная? Бархатистым ночным мраком матери-вселенной. Пускай тьма его будет не мрачным закоулком, не темным смрадным подполом, усеянным костями неведомых погибших и битым кирпичом. Чернота может быть так же чиста, как белоснежная белизна, как хрустальная прозрачность, мой мальчик. Благороден траур ночного неба, сынок.

Пускай, не борется тьма со светом, а благоговеет перед ним, как и тот пред нею. Да прояснится темный лик смерти, да утихнет ярость страстей. Пусть каждая сила станет кирпичиком, колонной, замыслом, балкой, пространством великого храма. Туда я ввел бы тебя, мой мальчик, и оставил бы тебя там, с успокоенным сердцем, — в этом разделенном напополам пространстве, где вольно и весело играли бы тьма и свет, образуя любые цвета. Где мы, сверкая всеми чувствами, не испытывали б их тягот. К такому ли храму движется мир, который, и сам того не заметив, мирно развеется в воздухе?

Все ищу для тебя, сын, чистую тряпицу, носовой платок, чтоб в него завернув, от всего упасти. Все, кто бдил в ночи, пытались отыскать среди звездных россыпей образ того храма, чтоб подарить его своим детям, всем младенцам мира, сынок. Нужен ли он тебе, в чьем кулачке примиренно и нежно дремлют великие силы мира? Нужен ли лучший храм, чем детский слабый кулачок, возможен ли?

Что таит новая сила, старая, вечная сила под своим капюшоном? Лицо юноши, старца или зрелого мужа глянет из-под него? Ведь, наверно, и великие силы мира дряхлеют, мой сынок, мой мальчик. На заре мироздания они были могучи, будто вулканы. Могуч и ужасен был тот, кто держал их в своей деснице, — крепки поводья, которыми сдерживал он сильных коней. Подобно солнцу, сиял он на своей великой колеснице. Прост и светел был мир.

А теперь, каковы они? Устали, одрябли, — а, может быть, и у великих сил наступает зрелость? Может, и миру пошел тридцать четвертый год, — гибели и рождения? Мир — огромное тело, сынок, тело наших тел, исполненное наших страстей. Это дитя вечности, временное, но неуничтожимое, дитя вечности, распятое на звездном кресте. Познай себя, мой мальчик, и тебе внятн будет мир. Твоя ис-

тория — история мира. И мы с тобой слиянны, мой сынок. В обоих нас — отец и сын, прошлое и будущее, младенчество и зрелость, — и еще то, что больше нас и обширнее мира.

Наше тело — загадочный храм, мой сынок, мой мальчик, — вместилище душ и сил. Половина его — ясна, как день, другая — темна, как ночь, но обе они нераздельны. Он обширен, как вселенная: небеса — его купол, — это видимые небеса, но за теми есть вышние пространства, где парит белый голубь. Те пространства тоже в нас. Как это просто и невыносимо трудно понять, сынок. Где нам искать спасенье, как не в себе самом, но вовне обращать молитву, — так надо, мой мальчик. Да разобраться ли, что внутри, что вовне, этой ночью, изглодавшей контуры.

Но прояснится ночь, чиста будет небесная гладь, не замусоренная тучами одичавших чувств. Тогда точным будет отражение в небесном зеркале — проступит и образ, и подобие. Будет парить великий образ среди пушистых снежных облаков, будут чуткими к эху проясненные небеса. Будут откликаться на любой зов — только нежней, выше, прозрачнее. Каждый благочестивый призыв возвратится к тебе и согреет твою душу. А если он нечист и неблаг, грозно раскатится он по небесам, грозное небо на тебя обрушится. Высоки-высоки будут новые небеса, выше туч, — но повыше них вспорхнет белый голубь. Мир всегда больше мира, мой сынок, мой мальчик.

Мальчик, я тебе уже говорил, что потолок твоей спальни в мельчайших трещинках. В них сочится и синева, и тревога. Ты — дитя каменного дома, а не открытых ветрам полей. Как переживаешь ты угрозу жилищу, как доверяешь строеньям, как по-детски остро переживаешь каждую трещину, отколупнувшуюся штукатурку. Да, да, и я тоже помню, до сих пор помню свой детский тяжкий ночной кошмар: обнаженную стену с деревянными перекрестиями. Я тоже доверял дому, сынок, вскоре понял, что тот — не крепость, — стены выдержат ураган, но могут пасть от дуновений.

Как хотел бы я, мой мальчик, так вот всю жизнь провести, припав к окну, наблюдая таинственную жизнь законного треугольника, который для меня важнее остального мира. Хотел бы, чтобы вечно хранили мою обитель родные души, духи жилища. Но нет, мой мальчик, придет и тебе пора подставить лицо земным ветрам. А потом стать родной душой для человечка, копящего силы в своей колыбели, а потом — стать добрым духом жилища.

Тогда мы будем с тобой вместе, мой сынок, станем оба духами рода. Станем запахами дома, странно, витиевато гуляющими по комнате, загоримся парой свечек, вон там, в уголке. Не бойся, мы не пропадем, мой мальчик, как и мир. Множатся погребальные свечки, множатся звезды в небесах. Светлей станет мир, мой сынок, мой мальчик. Медленно будут оплывать свечи, украшенные черным крепом, — одни погаснут, загорятся другие. Будут они загораться одна от другой, раздуют ветры их огоньки — флажки на белых древках. Так продлится мир — фитиль, вмурованный в белый воск.

Все, что хочешь, вылепишь из мягкого воска, но дороже всех богатств — живой огонек, истонченный вверх, устремившийся в небо. По слезинке, по слезинке оплывает свечка, собралась лужица в бронзовом блюде, похожая на белое облачко, замершее в небе, мой сынок, мой мальчик. Заманчива эта картинка, продленная в будущее, хотя б и ложно. Как высмотреть его, когда туманен горизонт, скрыт капюшоном лик величайшей силы?

Ох, как долго балансирует шарик на ребре, сынок, — какой же, наконец, выберет склон? Умники сулят дурное, — наивно это, мой мальчик; наивно и наше ожидание блага, как наивна доверчиво тянущаяся ко всему младенческая ручонка. Все наивно, мой сынок, в ребячливом нашем мире, но на что сдался нам мир без робкой надежды на благо? На кой нам земная лепеха, простершаяся под опустошенными небесами?

Ну, давайте же, ненаивные, нате: обнажены ваши небеса, — поиграйте со злом, только весело, с упоением. Ну, вылепите из него что-нибудь грозное, величавое. Слабó им, — притихли ненаивные, которые ни на что ни годны, кроме мелкой грязцы. Так и есть — в безвременье и зло ослабело, выдохлось. Случалось нам верить, что оно и есть сила. Нам урок: не столь уж уповай на мощь злодеянья. Куда злу править миром, если оно лишь тень? Оно буйствует, гарцует на черном коне, тяжкое копьё заносит, — но то всего лишь тень ратоборца добра.

Бывали времена схлестки добра и зла, но, коль праздно добро бездействует, и зло таится по щелям. Что же остается, сынок? Мелкая пакость, разгул мельчайших бесенят, которые и правят безвременьем. Навязчивые они, прилипчивые, — много личин у них под рукой. Когда разум спит и дух дремлет, тут-то они и прут изо всех щелей, — как мыши скребут лапками, покусывают острыми зубками. В безвременье только голубь от них защита, и небо — сияющий голубиз-

ной щит. Его спрятали тучи, но тем сберегли его синь. Вознесешься душой в небо, и не доносится уж мерзкого крысиного хрупанья. А на земле, кто этих крысят победит, раз бессильны и зло, и добро? Любого исполина они способны подгрызть, — даже того, кого не повергли свирепые ураганы. Медленно, как движется часовая стрелка, оседает исполин. Хочет он крикнуть, думает — вешними громами раскатится по земле его голос, но слышно лишь тонкое попискивание, так сходное с мышинным.

Все так обычно, все так просто, — незамысловаты кошмары безвременья. Разумеется, — что и ожидать от самой бездарной из эпох? Мы ее изучили на собственной шкуре, мой мальчик. И страшной всего — обыденная гибель высокого. Счастлив тот, от кого отваял беду белый голубок своими слабыми крыльями.

Плюнуть бы на этих мышат, не осквернять бы упоминанием о них чистые листы, великую ночь. Но не стоит бояться банальностей, мой мальчик. Так ли часто нам предстает величье? Величья мы ждем от грядущего дня, — хотим верить, что, когда он лишь забрезжит, попрячутся с писком мышата серых времен. Занесет копые великий всадник нового дня, встанет на дыбы его конь; явится ему встреч всадник черный — тоже красив, могуч своим злом. Вот будет заваруха, сынок, копь равна их сила, — во весь опор рванет замершая часовая стрелка, начнется эпоха, со своими ипостасями добра и зла. Ждем, мой мальчик, тягостно ждем, в нашей упоительной ночи, когда же послышится тяжелый цокот копыт по булыжнику. И ты этого ждешь, ждешь без ожидания, перелистывая страницы своих ярких сновидений.

Сынок, я все приближался и приближался к черному островку на чуть освещенной лунной площади. Невнятен был шелест великих сил, но, возможно, памятной слов. Не обращали на меня внимания великие силы. Что я для них, воздвигавших и сметавших царства, повелевавших мирами? Но и они, что для меня, когда-то сжимавшего их в крошечном своем кулачке? Всё они для меня и я для них — всё. Никуда нам друг от друга не деться, мой сынок, мой мальчик.

О, теперь чужие, прежде родные, силы. Я же помню: каждая подходила к моей колыбели, в ногах моих сворачивалась, мурлыкала, как пушистый кот. Иногда и царапались, будто игривые котята. Прежними они остались, ничуть не умудрились, мой сынок, мой мальчик, — это я как-то нелепо взрослою.

Все осталось прежним, мой мальчик, — все те же картинки, как в детстве, вижу я в звездных небесах. А среди них проступает тот могучий, кто сдерживает великие силы, будто коней, под уздцы. Он прежний, неизменный, — только медленно, исподволь, разворачивается его мудрость, разливается по небесам. Разожмет он свою руку, и рванут могучие кони, разбегутся они по небесам, как птицы небесные. Лучи солнца заблещут на крыльях небесных птичек. Одной из них будет белейший голубь.

Я видел, сынок, как пускали голубей из голубятни, гоняли их разбойным посвистом. Тогда город был весь в голубятнях. Вон там они стояли рядком, на заднем двореке, у гаражей. Их вольный полет — мне дар, вечный, ценнейший. Как и мои шкатулочки, стеклянные шарики. Куда же теперь подевались голуби, мой сынок, мой мальчик? Как с тех пор раздался вширь маленький городок со своим трамвайным звяканьем и птичьим пересвистом. Тогда он был уютен, мал даже для меня, маленького. Чуть не весь виден из окна нашего сурового ложноклассического дома — моей волшебной шкатулки. Был он моим мирком, почти такой же уютный, как спальня.

Теперь он чуть ли не потерял свой прежний смысл, который разнесся по дальним окраинам. Только клочки, осколки прежнего мирка вкраплены в великий град, как драгоценные камни. Прежде городок был мал, как мала спальенка, где все под рукой. Каждый закоулок, всякий дворик можно было разглядеть с птичьего полета.

Мой сынок, мой мальчик, только ли под непрочной нашей кожей хранятся чувства, страсти, память? Да нет, все это там и сям разбросано по родным пространствам, — между им и нами нет четко внятной границы. Твой город велик, полон разнообразными смыслами, — может, излившись, растечься твое нутро по бескрайним просторам, коль окажутся ненадежны стены твоей спальни.

А возможно, это мне теперь кажется, что так мал был городок, что целиком помещался в детском кулаке, в нагрудном кармашке. Может быть, прежде он был для меня огромен и полон неведомых страхов. Ведь как долог и упоителен бывал путь вдоль каждой стороны треугольника. Теперь сузилась и сократилась во множество раз тишайшая улочка, — весь треугольник стал крошечным, но он и теперь сочится великими силами. Там родилось мое время, наше время, сынок. Так, наверно, и ты когда-нибудь соберешь в горсть просыпавшийся мирок своего детства. Навсегда он пребудет с тобой, — ты будешь силен его силой. Куда нам укрыться от миров нашего детства?

Сынок, как прежде и я, ты весной вступаешь в мир. Замкнулся круг затянувшихся сезонов. Опять весной запахло. Только бы не вспугнуть ее, робкую и хрупкую, уже почти неожиданную, что мне выпала на краешке моей молодости, а тебя встретила на пороге жизни.

Вроде бы чуть просветлела ночь, определенной двинулась к рассвету. Какая-то странная, земная радость во мне зарождается, — будто не те же вечные небеса простерлись над миром, будто не мерцают они погребальными свечками. Словно не та же трагикомедия жизни разыгрывается за окном спальни. Сто дней, еще сто, и еще сто дней обитал я в спустившихся на землю небесах, брел в облаках по колено. Это и счастье несусветное и невыносимая мука, — только радости не было мой сынок, мой мальчик, которой всегда бывало с избытком в моей жизни.

А теперь — вот и она! Откуда она взялась в этом зыбком мирке, в нашей детской спальне, сквозь какие щели просочилась? Я уже почти не чувствую тяжкого и сладкого бремени придавивших небес. Но ведь тогда и небесное счастье уйдет, — падут на землю звезды ночные, весело зазвонят золотыми монетками, разменной монетой мира, переливчатой земной радостью.

Как бы ни было, нельзя отвергать радость, сынок, как нельзя отвергать и тоску. Кончается ночька, моя великая ночька, великая ночь мира. Не было мощней и выше тех времен, — я вас не забуду, глухие, немые времена — мое достояние. Всегда я готов туда возвратиться на переломе любой из эпох, — моей жизни или существования мира. Только бы вновь сил хватило прорасти сквозь глухое время, мой сынок, мой мальчик.

Исподволь, где-то за горизонтом зарождается рассвет. Блекнут, бледнеют звезды, меркнут небесные картинки. Теперь-то по ним и подавно не прочесть будущего, хотя оно уже совсем рядом, — только руку протяни. А, может, и вовсе уже наступило. Кто знает — очень уж тиха его поступь, мой мальчик. Я все там же, на маленькой площади. Над нею чуть просветлело небо, но, как прежде, туманен образ великих сил мира. От булыжника поднимался белый парок — испарялась ночная влага, стелился низенький седой туманчик по щиколотку. Еще более гулкой сделалась каменная площадка, — каждый мой шаг влетался в шепот великих сил. Шепоты метались по маленькой площади, — казалось, что-то шепчет каждый камень, булыжник моей памяти, сынок, мой мальчик.

Разгулялись предрассветные шепоты, — все они шелестели о разном, но каждый из них был заманчив, даже и те, что влекли к гибели.

Они были и ласковыми, и гневными, и сладкими, и бесстыдными, и страшными невыносимо, — но упоительны все. Последуй я их советам, мой мальчик, меня бы в клочки разнесло, разметало на тренькающие нотки. Хорошо, что ночка еще не до конца иссякла, склеивала меня, — ее клейкий сумрак не давал распасться ни мне, ни миру.

Выступила из круга великих сил могучая новая сила, тайная сила завтрашнего дня. Она задрала к небесам укрытую капюшоном голову, и отчаянный вопль вырвался из ее глотки. Нет, теперь не шепот, а звучный таинственный клич, ее именной вензель. Да, оказался он нов и непривычен, но что-то бывшее, вечное отозвалось в нем эхом. Как похож он был, мой сынок, мой мальчик, на твой первый вскрик. Но как необычен и странен, он прогремел на озаренной лунной, чуть подсвеченной молочным туманом, площади этот возглас «жить!», прозвучавший на еще не придуманном языке.

Грозно и живо ответили на него небеса — драгоценная чаша. Тотчас начался звездопад, — дрогнули, исказились небесные картины. Храм содрогнулся, дрогнула земля, — припали к земле великие силы мира, закутавшись в свои бурнусы. Ты вздрогнул и шевельнулся, сынок. Спи, мой мальчик, ночь на дворе, еще продолжается летняя ночка.

Всхрапнули и вскачь понеслись вороные кони твоих сновидений, но пока еще тебя ничем не удивишь, не испугаешь. Что странно для нас, это обыденность в сказке твоих сновидений. Что для нас обыкновенно, то для тебя загадка. Весело и легко разгадываешь ты по ночам все мировые загадки.

Мы-то свои уже разрешили, кроме тех, что, как песок, ушли у нас сквозь пальцы. Казалось, навек они пропали, но ничего не исчезает бесследно в нашей начальной ночке: я пришел в спальню и все, что там прежде было, обнаружил на прежних местах. Будет возвращаться и возвращаться к нам младенчество, пока не разрешит все загадки до единой.

Ты же знаешь: бывает, что иссякает жизнь, — тогда в мелкой загадочке, оставленной на потом, маленьком секретике нашей ночки ищем мы новую силу жить. Вновь становится загадочным мир, — все приходится разрешать заново. Но нет в нас уже твоего веселья, нет прежней легкости. Не как раньше свежи головы, чувства подвяли.

Ты без труда, легко, изящно, творишь мир, — нам это уже не под силу. Из чего ведь приходится его творить? Из сухого, уходящего сквозь пальцы песка, — из пустот и междусловий, забытого. Из своего детства, мой сынок, мой мальчик. Ты еще пока так мал, что ве-

лика для тебя каждая мелочь, каждая песчинка, — а нам разглядеть ли теперь мелкое своими ослабшими глазами?

Зато велико наше усилие, сынок. Не разьединенные силы породили мир, а могучее объединяющее усилие, — только оно бесценно и вечно. Ты пока еще на него не способен, мой мальчик, — ни к чему оно тебе, все легко дается тому, чья жизнь пока не наступила. Я стремлюсь приманить своим лепетом из глубин детства белого голубя. Без него все наши усилия тщетны, — осыпаются песчаные башенки.

Как трудно, мальчик, одолевала моя рука чистый лист бумаги. Мое усилие рождало нечастые взлеты, короткие резкие вспышки озарения небесами. Иногда все же удавалось поймать великие силы на кончик пера, за эти мгновенья что-то должно мне проститься, мой мальчик.

Я оттиснул себя на бумаге, усилием вдавил в лист. Похож ли я на себя получился, это тебе судить, сынок. Похожа ли на себя эпоха? Надеюсь, похожа, все-таки смахивает, — и взлеты ее, и паденья, туман, тоска, безысходность, надежда, восторг, — случался и он, — все оттиснулось на этих листах. Много выдуманного, но и капелька истины сюда затесалась, мой мальчик.

Кто знает, может, и не развеется безвременье, подобно туману. Не оттереть от него мои бумажные листы, — ведь не копится опыт безвремений. Да и может ли он копиться, если их суть — все сначала, все впервые. Все разомкнуто, все без конца и без начала, без развязки. Не бывает наперед расписанных безвремений. Им самим не нужна память о прошлых, — могла б пригодиться как раз дневным, блистательным временам, чтобы их упасти от заносчивости. Кое-что все же удалось мне накопить или, хотя б не растерять в той странной эпохе, еще не остывшее тело которой простерто за окном нашей спальни. Вон там, на маленькой булыжной площади, где еще не стихло эхо от грозного оклика силы будущего.

Единым махом сбросила капюшон великая сила. Будет она еще от нас таиться, от песчинок, хлебных крошек на ее ладони? Вот, наконец, он, явлен, лик этой силы. Ну, взглядываюсь в него, а что толку? Брови, как чаща лесная; глаза, как озера; ноздри, как пропасти; рот, будто гибель. Все вместе, как незнакомый пейзаж, но странно очеловеченный. Только и опишешь тот лик глуповатыми словами детских сказок. Но пока я искал слова, вновь она лишилась образа, —

только смерч закрутился посередке булыжной площади. Но взглядишься в него — и вновь лик силы: один глаз — как солнце; другой — как, луна; губы красны, как восход и закат, — туманом пышут ноздри, будто конские на морозе. Ввинчивается смерч в небеса, растворяется в них, — нет уже великой силы на площади; только малый росток пробился сквозь булыжник, на том месте, где она стояла прежде. Тонкая былинка раскачивалась на здешних ветрах. Днем она будет зелена, а пока что лунный свет с нее стекает, по капельке, по капле. Лужица лунного молока сперва скопилась в ямке; потом ручейками растекалась по извилинам меж камнями. Робкая была та былинка, но, видать, упорней каменьев, ленивых камней мира, сынок. Нет уж великой силы на площади, — а, может, только почувдилось мне странное существо в черном плаще, — может, это порыв ветра взмел опавшие листья.

Сынок, мой мальчик, не иссякла еще до конца ночь, — я чувствую, что она еще способна возносить к звездам. Утекает и утекает ночь, вытекает тьма из драгоценной чаши. Но всего дороже ее последние сладко-горькие капли. Самое невиданное и небывалое остается на донце, самое простое и внятное.

Таинственному и странному уже негде почти прятаться, — разределся мрак, проступает контур предметов. Когда вся тьма иссякнет, что же останется на дне чаши? Россыпь крошечных кристалликов странно и непредвиденно отражающих солнечные лучи, свет восходящего солнца. Таинственные перебежки света, блестящие искорки, — вот все, что оставит нам ночь.

Не видны они будут на дне хрустальной чаши: прежде тьмой она наполнилась, — потом исполнится она ярчайшим светом, дневной синевой. Тонюсенькой иглой нацарапан на ее донце голубок. Виден он был во мраке ночи, — будет ли виден днем, голубок из трех искр? Одна — на кончике клюва, по одной на последних перышках каждого крыла. Когда колыхалась в чаше ночь, приворотное зелье, он словно летел, взмахивал крылышками. Днем, когда тихо заискрится солнечный свет в кристаллах, покажется нам, что порхает в небе голубок, почти невидимый в дневной синеве, мой сынок, мой мальчик.

Нет, нет, еще не иссякла ночь, не стоит поторапливать рассвет, не надо торопить время, — честно проживем нам отпущенное, сынок. Сквозь невыносимую горечь доберемся до сладчайшей сердцевины любой из эпох, — в каждой ведь есть капелька меда. Чем горче кожура, тем слаще плод, мой мальчик.

Летит рука по чистому листу, огненной змейкой вьется строка и проясняется ночь, великая ночка мира. Сверху, с вершины купола наблюдает мир бессонный алмазный зрачок, в котором мечутся сполохи погребальных свечек. Вперились родные души в бегущую руку, смотрят с пожелтевших фотографий те, кого нет уже в мире, — пусть кто-то из них и остался существовать. Вот я, к примеру, живу, но куда подевался прежний курчавый светловолосый мальчик? И он ушел в ночь, теперь со старой фотографии пристально глядит мне в глаза. Он похож на тебя, мой сынок, — тоже сплетен из солнечных лучей, связан со мной тысячью золотых нитей. Вот кто правит моей рукой, нанизывающей корявые буквы на прямые, как нить, строки; вот кто заставляет неверную руку нащупывать единственно верный путь; вот кто заставляет подняться после каждого падения.

Все стены уже исписаны, искорябаны, сынок, — все они в глубоких, невидимых в темноте бороздах. Но коснется их свечка — и вспыхнет огненная надпись, — вся наша жизнь, окажется, там записана и предписана наперед. Сдавливают меня стены, сынок, — все теснее делается наша спальня. Пора бы уж нам проклянуться на свет. Пошла она трещинками-морщинками, как легкая сеточка на любимых висках стареющей женщины. Мерцают погребальные свечки, легкая паутинка копоты вьется над каждой, — играет тонкий волосок в ночных ветрах.

И все-таки, что я сумел отыскать в смутной эпохе, какие пространства пересек своими тремя шагами? Это много — три шага, ведь даже карлику больше не понадобилось, чтобы пересечь пространства земные и небесные. Вон тот треугольник, что лежит за окном, я обошел по контуру; хватило шага на каждую сторону. Но где я теперь оказался? Там же, откуда вышел — в детской своей спальне, в нашем угрюмом, однако не мрачном, ложноклассическом доме.

Закончился мой день, истинный день, длившийся тридцать три года, — из ночки я вышел, в ночку вернулся. Только уже седой волос серебрится на моем виске, как лунный блик. Сюда же вернусь я, когда всю мою голову зальет молоко матери-вселенной, — чтобы навек тут остаться, мой сынок, мой мальчик.

Я коплю силы в своей детской спальне, — вон какую силу набрал; хватило-таки на три шага, которыми пересигнул смутное время, — странную, нехоженую местность, сынок, болотную хлябь, где пришлось осторожно нащупывать твердое место. Даже шепотов

родных душ, и то не доносилось; даже звезды небесные подчас не сияли, мой мальчик.

И все же где-то там, внутри меня, под селезенкой, таилась наша спаленка, жила своей жизнью, дарила мне редкие вспышки — искорки озарения небесами, озарения жизнью. Тридцать три года длился мой путь, по одиннадцать на каждый шаг, на тяжкий шаг, мой сынок. Тридцать три года и одна бессонная ночь. А отдохнуть некогда — снова пора в путь. Ничего я не нашел по дороге, сынок. Что мне еще надо? Все, что нужно для жизни, тут под руками. Всего здесь вдоволь, — а жизнь только разгадка странностей нашей спаленки, сынок, где уж было все предсказано. Тогда зачем отыскивать иное? Не растерять бы старого, вечного не растерять, различить бы его в неожиданных преображениях.

Все, что нашел, все, что раскопал — вот оно, на этих листах. Ничего тут не прибавишь — не убавишь: все оттиснуто, все прямо здесь и прожито. Пусть неприглаженным останется письмо. Можно было оставить лишь один полет, вымарав бескрылье, оставить лишь красноречие, а косноязычие вымарать. Подлинное сохранить, а искусственное вымарать, — но есть ли что более безыскусное, чем наша детская хитрость? Тут и соврать-то некому. Себе самому, алмазному зрачку, навек вмурованному в кровлю родным душам — неярким свечкам в углу спальни, голубку, вьющемуся за окном, зрителю, замершему в затемненном зале, будущему, прошлому, или, может, тебе, мой мальчик? Необъятной ночной вселенной, куда мы воспарим, раскинув крылья от созвездия к созвездию? Чего ради? Ради скользкого обмылка, именуемого «сейчас»? Сколько их, этих «сейчас», низанных, как бисер, на бесконечную, теряющуюся в тумане нитку. Все сберегает небесная чаша, ни одна капелька из нее не канет: ни капелька лжи, ни капелька истины.

Так что же за время запечатлено на листах? Так оно и осталось туманным, несмотря на огненную змейку, его пересекающую из конца в конец. Оно несводимо к другим, как не станет ночь днем, сколь ни был бы ярк лунный свет. Загадка осталась загадкой, — а, значит, я все ж добился своего, мой сынок, мой мальчик.

Единая эпоха распалось натрое. Что же удивительного, если и самое нераздельное членится на три — словно отражается во вселенском трельяже? Простиралась повсюду тягчайшая пустота, немота великих сил мира, немота прошлого и будущего. А потом тихо, как трава растет, двинулось время тайными переменами. Потом же легкая ночь охватила мир — младенчество, предвремье. Три

раза шагнул я по смутным временам, — этого хватит, чтобы пересечь вселенную. Куда были направлены шаги? И к себе, и к миру, — туда, где мы с миром едины, мой мальчик, в нашу спальню, огромную, как весь мир.

Так что же я все-таки отыскал в тумане безвременья и в легкой ночке? Все ту же любовь, сынок, мой мальчик, что озаряла наше младенчество, которая лучилась в каждом стеклянном шарике, играла бликами на крышке серебряной сахарницы. Не запылилась она, не иссякла, — так же сильна и жизнетворна, как и прежде, ничуть не расплескалась.

Мы передадим эту полную чашу в века и века, только бы не расплескаться, только б не расплескаться. Тогда вознесется она в зенит, осветив мир мягким светом. Тут и развеется ночь, — осмысленными будут наши труды, потеплеет время. Ужимается мир, растекается человек по вселенной, — теперь их судьбы слиянны.

Гляди, уже чуть розовеет горизонт, — черный напиток ночи уже окрашен капелькой гранатового сока. Начинается гибель ночи — величайшая из мистерий. Смотри, там, над парком, уже ночь расплосована, — не слитна, а состоит из темных облачков, — красноватая сукровица сочится из ее ран. Неудержимо проникает в ночь свет будущего дня. Ярится тихая ночка, — легким контуром изображает страхолюдных чудищ на горизонте, разевающих пасть встреч будущему солнцу. Они, свирепые, готовы пожрать друг друга. Вот что таилось в нежной ночке мира, в переломе эпох. Ужасом оборачивается любовь, когда черви точат любимое тело. Потом она вновь рождается из ужаса, — загораются погребальные свечи; разгоняет их робкий свет все кошмары мирозданья. Каким бы ужасом не предстала мне гибель ночки, я не смогу возненавидеть ту, которая до поры покинет мир, затаится в глубинах каждого из нас драгоценной черной жемчужиной.

Уже ночь не едина, не слиянна, — на чуть светлеющем горизонте брезжат различья — борьба, противоборство чуть подсвеченных ключев тумана. Меркнут, бледнеют исполненные любви звезды; меркнут их зрачки, чтоб не видеть кровавой битвы туч. Медленно гаснут картинки созвездий, все предписавшие на века.

Небо избавляется от вечного, и то скоро будет целиком укрыто возрожденной синевою, сделается подкладкой небес. Сейчас все небо — становление, схватка небесных драконов. Сейчас все зыбко на небесах, — мгновенная смена явлений. Это после неторопливой ночки.

Постепенно уходящая тьма освобождает предметы, прорисовывает их контуры, где она копится, — на сгибах, ребрах, углах. Как тоненькой кисточкой, словно тушью, прорисован телесный мир. Рождается разнообразный день, отходит великая слитная ночь.

Ты шевельнулся, сынок, скоро уж откроешь глаза, еще полные ночных видений. Они будут играть в твоих зрачках, делая странным и таинственным мир дня. Во всем великолепии тебе явится дневной мир, — роскошь предметов, среди которых, как духи воздуха будут витать ночные видения. Не стоит их изгонять из мира, — пуст он без них будет, холоден. Не надо гасить погребальные свечи, — бледным, призрачным станет их пламя в дневном свете, но теплые токи будут струиться, как марево, и зыбкими станут камни мира, оживет мертвый камень.

И все-таки, что же обрел я в ночи, сынок? Вот что, пожалуй: светлую грусть, ту, что мне так долго не давалась. На нее я был готов променять не то что свою радость, но, возможно, и счастье. Ох, сколь много приходится подчас платить за проблеск счастья. Светлая грусть отпускается даром, — ею полна вселенная. А счастьем ущемся тогда, когда чаша, полная любви, воссияет над миром.

Каким же я войду в новый день, мой мальчик? Пора мне, подобно змею, сменить кожу. Ее содрало с меня суровое и темное время, а оставшиеся полоски, сочащиеся сукровицей, я уже сам срывал. Я слился со временем, по нему растекся, как по чистым листам, а потом, благодаря ночи, я стал един с тоскующим мирозданием.

Теперь вытеснил меня из вселенной рождающийся день, одарил меня контуром. Нельзя слиться с днем, который — для трудов, для земных дел. Значит, надо, как дерево, вновь обрастать корой, равно упасающей от мирового добра и зла. Уже не трепетать, будто лист на ветру, а стареющим дубом стремить вглубь земли свой корень — сберегать свою теплую сердцевину, пускать свежие ростки.

До свидания, ночь, развейся, спрячься за горизонт, коль таков закон мироздания. Всеу свое время. Так было сказано, мой сынок, мой мальчик. Сколько уж раз мне приходилось менять свою душу, — оболочку, само собой: те шелушивались, и ветер их отгонял. Но как странно обитать все в одном и том же теле, — так оно многозначно. Много в мире смыслов, а слов мало, — как и тел, мой сынок, мой мальчик. Норовят ворваться одичавшие смыслы в каждое слово и тело.

Что ж, я готов опять обрести шкуру, которую задубят дневные ветра, обожжет солнце. А ночка, нежная ночка, задремлет в моих глубинах, в самой моей сердцевине. Чтоб я стоил, сынок, если бы не было мне отпущено безвременье, тот котел, в котором я родился, вызрел, не отыскал нового, но обрел себя? Три шага к себе — это все немало, сынок.

Заканчиваются бумажные листы, иссякает стопка; допишу последний, — и все они останутся в этой спаленке. Пусть уж будут, какие есть, — собственная ошибка мне, признаться, дороже чужой правоты. Кипела жизнь на этих листах, когда для меня нигде не было жизни. Пускай же останутся они живыми и живущими, несовершенными, сынок. Эта вот спаленка, и она живет, — не музей, а прораставшее зернышко. Все тут прежнее, но и меняется, — она, как граненый хрустальный шарик, который разнообразно преломляет солнечный луч. Да не один — множество лучей, которые нисходят с небес, отражаясь в суетливом «сейчас». Словно бриллиант играет, живет моя спальня.

Да, немало искусственного в моем письме, но всегда быть естественным, пожалуй, манерно. Пускай остаются рамки, куда вписаны картины. Пусть вымышленным будет письмо, а написавший истинным. Истинно он по капле истекал кровью, ею сочился, как закат, как восход; истинно почти весь уже вытек. Гляди, его почти и не осталось, — разве что, на этих бумажных листах. Быстро утекает песчаный ручеек, песчинки моей молодости, уж скоро конец, мой мальчик.

Конец близок, но пока еще простерся предо мной чистый лист, где многое уже вписано наперед. Но все-таки еще доступно разгуляться упорной руке, пока восход не слизал последние капли ночки. Тебе и день покажется чистым листом, мой мальчик, но он-то весь измаран, — медленно будут проступать ночные буквы на белом листе дня, — сколько их не стирай, проступят вновь эти кровавые ночные письмена.

Близок восход, — нежные перистые, как голубки, облака появились на горизонте, выпорхнули из голубятни на заднем двореке. Красноваты их подбрюшья, слегка замараны кровью. Они кружатся над миром, простершимся за окном, разгоняют свирепые тучи, — как оказались легковесны облачные драконы: рассеивались от единого взмаха голубинового крышка. Самая глухая пора ночи — перед самым рассветом. Всех сморил сон, уснули даже звездочеты, прозре-

вавшие будущее по звездным картинкам. Те, кто в ночи затевал зло, и они уснули. Во все стороны разбегаются страхи ночные. Утекает за горизонт рассеявшаяся на капли ночка.

Суров в эти часы встрепанный, влажный, одичавший за ночь мир, медленно-медленно вплывающий в явь, еще затуманенный, еще странный, — еще не дневной, уже не ночной. Легче понять даже бездонную ночку, даже разнообразный мир, чем это глухое время, — не отыскать для него подходящих слов и понятий. Конечно, сынок, — кто ж придумает новое слово, коль все еще спят?

Ярко светят в разгар ночи погребальные свечки, — а теперь они побледнели; огонек едва виден — только крошечная радужка на конце восковой палочки. Только тишина, только раздумье досталось тому, кому посчастливилось бодрствовать в глухое время. Сновиденья унеслись за горизонт в раззолоченных каретах, разбежались ночные тени, — не осталось ни образов, ни звуков. Глубок сон влажного, встрепанного мира. Не бывает чудес в предутреннюю пору, — мрачным и жестким кажется мир без ночных вымыслов.

Богата ночка, пронизанная великими силами, но лишь опустит крылья ночной гриф, иссякнет сила, возносившая тебя к звездам. Удовлетворись, не спящий под утро, суровым и скудным миром, — постарайся его понять, разгадавший таинственную ночку. Погляди, сынок, даже огромный дух замер в своем треугольнике. Да неужто и он уснул наконец?

Схлынула ночь, великое море, и весь мир стал огромной отмелью, где — раковины, переплетенные водоросли, чудища глубин бьют плавниками; издыхая, хватают воздух немymi ртами. Чудовищен глухой, немой мир, простершийся за окном. Уже не яркие виденья, цветастая радужка мировой дремоты, а самые темнейшие глубины того сна, где уже не душа творится, а дух, который не охватишь мыслью. Отверзла ночь свои недра, явила то, для чего нет ни слова, ни образа, что правит тобой неотвратимо, как смерть, — та сила, чей образ явился с накинутым на голову капюшоном.

Я не видел твоего лица, мой сынок, мой мальчик, когда ты был растворен в ночке, но я верно угадывал его выражение. Теперь уходящая ночка разомкнула сжимавшие тебя объятия, вернула тебя мне. Прежде легко проливалась обращенная к тебе речь, теперь все труднее. Легко мне было говорить с невидимым в ночи миром, — мы были едины, существовали в единстве, склеенные ночным мраком.

Сейчас все раздельно, чтоб независимо обитать в дневном мире. Оттого невыносимо тосклива предутренняя пора.

Сейчас твое лицо мне кажется странным, как лик предутренного мира и новорожденной эпохи. Я породил тебя, как все мы вместе породили эпоху, — но в этом предутреннем мире все мы друг другу чужие, мой мальчик, каждый из нас для другого — тайна.

Сынок, вот и послышался цокот копыт по бульжнику; выбежали из ночной путаницы бодрые кони, — ровен и могуч их шаг. Дом почували кони, знают, куда вершить свой бег. Вот так же и моя рука разогналась, когда дело идет к завершенью. Пронестись бы на этих конях, упиваясь движением, — все равно куда, — но мне следует на ползвучке оборвать свою речь, на одной, взлетевшей вверх, повисшей в воздухе нотке. Обыденно начало серьезных дел, — обыденным, случайным должно быть их завершенье. Да, без фанфар начинается крупное и угасает тихо, как гаснут ночные звезды.

Корчится за окном в судорогах великая ночь. Туманом пышет из-за горизонта, холодное утро подступает к самому горлу. Что ж, сынок, хоть одно завершенное дело увенчало мою молодость: сумел кое-как запечатлеть туманные времена на чистом листе корявыми буквами. Начал без фанфар и заканчиваю впопыхах. Быстро-быстро уходит песок, утекают песчинки, — кончается эпоха.

Хорошо или худо, но сумел я ухватить разделенное натрое время. Я торопился — нельзя было ждать ни совершенства, ни свершения, — ведь торопятся, торопятся песчинки. Добросовестная рука всегда права, — ее обретенья истинны, провалы тоже, — вину за него разделю с эпохой. Я запечатлел ее на бумажных листах, она здесь оттиснута — урок на будущее. Даже моя своевольная выдумка рождена безвременьем, — и на нее пал отблеск уходящей эпохи.

Будь все благостно, точно и гармонично в моем письме — похоже б оно было на смутное время? Фиг-то. Неудача вряд ли возможна в темных пустых временах, — в плодородном ночном черноземе каждый колос прорастет. Все простит, всему распахнет объятия радушная ночь, все окутает своей тьмой, куда и мы канем, когда придет время, раскинув руки от звезды к звезде. А вот день ничего не прощает, но дневные заботы — уже иное, о них — другой рассказ.

Это хорошо, мой мальчик, повторяю, хорошо, — выпала ночь на мою молодость, когда еще не остекленели кости, не задубела кожа, когда еще способен слиться со временем. Как мудра жизнь, — ты еще не знаешь, сынок, как она грозна и милосердна. Как бездонны

и небо, и мы с тобой сами. Любую силу мы с тобою в себе отыщем, на любую загадку найдем ответ. Камертоном, эоловой арфой поем мы в ответ миру. Нам хватит этой крошечной вселенной, с нашу детскую спаленку. А ей хватит нас — зернышек на ее ладони. Мы звучим в ответ миру; мир — ответ нам; так и перебрасываемся эхом. Нужно ли нам что еще, кроме этих простых истин?

Уходит ночь, иссякает ее тьма в чаше небес, — только на доньшке еще плещется. Но пока по-ночному чистые звуки еще слышатся, еще угадывается мелодия ночи, которая избавляет от тягот усилия. Взматается ввысь нежная, на грани слез, скрипочка; баюкает она мир, вся она — память, вся — ностальгия.

И вот снова булыжная площадь, мой мальчик, посреди которой пиликает невидимый скрипач. Протянулся ввысь и так замер гордый храм будущего. Зыбким был прежде его контур, теперь зарождающийся рассвет словно обвел его тонкой, обмакнутой в тушь кисточкой. Ввысь тянется храм, как истончившееся пламя свечи. Его кончик протянулся в новорожденное небо, только что разлученное с землей, — с тех пор, как началась агония ночи.

Еще не прорисовал рассвет каменные узоры на стенах, — их еще омывает тьма, стекает со стен каплями. Только крест взмыл в небо, раскинув крылья, как реактивный самолет. Гордый крест — символ пересечения мира и высот, рождения и смерти, символ младенчества мира, освобождающего от греха. Любовь отыскал я в ночи, материнскую ласку, мой мальчик, погребальные свечи, согревающие мир своим тихим теплом.

Притихли, слушая предутреннего скрипача, великие силы мира, — тоже потерянные, встрепанные, выжатые из ласковой тьмы. Ворчливые и одичавшие, великие силы сидели в уголке площади, как стая нахохленных ворон. Булыжники курились легкими голубоватыми дымками, как попыхивали маленькими трубочками. Чуть сладковатый тревожный запах разносился повсюду. Дымки свивались в спиральки, смерчки, — и крошечными змейками кишела булыжная площадка.

Одиноко и сладко пела скрипочка, и звуки сверкающей россыпи звенели по камням. Делала чуть слаще та скрипка суровые предутренние часы. Чья она — дня или ночи? Или так сладко поет безвременье тому, кто пристально влущивается в него часами и часами, годами, сынок.

Вдруг разом вострепнулись великие силы мира, махом сбросили наземь угрюмые власяницы. В белое были одеты великие, а широченные рукава плескались, как крылья, как белые флаги. Разом взмахнули руками великие силы и взвились над площадью, — обернулись голубями, вроде тех, что жили в соседних голубятнях.

Врезалась в небо голубиная стая, — расплескались белые капли на сероватом донце небес. Кругами порхали они над площадью, плескались, как белые, ничем не замаранные, флаги новых времен. Рождающийся горизонт чуть подсвечивал красным кончики их крыльев. И вслед за ним рванулась скрипочка, тоже взмыла ввысь, — легчайшие капли дождя просыпались с небес, но таяли в воздухе, не достигнув земли.

Растворились, растаяли в небе звуки предугрненной скрипочки. Слышался глухой цок, фыркали кони; глухо топали утренние битюги по булыжнику площади, приближалась колесница рассвета. Растаяли в бледнеющем небе великие силы, потому что теперь до конца иссякла ночь, облекшая их плотью, — совсем светлым уж стало небо. Остатки ночи собрались в крошечные черные капли на листьях деревьев. Зашелестели, просыпаясь все деревья мира, стряхивали со своей листвы ночную росу.

А меня клонит в сон, мой мальчик. Шутка ли — бессонная ночь без конца и без начала? Все равно, совсем ли она бессонная или в полудреме, — не уловишь ведь тонкую грань сна и яви. Существует ли та вообще? А грань между жизнью и смертью? Бывает так, что еще чувствуешь свое тело, да и разум не спит, а просто отлетел куда-то ввысь, — стал возвышенным, но бессильным, неспособным вмешаться в игру ярких образов, мельтешащих перед глазами. Грустный и бессильный разум, не способный обуздать неведомые силы. Может быть, и смерть, это, когда опускает крылья, но не вовсе засыпает ненужный разум, — ты весь во власти разрушительных и творящих сил вселенной.

Мой сынок, не сон ли мое письмо? Все шире и шире разбегаются радужные круги, расходятся круги по воде, вдали затухая. Повторяет и повторяет свой путь моя рука, входит в предначертанные каналцы. На чистом листе в различных преображениях предстает пяток начальных истин. А разве не весь мир таков, мой сынок, мой мальчик?

Теперь видения стали еще хрупче, чем ночью, — трещинами пошла хрустальная чаша, когда из нее вытекла ночь. Осторожным следует быть в предугрненные часы, а то в переполох превратится мир, в хаос

цветных картинок. Зыбка их связь — стеклянным боем усыпаны глубины души: каждый осколок лучится отраженным светом, каждый испускает тоненький лучик, устремляющийся в небеса, к предназначенным каждому из них глубинам. Не знаю, как это объяснить, мой мальчик, но я так чувствую.

Мало начальных истин, — многое сливается в одно, тем жизнь похожа на сновиденье. Прости своего косноязычного отца, мой мальчик. Пока спи, — и пусть будущее станет твоим сновиденьем, а когда проснешься — им станет прошлое. Спи, мой мальчик, тебе еще не по силам бдеть в предутренние часы. Да и что интересного, — тихо, без фанфар погасают эпохи, как ночные звезды. Сокровенно рождаются новые, как светило выкатывается из-под окоема. А я уж слижу последние капли ночи с просыпающихся листьев.

Да, мой сынок, мальчик, я посижу еще тут, в нашей спальне, — целый день впереди, чтобы выспаться. Сколько их, хранителей дня, и как мало сберегающих ночь. Сколь мало окон в спящем городе теплятся погребальными свечками.

Я собираю в горсть остатки ночи, — нет, не удержать их, уходит она у меня сквозь пальцы. Последняя капелька, как ртутный шарик бегаёт по ладони. Уходит ночь, прячется под шкафы и диваны; медленно возрождаются тени предметов — их воспоминания о канувшей ночи. Уменьшается тень к полудню, — так выветрится из предметов ночь. Потом опять вырастет — то начнется движение к новой. Потом сольются тени всех вещей — это и будет ночью мира.

И я раздваиваюсь, сынок: робкая, чуть сиреневая тень легла на стену. Зарождаюсь я дневной, а я теперешний тенью прилягу возле его ног, — стану его неотвязной памятью, мой мальчик. Рядом с тобой нет еще темного пятна. Ты пока еще без тени, мой мальчик, без черного пуделя, вечно бегущего по пятам. Вокруг тебя только легкое розоватое сиянье, мой сынок, мой голубь. От тебя уже отлетела ночь, черный гриф, — не скоро ты теперь о ней вспомнишь, о ласковой, нежной ночке, но та всегда будет рядом. Только свистни, спустится к тебе с небес черный гриф, и тенью будет реять возле него белый голубок. Не одну бессонную ночку ты проведешь у постели своего сына, мой мальчик. Не раз ты омоешься в нежной тьме, смоешь суматошные годы и обновишься, как обновляется мир. В славный, жестокий и грозный мир призвал я тебя, сынок, как в океан, крошечную звездочку сдул со своей ладони. Прости своего странного отца, мой мальчик.

Я собирался рассказать тебе детскую сказку, сынок, а чего только не нагородил, сказку о драгоценных медалях, хранящихся в глубинах глубин, там, где все сказочно, где все сказки мира. Не так уж их много, одной ночки хватило б, чтобы их все рассказать, а не тысячи одной.

Не вышло — они избежали моей горсти, как испуганные головки. Или, может, я сам испугался сказок, сквозь пастельную нежность которых мерцает жуть мрачных глубин? В детстве я не боялся сказок, но теперь-то знаю, сколь они коварны, эти родинки, невесть куда проросшие. И все же, сынок, надо бы почаще рассказывать тебе сказки, они природняют сумрачные глубины, весь мир приводят в нашу спальню. Там пролитая кровь — это кровь заката и восхода. Отчего ж я ловкой рукой не смог ухватить за хвостик ни единого сюжета? Неужели впредь и вовсе невозможны сюжеты — пугливые и пряткие, как зверь, ускользящий от древнего охотника? Неужели останется лишь схема, сухой остаток всех сюжетов мироздания? То есть единственный сюжет, возврат — его тема: откуда ушел, туда и возвратился. Должно быть, любой сюжет ностальгичен, мой сынок, мой мальчик. Значит и ночка — сюжет, — она ведь вся целиком — ностальгия. Все на свете скорбит об ушедшем, все стремится к возврату, вся жизнь — дорога вспять. Прости, мой мальчик, что я тебе талдычу об одном и том же. Все повторяется, сынок, — волна за волной накатывают на пустынный берег, — укачивают, убаюкивают волны нашу вечную бессонницу. Все существует спокон века, мой мальчик, меркнут вечные звезды — потом разгораются вновь.

Надеюсь, что ты невнимательно слушал меня, сынок. Все лишнее пропустил мимо ушей. Я тебе не навязываю мою жизнь, а мое письмо — лишь воздушные вензеля. Оно будет приманивать все новые смыслы, — истинным я признаю любой. Будут накатывать волны жизни на исписанные листы. Написанное мною до поры задремлет.

Мы покоряем пространство, сынок. Крошечная капелька, крошка хлебная, зернышко, мы должны размахнуться на всю вселенную. Обжили мы ночку, — она для нас как темная, теплая материнская утроба. Трудно будет освоить пространство дня, исполосованного оболочками, — сколько крепостных стен нам придется брать штурмом. Мало в дне своего — много чуждого. Погребальная свечка в ночи светит на всю вселенную, а днем почти и не видно язычка пламени, — растекается ее тепло по бескрайнему дню.

А много ль тепла скопилось в мире, будут свидетельствовать темные, гулкие безвременья.

Суров день, но никогда так не всевластна чуждость миру, как предрассветной порой. В самом чужом дне встречаются островки своего, а в это неокрепшее время чуждость подступает к самым твоим губам, пронзает еще не ороговевшую оболочку, и вот ты уже чужд себе самому, — такой же холодный и пасмурный, как предутренний час.

Родившийся рассвет изгоняет нас из детской спальни, мой мальчик. Мы ломимся в дверь, но крепок замок. В эту пору как жаждем мы своего, — а где отыщешь? Надо стать, как никогда, творцом, растечься на все пространство, — но не плавно, как ночь, а подобно порывистой грозовой туче. Невероятную прыть и отвагу проявить, изыскивая свое по всему неохватному миру. Настоящее творчество — только в предутренний час, когда ничего тебе не нашептывают ни ночь, ни день, ни великие силы мира, ни родные души, мой мальчик. Тогда ты одновременно велик и жалок, как огромная клочковатая туча. Только бы не затянулось предрассветье, — а то разнесут тебя ветры по небесному простору, и тогда уж не помогут тебе и великие собиратели — ночь и день. Ты меня понял, сынок? Ты-то понял, мой мальчик.

Постепенно копится день; сперва ручеек света выбежал из-за горизонта, теперь все ширится светлый поток, а водица подкрашена алым. Добреет и яснее мир; деревья уже почти отряхнули предутреннюю одичалость. Они спят с улыбкой, как и ты, мой мальчик. От тебя отвязались чудеса сонных глубин, но и отошли неслышным шагом невероятной красоты и силы образы.

Опускается на землю твой ночной град; ближе к земле, заземленной становятся видения, — ты уже намечаешь будущий день и хитро улыбаешься, как будто что-то замыслил. Ты прошел через все круги сна — от сокровенного золотого ядрышка все ближе к земле, к миру. Теперь ты на самом контуре, на последней тонкой пленочке сновиденья. Подступившее к твоей кровати утро вернуло тебе твоё тело. Родившаяся жизнь сочится в твой сон. Пока она податлива — разрешает играть с собой, приманивает тебя, ластится. Придет время, сынок, и она сурово замрет, — тогда уже тебе покажется, что ты сам всего-то игрушка для дневных сил. Тогда тебе лишь останется воззвать к глубинам бытия, копаться в слякоти, чтоб обрести заветные

зерна, — тут ты и вспомнишь о своей спальне. Не пугайся, мальчик, — это и есть жизнь, которая простодушна и не трагична.

Сходят тени со стен — экранчиков, где представлял ночной театр теней, — в подпол прячутся тени. Мне чудились на стенах суровые письмена, но где же они? Чисты стены, ясны, как наступающий день, — ни надписи, ни знака, ни даже пятнышка. Да и стены ли это? Кажется, вовсе и не камень, а всего лишь картон. Как вместился я в картонную коробочку, в пенальчик? Как не разорвали его в клочки могучие силы мира? Это ж надо, сколько сюда всего уместилось. Но только теперь осторожней надо, осторожней. По ночам — это замок с крепчайшими обомшелыми стенами, сокровенная цитадель, своими башнями врезающаяся в небо. А что же при свете дня? Похоже на картонный театрик моего детства.

Очень надо быть осторожным, чтобы ничего не порушить, все сохранить для будущего, оставить на века. Бывало, опрокинешь такую коробочку, из нее высыпаются блестящие наперстки, иголки, тонкие, как солнечные лучи, мотки разноцветных ниток. Перепутаются нити — красивые, цветные, — перепутаются судьбы, так, что уже не распутать. Лукаво улыбаешься, мой сынок, — ты готов отринуть весь детский хлам. Опустил крылья твой черный гриф, — не сокровища уже перед тобой, а золоченный картон. Не королевские бархатные мантии, а крашенная дерюга. Россыпь звезд для тебя — цирковые блестки. Убогой теперь кажется ночка — съездившийся воробышек, присевший на карниз. Нет, я знаю — ты не забываешь о ночке, — осталась слегка грустная памятью, в которой, однако, не брезжит отчаянье. Тосковать ты по ней начнешь только перед самым окончанием молодости, мой мальчик.

Уходит, уходит божественная ночка, иссякают ее чернила, выцветает письмо, как бледнеет округа. Вот сейчас бы вдруг не уснуть, — такая она коварная, эта ночка, кажется, уже обессиленная, и все-таки может навеять дремоту. Такая она загадочная, самовольная, — ей и сейчас нет закона. Хоть все стены испиши каракулями, избежит их ночка, как ускользнула от звездочетов, пророков, ото всех бдящих ночами. Куда, куда же ты, моя темная королева, ночь всех моих ночей, ночь ночей мира? Вот уже, кажется, глянул из-за горизонта самый краешек солнца, нестерпимо красный его ободок, — выбежал ручей крови и теперь растекается по округе. Чуть маячит махонький багровый ободок, — даже не понять, виден он или только мерещится.

Опять полусон, мой мальчик: каменная площадка перед храмом. Вспорхнули оттуда великие силы белыми голубями, — только серые бляхи помета остались. Маленькая площадь стремилась к многоцветью, — нет, она еще не обрела цвета, разве что немного лучилась внутренними, будущими. И каждый будущий цвет, казалось, отыскивал свое место, — легкие мерцанья перетекали из одного в другое, бежали от взгляда, хрупкие, еще нерожденные.

Красиво это, сынок, переплеск нерожденных цветов на бульжной площади. Пустынна площадь, мой мальчик, никого вокруг, — даже головы казенных стрельцов сняты уже с кольев. Лишь голубок клевал, поклевывал зернышки. Чуть менялось в цвете его оперенье, столь бережное к цвету, — а глаза его оставались черны.

Правила площадью великая сила будущего, потерявшая свой облик и готовая принять любой: то обращалась в льва рыкающего, то почти растворялась в воздухе, то взметалась до небес, то растекалась лужицей. Томилась великая сила, завивалась смерчем, — дрожал от ее порывов вознесенный к звездам храм. И вот еще что, мой мальчик: все чудился мне звук рыдающей скрипочки, вился он вокруг великой силы, трепетал крылами. Ярчайшая жизнь бурлила на маленькой пустой площади, где зарождались цвета.

Вдруг вырвалась из-за горизонта тройка белых коней, прогрохотала по бульжникам золотая колесница. Фыркали кони, испуская сладкий смрад. Лучилась колесница, поражала золотыми стрелами последние клубочки тьмы. Со стоном, легким и нежным, отлетели от земли ночные духи, окропив последними слезами бульжник площади. Дрогнул огонь погребальных свечек, и ахнули родные души. Разом погасли предутренние звезды. Лучилась золотая колесница на всю вселенную. Фыркнув, остановились кони, — прядали ушами, красивые, белые, пар бил из их ноздрей. Мне, позабывшему сколь светозарен день, привыкшему к сумраку, к легкому, истончающемуся к кончику свечному пламени, пришлось глаза прижмурить.

Ступил великий всадник на колесницу, натянул поводья, — он весь лучился, только лик оставался невнятен. Щелкнула бичом великая сила, — взмыла вверх колесница, прямо в небо, как солнце нового дня. Стала хрупкой и ломкой маленькая площадь. И вот уже нет площади, — осталось только эхо дальше и гулкое, как в колодце. Иссякла ночь, мой мальчик, выкатилось солнце, как масляный блин. Сперва вздулся красный холмик на горизонте, потом покатило оно вверх, будто мячик, словно колобок, разгоняя серые тучи. Деревья потянули к нему свои ветви.

Пронеслась резвая тройка над нашей спаленкой, загорелись золотым светом трещины на куполе, а ты еще не проснулся, мой мальчик, все еще на грани сна, хотя пал золотой лучик на твои ресницы, позолотил твои последние сновидения. От меня же осталось одно только зернышко, хлебная крошка на столе.

Вот почти и закончилась сказка, сынок, осталось ее с гулькин нос. Серый мышонок пробежал по полу, проковывлял гном в золоченой короне с наперсток, — мелочи, выпавшие из твоих сказочных видений. Истаял свечной воск, истекла ночка, — тут и сказке конец, таинственной и волшебной, как вся наша жизнь, мой мальчик.

Но что же принесет нам рассвет? Я пытался проникнуть в будущее, расчислить его наперед, но чересчур уж увлекся ночкой мира. Будет ли рассвет подобен своей ночке? Возможно — при всем различии, как тень похожа на своего хозяина. В дневном мире я буду искать приметы ночи, как в ночи искал приметы дня.

Тает, расплывается на небе величавый крест, начертанный двумя самолетиками моего детства. Все небо в огромных снежных дымах, чуть подсвеченных солнечным светом. Роскошное утро родилось в мире, птицы защебетали. Меркнут, погибают письма, которые — память, или же предчувствие, или пророчество; надгробные письма — ветерки будущего или прошлого. Чист наступивший день, ясна родившаяся явь — свежее утро мира.

Простит ли мне хрустальное утро мой ночной бред, мое многословье за крошечное зернышко истины, из тех, что склевывает вон тот голубок, присевший на карниз? Простится ли, что подчас не проникновенные, а гордые слова выписывала моя суетливая рука? Простится ли за малую росинку любви, которая, верю, не испарится в солнечных лучах? Рождается уже другая легенда, — былем поросла ночка, в небеса улетел черный гриф, а нам теперь недосуг следить за его полетом: день перед нами простерся.

Проснулся парк за окном, — совсем теперь не кажется грозным; омыт каждый древесный листик ночным дождем. Грозный дух, обернувшийся грязноватым дымком, отошел от парка. В глубине глаз, в сердцевине вещей теперь притаилась гроза, — и так до поры. С виду все невинно, младенчески ясен мир, словно б и не было ночки, пророческой ночки мира; забыты муки ночные и предрассветные. Так чисты глаза младенца, будто бы не прошел он чрез все круги ада, будто б уже не хлебнул всей жизни целиком. Будто б он

и вправду новорожденный, а не просуществовал столетия в своей ночи и предрассветном сумраке. Да нет, — его свет и ясность не от незнания жизни, скорей, от накопленной мудрости, которая потом медленно испарится, как утренняя роса. Всю жизнь он будет искать утерянное младенческое знание, мой мальчик.

Невеликое открытие, сынок, но разве я не говорил тебе, не талдычил, что вся ночка — одна единственная мысль, распростершая крылья из конца в конец вселенной. Да и день, должно быть, таит единственную, но разбитую вдребезги. Попробуй-ка, склей осколки, постигни простейшее. Какие хитроумные сети приходится сплести, чтоб уловить этого воробышка, а он — порх, и канул в синеву.

Проста единая мысль, как воробей, у которого серое неказистое тельце, проворный клюв и чувства-крылышки, которыми он суежливо плещет. Порхает воробышек, и солнечный луч немного подсвечивает его оперенье. Играют его перья легчайшими предчувствиями цвета. Так я представляю эту птицу, птицу-любовь мышле-чувство, — это феникс, пылающий вечным пламенем, но не сгорающий никогда.

Погоди, мой мальчик, сейчас я закончу. Пора заканчивать, коль иссякла ночка, — затерялся в небесных глубинах черный гриф — птица-любовь, птица феникс, птица — ужас и надежда. Прежде, чем кануть в небо, она спустила меня наземь, — сошел я с ее спины, а земля раскачивается под ногами, как будто я разучился и вновь учусь ходить. Вверх-вниз, словно качели гуляет земля, — отвык я от твердой почвы, привычный к ночным полетам.

Помню, сынок, как я учился ходить впервые, — какая была гордость, какой восторг. То была первая победа над земным тяготением, то есть уже предвестье полета. Вот что со мной творится: не успели еще чернила просохнуть на бумажных листах, а я уже стал забывать о ночке. Никому уже она не понятна, — нам с тобой тоже, — гляди: рассеялось в небесах последнее темное облачко. В себе осталась ночка, вовеки она сокровенна, мой мальчик. Заступил на место таинственной ночки не сокровенный день, а ты все спишь. Да и за окном ни шороха, ни движения, — мир еще тише, чем ночью. Незаметно, тоже тихо-тихо, восходит солнце к зениту, — медленно, по снежной горке, по небесному Тянь-Шаню взбирается на вершину.

Трудно существовать в дневном мире познавшим ночь, — нам пока еще неведомы тайные ремизки дня. Хрупок новорожденный день, — кажется, тронь его, и он рассыплется на крохотные хрусталики. Почему он так тих, мой мальчик? Небось, никто ему не доверяет, кроме, разве что, меня и еще нескольких безумцев. Вот оно, солнце, лучится в моем окне, однако медленно тает в зрачках черная пелена привычной ночи.

Нет днем созвездий — запечатленного в небе закона, а солнце еще невысоко. Тишина кругом, не ночная, уже дневная, которая, — кто знает? — может, еще глуше и отчаяннее ночной. И все ж легче как-то стал воздух; лучше дышать этой прозрачной дымкой, чем ночной тьмой. Куда-то пропала, развеялась тревога, — честно, сам удивляюсь. Дня уже хочется, мой мальчик, — тягот дневных и дневных трудов. Дня, который не позволяет задуматься ни о прошлом, ни о будущем; где избавлен от невнятной тоски, — только лишь доступен пронзительной и внятной боли.

Пусто за окном — ни ночных духов, ни людской суеты. Беззвучно ступают белые кони рассвета. Остался самый краешек белого листа — но надо и его испещрить значками, потому что невероятно страшит бездонно-белое. Даже малюсенькое пятнышко будто — зияющий колодец, куда может провалиться весь блистающий день. Иногда жутко делается, мой мальчик: а не морок ли все это? — ну, рассвет, солнце — золотая колесница. Может быть, ночной мираж, может, все-таки сон меня сморил, и видятся мне сквозь смеженные ресницы вечные звезды мира. Спим, мой мальчик, слились сновиденья всех, кто видит сны. Таков день, — а нужен ли другой?

Уходят в небо ночные росы, зыбким, дрожащим стал мир, дымчатой стала хрустальная ваза небес, в которой плещется напиток дня. Уходит память о ночке, сам я от себя ухожу неслышными шагами. Что это за ночка была, которую я выдумал, глядя на звезды небесные, на тебя спящего, мой сынок, мой мальчик? Я уже ничего не помню, ночь позади; впереди — белый бумажный лист.

Пролистываю свои каракули, в которых запуталась ночка, навеявшая мое письмо — кудреватое и темное, ей под стать. Видно, я все же спал, мой мальчик, лишь иногда просыпался. Тогда отчаянье врывалось на белый лист, но чаще не умел избежать стилия, — такова уж беда у спящей по бумажным листам руки.

Теперь уж не разобрать, не вспомнить, что поймал я в свои сети в темных водах, а что упустил. Видно, упустил многое. Не все я рас-

слышал, — куда там? — что нашептывали мне великие силы мира, и даже родные души, которым где и обитать, как не во мне, кому, как не мне нашептывать сокровенное. Какая ценность в этом письме? Разве что, горсточка блесок — золотых проколов на черном небе-своде, как и ночь украшена золотыми блестками.

Нет, не гордым, а смиренным я покидаю ночку, сынок, как смиренным и устремленным ввысь покидаешь божий храм. Из храма ночи ухожу я полным сил для дневных трудов. Гордым бы вышел лишь тот, кто вовсе не понял ночь.

Многое затерялось среди кудреватых слов, но, кажется, непустыми я выбрал свои сети. Что бы осталось мне делать, если б я познал ночь до самого ее донца? Только слиться с нею, обняв ее, мою подругу, и уже не расставаться вовек. Ускользаем мы от ночки, сынок, туда, где маячит пробел, похожий на голубя, на белоснежное облачко. Мой мальчик, не договаривай слов, как бы те ни были насущны, никогда не досматривай самых сладких сновидений. Сбереги крошечный клочок белизны, чтоб было, куда сделать последний шаг. Мы испещрим письмом всю нашу жизнь, всю ее испишем, но оставим маленький, с пятачок, пробел, — нет, еще меньше: с булаво-чную головку, почти невидимый. И там — ни единого знака, даже вопросительного, ни тучки, ни облачка.

Населена злыми духами нежная ночка, мой мальчик, но те не страшны, когда перо выписывает смиренное и робкое слово, лучшее из всех. Но злые духи подчас навевали красивые и пустозвонные слова, которые — соблазн. Ох, лукавые духи, кого захотели перехитрить? Меня-то, хитреца из хитрецов, соблазнить красивым словом? Я всем ночным духам дал волю, чтобы мое письмо стало подлинно ночным. В ночке много и мусора, — если б я запечатлел лишь только порыв, она стала б недостоверна. Ложь хуже пошлости и пустозвонства.

Вот, что странно, сынок, — день мне возвратил мое тело, но я себе больше, чем прежде, чужой. Ночь меня сберегала, а теперь я будто испаряюсь, как утренняя роса. Покинули меня родные души, — а мы лишь отражение в их зрачках. Сынок, мой мальчик, родные тебе души все еще живы, мы рядом с тобой, — ты живешь в своем прошлом, уютном мирке, которого я уж давно лишился. Этот ли миг, скользкий, как обмылок, считать нам своим «сейчас»? А может, вся жизнь сразу расписана на прошлое, настоящее и будущее?

Завидую тебе, сынок. Не знаю, куда ты там унесся на резвых ко-нях своего сна, но ты ребенком проснешься, мой мальчик. Не уве-

рен, что это будет тебе в радость, — ты ведь весь устремлен в будущее, тянешься к нему обеими руками. Рвешься из своей скорлупы, детской спаленки, иссеченной солнечными лучами, из своего наворачья опостылевшего тебе прошлого. Ты прав, сынок, — не проживешь всю жизнь в собственном прошлом. Его и надо покинуть, чтобы было о чем грустить. Придет день или ночь, оно вновь оживет, как просыпается жемчужина от человеческого тепла.

Гляди, сынок, какой-то паук завелся в спальне. Он сплетает паутину, белую, как пара седых волос в моей шевелюре, как поседевшие волосы тех, кто стал духом жилища; тех, перед кем наша вина неизбежна.

Вспомни, мой мальчик, летние росинки на пауческом плетении — слезы, высыхающие к полудню. Не стоит ли одна такая слезинка всей нашей пустозвонной и мелочной жизни? За лишь один проблеск ночной тоски, не простится ли нам что-нибудь, мой сынок, мой мальчик? За благоговение пред белейшим пробелом, куда ступит наш последний шаг, за сам последний пробел — неиспещренный кончик письма, который бесценен?

Все, мой мальчик, дотаял воск погребальных свечей, — теперь они пламенеют нерукотворным огнем в нашей памяти. Прост мир, как первый вздох, как вздох последний. Паучьи хитросплетенья — это всего лишь белая паутинка наших волос, а дебри жизни — детская рожица, в которой нам так сладко заплутать. Мир вмятен, как цветущая поляна нашего с тобой детства.

Пора уж проснуться, сынок, распахнуть окно в это утро, сладкое утро жизни. Может, ты уже и проснулся, — не раскрыв глаза, кожей чувствуешь солнечный луч, павший с небес. Пока еще смежены твои веки, ты обитаешь в розоватом сумраке, — скоро ты распахнешь глаза, и вы с миром падете друг другу в объятия. Поверь мне, сынок, — я ведь и сам когда-то был ребенком.

Единственным лучом солнца одарило щедрое небо нашу спальню. Вот он — тянется, как золотой волос. Сейчас я уйду, чтоб ты проснулся наедине с лучом, — я не навсегда с тобой, а этот луч навечно.

Тихо я затворю дверь, плотно за собой прикрою. Верь, сынок, я высыпал перед тобой все сокровища, что скопил за все эпохи моей молодости. Отдал тебе, все, что мог, и, прости, утаил то, что отдать невозможно. Я теперь пуст, — налегке я отправляюсь в дорогу. Передо мной новый день — неисписанная страница. Проснись наедине с лучом и увидишь, как загорятся в его свете все безделки, которые

я тебе оставил. Все, что имел, я передал в такие же, как мои, надежные, но и небрежные руки. Смешно было б ожидать, что с благоговением ты примешь мой дар. Пока тебе все — игрушки, как и весь мир — игра.

Играй же в свои великие игры, сынок, сотвори будущее.

Посмотри, мой мальчик, на яблоневые деревца, — уже облетели с них белоснежные хлопья цветенья, уже завязались плоды. Тайно завязалась эпоха, — теперь будем ждать плодов. Надеюсь, недолго, ибо сейчас пришло стремительное время. Все меньше остается меня, — один шаг, другой, еще полшажка, и меня уже нет вовсе. Разглядываю свою руку, а та просвечивает. Не таков ли будет и мой последний час — не муки, а медленное исхождение, — легкий пар, как от льдинки, тающей в солнечном луче. И грянет музыка — органные звуки, летящие ввысь. Свет невероятный станет моей жизнью, всей, до конца, до последнего донышка, — я верю в милосердье небес.

Я сам еще успею увидеть, как светящимся, просвечивающим станет мое тело. Грянет небесный хорал, — вот тогда ничего уже собирать не придется, кончится накопительство. Все тогда следует бросить на кон — и сбереженное, и упущенное; пришло время схлынуть волне. Ничто не потеряется в сверкающей вселенной, — ко всему будет прибавка, каждое зернышко прорастет.

Воссияет, возможно, какая-нибудь мелочь — мелкая шутовина, затерявшаяся в карманах, а рухнут великие храмы. Наступит радость несказанная, мой мальчик. Буду ли я тогда о тебе помнить сынок? Ты не забудь меня, — тогда я стану лучом, что падет с небес на твою подушку, легкими слезинками свечек. Сомкнутся два мига, прильнут друг к другу — первый к последнему. Сомкнутся створки раковины, а что будет потом — нам неизвестно.

Все, допил я тебя, ночь, до самого дна, подкрасив напиток парой кровавых капель восхода и заката, парой светлых капель новорожденного дня. Все кончилось, — в последних судорогах бьется на листе расписавшаяся рука. Все, сынок, грядет новый день, новые вины и вина. Три шага я делаю по спальне: тяжек первый, второй легче, легок и продлен, как полет, третий шаг. Открываю дверь. Что там снаружи? Вихрь и свет, конец и начало? Да нет, мой мальчик, там попросту новый день, которых сколько уже миновало в моей жизни.

Ты плачешь, сынок? Не жалею своего отца, с парой всего лишь серебряных нитей на висках. Он пока что силен и бодр, омывший-

ся в ночке. Всего лишь закончилась молодость, мой мальчик, всего лишь первое дело завершено в бесконечной, долгой-предолгой жизни.

А как оно сделано, то рассудит небо, куда все мы уйдем бесшумно, благоговейно; то рассудят будущие ночки, когда будет время подумать о делах пережитого дня; наше с тобой будущее рассудит, мой сынок, мальчик. Должно быть, так же нелепо, как все людские дела, и с той же крупницей чистосердечия.

Ступил я три шага, — и вот уже нет меня. Не надо меня искать, сынок. Тысячи раз загорались по нам погребальные свечки, сколько уж раз мы погибали, а все живем в этом неисчерпаемом мире. Третий шаг — в сияющий белизной пробел будущего, — и конец, взмыл в небо белый голубок. Второпях заканчиваются эпохи, — и молодость кончается второпях. Без прощанья уходят в синеву родные души. Зато потом вся жизнь — прощание с ними, мой сынок, мой мальчик.

И я ухожу без прощанья. Крылья вырастают у меня за спиной. Я ушел, мой мальчик, а тебе пора уж проснуться. Я ищу себя, но нигде меня нет в этой спальне, освещенной двумя скрещенными лучами. Все тут обыщу, но так и не найду себя, — пуста спальня, словно последний пробел, будто пауза. Я взлетаю ввысь, как стая белых птиц, и сам же с земли наблюдаю свой полет.

Просыпайся, просыпайся, мой мальчик, и не страшись опустевшего мира. Все мы, родные души, рядом с тобой, все мы у тебя есть. А у нас — только белизна без края и окончания. Мой сынок, мой мальчик...

*Июль 1986 — январь 1987*

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>ноль</i> .....	11
<i>сто дней</i> .....	115
<i>ночка</i> .....	237

Литературно-художественное издание

Александр Давидович Давыдов

ТРИ ШАГА К СЕБЕ...

Редактор *Елена Наливайко*

Художник *Владимир Сулягин*

Корректор *Марина Ляхович*

Компьютерная верстка *Павла Сандомирского*

Зав. редакцией *Е.Ю. Жолудь*

Редактор *Е.Л. Никифорова*

Художественный редактор *А. А. Неизвестнова*

На форзацах фотография “*Филипп*” *Алексея Надеяева-Кренделя*

На 4-й сторонке фотопортрет А.Д. Давыдова работы *Алексея Парщикова*

Подписано к печати 03.08.2005

Формат 60х 90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура Таймс

Печать офсетная

Усл. печ. л. 23,0. Усл. кр.-отт. 23,5. Уч.-изд. л. 22,5

Тираж 500 экз. Тип. зак. 1173

Заказное

Издательство “Наука”

117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail: [secret@naukaran.ru](mailto:secret@naukaran.ru)

[www.naukaran.ru](http://www.naukaran.ru)

ГУП ППП “Типография “Наука”

121099, Москва, Шубинский пер., 6